

# МОСТЫ

13-14

1968



# МОСТЫ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ  
АЛЬМАНАХ

13-14

1968

---

ТОВАРИЩЕСТВО ЗАРУБЕЖНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ

BRIDGES

Literary-artistic and social-political almanach

BRUCKEN

Hefte für Literatur, Kunst und Politik

БОРИС ЗАЙЦЕВ

## ПОВЕСТЬ О ВЕРЕ

### I

Николай Андреевич Муромцев был тихий, благообразный и безответный человек. Служил по Московскому городскому управлению. Лидия Федоровна, его жена, мать Веры Муромцевой — отчасти персонаж из Достоевского, нечто вроде генеральши Епанчиной или Татьяны Павловны из «Подростка». Буря и гром, сочетавшиеся с тишайшим иконописно-православным Николаем Андреевичем, — действительный залог со страдательным.

С Верой Орешниковой, моей будущей женой, Вера Муромцева познакомилась и сошлась дружески в незапамятные времена — конец XIX века, когда и я еще с Верой Орешниковой знаком не был. Дружба эта, несмотря на полную противоположность характеров, продолжалась всю жизнь. Из времен доисторических дошли отдельные лишь сведения. Например: Вера Орешникова обучала некоторое время подругу французскому языку!

Второе известие: во времена тоже отчасти легендарные, но уже когда Вера Орешникова перемещалась в Веру Зайцеву, Лидия Федоровна выгнала эту будущую Зайцеву из дома за то, что та читала Гамсуна и Бальмонта, водилась с «декадентами», вообще с юной богемой литературной того времени (начало нашего века). Но вскоре и помирились, обнимались, рыдали, все как полагается по Достоевскому.

Сердце же материнское все-таки угадало. Чрез мою Веру степенная Вера Муромцева, очень красивая девушка с огромными светло-прозрачными, как бы хрустальными глазами, нежным цветом несколько бледного лица, слушательница Высших Женских Курсов Герье, неторопливая и основательная, соприкоснулась с совсем иным миром. Начинающие писатели и поэты «нового направления», молодые художники, литературно-художественные барышни и дамы, несколько полоумные, Литературный кружок (клуб писателей, актеров, музыкантов, игроков) с лекциями Бальмонта, Брюсова, Во-



---

---

лошина — мало это походило на курсы Герье. В 1906 году мы жили уже с бывшей Верой Орешниковой вместе, снимали квартиру на Спиридоновке в доме Армянских. Там бывали у нас небольшие литературные вечера. Молодежь, участники журнальчика нашего «Зори». Кроме моих сотоварищей и сверстников — П. Муратова, Александра Койранского, Стражева, Муни, Александра Брюсова (брата известного поэта) и других, появлялись иногда и старшие — Вере-саев, Бунин. Тут-то вот, у своей подруги, и встретила Вера Муромцева с Иваном Буниным. Произошло это 4 ноября 1906 года. «Вернувшись из химической лаборатории, наскоро пообедав и переодевшись, я отправилась к Зайцевым. Шла быстро, боясь опоздать к началу чтения — жили мы очень близко, и никакого предчувствия у меня не было, что в этот вечер наметится моя судьба», — так она написала через много лет в своей книге о Бунине.

А судьба, и правда, наметилась. Спустя полвека, уже здесь в эмиграции, я спросил Веру: «Как ты запомнила, что это произошло именно 4 ноября?» «А я, голубчик, помнила, что была суббота и начало ноября, только что снег выпал. Вот я и перебрала весь календарь за 1906 год, в ноябре суббота оказалась именно 4-е». Да, в ней была, конечно, складка основательности и усердия — не появившись на перекрестке Иван Бунин, вышел бы, может быть, из нее ученый исследователь. (Сама же она всегда очень боялась, как бы не сочли ее синим чулком).

Но Иван появился. Было ему тогда тридцать шесть лет — изящный, худенький, с острой бородкой, боковым пробором, читал у нас стихи свои и зачитал Веру.

«А в этой сини четко встал  
Черно-зеленый конус ели  
И острый Сириус блистал».

Она стихов не писала, литературно-богемной барышней не была, но нежным своим профилем, прекрасными глазами тоже его запонила. Дело пошло быстро и решительно. Весной 1907 года мы с женой уехали в Париж и Италию, а Вера Муромцева с Иваном в Палестину.

«Утешаюсь и я, воскресая в воспоминаниях те далекие светоносные страны востока, где некогда ступала и моя нога, те благословенные дни, когда на полудне стояло солнце моей жизни, когда в цвете сил и надежд, рука об руку с той, кому Бог судил быть моей спутницей до гроба, совершал я свое первое дальнейшее странствие, брачное путешествие, бывшее вместе с тем и паломничеством во святую землю Господа нашего Иисуса Христа».

Так написал он позже в прелестной страничке, названной им «Роза Иерихона», которую всю жизнь по праву будет гордиться Ве-

---

---

ра Николаевна Бунина — на чьих руках, через сорок шесть лет скончался в Париже Иван Алексеевич Бунин («спутницей до гроба» — верно угадал).

\*\*  
\*

Если за Гамсуна могла Лидия Федоровна устроить бенефис моей Вере, то что было с ней при известии, что Иван «умыкнул» из дворянской благообразной семьи ее дочь, — можно себе представить. Но этого я не видел. И даже не знаю ничего точно — просто не слышал. В нашей же тогдашней, литературно-богемской юной среде на «такое» смотрели спокойно: ну, роман и роман, значит — серьезный с обеих сторон, а дальше никому нет дела. Жизнь продолжается. Венчаться пока нельзя — Бунин не разведен с первой женой (фактически разошлись давно).

А потом, позже, все узаконено, Вера из Муромцевой стала Буниной. Незаконная, как и позже законная, по всем путям жизни сопровождала его, и на всех путях оставалась верной моей Вере, бывшей наставнице — по французскому языку.

Жизнь Бунины вели кочевую, бродячую. Иван не мог долго сидеть на месте, но когда оседали в Москве, все же жили у Муромцевых, в Скатертном переулке — в квартире скромной, но украшенной благообразием и смиренностью Николая Андреича, страдательного залога. Когда являлись Иван и Вера, походило на вооруженный нейтралитет. Лидия Федоровна едва терпела Ивана. Вряд ли он ее обожал. В любой момент могла и перестрелка начаться. Тогда быстрое отступление с арьбергاردными боями — в Италию, или еще куда.

И началось пестрое бунинское существование, с успехами литературно-академическими (не в большой публике), с юбилеями, странствиями — то опять Азия, Цейлон, то Капри с Максимумом Горьким (с ним Иван тогда очень дружил), то чтение на «Среде» московской, или Одесса с тамошними приятелями.

Дружественность обеих Вер не прекращалась, но жизнь очень разбрасывала. Да и обе жили очень полной своей, молодой жизнью.

Началась война 1914 года. Моя Вера со мной прочно засела в имении моего отца, тульском. Бунины где-то «в пространстве», а потом революция, в некий ее момент мы снова в Москве, в 22-23 годах в Берлине. Бунины уже в Париже, а в начале 24-го года в Париже и мы.

С этого времени соотношение Вер укрепляется снова, хотя и в Париже Ивану не сидится. Выбирает он себе тихое пристанище — Грасс, горный городок над Канн, в Провансе. Там они проводят половину года, а на зиму в Париж. И чем дальше идет время, тем

---

сильнее в Грассе укореняются (даже на зиму). Городок, правда, очаровательный и скромная их вилла (наемная, конечно), «Бельведер», с незабываемым видом на далекое море, на горы Эстерель направо, на холмы в сторону Ниццы налево, и южное солнце, и цикады, и поджарый, изящный, теперь седовато-суховатый Иван, и Вера — уже не юная девушка московская, Муромцева, а вроде матроны и хозяйки дома, по утрам совещающаяся с провансальцем поваром Жозефом (Тартарен из Тараскона) — все это не забываемо. Вере теперь много хлопот. На вилле живут ныне четверо — кроме старших два писателя молодых — Леонид Зуров и Галина Кузнецова. Иногда и аз грешный гостил, и моя Вера, налетал и писатель Роцин, «капитан» по прозвищу бельведерскому (Иваново творчество, конечно). Все это не родственники, а друзья, двое первых к дому приросшие. Иван любил, чтобы было «окружение», да и правда, в Грассе, в прекрасном, но все же захолустье, близкие по складу внутреннему, с оттенком ученичества литературного, особенно являлись ценными: свой уголок, Россия, младшее поколение в чужой стране. Получалась некая литературная ячейка. Внизу, в большом своем кабинете, писал Иван какую-нибудь «Митину любовь», наверху, в меньших комнатах трудились Зуров и Галина, а над Ивановым кабинетом, тоже в большой комнате бывшая Вера Муромцева управляла, как настоящий капитан (а не Роцин), всем кораблем бельведерским. Вела и переписку с друзьями, с Парижем главнейше. Жизнь шла и мирно будто, но и сложно внутренне...

\*\*  
\*

В России у Веры осталась семья, которую очень она любила: отец (особенно ей близкий), мать и три брата. Во Франции из близких или ближайших — моя Вера. С Россией переписка в те годы нелегкая, с Парижем совсем просто. Ни той, ни другой Веры нет уже в живых, но из грасских писем, мою Верю сохраненных и недавно предо мной целиком всплывших, так явно почувствовалось былое, дорогое и близкое, что вот появилось желание помянуть Веру Бунину, со всеми ее Скатертными переулками, безответным отцом, братьями, матерью, со всей грасской жизнью под началом Ивана с редкостной его талантливостью, но и трудностью, и с неиссякаемой любовью Веры к моей Вере, в которой, конечно, для Ивановой Веры сосредоточилась на чужбине чуть не вся Москва и юная жизнь с курсами Герье, вечерами на Спиридоновке, Литературным кружком, Палестиной и Розой Иерихона.

«В знак веры в жизнь вечную, в воскресение из мертвых, клали на Востоке в древности Розу Иерихонскую в гроба, в могилы.

«Роза» эта — скромный волчек, сухой стебель. Но обладает чудесным свойством: пролежать годы, а если опустить концы в воду,

---

---

начинает зеленеть, распускаются мелкие цветочки бледно-розового цвета».

Вот и пачка писем, будто незаметный и иссохший стебель, но любовью внутренней оживленный, раскрывается и расцветает в писанин одной Веры к другой.

В том повествовании Вера Бунина такая как есть: пред Верой Зайцевой она так же проста и неприкрашена, как пред самой собой, делится днями жизни своей, важное и неважное чередуются, главное — есть с кем побеседовать.

«Дорогая моя Верочка, оба твоих письма получила. Не сразу ответила потому, что пользуюсь всякой минутой, чтобы пожить прежней жизнью, т. е. заняться любимым делом, своим собственным. Ведь в Париже (...) нет возможности сосредоточиться, уйти в себя, почитать серьезную книгу. А письма те же гости, то же общение, а не уход в себя (...) поэтому я очень запустила ее. Теперь второй день пишу, вернее вторую ночь.

Я почти всегда дома, даже на пляже бываю редко. Знакомых на Ривьере уйма, но мы выдаемся с немногими и не часто». (13 апр. 1925).

Следует довольно большой перерыв — думаю, не все письма сохранились. Но и сама Вера признает перерыв.

«Дорогун мой, целую вечность не писала я тебе! Соскучилась даже». «Ян<sup>1</sup> занят большой вещью. Работает до полного изнеможения. Я всегда настороже, чтобы переписывать ему. Семнадцать дней занимаюсь английским, потом будет перерыв до начала сентября, а в сентябре снова, Бог даст, примусь за него. К декабрю овладею им. Чувствую себя гораздо лучше и физически и душевно. Целую тебя и Борю. Твой Верун». (15 июля 1927).

«Дорогой Золотун, третьего дня написала тебе писульку, а вчера получила твое послание. Сейчас захотелось поболтать с тобой. Все писатели ушли гулять, а я благодаря нездоровью осталась дома, смерть люблю быть совсем одна!»

«А сегодняшний вечер вызывает у меня много размышлений: полгода как я уехала в Villejuif, готовилась к операции, стояла перед лицом смерти, и т. д. Поняла, что значит быть инвалидом, радость выздоровления и спокойное отношение к страданиям. Поняла, прочувствовала до конца твои слова: «человек рождается один, страдает один, умирает один» — значит и жить должен уметь один. Да, эти полгода, вернее год, можно считать за двенадцать лет, месяц за год. Радостно, что говели».

Определенно тут ничего сказать нельзя. Но впечатление такое, что обе подруги пережили за это время нечто нелегкое и глубокое — это тайна их сердец.

---

<sup>1</sup> Всюду Ивана она называет Яном.

---

---

И в том же письме об Иване: «Ян в периоде (не сглазить) запойной работы: ничего не видит, ничего не слышит, целый день не отрываясь пишет... Как всегда в эти периоды он очень кроток, нежен со мной в особенности, иногда мне одной читает написанное — это у него «большая честь». И очень часто повторяет, что он меня никогда в жизни ни с кем не мог равнять, что я — единственная, и т. д.».

(В этом месте прибавлено: «это между нами». Никого уже нет в живых, полагаю, что теперь можно сделать, чтобы и не только «между нами». — Б. З.) «... Мережковских<sup>2</sup> видела раза три. Они со мной милы, но некогда мне все поехать и начать «роман» с Зинаидой Николаевной, а любопытно было бы... Целую тебя нежно. Поцелуй Боруха. Жаль, что я не видела его после Афона.<sup>3</sup> Яну очень нравятся его путевые картины.

Вера (17 июля 1927)».

«Дорогая Веруня, родная моя, спасибо тебе за твое письмо и за открытку, я все без слов поняла и оценила. Было грустно, что ты далеко. Но, может быть, и лучше. В одиночестве переживаешь все до конца и затем находишь скорей тот или другой выход. В самом тяжелом положении есть своя хорошая сторона. Это потребность, и сильная, быть одной. А ведь только когда ты одна, ты можешь идти куда хочешь и насколько хочешь...»

... Я не могу сказать, чтобы чувствовала себя плохо. Конечно, тон моей души сейчас грустный, но даже не за себя, а за мир. Как люди портят все, что имеют и даже не получают никакой радости за эту порчу. Все происходит главным образом потому, что жизнь наша не проникнута религиозным сознанием, что мы не умеем вовремя сдержаться.

(...) За молитву спасибо,<sup>4</sup> хотя я знаю ее и очень люблю. Как ты обходишься с деньгами? Я кое-что сделала, не знаю удачно ли, т. е. получила ли ты несколько сот франков или нет из одного места.

Фондаминский возмутился, что не дали Боре еще аванса.

Целую тебя и Наташеньку».

(Письмо без даты. Отношу его к лету 1927 г., когда я вернулся с Афона. — Б. З.).

## II

1928 год открывается письмом от 13 мая, опять уже из Грасса. (Пасху Бунины провели в Ментоне). Вот отрывок из письма этого: «Я говела в Ментоне на Страстной. Русские в Ментоне из прошлого

<sup>2</sup> Они жили тем летом в Канн.

<sup>3</sup> Я ездил на Афон весной 1927 г.

<sup>4</sup> Очевидно, моя Вера послала ей текст некоей молитвы.



---

---

века, мне казалось, что я в детстве: у меня юбка до колен, а вокруг длинные платья, шляпы со стеклярусом, с перьями, старушки в чепцах, старики с бакенбардами.

У заутрени не были, пошел дождь, идти было далеко, даже жутко, церковь в Ментоне стоит в глухом месте. Мне было грустно. Я не спала до 12 ч., а затем пропела трижды «Христос Воскресе!» А Пасхи так и не ели».

(...) «У нас прислуга до 6 ч. веч., и потому пусть Борюшка не стесняется, и если ему приятно провести с нами время, то мы с радостью будем ждать его, напишите только, когда он приедет».

«Борюшка» предложением воспользовался и две-три недели, проведенные им у Буниных в Грассе летом, остались очень светлым воспоминанием. Да, на вилле Бельведер еще одним писателем прибавилось. Теперь мы вчетвером — Иван внизу, Зуров, Галина и я наверху, все в своих углах строчили по утрам каждый свое, а во второй половине дня, на автокаре, с небольшой площади, под платанами, закатывались в Канн к морю и до одурения купались, особенно я. Но годы были еще ранние, все сходило благополучно (Иван не купался). Вечером же, за ужином, на террасе Бельведера, под средиземноморскими звездами, все это орошалось грасским красным вином (макароны, сыр...). Провансалец Жозеф подавал его в итальянских оплетенных бутылках, быстро облегчавшихся (моя Вера приехала позже).

Этот год был для эмиграции довольно знаменательным, осенью в Белграде сербское правительство устроило съезд русских эмигрантских писателей и журналистов — все прошло очень торжественно и серьезно. Но Иван по каким-то своим соображениям не поехал — думаю, из-за Мережковского.

«Дорогая Верочка, твое письмо к первому октября получила в самый день мой (именины, 30 сент. — Б. З.), очень благодарю, целую за него (...) Мережковские парят, бредят Сербией, их чествование приравнивают к мировому событию, но мне кажется, что это чуть-чуть слишком. Дмитрий Сергеевич все повторяет, что такой орден только еще у одного сербского писателя, а об Немировиче молчит». <sup>5</sup>

Вот выдержки из письма уже следующего, 1929 года (20 окт.):

«Я ездила в Ниццу в ночевку, была у всенощной, богослужение было пышное, архиерейское. Потом я поужинала на набережной виноградом и хлебом и тихонько пошла домой. Утром исповедывалась и причащалась. Потом со своими завтракала — они приехали утром.

---

<sup>5</sup> Василий Ив. Немирович-Данченко тоже получил орден св. Саввы 1 степени с лентой через плечо.

---

---

Затем Галина купила себе халат, а у меня так разболелась голова, что я была не в состоянии ничего себе выбрать, хотя Ян и предлагал купить «подарок». Да мне как-то ничего не хочется, кроме душевного спокойствия и любви к миру. Молилась за Лешеньку, я весь этот месяц думаю о тебе, о твоих муках, хотелось бы быть с тобой, говорить о нем. И мне как-то жутко, что взяли его накануне Покрова». <sup>6</sup>

Дальше, в том же письме: «Мы ведь, или те с кем мы — цветы жизни, роскошь ее. А мне думается, что счастье простое, наивное, о котором говорит Христос, в жизни простой, не бросающейся в глаза обстановки. Везде, конечно, и зависть, и соперничество, но среди людей искусства это чувствуется острее, а между тем, давно пора понять, что в конце концов всегда 'позолота сотрется, свиная кожа останется', что ни делай, как ни лезь из шкуры, время всех и каждого поставит на свое место . . .» — «Я счастлива, что живу далеко от злобы, зависти и соперничества. Как-то здесь мало трогает то, что трогает в Париже. Да хранит вас Господь. Всех целую. — Твой старый друг».

За 1929 год это единственное сохранившееся письмо. Следующее помечено 1 окт. 1930 или 31 гг. — опять связано с именами обеих Вер. «Милый мой Золотун, твое письмо, которое я никому не показала, очень меня порадовало — прямо подарок ко дню Ангела (. . .) — Почему ты думаешь, что я не могу понять тебя? Кто лучше меня знает твою душу? Боря? Наташа? Нет, близкие всегда знают не до конца. Надо отойти, чтобы знать. А душа, т. е. наше 'я' не меняется, он только частенько бывает завалено всякими наслоениями и мусором, потому и бывает оно невидимо. Я теперь занимаюсь тем, что разгребаю вокруг своего 'я' и порой чувствую себя ближе к той, какой была в шесть лет, чем в двадцать пять, тридцать.

Завидую, что ты приобщилась 17 сент. Я было хотела поехать в Ниццу, да нездоровилось, кроме того, не хотела огорчать наше младшее поколение, для них большое развлечение мои именины: капитан вымел сад, Галина украсила весь дом цветами, убрав его предварительно, затем ели до отвалу меренги . . . В нашей однообразной жизни такие дни очень ценятся. Если будут деньги, может Бог сподобит причаститься на Покров. Мне тоже иногда хочется пойти странствовать».

Две последние фразы довольно загадочны. «Если будут деньги» . . . съездить в Ниццу из Грасса пустое дело в смысле денег,

---

<sup>6</sup> Дело идет об Алеше Смирнове, моем пасынке. Большевики расстреляли его, вместе со многими юными офицерами, в Москве в 1919 году, ровно за десять лет до этого письма.

---

---

но жизнь Буниных до Нобелевской премии была вполне необеспеченной, иногда деньги появлялись, потом вдруг исчезали. Все же странно себе представить, чтобы поездка в Ниццу могла быть трудной с этой стороны. Насчет «странствовать» — думаю, что и у парижской Веры, и у грасской это было временное настроение, связанное с некими нелегкими переживаниями. Обе они были чрезвычайно *русские женщины ames slaves*. Не вижу как-то жену французского писателя, собирающуюся стать странницей, хотя бы по временному настроению.

\*\*  
\*

Письма 1932 года открываются описанием похорон общего нашего друга Владимира Николаевича Лодыженского, скромного и достойнейшего писателя, скончавшегося в начале года на Ривьере

23 янв. — «От ворот гроб несли на руках. Нес и Леня». <sup>7</sup>

«Мне было приятно, что хоть один писатель, несет его. Ведь только 'наши дети' представляли литературу, которою он всегда жил. Ян не поехал. Была очень дурная погода, у него того и гляди ишиас начнется... — Почему-то я все думала о тебе и до боли хотелось иметь тебя рядом.

... Когда Наташина свадьба? Кто будет шаферами? Сегодня письмо от папы. Он, слава Богу, здоров, хоть из дому ему выходить трудно. А у Андрея Георгиевича <sup>8</sup> был второй удар, хоть и легкий, все же на несколько дней отнялась нога. Теперь он не выходит. Очень их всех жаль».

Это начало тоски по близким, оставшимся в России. В дальнейшем тоска эта будет расти, но сейчас Вера все еще под впечатлением кончины Лодыженского.

24 февр. «Милый мой Золотун (. . .) чем более думаю о Владимире Николаевиче, тем больше начинаю ценить его за его смирение и редкое благоволение ко всем людям».

Вера права. Лодыженский был достойнейший человек. В свое время был близок с Чеховым. В письмах Чехова есть прелестные, шуточно-дружеские строки о нем. Мы с моей Верой очень любили и почитали его.

Из дальнейших строк письма Веры ясно, что в частном богатом доме в Париже устраивался какой-то вечер в нашу пользу — играли в покер. Моя Вера была, видимо, этим смущена. Подруга пишет ей из Грасса: «А ты не огорчайся, что наши «благодетели» в пок-

---

<sup>7</sup> Л. Ф. Зуров.

<sup>8</sup> Проф. Гусаков, близкий друг Муромцевых.

---

---

кер играли — «кому что дано», как говорил один мужик». (Наверное, слышала Вера это выражение от Ивана — он неистощим был в таких вещах). «Не все ли равно, каким образом получать деньги, все мы живем главным образом подаванием. Книг никому не нужно. А писателей все же поддерживать нужно, так как без них у эмиграции совсем не было бы никакого оправдания. Если о России говорят, что она велика лишь Толстым, Гоголем да Достоевским с Пушкиным, то что сказать об эмиграции, если отнять у нее писателей? Слава Богу, что 5000 фр. помогли вам, это главное, а все остальное ерунда, все канет в вечность».

(. . .) «Погода чудесная. В саду цветут мимозы, по зеленому дереву распустились красные анемоны, семь этих бархатных чашечек распустились у меня на столе, который тоже зеленый» . . .

(. . .) «Ян чувствует себя очень тяжело. Не по нем жить безвыездно, без людей. Ему скучно. А писать он может, когда его душа играет, а где взять игры, когда одни заботы».

23 мая. «Ян вчера все говорил, как бы он хотел, чтобы Боря приехал к нам. И это было бы чудесно, если бы наш подлец хозяин переменял кровать. И Боря до приезда Наташи пожил бы у нас. Как только увижу хозяина, буду с ним ругаться. Подумай, иметь кровать, на которой нельзя спать! Если бы мы не были так à sec, то сами купили бы сомье. До чего обидна бедность!».

Этот последний «преднобелевский» год для Буниных, для Веры особенно, был очень труден. И безденежье, и боль за близких в Москве.

Письмо 17 окт. 32 г. «Дорогой мой друг, Верусь, спасибо за письмо, крепко тебя за него целую. Я накануне Покрова была в Каннской церкви, очень молилась за Лешу и за вас всех. Я была в большой тоске из-за папы. Мне Соня Рохманова прислала письмо, что он «почти голодает», так что «жаль на него смотреть», ибо давно не имеет ни масла, ни сахара. Просит прислать для него немного денег через Торгсин, а у нас сейчас хоть шаром покати, а живем мы сейчас так скромно, как никогда не жили, каждый день сокращаемся и сокращаемся. Надеюсь на чудо, о чем и молилась. Решила у кого-нибудь занять, а потом отдам, напишу, или у Яна будут деньги, но все же это ужасно! Действительно, последние годы папа почти в забросе. Главное, нет ухода. Ему приходится самому накладывать заплаты, убирать комнату и это в восемьдесят лет!

(. . .) Бог даст, как-нибудь проживем (. . . —) в ноябре (. . .) — начнется холод, с кот. трудно будет бороться, если откуда-нибудь не свалится чек. Должны были получить за перевод книги Яна на шведский, Ян ждал деньги еще с сентября, да что-то не присылают и, если не пришлют, то померзнем. Но в Москве мерзнут еще больше, а все-таки как-то живут.

---

(. . .) P. S. С людьми не духовными мне теперь скучно, безрадостно».

13 ноября/31 окт. «Дорогой Друг мой, всей душой я с тобой сегодня,<sup>9</sup> буду и завтра. Знаю, что ты будешь тосковать и уже тоскуешь. Тоскую с тобой и я».

Из дальнейшего видно, что в этом году Бунины ждали премию Нобеля, но еще не получили.

«Я чувствую большое утомление, оказывается, ожидать, даже без большой надежды, вещь нелегкая» (. . .) «Ян, слава Богу, пишет с утра до вечера, мы его видим лишь за едой. Пока мы «оттуда»<sup>10</sup> получили лишь коротенькую записку с сильным *возмущением*. Видимо, не решились дать русскому. Нет, «деньги и нас не любят».

«Пока Ян пишет, ça va, а вот когда кончит, вероятно, загрустит». . . «Мучает меня папа. Значит, плохо, если Соня написала, сам он никогда ни звука, ни единого стога за все эти проклятые годы».

10 дек. 1932. «Если бы ты знала, дорогой друг мой, как мне что-то грустно. Сегодня день Ангела Севы.<sup>11</sup> Вспомнилась его неудачная жизнь. Чувствую и свою вину перед ним. Ах, как мы не понимаем другого человека и если и понимаем, то только не до конца. — Как хорошо сказала одна замечательная душа: «Пропасть между душами может быть заполнена только Богом».

У меня теперь совершенно разное отношение к людям верующим и равнодушным к Богу, с первыми мне кажется легко до всего договориться, найти общий язык, а со вторыми точно в детскую игру играешь: «Барыня прислала сто рулей».

(. . .) «Ты очень хорошо дала Сирина. Я вполне с тобой согласна, особенно с тем, о чем ты не написала. Думаю, мы оцениваем его одинаково».

Следующий, 1933 год, был для Буниных особенным.

Иван получил, наконец, Нобелевскую премию (осенью). Начало же года по письмам Веры приблизительно в том же тоне.

14 марта. «Дорогие мои, то, что вас ожидает, со мной уже случилось. 5 марта скончался папа».

Вера пишет довольно подробно о кончине Николая Андреевича. Видимо, и ушел он в том же смирении, кротости, как и жил. «У меня на столе белоснежные фиалки и белоснежные нарциссы — такой белой непорочной была и душа папы».

16/29 марта. «Веруня, радость души моей, как мы связаны: папа скончался в день рождения Леши. Значит, до скончания века нам с тобой в один день поминать их вместе. Да и они любили друг дру-

---

<sup>9</sup> Годовщина гибели Леши.

<sup>10</sup> Из Швеции.

<sup>11</sup> Брат Веры, Всеволод.



---

---

га. Ежедневно, вернее ежечасно я думаю о тебе, о том горе, которое тебе предстоит<sup>12</sup> и молю Бога, чтобы Он и тебе ниспослал сил переносить его. Главное, собери себя с самого начала и не распускайся дома, лучше уходи к близкой душе. А дома держись. Я, по крайней мере, изо всех сил бодрюсь со своими. Предпочитаю написать письмо и в письме поговорить о том, что на душе, чем говорить со своими, ибо тут легко перейти меру, а письмо все же ограничивает.

(. . .) Молюсь я и об Алексее Васильевиче и Елене Дмитриевне,<sup>13</sup> ведь ты знаешь, как их люблю, и болезнь его очень меня мучает. Дай Бог лишь силы ему вытерпеть свои муки.

(. . .) Целую тебя и Борю со всей нежностью».

17 апр. «Христос Воскресе! Дорогая Веруня, ты может быть знаешь о новом ударе, меня постигшем? О болезни Павлика.<sup>14</sup> Он в нервной больнице. У него туберкулез. Прописано усиленное питание, а в больнице дают бурду вместо супа (. . .) Павлик в первый раз за все эти страдные годы попросил послать ему 15-20 франков. Сию минуту я не могу. А между тем это нужно сделать как можно скорее.

(. . .) В Светлую заутреню были в Каннской церкви. Разговлялись у Фондаминских. Мне было тяжело ужасно — первый раз в жизни я в церкви в эту ночь не испытала радости — приходилось удерживать слезы. А на жратву было тяжко смотреть — все представляла Павлика в больнице, голодного, одинокого, с думами обо мне и с печалью трагической о себе».

В письме от 4-го мая: «Никогда в жизни я не переживала таких тяжелых дней и почти все время была одна. Главное мучило, что там голодают, что не могу я ничем помочь, и до безумия хотелось быть там. Ты это понимаешь, а потому я и пишу тебе».

### III

Лето 1933 года проходит довольно спокойно и неопределенно.

Приближается осень, время присуждения Нобелевских премий. Несомненно, у Буниных были некие предварительные сведения о кандидатуре Ивана.

В начале октября обычные взаимные приветствия подруг (именины). Но в письме от 8 ноября тон иной. «Дорогой друг Верочка, спасибо за письмо, за те чувства, которые в нем сквозят. Сегодня трудный день. Скрывать не буду. Но большой надежды не имею.

---

<sup>12</sup> Намек на болезнь А. В. Орешникова, отца моей Веры. У него был рак.

<sup>13</sup> Родители моей Веры.

<sup>14</sup> Брат Веры Буниной, в Москве.

---

---

Для счастья надо родиться Тарасконским парикмахером.<sup>15</sup> Какой великий беллетрист и юморист Жизнь! Но что бы ни случилось, надеюсь принять спокойно».

В этом много Веры. Ее основательности, любви к порядку, выдержки. «Я сегодня убрала à fond свой шкаф, постелила на стол белую бумагу — все равно надо как-то по-новому жить: спокойно глядеть в будущее, перестать гадать. Или тихо вести нашу жизнь, энергично работать, или... Во всяком случае буду рада, что так или иначе дело разрешится».

Оно, действительно, и разрешилось. Иван премию получил, чуть ли не на другой день (точно не помню). Знаю, что треволение в Грассе было великое (более чем понятно). Треск телефонов, журналисты из Ниццы, телеграммы, поздравления, приезжих нечем и угощать было, но над всем нервно-восторженный туман.

Некое полоумие охватило и русский эмигрантский Париж. Я сам чувствовал себя именинником. «Наша взяла!» Убогая нищенская эмиграция вдруг «победила», да еще в европейском масштабе! Помню название своей передовой в «Возрождении»: «Победа Бунина». <sup>16</sup> Первый и наверное последний раз в жизни писал я в типографии, во втором часу ночи.

Скоро приехал и Иван в Париж; мы с Алдановым, Андреем Седых встречали его на Лионском вокзале. Но Веры Буниной не было.

Она позже приехала. Тут начались сумасшедшие дни. Аппартамент в «Мажестике», журналисты, рестораны, чествование Ивана в театре „Champs Elysées“, море народу, Вера Бунина в ложе с митрополитом Евлогием — все это продолжалось с неделю, а потом с тем же Алдановым, моей Верой, кучей друзей проводы Ивана с Верой, Галиной Кузнецовой и Андреем Седых на Северном вокзале — в Стокгольм.

12 декабря, уже из Швеции, коротенькое письмо Веры: «Дорогая моя Веруня, все идет хорошо. Официальная часть празднования кончена. Теперь будут чествовать простые смертные. Два обеда провела в обществе королевских особ. И оба мои соседа оказались очень культурными людьми, кронпринц археолог и принсе Eugène художник. Зала, где был обед, необыкновенно красива. Чудесные gobelens. Замечательные серебряные подсвечники, вазы. Тарелки были тоже серебряные сначала, а затем чудесного фарфора».

Да, разница с Грассом, где иногда не хватало десяти франков, немалая. Но надо сказать, что Вера вообще говоря, была бессребренницей, ее радовал, конечно успех Ивана, но никакого тяготения к роскоши, блеску в ней не было.

---

<sup>15</sup> Парикмахер из Тараскона выиграл крупную сумму в Национальной Лотерее.

<sup>16</sup> Или, б. м., «Победа эмиграции».

---

Все-таки, потрясение большое. Премии ждали годы. Она освобождала от постоянной угрозы безденежья — по крайней мере на известное время.

16 февр. 1934 года из Грасса: «Дорогой мой, золотой, не писала никому только потому, что не было сил. Я здесь вполне почувствовала свою усталость — каждое письмо оказывалось настоящим трудом».

Понемногу, конечно, все вошло в норму. Но жизнь Буниных несколько изменилась. Галина Николаевна уехала в Геттинген, где выступала в опере Маргарита («Марга») Степун, сестра известного писателя, ее новая приятельница. А затем и вовсе покинула Буниных. Зуров тоже уехал в Прибалтику, занимался там археологией.

В 38-39 гг. Бунины жили близ Монте-Карло, несколько выше моей дочери Наташи — она и нашла им небольшую виллу, куда вела от нее каменная лестница среди виноградников. Бунинская местность называлась уже Beausoleil, а не Монте-Карло.

19. 1. 1939. «Дорогая моя Веруня, сегодня Крещение. Вчера была в церкви ментонской у всенощной, народу там было очень мало, привезла святой воды. Мне здесь очень недостает церкви, а ездить дорого, всегда франков десять обходится. Не удалось и причаститься, радуюсь за Вас, что Вы причащались».

Что для жены Нобелевского лауреата десять франков «дорого» — кажется странным. Правда, прошло уже пять лет. Часть премии Иван роздал сотоварищам литературным, остальное ушло в некоей беспорядочности, размахе после долгого поста — по стародворянской привычке Иван был отчасти расточителем. В данное время он в Париже, один. «Не знаю, когда приезжает Ян. Думаю, что на днях, так как не прислал денег. Я как-то очень беспокоюсь за него». (Беспокоится о его здоровье. — Б. З.). Но вообще за это время много она беспокоилась и страдала и за больного брата Митю в Москве, и за проф. Гусакова, угасавшего там же. Вообще беспокойства и страдания из-за других весьма для Веры характерны и хоть хотелось ей иногда слыть гетерой, к гетерству это нисколько ее не приблизило. Вот отрывок из письма ко мне. «Хочется написать тебе и по делу, то есть это не хотение, а необходимость. Дело будет идти о Тэффи. Я уже написала об этом Алданову. Она прислала мне отчаянное письмо. Положение ее очень тяжелое. Я знаю эту болезнь . . . — Знаю, что это за страдания и знаю, что она будет очень долго «безработной». Поэтому, необходимо сделать сбор. Поговори с Марком Александровичем.<sup>17</sup> Составьте воззвание. Чьи подписи? Яна или мою? Марка Александровича? М. б. Милюкова, или Мариин Самойловны?<sup>18</sup> и еще

---

<sup>17</sup> Алдановым.

<sup>18</sup> М. С. Цетлина, всегда много делавшая для писателей.

---

---

какой-нибудь дамы с именем. Словом, Вы не хуже меня знаете. Но, главное, нужно найти на чье имя собирать деньги.

Тут Вера как рыба в воде. Идут дальше советы, имена, способы обстрела обреченных — Вера все это даже любила и в совершенстве знала, как надо действовать. Кроме природной доброты и отзывчивости, была у нее и «профессиональная» какая-то черта: ей нравился артиллерийский огонь по богатым еврейским домам (дай Бог им здоровья — главная наша опора в таких начинаниях). Ускользнуть от Веры было трудно: с не-гетерской основательностью собирала она адреса. («У меня, голубчик, есть черный список. Ни одна не уйдет»). И действительно, черный список существовал, и к нему прибегали и тогда, когда устраивались большие балы благотворительные нашего Союза Писателей (залы «Лютетици») и когда трудно становилось кому-нибудь из отдельных писателей, начиная с самого Ивана (до Нобелевской премии).

На наших балах Вера всегда участвовала в дамском комитете. Бывало и так, что в отдельных случаях составлялись *commando* из двух-трех писателей для прямых атак. Туда чаще всего входили мы с Алдановым или Дон-Аминадо. Такие нападения неотразимы. Помню, мы с Аминадо раз попали в квартиру, где оказалось семь уборных (она занимала целый этаж большого дома) — собирали на отъезд одного более молодого писателя в Америку. Уборные помогли — он процвел в Америке.

«Размножить 'воззвание' можно в типографии и подписи будут печатные, так Мережковские сделали для последнего вечера» — опять замогильный голос Веры, не без волнения вписываю эти строки, отзвук давнего эмигрантского бытия, свидетелем коего из нашего писательского сословия чуть не я один и остался. Писала мне это Вера из «Красного солнышка» по старинному — *Beausoleil*, — той виллы близ Монте-Карло, которую наняла Буниным моя дочь. А был это роковой и для Франции, и для всего мира 1939 год.

Еще удивительней звучит теперь письмо чуть не за день до объявления войны, 31 авг. 1939 года:

«Веруня, сердце мое, спасибо за письмо, за твой тон в нем. Рада, что Вы развлеклись». (. . .) «Был Сорин, хотел писать Яна, но не вышло (. . . «Являлся Роцин, раз ночевал, затем пропал». И дальше в том же роде, совершенно накануне катастрофы, перевернувшей все наши жизни.

Не помню, как это случилось, но в начала войны Бунины уже опять в Грассе, но со своей прежней виллы Бельведер переезжают на другую, покинутую владельцами-англичанами, в Грассе же.

27 сент. 1939, 4 час. утра. — «Дорогая моя Веруня, последняя ночь на Бельведере. Долго вечером из большой спальни смотрела на Грасс в месячном свете, без единого огня. Непередаваемо хорошо.

---

---

Четырнадцать лет этот вид был перед глазами. Вероятно, больше никогда не будет. Пережито очень много. В будущем новое. Новые страдания. Иногда радости. Все надо научиться принимать. Наша новая вилла еще выше. Вид шире, иной, в другую сторону. Видела при солнце. Божественно, но от этого еще тяжелее. Тоскую без церкви. В субботу надеюсь поехать и причаститься . . . — Часто говорим о Вас всех. Скажи Наташе и Андрею, что я молюсь о них. Дай им Бог сил и бодрости . . . — Обнимаю тебя, Борюшку, Наташеньку и Андрея. Храни Вас Бог, Ян всех целует».

#### IV

Войну и оккупацию Бунины прожили на юге, в том же Грассе, на этой самой английской вилле. Переписка двух Вер ослабевает, письма становятся реже — быть может, из-за условий времени военного. Но тон прежний. «Дорогие друзья, 4 апреля я всей душой была с Вами. Надеюсь, что и материальный успех был хороший» (1940 г.).

4-го апреля! Через два месяца немцы будут уже в Париже, а мы, очевидно, устраивали какое-то мое чтение, наверное в Консерватории — да ведь есть-пить надо, и за квартиру надо платить. А Вера пишет: «Настроение мое сверхполитическое. Устремляюсь на ту сторону».

«Вот и июнь! Время летит необыкновенно быстро, моя дорогая Веруня . . .» — Действительно, быстро: это июнь уже 1943 года. «Однообразный, правильный образ жизни, конечно, очень скучен, хочется порой видеть близких друзей, знакомых. Но я ежедневно благодарю Бога за то, что мы в такое тяжелое время сравнительно в хороших условиях. А я живу гораздо более однообразно, чем он.<sup>19</sup> Но ведь Царствие Божие внутри нас. Я думаю, что Яну тяжело не от внешних условий. Тяжело ему будет везде». Что хотела сказать этим Вера, что именно разумела, сказать не могу. Но угадала. Начиналось последнее десятилетие его жизни, едва ли не самое для него горькое.

Два письма Веры этого времени и ко мне. «За эти годы бывали периоды, когда ты мне очень недоставал». — Тут дело идет о Флобере, которого мы оба очень почитали, Вера тоже его переводила (.Education sentimentale“) под «редакцией» Ивана. Думаю, что редакция эта была более чем поверхностна. Флобера он очень высоко ценил, но чтобы возился с чужой фразой . . . что-то на него непохоже.

Второе письмо — о бомбардировке Булони и Парижа. Видимо, я описывал ей ее. «Всегда после известий о бомбардировке Парижа

---

<sup>19</sup> Иван.



---

мы мучительно ждем вестей». Все письмо в весьма ласковом дружественном тоне.

19 февр. 1944 г. «Сегодня пришла твоя открытка, дорогая моя Веруня, известившая о смерти Елены,<sup>20</sup> и целый день тоска. Я более кошмарной жизни, чем ее, не знаю. Почему-то вспоминается она мне все на rue Raynouard в золотых башмаках, вскоре после их приезда из Москвы в Париж,<sup>21</sup> куда-то спешащая, в каком-то странном плаще. И что ей пришлось заплатить за свою такую преданную любовь! Чего она не вынесла. Жутко все это представить, и все же она была как-то счастлива, даже удовлетворена своей такой кошмарной жизнью... Я никогда не слышала от нее ни единой жалобы на своих, особенно на Него!» (Вера пишет Бальмонта с большой буквы. — Б. З.) «В этом было даже какое-то величие. Все с нее скатывалось, как с гуся вода, вот, действительно, несла свой крест с радостным лицом. А как она себя держала после смерти Бальмонта? Изменилась ли она душевно, или все так же стойко переносила все удары?»

Ответа моей Веры на это письмо у меня нет. Я же знаю только, что Елена Константиновна не надолго пережила Константина Дмитриевича, умерла чуть ли не через год после его кончины.

К моим именинам, в начале августа, в том же 44 году, Вера прислала мне поздравительное письмо. Привожу из него отрывок — (наш духовник и друг, покойный архимандрит Киприан (Керн) написал в связи с праздником Преображения нечто Ивану, к которому хорошо относился). «Передай, пожалуйста, о. Киприану, что мне очень близко все, что он написал Яну о преображении Плоти». (Собственно, Вере все это было гораздо ближе, чем Ивану). «Но то, что я смутно до его письма чувствовала, теперь озарилось и я перечитываю его строки. С детства мой любимый был праздник Преображения, м. б. и оттого, что освящались яблоки, груши. Потом чудо Фавора меня всегда глубоко трогало, но вполне я долго его не понимала. Когда мы проезжали мимо этой горы в наше «грешное» свадебное путешествие, которое все же было хорошо, то Ян что-то очень проникновенно говорил о том, что там совершилось. Но я в Святой Земле была далека от религиозного понимания. Но обстановка так действовала, что я уходила в детство, когда моя душа была проникнута верой и часто там жила детскими религиозными чувствами, связанными у меня с папой, который был тонко верующим человеком и в детстве много мне дал в этом отношении. А затем, увы! — я поддалась «властителям наших дум» и отошла на долгие

---

<sup>20</sup> Последняя жена Бальмонта, Елена Цветковская.

<sup>21</sup> В 1920 г.

---

---

годы от самого важного, что есть в жизни и собственно от того, для чего мы посланы в наш столь непонятный мир. А когда мало-помалу, как шелуха от лука, от меня отделилось все наносное, и я опять, почувствовав себя ребенком, обрела утерянное, дошла и до Праздника Преображения, на котором я присутствовала в чудесной церковке (... —) восьмилетней девочкой. И очень много думала об этом чуде Фаворском и кое-где верно чувствовала, помогли и Мережковские, но все же не до конца. И вдруг теперь, когда я в таком одиночестве в этом отношении, это письмо на эту тему. Поблагодари его от меня».

Да, одиночество. Пути Ивана и Веры в этом отношении оказались различны. В молодости и у него бывали порывы в запредельное, некие мистические настроения. Есть они и в «Розе Иерихона», и в только что приведенном Фаворе, во время «грешного» свадебного путешествия. Есть отзвуки даже в «Жизни Арсеньева», но в общем он от религии отошел. Особенно далеко было ему чувство греха. «Дорогой мой, я не убивал никого, не воровал...» — Он обладал необыкновенным чувственным восприятием мира, все земное, «реальное» ощущал с почти животной силой — отсюда огромная зрительная изобразительность, но все эти пейзажи, краски, звуки, запахи — обладал почти звериной силой обоняния, — думаю, подавляли его в некоем смысле, не выпускали как бы из объятий. В последние же годы старческой болезни и некие обстоятельства «общественно-политического» его поведения очень его ожесточили — вообще против всего и всех.

Письмо Веры от 5 ноября 1949 года — последнее из времен прежних безоблачных отношений между двумя семьями.

«Дорогая Верочка, очень была тронута твоим поздравлением,<sup>22</sup> поблагодарить, ответить у меня не было возможности.

... У всенощной перед Покровом я все время думала о Леше и почти видела его в трагическую ночь... Усталого, неспособного выпрыгнуть из окна». (В ночь на 1 окт. 1919 г. мой пасынок Алеша Смирнов был арестован в Москве. Он жил в нижнем этаже и окно его выходило в сад, не охранялось, он мог выскочить и спастись. Но значит, суждено было ему принять мученический венец. — Б. З.).

Это — последнее письмо Веры к Вере до тяжелых событий, разбивших многолетние дружеские мои отношения с Иваном.

\*\*  
\*

Закатные его годы были для него очень тяжки — и в Грассе на этой «английской» вилле и позже, когда Бунины окончательно переехали в Париж. Усиливались болезни, росла раздражитель-

---

<sup>22</sup> Именинным.

---

---

ность и слабость. Свет не мил. Все противно и все будто виноваты в его тягостях. Сил нет, денег тоже, положение в эмиграции пошатнулось. «Мимо, читатель, мимо» . . . горестно вспоминать все это и не хочется вновь переживать. Можно вообще только сказать, что в этой ссоре полуживого Бунина с эмиграцией главным «страдательным залогом» оказался он сам.

Вера была «верная» жена и, конечно, держала его сторону, как и моя Вера — мою. Для всех четверых это было тягостно, более всего, думаю, для Ивана (некогда был он главой и как бы непоколебимым стягом эмиграции). Вот последнее письмо Веры Буниной ко мне, от 1 сент. 1950 года:

«Дорогой Борис, Ян просит поблагодарить тебя за то внимание, которое ты оказал в его тягостном положении.

. . . Нужна операция, для чего нужно готовить несколько дней. Это мучительно, приходится делать уколы морфия. Временами Ян страдает нестерпимо.

Операция, вероятно, будет на следующей неделе. Поцелуй от меня Верочку. — Твоя Вера».

Иван скончался через три года, 8 ноября 1953 года, глубокой ночью.

При нем была одна «верная Вера». Вспомнил ли он в эти, или предшествующие часы, Розу Иерихона, дни света и счастья во «Святой Земле Господа нашего Иисуса Христа», где рассказывал Вере сорок шесть лет назад о горé Фаворе и Фаворском чуде? Этого я не знаю. Дай Бог, чтобы вспомнил.

Вера на несколько лет пережила его. За эти годы подруга ее молодости и всей жизни Вера Зайцева сама тяжело заболела. Но Вера Бунина ее не забыла. Спокойная, разумная, теперь очень уже немолодая, появлялась она у нас нередко. Стала еще бледней — малокровие всегда у нее было, теперь увеличилось. С моей Верой держалась дружелюбно, благожелательно и участливо, все же тень некая чувствовалась, и была эта тень — я.

Но главная и ни с чем не соизмеримая тень была приближавшаяся Смерть.

Веру Бунину взяла она в 1961 году, Веру Зайцеву в 1965.

---

---

## Д. КЛЕНОВСКИЙ

Женщины любившие поэтов,  
Дайте вас в столетях разыскать,  
Чтобы вам в глаза взглянуть за это  
И в прохладный лоб поцеловать!

Милые! Как быстро обернулись  
Вы на зов неслышный для других  
И сначала к песням прикоснулись,  
А потом к губам, что спели их!

И не вместе с вами ли бывало  
В эти души трудные вошло  
То, чего без вас им нехватало:  
Женское терпенье и тепло!

И за вашу верность, вашу нежность,  
За неповторимый ваш союз  
Вам дана бессмертия безбрежность,  
Россыпь строк и даже зависть муз!

Пусть слыла иная лишь подружкой,  
А была заботливей жены  
И не раз вы гейневскою «Мушкой»  
В жизнь поэтов были вплетены!

Все ж, как ни жалели, ни любили,  
Как других вы не были нужней —  
Об иной не знали иль забыли,  
Лишь поэт, прощаясь, скажет ей:

«Пусть тебя никто не опознает,  
Именем твоим не назовет,  
Но в моих строках твой взор сияет  
И твое молчание поет!

И моими о тебе стихами  
Я возьму тебя с собой туда,  
Где над ними — нет, о нет: над нами! —  
Небо просияет навсегда!»

1967

---

---

**Д. КЛЕНОВСКИЙ**

Есть в мире яркие цветы,  
Есть в мире звонкие прибои,  
Но вот ко мне прижалась ты  
И заменила их собою!

Ты всю себя дала в залог  
За эти баловства вселенной —  
Была и свежей как цветок  
И нежной словно шелест пенный.

И вот ненужно стало мне  
Входить в сады, спускаться к морю,  
Мечту о даях и весне  
Во мне твой облик переспорил.

И я тебе сказать могу:  
Как в олеандрах белой виллы  
На далматинском берегу —  
Мне хорошо с тобою было!

1967



---

---

**Д. КЛЕНОВСКИЙ**

Ночь была бессонной потому,  
Что одна строка не удавалась.  
Никогда я, видно, не пойму,  
Почему томит такая малость!

Что за тайна в этом ремесле,  
Радостном, упрямом и кровавом,  
В нем, принадлежащем на земле  
К самым мудрым и пустым забавам!

И когда привыкнуть к тишине  
Стало все во мне уже готово —  
Я услышал, как навстречу мне  
Вышло потерявшееся слово.

И сказало: вот нашлось и я!  
Я пришло сказать тебе об этом,  
Чтобы пытка кончилась твоя,  
Чтоб ты мог заснуть перед рассветом!

1967

---

---

**Д. КЛЕНОВСКИЙ**

**ДЕВУШКА**

Сколько было в ней очарованья,  
Жадных снов, необлетевших дней!  
Как она спешила на свиданье  
С беззащитной юностью своей!

А теперь . . . Его зовут любовью,  
То земное счастье (или зло?),  
Что морщинкой у нее в надбровье  
С той поры упрямо залегло.

И она уже совсем иная  
И несет в себе другим она  
Тот соблазн обманчивого рая,  
Кем сама была соблазнена.

1967

---

---

Л. РЖЕВСКИЙ

## СПУТНИЦА

(ЗАПИСКИ ХУДОЖНИКА)

1

Увидя на моем столе стопку исписанных полулистов в зацепке, Моб пожала плечами и сказала: О!..

Это ее «О!..» могло иметь множество разных смыслов в зависимости, главным образом, от мимического сопровождения. Теперешнее, с пожатием плеч и вскинутым подбородком, означало, примерно: «Еще один графоман родился. Поздравляю!..»

Но вот сразу же у меня — дань литературной неопытности: стопка записок — это уже позднее, смутное время. А начать надо с раннего, безмятежного, до «событий». Когда мы с Моб еще совсем мирно жили в одной туманной европейской провинции, и по утрам за нашими окнами клиноподобные, как клочья морской пены, носились чайки.

«Моб» — кличка моей сестры. Сокращенное *может быть* или *мобить*, как она это произносит, заключая свои скептические мысли-вслух и прогнозы.

Ей, Моб, уже за тридцать, она лет на десять моложе меня — последышек нашей большой семьи, почти полностью выведенной в расход свирепой бухгалтерией эпохи: кроме нас с Моб, кто-то еще в Ленинграде, затаившись, как мышь под веником («и пожалуйста, не пишите нам писем»...)

Непонятно, почему Моб до сих пор не вышла замуж. Во всяком случае, не из-за бесцветности: она и сейчас еще весьма хороша собой. Может быть, она слишком умна для своих поклонников.

Мы живем с ней ладно. Сказать по-модному, сосуществуем: взгляды на то, что происходит «там», у нас полярны. Я мостостроитель и постепеновец, она же — непримиримая «анти». Каждое утро, после раннего кофе, она ложится снова в постель, в пижаме, на

---

---

груди — транзистор, настроенный на северную нашу волну. Она слушает и кусает губы, пунцовые пятна вспыхивают на ее холодных, немного надменных скулах. И когда мелькну я в полуоткрытых дверях, она прорывается:

— Боже, как они лгут! Как могут люди *там* слушать это десятилетиями и не сойти с ума!

— Как могут люди *здесь* слушать это тоже десятилетиями и не перестать возмущаться! — говорю я не слишком громко — во всяком случае Моб делает вид, что не слышит.

Она вообще редко снисходит до споров со мной о политике. Она считает, что политика не моя область и что я, попросту говоря, ни черта в ней не смыслю. Моб убеждена, что я великий художник, и невозможно вывести ее из этого (как впрочем и из многих других) заблуждения. Она верит, что рано или поздно я напишу необыкновенную картину и сделаюсь знаменит. Кислые мины каких-то расстрепанных критиков и журнальных девиц, которых она приводит смотреть мои этюды, не смущают ее нисколько. Она сама выдумала мое «направление», в мудрености которого тонут подозрения в эпигонстве, и отыскивает в моих композициях какие-то мистические отражения и намеки, которых там нет, и которым вообще неоткуда было бы там взяться.

Моб религиозна.

На ее ночном столике неизменно стынет Евангелие, а в глазах — это случается иногда вечерами — отголоски некоторых астральных, я бы сказал, обращенностей и наитий. Мы сидим тогда врозь: я в своем ателье, Моб — в гостиной, выключив электричество и окунув ноги в вылегший на полу через окошко перламутровый свет.

Сидим долго, до полночи. Моб, я и Афанасий.

Афанасий — фонарь. Это его свет.

Странное прозвище вышло из следующего анекдота:

В первый же вечер, въехав в эту нашу квартиру и пока Моб, гремя кастрюлями, размещала в кухне свое хозяйство, я влюбился в наше ночное окно. Цельного стекла, оно выходило в городской парк. Две лиственницы, черные на буром небесном фоне, заплывали в это окно по краям, а посередке, на изогнутой по-лебединому шее, висел фонарь, бросая на ковер косяк перламутрового света.

— Моб! — крикнул я. — А фонарь светит как! . . . Погляди!

Моб — шатенка. Шатенки же, я замечал, часто приглуховаты.

— Афанасий? — переспросила она, не расслышав. — Какой Афанасий?

Так получил имя фонарь, наш сожитель. «Афанасьевской» я бы вообще назвал всю ту пору, предшествующую катастрофе. Безмятежную пору нашей жизни втроем.

Что еще — о Моб?

---

---

Днем она целиком на земле. Ее способности калькулировать житейские будни поразительны. Днем она помогает мне оживлять взятые на дом фарфоровые «слепыши». Да, потому что «великий художник» занимается разрисовкой местного меркантильного фарфора — ваз, сервизов, подставок и полоскательниц. Славы это, разумеется, не приносит. Но — деньги!

Министр финансов — Моб!

Как, однако, начать о главном?

С чего, собственно, все началось?

\*\*  
\*

Ранней весной — в марте, я думаю, — Афанасия выкорчевали.

Взамен подвесили уродливую неоновую линейку, отнеся в сторону от нашего дома.

И тогда в воронке между двумя листовницами вдруг обозначилась и повисла небольшая розоватая звезда.

— О!.. — сказала Моб, сведя у подбородка ладони, — и это означало у нее почти восторженность. Редкую, потому что сентиментальной она не была.

А тут она вытянула у меня из рук справочник, когда я хотел заглянуть в небесные святцы — установить родословную этой заместительницы Афанасия.

— Пусть она будет без имени, пожалуйста! — сказала она. — Это какая-то совершенно неожиданная звезда. Ее нужно обдумать...

И потом, в часы вечерних наших уединений, я часто видел из коридора ее пристывший к окну силуэт. Может быть, думал я, эта простенькая звезда на зеленоватом ситчике неба будит в ней какие-то воспоминания, — одно время я подозревал у Моб ностальгию, в которой она сама не призналась бы и под пыткой.

В общем, с исчезновением Афанасия все и пошло...

## 2

В один туманный мартовский полдень втиснулся в мою рабочую кабину на службе Вилли. Как всегда — боком, чтобы не задеть стенда с подсыхающими раскрасками, и от смущения сгибая в коленях длинные ноги. Этот Вилли, представитель на Восток нашей фирмы, был без малого двух метров ростом, и, когда останавливался за вашим стулом, у вас непременно рождалось ощущение чего-то рядом, грозящего обрушиться.

Он и обрушился.

---

---

— Пойдемте завтракать? — спросил он. — Ибо я хочу познакомиться с вашей женой. Она ваша землячка, тоже из Ленинграда. Если угодно . . .

Вот ведь как оглушил! Правда, я знал, что он со дня на день должен был возвратиться из командировки «оттуда»; одна из секретарш сплетничала даже, будто хлопчет жениться на русской; но что это осуществится так вдруг, не приходило мне в голову.

— Конечно, угодно! — сказал я.

Идя длинными коридорами в закускую, я почему-то представлял себе нечто массивное, подстать самому Вилли, округлое и дородное. Может быть, под впечатлением туристских фотографий с дебелими торсами на переднем плане, — Моб относил этот стиль за счет принудительной картофельно-злачной диеты.

Но она была невысока и тонка, как шурупчик, эта моя землячка. Весьма, я бы сказал, незаурядна собой; той незаурядностью, которую мы, художники, особенно ценим; которая не бросается сразу в глаза, но словно бы ввинчивается в вас постепенно, нарезом . . . Впрочем, это я забегаю вперед.

— Дина! — сказала она, привставши навстречу.

За литературный портрет не берусь. Карандаш — дело другое. Вечером того же дня я набросал по памяти манеру ее улыбаться: скупая полоска зубов, которая вызывала у вас желание распушить эту улыбку до конца; в округлявшихся ноздречках — сдерживаемая до времени сила и еще что-то, о чем речь впереди. Вернусь пока что к нашему первому разговору.

Оживленным он не был: обе стороны будто прикидывали вопросы-ответы свои на весы — не спросить бы чуть больше, не промолчать бы чуть дольше! Свободнее всех чувствовал себя Вилли: все перекатывал выпуклые глаза с Дины на меня — какое, мол, производит она впечатление.

В общем я узнал:

Что она работала в Ленинграде чертежницей в каком-то непонятно выговариваемом учреждении.

Что вечерами училась на фортепьяно и любит больше всего русскую музыку.

Что ей 23 года (это я высчитал сам).

Что Вилли обещал устроить ее в нашу фарфоровую фирму на полдня — тоже не то чертить, не то раскрашивать.

— Я должен познакомить вас с Моб, моей сестрой, — говорю я. — Придете?

Она будто немного теряется, сдвигает брови:

— У вас здесь, небось, много русских? Всяких там бывших генералов, не то князьев, а я, знаете, совсем не светская . . .

---

---

— Какие тут русские в этом городишке, Бог с вами! Князя — тем более. У Моб есть одна старосветская чета, тоже любители Чайковского, — и это все. Кстати: у нас есть и рояль.

— Ладно, — говорит она неуверенно. — Там поглядим! . . .

И как же вскинулась Моб, услышав про «князьев» и это «там поглядим». Я тут же решил быть наперед осмотрительным в рассказах, а вслух привел резоны в оправдание всяких обмолвок.

— Какие обмолвки! Их там выращивают в этой ненависти к несуществующим помещикам, которые будто бы все еще мечтают о своих имениях, к обыкновенной человеческой вежливости, которая якобы буржуазное притворство, и к прочему западному. Перед тем как выпустить, муштруют, наверно, особенно. Ей . . . — как там ее зовут?

— Дина.

— Дина? Фи! . . . Ей, мобыть, вообще запрещено водиться с эмигрантами. Да, да, не мотай головой! Очень возможно! . . .

### 3

Дина стала работать в нашей фирме, и мы ежедневно встречались по нескольку раз. Признаться честно: кое-что из рассуждений Моб приходило мне самому в голову во время этих наших встреч и разговоров. Какая-то настороженность сквозила в ее подвижных бровях и непонятное мне равнодушие ко всему местному, будто вся жизнь прожита была за границей.

Я говорю ей об этом.

— Чем, по-вашему, я должна восторгаться? — вскипает она. — Товарами? . . . Витрины, чтобы глазеть, есть и у нас в Ленинграде. Или ихними хваленными квартирами? На мой вкус в одной комнате удобней — все у тебя под рукой и убирать легче. Вообще-то мы дома, знаете, довольно хладнокровны к вещам . . .

И тут же, с чуть внятной краской от скул к вискам, заметив, что я рассматриваю ее новый свитер, расшитый бисеринками по вороту и плечам:

— Понятное дело, здесь много разных красивых пустяков.

— Вчера, — вставляет Вилли, — мы выбирали диван и совсем сильно поспорились.

Крыльшки ноздрей у нее вздрагивают и твердеют, и, сломав одну бровь, ложится на переносицу узкая ледяная складочка.

— Заткнись, Виллик! — говорит она.

Но потом лед стал таять.

Дина заходила иногда по утрам в мою кабинку, и я учил ее кое-каким приемам ремесла. В сиреневом топырившемся на узких ее плечах халатике и с вымазанными краской пальцами она выглядела проще и натуральнее. У нее было отличное чутье цвета и вкус к орнаменту. Мы сообща выдумали два-три новых мотива для слепышей, и ее расхвалили в лаборатории. К завтраку она явилась сияющая и даже вдруг высказалась одобрительно о некоторых туземных порядках. Потом сказала:

— Я непременно хочу поглядеть ваши картины.

— Приходите к нам ужинать. Например, в субботу.

— Ужинать?

— Вы не знаете еще, как Моб готовит.

— Ну что ж, — говорит она, подумав. — Пойдем к ним в субботу, Виллик?

И в субботу:

Мы ждем до восьми с накрытым столом. Я, по минутам мрачнющая Моб и пара старичков — любителей музыки. Эти — с особенным нетерпением: оба за рубежом с девятнадцатого года, и им кажется, что вот-вот сейчас должна произойти встреча с самой родиной; при каждом доносящемся с лестницы гуле она поправляет под подбородком старинный кулон, он — слуховой рожок на шнурочке.

Под салфеткой, уставая пахнуть, стынут ювелирной выделки пирожки.

А в восемь звонит телефон.

От смущенья, должно быть, русский язык у Вилли совсем плох:

— Дина не очень себя чувствует. Просим, пожалуйста, извинить. В другую оказию, если можно...

— В другую «оказию», — щурясь зловеще, — говорит Моб, — хозяйки дома не будет!..

Беда с ней!..

Героиней моих записок Дина становится постепенно — когда заходит в мою рабочую кабинку.

Это уже апрель. Солнце, не успевшее еще потеплеть, течет сквозь матовые ширмы у окон на пологий мольберт, пестрый перебор красок в фаянсовых ванночках, на узкие в сиреневых обшлагах запястья и проворные пальцы с острого, брусничного цвета, ногтями. Пальцы ухватывают то один стебель кисточки, то другой, от-



---

---

брасывают прочь, застывают раздумчиво на слепыше и вопросительно — на образце орнамента. Она что-то спрашивает у меня, Дина, а я не тороплюсь отвечать: мне приятно молча следить за ее движениями. Почему приятно — не могу объяснить . . .

Мне скоро пятьдесят, и я никогда не страдал сексуальной впечатлительностью; самые эффектные из моих натурщиц не лишали меня равновесия. А натурщицы в этом краю — сказать попутно — прелестны. С последней я делал единственную проданную здесь картину — «Ветер»: купальщица в рост у прибоя, сзади дюны и ветлы, покренившиеся от штормов. Когда она в моем ателье выпрямилась, заведя за спину локти, и струя воздуха (из парикмахерской сушилки) отбросила назад ее волосы, я не сразу обрел слова: так была она совершенна! . . . Моб находит, что в здешней их красоте мало духовности, что все прославленные их прелести — бедра, кожа, волосяные покровы цвета первозданной невинности — все это вроде отдельных статей ширпотреба и экспорта, как, например, были в старой России щетина и воск. Впрочем, Моб женофобка . . .

Не совсем понимаю, к чему я это все записал . . .

Кстати: Дина вряд ли красива. Как упоминал уже, хороша у нее — если в духе — улыбка, и я несколько раз ловлю себя на том, что пытаюсь острить, чтобы заставить ее улыбнуться. Будто и нет в ней ничего российского — ни носа пипочкой, ни русоволосости, ни дородности, — и вместе с тем она непререкаемо своя с ее неожиданностями и перекидчивостью: то «Эх, распошел!» — душа нараспашку, то — ни одного слова со мной и с Вилли за завтраком. И задумывается она по-разному — то хмуро, почти зло, то, я сказал бы, мечтательно — и тогда мне кажется, будто пахнет от нее Питером — белыми ночами и блоковскими туманными набережными . . .

Последнее, вероятно — воображение. Всегда подозревал, что сидит во мне, как почти в каждом русском художнике, романтик.

Если поскрести . . .

Но буду продолжать последовательно.

О Дине и Моб.

\* \*  
\*

Мне удалось наконец свести их вместе.

Помог случай.

По четвергам мы с Моб ходили в бассейн.

В тот четверг, о котором речь, он был весь набит пригостишками из какой-то школы, «икрой», как называет их Моб, — брызги, гам, ступить некуда! Мы едва дождались свистка, который покончил с этим содомом. А когда икру выгребли, в поголубевшей во-

---

---

де обозначилась волосатая грудь Вилли, голова Дины в оранжевом колпачке и оранжевое же сквожение купальника.

Они к нам подплыли.

Я немного боялся за первые слова Моб и мимику. Но обе подали друг другу мокрые ладони с отменно светской улыбкой.

Потом они начали скакать с вышки, а мы с Вилли, сидя на изразцах, назначали им очки за качество; прыжки были «ампирные» — у довольно-таки плотной Моб и «барочные», параболами и восьмерками — у Дины.

Потом, когда она, болтая в воде ногами, сидела на барьере между Вилли и мной, я вдруг начал спрашивать себя, чем она в нем прельстилась и как могли проморгать ее ленинградские ее поклонники.

И другой разный вздор лез почему-то мне в голову.

Пока Моб не сказала совсем неожиданно:

— Пойдемте теперь к нам чай пить. Хорошо после плавания...

\*\*  
\*

Я часто думал потом, что было бы много лучше, если бы не состоялось этого чая; вообще не состоялось бы знакомства Дины и Моб. Потому что с того именно вечера в нашем духовном хозяйстве все пошло кувырком.

— Ну вот, теперь я по крайней мере знаю, что она такое, эта твоя новая пассия! — объявила Моб, закрывая за ними дверь.

Я пропустил «пассию» мимо ушей: Моб ревновала меня ко всем знакомым и полужаным женщинам, на которых я смотрел дольше, чем смотрят на часы, чтобы узнать время.

— Она очаровательна, не правда ли? — спросил я.

— О!.. Она пыталась очаровать меня, — ты в ее глазах уже давно лег костыль. Но, слава Богу, я еще распознаю фальшь.

— Фальшь?..

На мой взгляд, Дина была в тот вечер натуральнее, чем когда-либо. И живей, что впрочем могло идти за счет нескольких рюмок коньяку, выпитых за чаем. Она подтрунивала над Вилли, говорила разные приятности Моб, даже обняла ее, уходя, — Моб, не выносившую дамских объятий. Главное же — играла нам на рояле, да как! Попурри из советских песен: буря и натиск, плечи ходуном — совсем неожиданная, новая Дина! «Блеск!» — сказал Вилли, любивший вывозить «оттуда» словечки.

Я встаю: мне не хочется открывать дискуссию. Но Моб загоразживает мне дорогу.

— Ты действительно собираешься делать ее портрет? — спрашивает она.

---

---

— А что? По-твоему, она не заслуживает внимания?

— Очень даже заслуживает. Но продолжать это знакомство у меня нет охоты.

— Сеансы будут не здесь — на службе. В чем все-таки дело?

— В том, чтобы ты на этих сеансах не распространялся бы, по своему обыкновению, о себе, о нас, о наших планах... Можешь обещать?

— Что за пустяки, Моб!

Она щурится еще сильнее и, скрестив руки, делает ко мне шаг.

— Неужели ты не видишь, — говорит она с теми атакующими движениями подбородка и головы, которые сами по себе выходят у нее аргументом. — Неужели ты не видишь, что это типичная *отпу-щенка*?

Вот словцо! Его ввела сама Моб в эмигрантское политическое просторечье. Оно у нее обозначает русскую экспортную жену иностранца, выпущенную под залог кое-каких обязательств в компенсацию за брачное благословение и визу. Спору нет, такое бывало, но Моб склонна обобщать, и ее почти спортивная страсть к разоблачениям бесит меня.

— Ведь это ерунда! — говорю я. — Подозрительность без никаких оснований.

— Ты что, не слышал: она почти призналась, что была в партии!

— Была в комсомоле. Как когда-то и ты...

— Таковую, как она, не могли выпустить сюда без особых условий. Я уверена.

— А если и с условиями, что тебе-то за дело?

— О! — вздыхает она возмущенно и отходит к окну. — Тогда нам с тобой разговаривать не о чем.

По пути она щелкает выключателем, и в комнате гаснет свет. Она любит вести такого рода беседы в полупотемках; уйти — обида на несколько дней. Я остаюсь и продолжаю про себя: в самом деле, пусть бы и было у Дины какое-то вывезенное оттуда задание. Оно, прежде всего, так и могло бы остаться только заданием: переваливая через границу, люди стряхивают с себя навязанный долг и страх. Но — если бы даже... Пусть это выясняют те, кому следует. Причем тут мы? Самозащита — один из мифов, выдуманных самой Моб, вроде мифа о моей творческой гениальности. Чего опасаться мне, о котором на родине, несмотря на пару затерявшихся в музеях картинок, ни одна душа больше не вспоминает!

Потом я излагаю эти соображения вслух.

Моб долго молчит. Где-то над ее головой, на прозелени горизонта, розовато сквозит звезда. Кажется, что, глядя на нее, Моб считает какие-то астральные письма.

— Ненависть... — говорит она звездным голосом, — злоба, ложь... Дыхание зла надо уметь распознать, чтобы не задохнуть-

---

---

ся. Посланцы оттуда — посланцы ненависти. Горе тому, кто не оставит руку, занесшую над ним нож! . . .

И так далее, в этом же духе . . .

5

Словом, как я уже говорил, все расщепилось у нас после этого вечера.

Образовались две Дины.

Первая — та, с которой я писал «Рисовальщицу», с кистью в руке перед огромным фарфоровым блюдом в цветной путанице линий и клякс. «Фирма покупает у вас эту вещь», — сказал наш директор, и «Рисовальщицу» повесили у нас в закусочной.

Дина вторая была творением Моб. Сперва очень нехитрым, из одних только самых общих примет и страхов. Но черновик постепенно обрстал психологическими подробностями.

— Ты знаешь: она алкоголичка! — слышу я как-то вечером. — Не делай, пожалуйста, изумленного лица — в ней что-то мертвое, и она оживляет себя с помощью алкоголя. Я поняла это, когда устроила этот чай. А тебе как художнику следовало бы быть наблюдательней . . .

— Ты позволил ей себя сфотографировать? — схватывает она с моего письменного стола фотокарточку. — Ты что, не понимаешь, для чего это делается? . . .

Или: вечер у Дины, устроенный по поводу моей «Рисовальщицы». Моб, усевшись рядом со мной, следит уголками глаз за всеми подливаемыми мне напитками.

— Что за бдительность, Моб? — спрашиваю я по дороге домой.

— Яды не исключены из практики мирного сосуществования.

— Вот ведь навязчивая идея! Видеть в ближнем . . . — я не доканчиваю: не заводите же дискуссии на улице! Через несколько шагов даже и усмехаюсь: словцо «ближний» взял я из словаря самой Моб.

Ответная ее тирада, видимо, уже вызрела, но она молча доносит ее до дому, как овощ в авоське.

И — едва закрываем за собой парадную дверь:

— Ближние оттуда — двойники! — заявляет она на лестничной площадке, порывисто поворачиваясь ко мне лицом. Я останавливаюсь тоже, ступенькой ниже, и вынужден слушать ее снизу вверх. — Там теперь гигантская фабрика двойников . . . Вдруг переделать человеческую душу немислимо — и ее расщепляют, чтобы приучить ненавидеть то, что ненависти не заслуживает. Богу при этом не приходится уже почти ничего — все отдается кесарю, вплоть до готовности к преступлению . . .

\*\*  
\*

Тема «двойников» у Моб — от Булова.

О нем сейчас и начну, потому что как раз в эту пору он появляется у нас проездом на какую-то антикоммунистическую конференцию, где должен был выступать.

Булов по профессии — конструктор, специалист по каким-то машинам; говорят, получил даже европейскую премию за какой-то молоко-тушитель или сушитель, не знаю.

Но его хобби — политика. Он весь переполнен доктринами идеологической борьбы и важностью освободительной миссии — от него так и несет Мининым и Пожарским.

Другое его хобби — Достоевский, которого он знает почти назизусть (отсюда и «двойник»). Вообще, Булов культурен и даже, пожалуй, умен, что среди этого типа политиков не так уже часто. Главное же — всегда чертовски осведомлен о том, что происходит или обещает произойти «там».

Он большой авторитет у Моб и, кажется, тайная ее симпатия. Не думаю, чтобы стал когда-нибудь явной: Моб не удовлетворилась бы никогда вторым местом, вместо первого, занятого доктринами.

Но в его приезды она оживает. Не хочу вспоминать, как мне попало за шарж, изображавший обоих у книжной полки с воздетыми ручками в поисках какого-то антикоммунистического справочника: Булов на полголовы ниже Моб ростом и колобковат . . .

Соблюдая конспирацию (не знаю, по действительной надобности или ради престижа), Булов никогда не дает знать о своем приезде заранее. В тот апрельский день объявился он у меня на службе неожиданный, как мираж, — я даже протер от изумления глаза. Он пробурчал что-то о нетерпении меня видеть и о том, что Моб будто бы послала его сюда завтракать, потому что сама уходила куда-то в город. Вздор! — я, конечно, сразу понял, в чем дело.

В закуской Булов тотчас же уставился на висящую против окна «Рисовальщицу» — по ней как раз эффектно проплывали с улицы солнечные отблески фар.

— А . . . это ваше? — спросил он, выдавая себя, потому что откуда бы, как не от Моб, мог знать о картине, и помолчал разглядывая. Я ждал, что вот-вот скажет что-нибудь пустейшее: хлестаковщины теперь в эмиграции через край — «творческое видение», «интуиция», «ракурс» . . . — когда они произносят эти словечки, у вас спирает дыхание и словно скребет кто-то ногтем по самой аорте.

Булов оказался, однако, нависоте:

— Должно быть, неплохо! — сказал он. — Но, признаться, я мало смыслю в живописи.

С этим мы отошли от «Рисовальщицы».

---

---

А через несколько минут явился и сам оригинал.

Забегая вперед, хочу признаться, что во время этой встречи часто вспоминал Моб: таким сквознячком повеяло сразу от Дины, несмотря на любезнейшую осклабину Бурова!

Он начал ловко — с патриотических воспоминаний о Ленинграде. И — о белых ночах.

— А у вас тут есть белые ночи? Вы ведь на той же самой почти долготе? . . .

Ответил ему я, чтобы спасти паузу, и пошел за бутербродами. Покуда ходил, он перескочил уже от белых ночей к Достоевскому.

Достоевский, как я уже говорил, был высоким его вдохновением и — одновременно — полемическим динамитом.

— В «Бесах» предвидены даже личные портреты нечаевцев, которые прорвались к власти в октябре семнадцатого, — рокотал он довольно приятным, надо сказать, баритончиком. — Программа же дана целиком: мандат на бесчестье, террор, сатанинское презрение к человеку. Естественно, что от вас, молодежи, Достоевского хоронили: где же вытерпеть такого разоблачителя! Особенно в тридцатые годы, когда шигалевщина достигла зенита. Ведь миллионы замученных и убиенных; а то и просто погибших от голола, после того как снесли в торгсин последнюю серебряную ложку. Вот он, «построенный в боях социализм», по выражению прославленного поэта! Рази ж не правда?

Был он, как сказано, плотен и кругл, Буров; багровел, когда говорил горячась, и на лбу его влажно резались складки. Но было что-то притягательное в его обтекаемости и внутреннем центробежном напоре. Тоже — и в голосе, которым он модулировал мастерски, хотя и пускал иногда на верхах петухов; и в глазках, подвижных и с блеском, которые он то прикрывал, выжидая, то вскидывал на собеседника, как сейчас, спросивши: «Рази ж не правда?» «Хоронили» и другие в этом роде словечки вставлял он местами в речь ради, вероятно, народности. Лицо пудрил не только после бритья — единственная слабость, которую я пока что у него обнаружил.

— Кое-что в боях они все-таки построили . . . — сказал я.

— Так ведь не социализм же, серьезно говоря! Вот читал намеднись, где-то у них все еще не велят людям держать коз, чтобы не обглодали социалистическую экономику. Ничего себе социализм — козы боится!

Я раскрываю рот, чтобы спросить, в каких местностях у нас еще говорят «намеднись», но он отмахивается от меня рукой, как от мухи.

— Да и что построили они, к примеру, в промышленности, чего не построили бы за полвека без них? А цена! Плангаторам ведь не

---

снилась такая система принуждения! И это разбазаривание народного добра! Вот барышня — из Ленинграда. Слыхали, сколько сокровищ из одного Эрмитажа сплавил за границу?

«Барышня» кромсает ножиком бутерброд; тонкая кожа от skulls к вискам заливается краской.

— Слыхали? — наступают Буров.

— Нет, не слыхала! . . . А вот про вас мне уже немного рассказывали,— при этом неожиданным добавлением она чуть поворачивает в мою сторону лицо. Ей-Богу, не могу вспомнить, чтобы я когда-нибудь ей про Бурова говорил!

— Что же именно рассказывали? Враг? . . .

— Вроде. Но между прочим переменяю пластинку.

Мы меняем: я спрашиваю, почему опаздывает к завтраку Вилли . . . Разговор, однако, не вяжется. В воздухе, как в передышку у фехтовальщиков на ринге — ожидание очередной схватки.

Они и схватываются, покуда я уйду в буфет за кофе. Когда возвращаюсь, у них идет уже настоящая холодная война.

Буров: «Забота о писателе»? «Творческие обсуждения»? . . . Бросьте, голуба моя! У вас там попрежнему все учат и учат соловья петь, вместо того чтобы попросту вытащить его из когтей у кошки. Рази ж не правда? Этот ваш запретительный реализм! Ведь в точности: «Барыня прислала сто рублей. Что хотите — то купите, белого и черного не покупайте, «да» и «нет» не говорите . . .» А сколько шедевров могло бы быть создано в условиях подлинной-то свободы!

Дина: Такой, как на Западе?

Буров: Такой, как на Западе.

Д.: Много шедевров создала ваша вторая эмиграция в этих условиях? «Перемещенные» ваши писатели, например?

Б.: Так они и не хвалятся методами либо «новыми» героями, которых не существует в природе.

Д.: У нас они существуют.

Б.: «Новые» герои?

Д.: Вот именно.

Б.: В жизни или в книгах?

Д.: И в жизни и в книгах.

Б.: Уж не вроде ли, скажем, Корчагиных?

Д.: Скажем, вроде!

Б.: Так ведь это же антилитература, голуба моя! И он же тупица, этот чекистский ваш недоросль! Главная его добродетель — вовсе не в силе духа, но в рабском послушании и готовности расстреливать воображаемых врагов. За что и превознесен. Было когда-нибудь послушание признаком героизма? И вообще: какой «новый» человек может вырасти при полицейском режиме? Если этот режим

---

---

выпестовал его для себя, то значит приучил мириться с насилием, то есть жить применительно к подлости. Подонок он, этот ваш новый советский человек, если в него верить. Я не верю! К чести для советского человека! . .

Она слушает, попрежнему не глядя на него, с самой мрачной из своих усмешек — под вскинутой верхней губой недобро посвечивают резцы. Я отмечаю вдруг ее большое плотно прилегающее ухо; прядь от виска начесана на него вряд ли случайно; висок сейчас совсем пунцовый — все, вероятно, кипит в ней от негодования, от ошеломленности непривычной критикой.

Вообще, в этом поединке, который, конечно, мне только вчерне удалось записать, следил я не столько за словами, сколько за тайным, так сказать, лязгом скрещенных шпаг, выпадами и попаданиями.

Оба были мастера выдержки. С какой прекрасной небрежностью произнесла она свое «Мне пора!» — и поднялась, хотя от гнева крыльшки ноздрей сделались у нее — как слоновая кость.

А Буров после некоторого молчания — я провожал его нашими коридорами до выхода — вытер вспотевший лоб и прощаясь сказал:

— Вам нужно было писать с нее не рисовальщицу, а голову медузы. Да, да! Вы что, не видели, какая ненависть полыхала в этих кошачьих зрачках?

## 6

И вечер того же дня. Потемки в гостиной, как это любит Моб. Сама она — лицом к окошку, где между лиственницами на зеленоватом клочке горизонта мерцает ее звезда. Я впервые слышу гноселогию этой ее привязанности, которую она как бы представляет теперь Бурову:

— Иногда, — говорит Моб, — я читаю в ее мерцании путь собственной моей маленькой жизни. И мой приговор, и мое оправдание; и то, над чем только плакать, и то, на что еще осталось надеяться. И вопрос, который зададут мне за последним вздохом земным, и слова, какими ответить Неведомому . . .

У нее очень красивый голос, у Моб, — контральтовый, с серебром, которого накидала в него природа, как, бывало, в колокольную медь накидывали для звону рублей и полтинников. Красивый, струнный голос — когда она рассказывает о своей звезде, в нем звенят некие, я бы сказал, астральные призывки, бьющие вам по нервам . . .

— Или, — говорит она, — я вдруг уверяюсь, что моя звезда — звезда величайшего Предвестия, — та самая, что на две тысячи лет



---

---

осветила судьбу человечества. Господи! — думаю я тогда, какая это великая тайна! Две тысячи лет назад она мерцала так же, как мерцает теперь, когда на нее смотрю я, и на нее смотрели волхвы. как теперь смотрю я . . .

И странным виденьем грядущей поры  
Вставало вдали все пришедшее после.  
Все мысли веков, все мечты, все миры,  
Все будущее галерей и музеев,  
Все шалости фей, все дела чародеев,  
Все елки на свете, все сны детворы . . .

Да, а потом, после этого пастернаковского зачина, они — Буров и Моб — образуют род звездного блока против меня, плохо вооруженного звездной мистикой и цитатами.

— Неужели не ясно, — говорит Моб, и астральным ноткам ее голоса вторит сопенье Бурова в кресле, — неужели еще не ясно кому-нибудь, что коммунизм — это и есть прежде всего ненависть. Именно потому ведь они так боятся и гонят Христа и любовь как божественное начало! . . .

Слово *ненависть* склоняется на все лады. В приложении, разумеется, к Дине. Часом раньше, ей выдан диплом об окончании специальной школы для «отпущенков», в которой их, по словам Бурова, обучают, перед тем как благословить портретом Берии («при нем изобретено») и выпустить за границу. Буров излагает даже и учебный план, словно сам побывал там завучем.

— Их учат не только языкам, но — манерам! Чашку чаю как выхлебать, грушу съесть . . . Тоже и очаровывать, то есть сексу. Ваша — она как раз из хищниц. Там, дорогие мои, знают, кого за море сватать, кого дома венчать . . . Да разве, — перебивает он сам себя, — вам раньше таких экспонатов не попадалось?

— Нет, — говорю я.

— То есть — как «нет»? — подсказывает Моб, и бокал с красным вином опрокидывается на новую скатерть. Оба, сталкиваясь руками, сыплют на расплзающееся пятно соль.

Да, конечно, я помню два или три случая. Но что общего с «посланцами ненависти» было у них, этих бедных жертв полицейского шантажа и цинизма? Да и очищались они быстро «от скверны», выражаясь языком Моб.

Главное же — меня мутило от этой набившей оскомину темы, от злопыхательства и просто недобросовестности: только что ведь они говорили о «двойнике» в сознании советского человека — «никогда, мол, еще добро и зло не дрались в нем так ожесточенно, как теперь» . . . Был уже двенадцатый час, я искал и не находил повода встать и уйти к себе.

Черт дернул меня за язык, и я сказал:

---

---

— Вы человеконенавистники. Ладно, предположим, что какой-то душе навязано пропасть зла. Но по вашей же собственной теории она этому злу сопротивляется. Какой-то, не помню, философ, за полтора тысячелетия до Достоевского утверждал, что душа человеческая по природе христианка. Душа обаятельного и слабого создания — особенно.

Батюшки, какого горячего подлил в огонь! Тут пошло:

— Это ваша-то Дина — «слабое создание»? Да такая, голуба моя, если поручат, гору свернет!

— А уж голову, кому понадобится — без сомненья!

— И не собственными коготками — чужими...

— Думаешь, если она своему Вилли прикажет взорвать здешний собор, он не сделает этого?

— Обаятельность — стимул, голуба моя!

— Ненависть — сила!..

Равнодушна к нам, людям, природа и легкомысленна: таким, как Буров и Моб, нужно было бы родиться зайками. Но — куда там!.. Дуэт переходит в соло, и я выслушиваю очередное сакраментальное резюме:

— Это — как адская машина замедленного действия, — говорит Буров, трудно и с шумом переводя дыхание (у него астма, и я часто испытываю острую к нему жалость: все-таки, говоря беспристрастно, в нем не одни только доктрины и резонерство, но и вера, и жертвенность, как выражаются здешние политики). — Да-с, замедленного действия. Годика два или поболее будут продолжаться обаятельные улыбки, а потом...

— Что — потом?

— Потом детонатор сработает. И если в самый критический для всеобщего благополучия момент вспыхнет какая-нибудь особо губительная забастовка, — мы будем знать, откуда ее надуло. И если объявится где, скажем к примеру, труп какого-нибудь «анти» из числа совершивших прыжок в свободу, — мы тоже будем знать, чьих рук это дело... Разрушение и смута, смута и разрушение — вот задание!

Долгая пауза, которой вторит неподвижный силуэт Моб у окна.

— Вы — два тарантула! — говорю я, вставая...

Из окна моей студии тоже виден край городского парка: пруд с утками, газон, скамейки вокруг. В марте усыпают рыжую еще траву крокусы; в апреле — желтые, стилия барокко, лилии, которые здесь называют «пасхальными». В мае флора отходит на задний

---

---

план: дорожки покрываются парочками. Я люблю записывать коротенькие романы, распускающиеся на скамьях. Язык этих моих записей, разумеется, графика. Потом, разглядывая свои наброски, я думаю о том, насколько он, этот графический мой язык, богаче языка слов: попробуй я передать два-три скамеечных романа словами, — какое бы, вероятно, получилось однообразие! А тут каждая скамейка рассказывает свое . . .

И значит: не напрасно ли я взялся за повесть?

Как и когда возникла эта затея?

Да вот как раз и возникла в самом начале мая. Неделю, примерно, спустя после отъезда Бурова. С ним вместе на конференцию «анти» отправилась Моб — у нее в том городе жила подруга еще по Ленинграду, с которой ей нетерпелось повидаться. Моб уехала, взявши предварительно с меня десяток обещаний чего-то не делать и чего-то обязательно избегать — обещаний, о которых просят и которые дают вполне механически, для заполнения прощальных пауз.

Она уехала, и я — это было в воскресенье вечером — как раз и сидел с карандашом в руках над записью очередного скамеечного романа. У паренька было круглое лицо с невыраженным подбородком и неуклюжие робкие руки. Девушке, которую он обнял, было тяжело и неловко. Она несколько раз то выкидывала наперед, то поджимала под скамью ноги в кожаных лапотках на пробковой подошве. В последний раз нога в лапотке дернулась особенно нетерпеливо, и лапоток соскочил, и босая ступня сердитыми рывками шарил его на песке. Высвободившись из объятий, девушка вытерла нижнюю губку, которую он облизывал, и подкинула к глазам браслетку часов. Он ей уже надоел . . .

Мне все никак не удавалось передать этот ее необозначившийся еще зовок, порыв прочь. Не слушался карандаш.

И вдруг телефон. Дина!

— Алло! — сказала она. — Что вы сейчас делаете? . . . Хочу спросить: есть у вас Достоевского «Бесы»? Вилли не мог достать в библиотеке. Что? Тогда я через полчаса забегу.

— Я могу принести, если хотите.

— Нет, я сама . . . Вилли удрал на рыбалку, и мне скучно. Если понятное дело, вы не . . . А? . . . Ну спасибо. И ваша сестрица . . . — впрочем, не хочу представляться: я знаю, что ее нет. Так пока!

Пришла она в сарафанчике, похожая на этюд сепией — загорела: на службе вижу ее всегда в спецовке.

— Что удивительного! У нас, вы знаете, балкон на самое море и стул-лежак. Прожарилась вся насквозь . . .

— Скажите: писать лица — это ведь нужно всего человека разгадывать? Умеете вы? — говорит она, листая мои наброски. — Этих

---

---

я бы еще теснее друг к другу прижала. А этот должен бы смотреть поравнодушнее — они все здесь вареные, тоже, должно быть, и в любви... Интересно, как вы работаете для себя. Существует оно в самом деле, вдохновение, или это только «установка на творческий процесс»?

Вопрос о вдохновении обсуживается довольно долго.

— Будем пить чай? — спрашиваю я потом.

— Пожалуй...

— С коньяком?

Она снова кивает утвердительно, и я вижу, как от скул к вискам у нее пунцовеет загар. Черт возьми! Неужели права Моб, пришивая ей эту слабость?

Может быть, и права: под предлогом чая мы допиваем оставшиеся у меня полбутылки.

— Мне нравится ихний обычай чиркать друг на друга глазами, когда пьют! — говорит она.

И — рюмка за рюмкой — заглядывает мне в лицо с застойной улыбкой из иллюстрированного журнала. Очень похоже!

Мы допиваем оставшиеся полбутылки почти до доньшка. Виски и скулы у нее горят.

Зато никогда раньше не было у нас такого натурального разговора — без всяких подтекстов, настороженности либо утайки, так что иногда мне казалось, что сидим мы у меня на вечерней Миллионной и в окно тянет остывающими после солнечного дня торцами и Невой.

А между тем задевались и разные роковые вопросы.

О ее отношении к Западу, например, и о настроениях «там».

Вот, если привести кое-какие отрывки:

— Здесь все саламандры! — негодует она. — Помните «Войну с саламандрами» Чапека? Не читали? Я вам принесу обязательно, завтра же... \* Разве тут люди? — Тля, протоплазма! Вместо души — реестр благополучий: машина, заграничное путешествие, дачка на озере... Думаете: накручиваю? Да вы и сами про себя так считаете, слово даю!

---

\* Она действительно на другой же день принесла мне на службу книгу Чапека с закладками и подчеркнутыми красным строчками о саламандрах. Вроде: «Нам, людям, они столь же чужды, как муравьи или сельди...» «Они взяли из человеческой цивилизации только то, что есть в ней стандартного и утилитарного, механического и прикладного... Страшнее всего, что этот восприимчивый, глуповатый и самодовольный тип цивилизованной посредственности размножился в миллионах и миллиардах одинаковых единиц». И т. д.

---

— Не совсем. Прежде всего — не верю, будто там, откуда вы прибыли, личное благополучие так уж все отрицают. Такие уж высокие себе ставят цели. Ведь вздор!

У нее была привычка отворачивать лицо, когда вы говорили что-нибудь, что предположительно могло ее смутить или просто заставить искать возражения.

Так и сейчас: она несколько секунд молчит, глядя куда-то в сторону, вдоль своего плеча, и потом говорит, уже с меньшим задором:

— Я наше не лакирую. Мелководье, понятное дело, есть и у нас. И скука! Бывало сама как подумаю: чертить да чертить, либо даже строить — меня ведь направляли в строительный, — строить жилье, коробки. Сегодня коробки, завтра коробки. Так и проквасишь на коробках всю жизнь!.. Этот ваш, который приезжал сюда — я его «зубр» зову, порочил между прочим нашего Николая Островского. А у него какое хорошее место есть в романе. О жизни...

Она чуть вскинула брови, собираясь, я видел, привести цитату наизусть, но, взглянув мельком на мое лицо, расслабила брови снова.

— В общем — про то, как прожить с целью. Чтоб не было тебе стыдно, — объяснила она. — Вы, наверно, помните это место. Хорошо выражено!

— Выражено так себе. Очень неоригинально. Но вам ведь главное не как, а существо?

— Именно.

— К существу я бы добавил, что решать, в чем цель жизни, чего желать, а чего стыдиться, — каждый должен самостоятельно, не из-под палки.

— Понятно, можете дальше не продолжать! Вот я для себя и решила: стыдно прокисать в монотоне. Надо не сидеть на месте, а искать, драться. Драться — самое главное. Драться и побеждать!

— Вы уверены, что обязательно будете побеждать?

— А вы считаете, что я такое уж слабое существо? — спрашивает она, прищурившись совершенно так же, как это делает Моб, — женщины мастерицы перенимать друг у друга. Примечательным образом она повторила сейчас не только ужимку Моб, но и слова.

— Совсем не слабое, но и не какой-нибудь Илья Муромец в юбке.

Некоторое время она смотрит куда-то мимо меня, и, мне кажется, в повороте ее головы и плеч, в маленьких выкругившихся ноздрях я читаю вызов и даже какое-то ухарство.

— Я умею заставлять людей слушаться! — объявляет она.

— Что ж, при вашей молодости и некоторых других благополучных данных это не трудно.

— Как вам не стыдно. Я совсем не то имела в виду. Умею убеждать, внушать мысли.

---

---

— Это, конечно, уже сложнее.

— Вы не верите?

В глазах, которые теперь, в полупотемках, кажутся черными, — почти угроза. Конечно же, только коньяк мог спровоцировать весь этот пассаж.

— Вы не верите? — переспрашивает она и встает. — Хотите опыт? Вот я сейчас возьму вашу руку . . . Или — по стойте, нет! . . . — она делает несколько шагов по комнате, озираясь; потом ее силуэт возникает у нашего большого окна, как давеча силуэт Моб.

— Идите сюда! — приказывает она. — Видите там вон, на горизонте, звездочку? Между деревьями. Видите?

— Вижу, конечно. Это старая наша спутница. Моб и моя.

— Вот и лады! Закройте теперь глаза!

Я повинуюсь. Она становится за мной и кладет мне на плечи руки. Я чувствую стиг ее пальца у своего подбородка и десять касаний — как десять электрических лампочек, включенных в электросеть. Электросеть — моя кожа. Щекотная зыбь течет к моему затылку и смеженным векам.

— Можете теперь смотреть . . .

Я открываю глаза: звезда исчезла!

— Однако! . . . — говорю я.

— Все! — говорит она и проводит по моим глазам прохладной ладонью. — Найдется у вас еще рюмка коньяку? Покуда нет Вилли, — я оставила ему записку, чтобы зашел за мной.

Она щурится и словно блекнет, когда я включаю свет. Кажется, она уже жалеет о том, что устроила свой сеанс. Коньяку — на доньшке, я нацеживаю последние две полрюмки.

Но тут звонит в коридоре музыкальная дверная кукушка — тоже из реквизита «саламандр», не любящих треска звонков, и вваливается Вилли.

От него пахнет солью и водорослями. Выпуклые глаза почти с испугом цепляются за пустую бутылку:

— Ди! — произносит он. — Ведь ты же мне обещала . . .

— А, ерунда!

— Совсем не ерунда, Ди!

— Лекцию о вреде табака пока отложим. Словил что-нибудь?

Он смущенно пожимает плечами. Ему явно хочется присесть и поболтать, но Дина почему-то торопится.

— Представьте: за всю весну ни одной стоящей рыбешки! . . . Бес-таланненький он у меня и несмышленьш! — говорит она и, встав на цыпочки, ворошит ему волосы.

— Не . . . несмышленьш — это что?

— Ничего, проехало. Пошли до дому!

---

---

На площадке, перед тем, как ступить в лифт, она оборачивается ко мне и говорит полушепотом:

— Не рассказывайте вашей сестрице, что я была у вас. Ладно? . .

\*  
\*  
\*

Я не рассказал.

Но я записал эпизод со звездой, и, как уже говорилось, с него именно и пошли мои записки. Позже, в ходе событий, этот эпизод превратился из зачина почти в кульминацию, когда узнала о нем все-таки Моб. Но об этом — после . . .

На следующий день с моря нанесло туману и туч. Один, я плохо переношу чаек и муть за стеклом. Я позвонил Вилли и пригласил их обоих в ресторан. И просчитался: Вилли настоял на «сухом» ужине и веселья не вышло.

В почти пустом ресторанном зале оплывшие свечи в бутылках из-под кианти расплескивали скучный свет. Я пробовал расшевелить Дину, но она откровенно зевала на мои шутки, а на Виллины уже прямо огрызалась, как хорек.

— Будьте добрее! — сказал я ей. — А то я приделаю «Рисовальщице» эти вот складки у рта и вздернутую губу, — как раз как сейчас, точно вы собираетесь кого-нибудь из нас укусить, — и получится сама злость, вместо очарования.

Теперь, отхлебывая какой-то сок, она не взглядывает на меня ни разу.

— Я и есть злая, — говорит она. — А вы думали? . .

— Недавно я защищал вас, как говорится, с пеной у рта. Один наш общий знакомый находит в вас что-то хищное.

— Этого вашего Бурова я ненавижу!

Туман еще плотнее набился между домами, когда мы вышли. Белесовато-черное низко висело небо.

— Боюсь, что вы вчера потушили звезду навсегда, — говорю я.

— Я ничего не тушила! — отвечает она сердито. — Просто вы не смогли разглядеть. Прояснится — обратно увидите . . .

8

Я не рассказал Моб ничего про Дину, потому что предвидел и без того осложнение нашей смуты.

Она вернулась с конференции «анти» вся начиненная цитатами из Бурова и бдительностью: я до полночи должен был слушать о том, как осуществляется «инфильтрация ненависти» во все страны

---

---

мира. Примеры. Примечания вроде: «Ведь мы этого Н. или М. тогда-то и там-то встречали, помнишь?»

Итог: они с Буровым готовят «белую книгу» о мастерах инфильтрации под заглавием «Министерство смуты».

— И соберете в эту книгу все страхи разом?

— Иронию можешь оставить при себе — соберем!

— Исполать вам.

— Главное, о чем я забочусь, — говорит она уже зловеще, — это чтобы в число «страхов» не попасть нам с тобой . . .

И еще раз: как хорошо, что я ей ничего про Дину не рассказал!

Потому что на следующее после ее приезда утро мы получили одно вовсе неожиданное письмо.

Из Ленинграда.

Со штемпелем «Международное» на конверте из мерзейшей бумаги и с соответствующим рисунком: зеленый земной шар на густой синьке и под ним две тоже зеленые собачьи головы с красными языками. Надпись: «Первые космические путешественники Белка и Стрелка».

Письмо было от нашего старшего брата, с семьей которого через местных наших туристов мы тщетно пытались связаться («И не пишите нам писем», о чем упоминал я выше, шло от них).

Теперь он писал так, будто и не было причин для почти двадцатилетнего молчания, будто эти причины отныне устранены навсегда. Да, пожалуй, это был главный мотив письма: «Время теперь другое, обстановка изменилась коренным образом. Даст Бог, мы, может быть, даже и свидимся» . . . Дальше следовал скупой перечень разных знакомых судеб.

Если бы кто-нибудь видел, как быстро на ресницах Моб высохла кроткая родственная слеза: «Что за метаморфоза? . . .»

— Хватит у тебя духу утверждать, что ты не отгадываешь посредника?

— Хватит, — отвечаю я . . .

А через какую-нибудь неделю — письмо ко мне Бурова. «Умоляю быть осторожнее! Какая ошибка думать, что вы не представляете для них интереса! . . . Вы художник. Обернуть вас восвосяи, либо спровоцировать на какое-нибудь в их пользу деяние, хотя б интервью, — уже означало бы для них победу. В крайнем случае — нарушить ваше благополучие. Вы удобно живете, устроились, — так вот чтобы было вам хуже. Создать неприятности, трудности, согнать даже, может быть, с места. Поверьте: примеров десятки! . . .»

И так далее.

Разговор по этому поводу с Моб:



---

---

— Что тебе написал Буров? Пожалуйста, не пренебрегай его советами. Он тебя любит...

— Не думаю. Разве что рикошетом.

Она краснеет, — до чего непривычно видеть смущение на лице Моб!

Ей самой Буров писал в это время раза два в неделю. Его роман я так и представлял себе всегда, как роман в письмах, с доктринами, вместо пылких слов. Очень надеюсь, что когда-нибудь это Моб надост: где-то слышал я об одном резонере, который чуть не год все слал своей невесте письма с наставлениями — и она вышла замуж за почтальона.

Нашу с Моб междоусобицу буровские письма подогревали.

К тому же случай был не на моей стороне.

Через месяц после ленинградского письма появился у нас живой ленинградец — член какой-то научной делегации на здешний какой-то съезд.

Привез от той же родни посылку: альбом с семейными фотографиями, тетрадь моих детских рисунков и отечественные брошки-сережки для Моб.

Позвонил по телефону и просил встретиться у нас, но Моб отказалась наотрез, и мы просидели с ним часа полтора в привокзальном ресторанчике.

Был это старичок, довольно бесцветный и скромный, будто даже чем-то напуганный: все извинялся. Кажется, трусил, что буду о чем-нибудь нескромно расспрашивать. Но я никаких вопросов не задавал, и он оживился и даже рассказал крамольный один анекдот.

— Простите: есть у вас, в вашем городке, русские? — спросил он подконец.

Я назвал двух старичков-любителей музыки и Дину; при этом на лицо его — мне показалось — напоззло некоторое смятение, как пенка на молоке.

Может быть, впрочем, это мне только так показалось. Может быть, это было влияние Моб, которая в те дни очень мне садилась на нервы.

Я работал тогда над большой керамо-мозаикой, заказанной мне конторой городского бассейна. Она изображала прыжок с вышки и мучила меня решением отражений и кругов на воде: стилизованные, они как бы теряли движение.

Фигуру делал я с Дины — она позировала мне дважды в холле

---

---

бассейна и один раз у себя, где по этому случаю все поставлено было вверх дном. Рабочую силу представляли Вилли и Поликарп.

О человеке с этим необычным именем тотчас же и скажу, потому что не вижу, в какое другое место мог бы поместить его в своих записках; между тем, из-за него была провозглашена Дине специальная анафема.

Поликарп, или Поли, был сын старичков-любителей музыки, лет уже под сорок, улыбочатый в обращении и тихий. Он служил по бухгалтерской части, пописывал стишки и как-то болезненно, а бы сказал, собирался жениться — на пухлых его пальцах выступал пот, когда он разговаривал с женщинами.

Моб привезла его в отпуск к родителям с конференции «анти», где Буров определил его было активистом в какой-то сектор «борьбы».

В первый же вечер у нас он восторженно слушал ее импровизацию о «смысле нашей звезды», беззвучно аплодируя потными ладонями, чем и покорила ее совершенно.

На следующий день, как прежде — Бурова, она послала его ко мне в обеденный перерыв — познакомиться лично с «коммунистической инфильтрацией».

Получилось, однако, на этот раз совсем по-другому: Поли в эту инфильтрацию влюбился без памяти.

Станным образом я почти ничего не заметил вплоть до упомянутого сеанса у Дины, где он битых два часа глаз не отрывал от оранжевого купальника.

— Каждый день у нас... — кивает вслед ему Дина, когда он волочет на кухню лестницу-вышку. — Сам набивается. Я запретила ему к ручке прикалываться, так он туфли мои под диваном нашел и давай обцеловывать... Ненормальный!

Она говорит это полушепотом, с озорным блеском в зеленоватых глазах.

— Помогите мне молнию расстегнуть! — просит она Поли немного спустя и, повернувшись к нему спиной, прячет улыбку.

Я тоже силюсь не рассмеяться: так бестолково, словно вслепую, прыгают толстые пальцы, стремясь схватить затвор.

Она размыкает молнию сама, чуть оттянув наперед купальник, так что на мгновение видны ее мелкие, очень круглые груди. Потом бежит в спальню, подмигнув нам с Вилли с порога. В самом деле: такого идиотского выражения, с каким смотрит Поли ей вслед, я не видывал в жизни.

А перед самым своим отъездом, у нас на ужине, Поли вдруг объявляет, что недооценивал многих происшедших в Советском Союзе перемен и теперь обязательно поедет туда с экскурсией.

---

— Ведь вот посланница дьявола! — кипит Моб, которой, оказывается, вся эта история лучше моего известна.

«Посланница дьявола!» В устах Моб или Бурова это не просто побранка, но целая философия. Невинное озорство Дины для них — осуществление каких-то чреватых последствиями inferнальных планов, и вот почему мне никогда не найти с ними общего языка. Если коммунизм, как они считают, «от дьявола», — как тут выступать против: у меня нет никакого опыта в борьбе с дьяволом, с которым не может справиться сам Господь Бог. Их, как они называют, «доктрину борьбы» сопровождает вера в Вечное и Непостижимое, которой у меня нет. Искренне жалею, что нет, но — нужна ли мистика в драке? Я им сказал как-то, что мистикам, по-моему, нечего делать в политике — им надо идти в скиты . . .

\*\*  
\*

Эти мои записки — не роман какой-либо и не повесть, но полудневник-полухроника. Сорок бочек пережитого и несколько ложек раздумий.

У кого для чужих пережитостей и раздумий есть время — тот это, может быть, и перелистнет. Нет — пусть незамедлительно отложит в сторону. Прошу простить!

И все-таки, когда я перечитываю записанное, я почему-то непременно хочу придать ему некую литературную форму. По шаблону, которому, вероятно, учили нас еще пригостишками: «до события — событие — что было после события».

«До события»!

Как изложить это нагромождение совпадений, неожиданностей, смуты душевной? Глазами художника я вижу лицо Икара в полете, когда начинают у него на солнце плавиться крылья; вижу гримасу геркуланумского раба, которого настигает раскаленная лава; как автор хроники о самом себе — я не вижу своего собственного тогдашнего смятенного лица!

Я даже написал одному знакомому редактору с просьбой дать несколько советов в части писательского мастерства.

«Вы меня убиваете, дорогой!» — отвечал он. — «Как писать?» Если бы я знал это сам! . . . «Форма»? Чтобы понравиться критикам (потому что читателей у нас в эмиграции нет), надо писать без «формы», равно как и без уловимого смысла; по возможности и без знаков препинания. Главное же: зачем вам, художнику, братья за перо? Предоставьте нашим графоманам сочинять «Записки себя не нашего» в паузы между приступами ностальгии или запоя. В самом же крайнем случае — пишите комментарии к эпизодам, занесенным в ваши замечательные альбомы».

---

Из этой чепухи я, как ни странно, выудил кое-что полезное: «эпизоды». Записывать эпизоды!

Вот сейчас и запишу один-два эпизода, которые предшествовали событию, или, как я это теперь называю, *катастрофе*.

10

В первое, кажется, июньское воскресенье мы с Моб отправились в столицу соседнего, тоже приморского, государства: тамошний русский клуб пригласил Бурова прочесть доклад, и он прислал нам билеты.

Я не люблю докладов на темы «анти»: фактический материал в них обычно всем известен заранее; в нефактический верить только сами докладчики и участники прений.

Но Моб настаивает, чтобы мы поехали оба, и даже соблазняет меня этим городом, который я очень люблю, и полдником в вагоне-ресторане, который любит сама.

Как всегда, на самый доклад мы опаздываем, попадаем только к вопросам-ответам. Увидя нас, Буров кивает какому-то юноше с торжественным и прыщавым лицом, и тот отводит нас в первый ряд, к двум незанятым креслам.

Буров тут — как рыба в воде! В зале есть «коммуноиды», как называет их Моб; вопросы сыплются самые пестрые, но справляется он с ними виртуозно, как фокусник, а из иных, на вид вовсе пустых и нестоящих, таких вытаскивает за уши кроликов, что диву даешься. В этот день я готов был им восторгаться, как Моб.

«Свобода и необходимость», — машет он в воздухе только что прилетевшей запиской. — Что я об этом думаю? Думаю, что в современной России «свобода» — это одно лишь условное обозначение принуждения. Необходимость же — все то, что требуется от полицейского режима и сыска, чтобы это принуждение сохранить подольше; в интересах, разумеется, самих принуждающих...

Что?.. Вы сомневаетесь? А вот попробуйте опубликовать эту нашу дискуссию в какой-нибудь тамошней газете! Выйдет у вас?

Голос из зала: — Там теперь по-другому! Переписываемся все, знаем!..

— И давно начали переписываться? У меня вот мать умерла там четыре года назад — так и не узнала, что жив, — боялся написать строчку... И неправда, что «все переписываемся»! Многие опасаются и теперь. А кто пишет, должен между прочим мириться с тем, что шпика их письма прочитывают. Да, и заклеивают потом откровенно и грязно, чуть что не хлебным мякишем: нет на социалисти-

---

---

ческом рынке порядочного клейстера... При чем тут капиталистическое окружение? — кидает он куда-то в задние ряды стульев. — Какое «окружение» было во времена Нечаева? Перечитайте «Катехизис революционера», «Бесы» Достоевского — вон она когда разрабатывалась, коммунистическая этика!..

Голос из зала: — А социалистический гуманизм? Куда вы его относите, господин Буров?

— А куда надлежит, уважаемый, туда и отношу, — к пропагандному словоблудию. Читаем: «гуманизм», а понимаем... Вот я лучше прочту вам цитатку из выступления одного партийного поэта на съезде советских писателей: «На нашем съезде, — сказал этот поэт, — получило права гражданства одно слово, к которому мы недавно относились еще с недоверием... Слово это — гуманизм... У нас по праву входят в широкий обиход понятия: любовь, радость, гордость, составляющие содержание гуманизма. Но некоторые наши молодые писатели забывают четвертую сторону нашего гуманизма — ненависть».

— Эта сторона, — продолжает Буров, и в рокотке его появляется необычный металлический звон, — эта сторона и образует существо их, с позволения сказать, гуманизма. И недаром другой советский автор, из самых важных, сделал героя последней своей повестушки убийцей-душителем. Из идейных, понятно, побуждений. Стряпня эта переведена на экран и рассылается по всему свету... — Ненависть! — вскидывает он в воздух растопыренную пятерню, тотчас же и собирая ее в кулак, — ненависть! — вот чем расчищает себе путь воинствующий коммунизм. Где бы не появились его эмиссары, они всегда и прежде всего — разжигатели ненависти!

Он похож сейчас на огромную готовую взорваться лимонку, Буров. В зале все замерло: «ни шелохнет, ни прогремит»...

— Посмотри! — схватывает меня за руку Моб. — Посмотри, как слушают!..

Мы одновременно оглядываемся, и я вижу через пять-шесть рядов от нас Дину. Наши глаза встречаются, и она мне машет рукой. Видит Дину и Моб, отворачивается и бледнеет.

— Неужели это ты сюда ее пригласил? — спрашивает она трагическим шепотом.

Я не отвечаю. Мне кажется, я разглядел рядом с Дининой головой улыбку Поли.

И через пятнадцать, примерно, минут:

— Это Поли уговорил меня приехать сюда, — говорит Дина. — Я ведь теперь соломенная вдова, вы знаете? Вилли в Советском Союзе на целых три месяца...

Неожиданности и совпадения продолжаются:

---

---

Мы с Моб остаемся ночевать в этом городе, где больше сотни отелей. Но вот оказывается, что Дина и Поли выбрали себе тот же отель, что и мы.

Это значит, что вечером мы все встречаемся в отельном большом ресторане.

Ужинаем впятером. Пятый — Буров.

Он — и это тоже неожиданно — весел, острит и осыпает Дину приятностями. Моб снисходительно щурится. Я заказываю к кофе коньяк. Дина оживлена и посылает Поли, который у нее на побегушках, за какими-то особыми сигаретами. «Начала со скуки курить!» — объявляет она.

Вечер совсем было хорошо удается, но потом за соседний столик неловко пролезают две пары бицепсов с загорелыми лицами и славными ярославскими носами.

— Наши морячки! — говорит Дина. — Давайте знакомиться...

Моб жалуется на усталость и уходит к себе.

Бицепсы прищвартовываются к нашему столу.

Я заказываю еще коньяку, и мы засиживаемся почти до рассвета.

\*\*  
\*

Ночью мне снится ненависть в виде стаи мелких, вспотевших от злобы гадин с крысиными мордами и непередаваемо-гадким шуршаньем крыльев, которыми они задевают друг дружку. Где-то посреди их налета стоит Буров в соломенной шляпе и с детским сачком в руках. Он размахивает сачком вправо и влево, насвистывая при этом какую-то арию из «Ивана Сусанина». Когда ему удастся словить одну из гадин, он вытряхивает ее из сачка в бидон с кипятком, а она цепляется за петли когтями и старается укусить его за ладонь...

Снится мне это несколько раз.

Я слышал, будто повторяющиеся кряду сны означают расстройство нервов.

Будит меня рано поутру телефонный звонок.

Моб!

Она звонит, чтобы сказать, что заказала утренний завтрак в свой номер, а после хочет сразу же на вокзал, чтобы, как она говорит, «ни с кем больше уж не встречаться».

«Ни с кем» — это, конечно, Дина.

Мы очень дружны с Моб. Я благодарен ей за разделенное одиночество, дар устраивать жизнь, почти материнскую опеку. Также и за то, что не в пример другим сестрам она не подыскивает для меня пожилых невест. Я покорно сношу зигзаги далеко не ангельского ее характера. Но эта последняя ее нетерпимость и подозрительность очень мне в тягость.

---

---

— У меня сегодня отпуск, — говорю я, — к чему пороть горячку с отъездом?

— Я уже объяснила, к чему. Тебя интересует ее общество, меня — нет.

— В обществе Дины я почти каждый день, она моя сослуживица.

— Речь идет о всей вчерашней компании в целом. Уверена, что вы договорились о новой встрече.

— Никто ни о чем не договаривался . . .

— Мы можем пойти на взморье поплавать, — сдается она. — И тогда уж домой. Второй завтрак будет уже в поезде . . .

\*\*  
\*

И часа через два мы у пляжа. Или у пляжей — их тут несколько вдоль набережной, уставленной каштанами и запаркованными машинами, друг к дружке впрытк. Пахнет разогретым лаком, рыбой и подсыхающим тончайшим песком, похожим на волосы здешних женщин.

Мы спускаемся к ближайшей кассе и берем две кабинки.

Переодевшись, идем по удивительному песку к вышке для прыганья, спорту Моб.

Подходя, еще издали различаем знакомый оранжевый купальник в кольце прочей купальной пестряди и загорелых тел.

На голове у Дины — венок из каких-то уже пожухлых на солнце водорослей.

В первый раз, кажется, я вижу, что она смущена, — может быть потому, что не знает местного языка. Переводчиком служит Поли, у которого в руке ее пляжная сумка, полотенце и банка с кремом для или против загара.

Поли — куда ни шло; но тут же рядом и Буров — я мысленно заношу в блокнот его волосатый живот, выпирающий из-под врезавшегося шнурка трусиков. Он что-то уже проповедует двум юношам с оптикой на шее, которые, как я догадываюсь, только что Дину снимали.

Проясняется:

Произошло некое импровизированное соревнование по прыжкам с вышки, и Дина вышла на первое место. Двое юнцов с оптикой — фоторепортеры и сейчас расспрашивают ее о водном спорте на ее родине.

Как я уже сказал, она смущена. Но в зелени глаз — и это тоже для меня вновь — что-то победительное; также и в поставе головы, и в том, как вздрагивают не в такт дыханию маленькие ноздри. Мне вдруг хочется написать ее в этой позе, еще возбужденной победой и часто дышащей, но уже и ослабшей и бессильной, как только что сработавшая пружинка.

---

---

Когда мы идем глазеть на какой-то заплыв, я говорю ей вполголоса:

— Сюжет для новой картины: этакая физкультурная наядка под вышкой, победительница. Станете мне позировать?

— О, сколько хотите! — говорит она.

Я вижу, как у Моб настороженно взлетают брови . . .

\*\*  
\*

Поднимаемся мы снова на набережную уже около полудня. Кто-то, кажется Поли, предлагает идти в зверинец — смотреть обезьян, которые здесь будто бы особенно интересны, и в тамошнем же ресторане завтракать.

Я открываю было рот, чтобы сказать, что мы сейчас уезжаем, но Буров шепчет что-то на ухо Моб, и та неожиданно соглашается.

Зоопарки, на мой взгляд, — мерзость, как всякое придуманное насилие над живой жизнью. Не терплю искусственного отбора и принудительной симметрии даже в ботанических садах с их пояснительными дощечками подле цветений. Зверье же в клетках — особенно возмутительно и тоскливо.

Впрочем в тот день, бродя по дорожкам, я вижу перед собой только картину, которую напишу. Нет, конечно, «Победительницу» нельзя посадить подле вышки — это для «Огонька» . . . Я вижу ее на зеленоватом кафеле бассейна. Барьер, на котором она сидит, идет спиралью вверх. Непременно спиралью: спираль должна быть душою всей композиции. Невидимо, но ощутимо, — как, это я должен еще решить, — нижутся на эту спираль кольца и круги на воде, сплюснутые, пересекающиеся, рваные, взлетающие к самому небу, голубые, оранжевые и фиолетовые . . . Все это — в тоже незримом кружении, словно взбитом какой-то гигантской мешалкой. И посреди этого кружения — счастливый и победительный покой маленького хрупкого тела.

— Господи, совершенно ведь человек!

Возглас принадлежит Поли. Он, как какой-то, не помню, чеховский персонаж, всегда произносит такого рода банальности. Мы стоим перед клеткой шимпанзе. Огромная обезьяна недвижно, как изваяние, сидит на цементном облупившемся блоке, из которого сквозит ржавый железный каркас. В глазах у нее ностальгия, в легких, вероятно, чахотка, во всей позе — отчетливо, по-человечески выраженная безнадежность и боль.

— М-да-с . . . действительно, человекоподобие, — говорит Буров. — И такое, что начинаешь думать: почему никто не освобождает обезьян от неравенства и эксплуатации? Я слышал, между прочим, что где-то пытались — и не без успеха — посадить шимпанзе на трактор. Интересно: выбрали бы обезьяны компартию для защиты



---

---

своих интересов? А?.. Плакат «Руки прочь от обезьяньего племени!» очень был бы эффектен...

Он как-то необычно возбужден, Буров, и немного мне в тягость. От обезьян и до такси, в котором мы с Моб поедem на вокзал, держит меня под руку, чего я не терплю.

— Орешек этот я раскушу, будьте покойны! — подмигивает он в сторону Дины, которая идет впереди.

Потом долго и нудно распространяется о происках отечественной разведки, до которой мне нет никакого дела.

— На то она и разведка. Отчего бы ей работать хуже разведок западных? — спрашиваю я — и он смотрит на меня почти что с испугом.

— Вы странный человек... — говорит он. И немного погодя, вытаскивая из кармана какой-то — сложенный вчетверо — листок папиросной бумаги:

— Дал мне один из наших вчерашних мичманов. Стихи. Едва успел отстучать для вас копию...

Я мельком разглядел заглавие: «Продолжение темы» и сунул листок в бумажник.

## 11

Я сунул листок в бумажник и вспомнил о нем только наутро, на службе.

Едва развернул, пробежал глазами — вошла Дина.

— Вот! — протянула она на ладони, испачканной красками, сложенную в самый мелкий квадратик другую папиросную копию. — Получила это вчера от Бурова, а он, будто — от одного морячка, с кем пили. Читали?

Я кивнул.

— Прочтите мне вслух! Если вслух — всегда больше понятно...

Я читаю, сперва спотыкаясь, а потом даже с неожиданным для себя самого тремоло в голосе — нервы, черт побери!

Когда кончаю, Дина страдальчески проводит по лбу разноцветной ладонью — и над бровью у нее садится лиловый восклицательный знак.

— Вы измазались!

— Наплевать! — говорит она. — У меня мигрень...

И, после довольно долгой паузы:

— При вас он дал этот стих Бурову, наш матросик?

— Я ушел раньше всех, как вы помните. А разве и не при вас?

— Я тоже не досидела до конца, пошла спать.

— А Поли?

---

---

— Что — Поли? — поднимает она одну бровь. — Потянулся, конечно, за мной, поскулил под дверью и смылся.

— Гм... — говорю я, а про себя думаю, что если никаких не было свидетелей, то, может быть, Буров... Однако, не мог же он написать это сам!..

Позже, за завтраком, мы с Диной ведем производственный разговор. Насчет предложенных начальством орнаментов, которые отражают потребительский вкус. Под конец я спрашиваю:

— А что думаете вы о «Продолжении темы»?

— Что тут особенно думать? Вроде неплохо написано.

— Нет — по существу?

Она долго, отвернув лицо, смотрит куда-то вдоль своего плеча. Потом говорит:

— Не знаю... Хотите со мной дружить?

— Разумеется.

— Тогда не задавайте мне таких вопросов. Ну их в болото!..

Моб я показываю листок со стихами уже перед самым ужином (большая ошибка!) Она становится у окошка, ко мне спиной, и читает.

Читает она необыкновенно долго — в кухне что-то горит, под потолок ползет горький сизый чадок, — она не замечает и, я вижу, перечитывает стихотворение снова и снова. Наконец, поворачиваясь ко мне почти грозно, с пылающими скулами:

— И ты мог держать это целые сутки, не сказав мне ни слова? Неслыханно!!..

Вот какие стихи — без имени автора — были напечатаны на буровском листке:

#### ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

Над Бабьим яром памятников нет...  
Но нет их и в других местах заклатья,  
к которым стоптан след,  
к которым тропок нет,  
в которых —  
жертвы окаянных лет —  
навалом спят  
мой и ваши братья.

Их имена, ты, Господи, веши!

Их тьмы.

И электроны не сочтут их:  
ведь в каждом городке стреноженной Руси  
свои застенки были и Малюты.  
И не эсэсовец, презренья не тая,

---

---

вас проводил к последнему этапу, —  
лють за колючками была своя,  
и пуля в мозжечке  
— дар своего гестапо!

Свои  
давали в смерть путевки-ярлыки,  
надгробья палачей — убитым:  
«вредители», «враги народа», «кулаки» ..  
И спят они, безвестно-далеки,  
оболганы,

замолчаны,  
забыты.

Чем жили? Где настигла злая быль?  
В самом отчаяньи унижена, бесправна,  
Какая их оплакала Рахиль?  
Не дозвалась какая Ярославна?  
Но голос-воплъ гремит и режет слух:  
«Возмездие!»

«Разбейте бронь забвенья!» ..

В бессонницей отравленном углу  
Мне страшные мерещатся виденья:  
Тьма. Слякоть.

Братской ямины бочаг,  
тавро тридцать ... какого года? ..  
На чьих стою костях?

Не моего ль исхода  
покровом мог бы быть промозглый этот мрак? ..  
Я — каждый здесь расстрелянный «кулак»,  
Я — каждый, здесь зарытый, «враг народа».  
И жалит мысль, что вместо «караул!»  
я вирши складывал, ища рукоплесканья,  
со страдного пути к обочине свернул.

А гневный мартиролог  
ждет признанья!  
Стать не легко героем в эти дни,  
душой

к венцу терновому пробиться;  
сказать убийцам,

что они — убийцы,  
убитым —

что воскрешены они.  
И тяжек выбор.

Кровь ополоснувши с рук,  
он наготове,  
палача наместник!

---

---

Как прежде,  
                                скалится на непокорный звук,  
как прежде,  
                                тянется схватить за горло песню.  
Но грезит каждый  
                                об одном лишь чуде:  
тот день придет,  
                                стозвучен и лучист,  
когда навеки похоронен будет  
последний на планете  
                                сталинист.  
Не станет в строчках лжи —  
                                недавнего оброка,  
наследия недобровольных схим,  
и слово жгучее пророка  
нам возвратит  
                                в пустыне  
                                серафим.

12

В зеркальном простенке между двумя витринами — поношенная личность: плешивый лоб, две крупные борозды по сторонам мясистого носа грушей . . .

Проходя мимо простенка личность прибавляет шагу и отворачивается, чтобы не видеть лишний раз своего отражения в зеркале.

Личность эта — я.

С литературной стороны прием не новый, но, как я уже говорил, кисть моя бойчей моего слова. Грамматическая униформа, в которую нужно его обряжать, стесняет меня.

Слово создал Бог, а грамматику выдумали семинаристы.

А кто выдумал старость?

Или кто выдумал незабвение старости, очень русскую, кажется мне, черту?

Здесь, где мы живем с Моб, — по-иному. Здесь румянощекие старички до полночи гоняют шары в кегельбанах, рядом с растущей грядкой пустых из-под пива бутылок. Почтенные дамы в огненного цвета шортах висят наискосок над накренившимся парусником.

Меня это удивляет и радует.

Дину удивляет и сердит.

— Самовлюбленные саламандры! — говорит она. — Рыбья кровь и вместо души — морская трава для набивки матрасов . . . Повесься у них на глазах — они не почешутся. Я зову их теперь «четырнадцать бутылок». Знаете — откуда?

---

---

Я знаю, но мне хочется, чтобы она выговорилась, и я смотрю выжидающе, не отвечая.

— Рассказали мне анекдот... Об одном молочнике. Разносил молоко по квартирам: поставит под дверьми бутылку — и дальше. Бутылку, понятное дело, тут же и заберут. А в одном месте не стали у него забирать бутылки, ставит одну за другой — никто не дотрагивается. Так неделю, другую — тринадцать бутылок наставил! И только на четырнадцатой пришло ему в голову: может что там в квартире случилось? Пошел к дворнику. Вместе открыли дверь: лежит хозяин — старичок один жил — мертвый в кровати, две недели как помер!..

В зеркальном простенке я вижу недобрую ее улыбку и отворачиваюсь, чтобы не разглядеть собственного лица.

Я провожаю ее до дому: в ту пору, после отъезда Вилли, она начала работать уже полный день, и мы кончаем вместе.

Простеночек этот у нас по пути. Я, как было сказано, тороплюсь проскочить мимо, но Дина как раз на этом месте и земедляет шаг: ее притягивают сверкающие рядом витрины с «пушистым золотом», как выпренне назвал кто-то из очеркистов меха.

Как-то она даже просит меня зайти вместе внутрь, в роли переводчика; я захожу, и золотушный приказчик вдруг оживает и начинает таскать ей одну за другой складчатые шубы, похожие на королевские мантии, куртки из выдры и норковые палантины. Щурясь, как Моб, она поворачивается перед трельяжем, и в зеленоватом прищуре глаз брезжит почти алчный восторг, который она старается от меня спрятать.

К этому времени прежнее ее презрение к вещам начинало, мне кажется, исчезать.

Может быть, и другое что-то, более значительное, она переоценивала про себя, — утверждать не берусь, душевед я плохой.

Но вот, например, одно из совсем неожиданных ее высказываний по пути. Обычно она малоразговорчива, и приходится вытягивать из нее впечатления от книжек, которые ей даю. Она пишет на полях: «гиль!», «тягомотина!» или ставит другие, как бы одобрительные, знаки, но не высказывается. И вдруг, глядя в сторону:

— Скажите: в этих самых «Карамазовых»... недавно прочла... Можно ли так понимать, что братья, все вместе — вроде русская наша душа? Разные разности: Иван — философия, Митя — страсть без рассудку, Алеша — ну, это по части Бога... Тоже и Смердяков, самое подлое... В целом — мы, русские, ни на кого не похожие. А?.. Это что? Вздор я сказала?..

Придя домой, я даже почему-то собрался написать об этом разговоре Бурову

Не написал...

\*\*  
\*

Главное, что у меня горело тогда, — это задуманная «Победительница». Работать ее я мог только по воскресеньям.

Работал у Дины — в гостиной у них было удачное освещение.

На сеансах бывал Поли — приезжал каждую неделю, и Дине с трудом удавалось протурить его после к родителям. Этот Поли забегал также и к Моб. Она презирала его за ренегатство, но принимала. Между прочим: я почти уверен, что он наушничал Моб о том, что происходило на наших сеансах, — я видел, что она совершенно в курсе всего, хотя из чванства ни о чем меня не спрашивала. Переносил он, вероятно, и обратно: Дине про Моб. Но — пес с ним!

На всех сеансах торчала еще и Марта, сестра Вилли, которую Дина выписала на временное житье, не вынося одиночества («В этой стране, да одной — тут в желтый дом угодишь, слово даю!»)

Марте около сорока. Когда мы сидим в гостиной, она ставит низкую скамеечку у самых Дининых ног и смотрит на Дину преданными глазами пуделя. Тоже и во время сеансов — тогда она оттаскивает скамейку в сторону, чтобы не мешать мне. В выражении ее лица есть что-то идиотское.

Надо сказать, что ни одна картина не истребила у меня столько сил, как эта самая «Победительница».

Уже с первых набросков вышку пришлось убрать: пластически Дина никак не воплощалась у меня в физкультурницу.

То же, чему следовало найти воплощение, — победительность молодости, обаяния, воли — было много отвлеченнее и сложнее. Я бился и не мог сыскать той гармонии стремительности и торжествующего покоя, которую считал главной темой, того модуса внутреннего движения, который дал бы фигуре жизнь. Я одел ее в легкие разлетающиеся одежды, оставив голыми только ноги и плечи, пытался поднять в воздух — и сажал опять. Взвихренность заднего плана должна была передать то смятение, которое я в Дине угадывал...

Увы! Картину не дано было мне окончить. Об этом — позже.

Но нужный «модус» я все-таки отчасти нашел. О том, как нашел, тотчас же и напишу — это был один из последних эпизодов, предшествующих катастрофе.

\*\*  
\*

Как-то в конце июня Дина не пришла на работу.

Позвонила мне уже перед самым обеденным перерывом:

— Так утром занездоровилось — прямо встать не могла! Сейчас лучше... Скажите, много у вас чего делать? Срочное что?

— Срочного ничего. А почему вы спрашиваете?

---

---

— Приходите ко мне завтракать. Если хотите, устроим потом сеанс. Я хандрю. Дура Марта бродит вокруг, как лунатик, совсем села на нервы. Мы заставим ее стоговить что-нибудь вкус... Минутку!.. Это как раз она: поинтересовалась, что значит «дура», — я сказала, что это вроде английского “dear”. Так придете?..

Дома Дина всегда выглядела проще и как-то доверчивей, словно скидывала с себя невидимый какой-то мундир.

Так и теперь: она обняла меня быстрым движением за шею и вытянула из рук ящик с красками. Да, у нее в самом деле запали чуть щеки, сделав крупнее глаза, что шло ей чертовски.

— Может быть, поиграете мне сперва для вдохновения? — спросил я после завтрака, когда Марта уже пристраивала в гостиной свою скамейку. На крышке рояля набросана была целая куча нот.

Она покачала головой:

— Не могу. Начну что-нибудь грустное — и заплачу.

— Так сыграйте веселое.

— Нет, и от веселого все равно заплачу. Лучше приготовлюсь пойду...

Это был сеанс, когда я особенно мучился в поисках позы и мучил Дину.

Она курит одну сигарету за другой, кидая окурки в розовую раковину у подножья бутафорской скалы, на которой сидит, свесив голые ноги. Иногда окурочек в раковину не попадает, и Марта, подскочив со своей скамейки, поднимает его с ковра и тушит.

Постепенно воздух над нашими головами становится синим.

Марте надоедает подбирать окурки — она открывает боковые створки окна и идет мыть посуду.

В комнату залетает теперь легкий бриз, прохладный и солоноватый.

— Попробуйте чуть поднять плечо! — говорю я невесте в какой раз и уже не веря, что из этого что-нибудь может выйти. — Разверните его больше ко мне! Никак не разгляжу одного поворота, линии! Еще чуть-чуть больше... Не то!.. Давайте отложим до другого раза.

— Если вы думаете кончить эту картину, давайте не откладывать! — говорит она и делает несколько затяжек кряду. — И если нужно вам разглядеть эту вашу линию — хотите, скину бюстгальтер? Хотите, сниму все? Все разглядывайте!.. Потому что очень скоро все это изуродуется...

Она затягивается еще раз, глубоко, под самую диафрагму и выдыхает вместе с полотнищем дыма:

— Я беременна.

Потом бросает недокуренную сигарету мимо пепельницы, на ковер.

---

---

Я пробую найти подходящие слова, но тут же снова схватываюсь за кисть: она как-то сникла, Дина, после своей неожиданной выходки, и теперь нога ее, закинутая за выступ бутафорской скалы, свешивается как раз так, как мне все время хотелось: беспомощно и устало, с опрокинутой вниз ступней.

Женскую, непременно «узкую», ступню очень вдохновенно изображали многие писатели. Бунин, например.

Я быстро набрасываю эту трогательную ступню беспомощным, цвета снятого молока, тоном и вдруг начинаю чувствовать к ней необыкновенную нежность — едва трогаю кистью.

Рядом с подлинником, на ковре, тлеет брошенная сигарета.

Потом приходят ко мне слова:

— Вы как будто отчаиваетесь? — говорю я Дине. — Не надо! .. И не бросайте как попало окурки. Вон ковер-то, горит!

— Наплевать! — говорит она.

Я нагибаюсь поднять с ковра окурки и походя целую маленькую ступню.

Входит Марта.

— Говорят, — начинает Дина после долгой паузы, в которую слышно, как за открытым окном каркают дискантом чайки, — говорят, будто в нас, русских, много грубости. Но и нежности у нас хватает. А здесь, скажу я, ни грубости нет, ни нежности. Не вытерплю я долго среди этих саламандр. Что делать, скажите? ..

Она произносит это все с тем же оттенком тоски, но тут же я вижу и легкую игру красок на ее лице — что-то похожее на выражение удовлетворенности и торжества, которое то вспыхивает, то исчезает.

И вместе с этим выражением приходит вдруг так долго не дававшийся поворот!

Я испытываю радость кладоискателя, открывшего вход в Сезам, и, не переводя дыхания, работаю еще с полчаса.

Потом — как хорошо и сейчас помню — делаю два заключительных мазка.

— До следующего раза! — говорю я, не предполагая, что эти два мазка, которые должны оттенить торжество в зеленоватых глазах, — последние на незаконченной «Победительнице» ..

Еще кое-что из наших разговоров во время сеансов:

— Неужели у вас так и не пропадет никогда вражда к здешнему окружению? — спрашиваю я. — Ненависть?

— Ненависть . . . — задумывается она. — Есть она у меня? .. Может, когда и есть, но, честно сказать, больше из теории. На практи-



---

---

ке, боюсь, мне ее надолго не хватит. Сама через год-другой сделаюсь саламандрой. Хочу домой! . .

И немного погода:

— А вас домой неужто так и не тянет?

— Не тянет, Дина.

— Окопались тут навсегда?

— Похоже на то . . .

— Среди саламандр?

— Среди саламандр. Я их кстати люблю: мне нравится, что они ближнего оставляют в покое.

Когда я уйду, она говорит, положи мне на плечи руки:

— А вот вас ненавидеть ни за что б не могла! — даже если б велели! Я бы хотела быть вашей сестренкой, вместо Моб . . . Ездили бы повсюду и сочиняли б для картин сюжеты. Вы, Вилли и я . . .

А в начале июля:

Я получаю вызов из местной полиции для иностранцев (в связи с принятием подданства: мы с Моб уже восемь лет живем в этой стране и сдали недавно всякие копии и анкеты).

Иду с предчувствием какой-нибудь неприятности. Вот почему:

Неделю тому назад Моб, возвратившись от старичков — родителей Поли, принесла сплетню: кто-то, где-то, кому-то рассказывал, будто я — не я, то есть не тот русский художник, за которого себя выдаю; только однофамилец или просто захвативший себе чужое имя. Дичь невероятная, но . . . «Вспомни, что предсказывал тебе Буров!» — твердит, задыхаясь от негодования, Моб. — «Кто-то непременно хочет тебя опорочить».

Кто? — ломаю я себе голову.

Что-то в том же духе как раз и случается в полицейском отделении.

— Скажите: вы состояли в армии этого русского Квислинга, которую немцы образовали из пленных? — спрашивает чиновник.

Чиновник этот безбров и безглаз; то есть, конечно, у него есть глаза, но такие бумажные, мелкие, что их можно и не заметить. Упоминаю об этом потому, что его безглазость особенно меня раздражала.

— У русских пленных не было Квислинга. Был один генерал, который отвергал сталинизм. К его армии я не имел никакого отношения.

— Благодарю вас, — кивает чиновник и заносит что-то в развернутое перед ним досье. — Мы, значит, получили опять неверную информацию.

— Вы получили обо мне информацию? — переспрашиваю я и пытаюсь заглянуть ему в глаза, чтобы, может быть, задать другой, самый важный, вопрос: «От кого?»

---

---

Но глаз, как уже говорилось, нет, а вместо ответа он говорит еще раз: «Благодарю вас» и захлопывает папку.

Домой я иду — это уже конец дня — с ощущением человека, за которым охотятся. Я на самом деле вспоминаю буровское письмо, я припоминаю все свои знакомства и встречи. Неужели правы они, Буров и Моб, и кому-то нужно вставлять моему бытию палки в колеса?

Кому? . .

\*\*  
\*

Я думаю, что мерзкое настроение, с которым открыл я нашу входную дверь, очень способствовало тому, что случилось. Как беспомощен этот литературный язык: «мерзкое настроение»! Разве передает это то, что я тогда ощущал? Мысли колючие, сомнения самые нелепые и обидные рвали меня на части, как псы. Я выпил полкувшина воды из холодильника, чтобы успокоиться . . .

Моб дома не оказалось, и это одно было уже необычно: она пренебрегала обеденным обрядом только в совершенно экстренных случаях. На бумажке, пришпиленной к двери изнутри, стояло: «Я уехала в Н. и вернусь только поздно вечером. Разогрей себе . . .» и т. д.

В местечке Н., часа три езды от нашего города, жило двое ее друзей и советников: русский священник и ясновидящая-гадалка. К этой гадалке я, вероятно, еще вернусь, пока же скажу только, что всегда удивлялся, как совмещала в себе Моб религиозность с языческой, я бы сказал, жадностью узнать будущее — заглянуть как бы через замочную скважину в небесную картотеку наших земных судеб. Впрочем Моб, умница Моб, полна была предрассудков — боялась тринадцатого числа, черных кошек, дурного глазу, верила, что можно закрестить черта в бутылку, любила загадывать, спрашивала вас: «В каком уже звенит?» — и огорчалась, если ответ был невыгодный.

Я позвонил Дине, думая поработать с картиной, но к телефону подошла Марта и сказала, что приехал Поли и что они пошли в ресторан.

Мысленно я послал Поли к самой далекой чертовой бабушке за то, что испортил встречу. Потом долго перебирал наброски к «Победительнице», воображая себе очередной сеанс.

Было уже около полуночи, когда в прихожей щелкнул замок.

— Зачем мы понадобились полиции? — спрашивает Моб с порога.

Я рассказываю нехотя, понимая, что лью масло в огонь, но утаить нельзя.

— Так я и знала! — всплескивает она руками. — Одно к одному!

---

---

Утром — ты только ушел — звонок: какой-то неизвестный требует от меня, чтобы не смела тебя отговаривать от патриотического решения вернуться на родину. Да, требует и угрожает... Но — довольно! Мое собственное решение окончательно и бесповоротно: *мы едем за океан!*

Только теперь бросаются мне в глаза пятна на скулах, посеребрившие губы, сплетенные кисти рук у подбородка — все признаки душевного шторма Моб, который, наверное, набирал силу всю дорогу. Я не знаю еще, сколько в этом шторме баллов, но начинать нужно с сопротивления.

— Мы никуда не поедem, Моб, что за вздор!

— Вздор?! — восклицает она, и за драматическим тоном этого восклицания предчувствую я монолог, тоже, может быть, вызревший у нее за дорогу. Пылкий и труднопроверяемый монолог в защиту невероятного решения.

Но сперва несколько слов об этом «за океан».

Дело в том, что в начале года меня пригласила к себе одна заокеанская силикатная фирма. Я должен был возглавить там цех разрисовок. Предложение было интересно и щедро, но — насиженное гнездо! но — прощаться с Европой! но — палимая солнцем равнина, где расположены у них фабрики! — Я отвечал, что подумаю, решив про себя, что мог бы поехать туда только на время.

В этих видах мы с Моб послали свои бумаги для получения гостевой визы.

Недавно пришло извещение, что визы готовы.

Возвращаюсь теперь к монологу.

— Вздор?! — восклицает Моб, вскидывая подбородок. — Вздор? Это вот — тоже вздор?

Она размахивает чем-то, зажатым в руке, и это что-то оказывается моими записками.

Совершенная для меня неожиданность, почти шок: как могла Моб, почти до ханжества щепетильная Моб, рыться в моем письменном столе!

Но возмутиться я не успеваю, ни вставить слово в ее возмущение. Особенно, до душевных целин, потрясла ее история с потушенной звездой, мною замолченная.

— Это ведь символично! Это и есть интервенция зла!.. Она потушила нашу звезду... Не диво, что выбрала именно этот пример: теперь они готовы потушить все звезды неба, чтобы ярче казалась уродливая своя... «Отойди от зла и сотвори благо» — вот мудрость! а ты...

Монолог длится долго, за полночь. Это целая импровизация о нашем — моем и Моб — астральном пути, пересеченном ненавистью, о борьбе тьмы со звездным любящим небом. Жаль, что не могу припомнить всего блеска его и цитат...

---

---

— «Красный дракон» . . . — почти выпевает Моб своим струнным голосом, и я догадываюсь, что это — из Апокалипсиса, который читает она вместе со священником из местечка Н. — «Красный дракон с семью головами и десятью рогами, и на голове его семь диадим. Хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю» . . .

К концу монолог становится прозаичнее: это перечисление всех возможных «за» в пользу нашего переселения за океан: во-первых, во-вторых, в-третьих . . . Тут я почти уж не слушаю — мне опять, как и до возвращения Моб, приходят в голову кое-какие новые детали в «Победительнице» и нетерпится заново пересмотреть мои этюды.

— Мы никуда не поедem! — повторяю я и поднимаюсь, чтобы идти в студию.

И тогда происходит вдруг невероятное: Моб плачет.

Я никогда прежде не слышал ее плача — девчонкой она, если и плакала, то всегда беззвучно и незаметно в каком-нибудь темном углу. Сейчас она плачет в голос!

Она обхватывает обеими руками голову и вопит, как вопят в деревнях над покойником.

Мурашки бегут у меня по спине, и бьет дрожь. Я беру ее за плечи и чуть ли не пытаюсь зажать ей ладонью рот — мне кажется, весь город слышит это безумное голошение.

Она чуть стихает и вдруг прижимается к моей ладони горячей и мокрой щекой. «Мы должны . . . Нас погубят . . . Я умоляю . . .» — твердит она в паузах между вскриками и удушьем; я чувствую, как подкатываются и режут ей горло спазмы.

Это не наигрыш, это подлинное страдание!

Жалость пронзает меня — жалость к единственному близко-му мне на земле человеку. Смею я упираться на своем «нет»? Должен я сказать «да»?

Все отступает перед этим атакующим «нет» или «да»: северное ласковое взморье, камень средневековья, моя студия, моя «Победительница». Меня почти шатает, как обессилевшего альпиниста на краю пропасти.

Так и припоминаю теперь, спустя несколько месяцев, это мгновение, которое в записках я назвал «катастрофой» и увы! продолжаю называть катастрофой и до сих пор.

Мгновение, когда я, как этот самый «бездны мрачной на краю» альпинист, теряющий под ногами опору, понимаю, что уже не могу ухватиться ни за какую соломинку.

И поняв это, в тоске и смуте душевной, говорю:

— Хорошо, мы поедem . . .

· (Конец 1-й части)

---

---

**ИРИНА ОДОЕВЦЕВА**

**L. S. D.**

На скомканом листе  
Эти строки  
Записал чудак:  
«Настали сроки,  
А могло быть не так.  
Сороки-белобоки  
Уносят меня на хвосте.

Болит темя.  
Глотаю время  
И отрицаю его.  
Глотаю пространство  
Зачем? Для чего?  
Океанное окаянство  
L. S. D.

Неужели сейчас, неужели теперь?  
На страшном суде  
Бессмыслица, бесчеловечность  
Надежд и потерь.  
Звезды, звезды, откуда такая тоска? ..  
Караул! Ура!»  
И поперек листа последняя строка:  
«Спасите! Умира...»  
— «Ю» проглотила смерть  
И вечность.

---

---

## ИГОРЬ ЧИННОВ

Мы птицы, мы ветры, кометы, ангелы.  
Летим, скорей!  
Вот берег Италии, и берег Англии,  
Перу, Пирей!

Апрельским днем, альпийским сиянием,  
la-la, la-la.  
К каким Испаниям, каким Сиамам  
Причалию я?

Но та страна, к которой причаливаем,  
Не на Земле.  
Ну что ж, не гляди с глухим отчаянием  
В холод полей.

Стихает лазурь, погасла музыка,  
И воздух — ночной.  
О нет, не Гурзуф, о нет, не Грузия,  
Но все равно.

Одежды из черных базальтов наденем и —  
la-la, la-la.  
И в небе пройдем ночным видением  
Земля, Земля.

---

---

## ИГОРЬ ЧИННОВ

Легкомысленно, чудесно,  
Так восторженно-волшебнo,  
Да! — забыться, закружиться...

Ну, душонка — Синей птицей —  
(«Самой синей? Самой райской?»)

Ну, не смейся, постарайся  
Над бедой запеть житейской,  
Над водой взлететь летейской...

(«Слушаюсь! Сезам, откройся!»)

Вырваться, освободиться...

(«Раз! забыться! Два! проснуться!»)

Ну, не надо насмехаться,  
Видишь: расцветает полночь  
Так светло, как белый лотос.

Ну, душонка — Синей птицей...

---

---

**ИГОРЬ ЧИННОВ**

Что же все бороться и бороться...  
Лучше купим розовый палаццо  
Или облако большое купим.

Я надумал позабыть заботу,  
Поменять заботу на комету,  
В лавочке купить Кассиопею.

Или без билета в лотерею  
Выиграть большую золотую  
Порцию бессмертия — ты хочешь?



---

## ИГОРЬ ЧИННОВ

Согласен, давай поиграем —  
Расплата, пока, «за горами».  
Сразимся, Судьба дорогая,  
В картишки, Судьба дорогая  
(В геенне земной догорая).

А лучше бы — прочь из геенны . . .  
(Ежидны, шакалы, гиены).

Горело багровое жало,  
Зверье поиграть предлагало.  
И прятки, и жмурки, бывало,  
И карты — прекрасно, премило.  
(К несчастью, душа проиграла).

И с чертом за милую душу  
Сыграем (а все же я трушу).  
Лунатиком выйти на крышу,  
Обрушиться в синее с крыши . . .  
Да где уж, Судьба дорогуша —  
Я правил игры не нарушу.

---

---

**ИВАН ЕЛАГИН**

### **НОВОГОДНЯЯ БАЛЛАДА**

В новогодние сугробы  
Город празднично влезал.  
С верхотуры небоскреба  
Грохотал аэровокзал.

Там стрекочут вертолеты  
Дни и ночи напролет,  
Подымаются в высоты,  
Опускаются с высот.  
И оттуда пассажир  
Улетает в звездный мир!

Старт без вских разворотов  
Прямо к звездам обращен.  
Там двенадцать вертолетов,  
А тринадцатый — дракон.

Он уселся на карниз  
И поплеывает вниз.

На драконе чешуя,  
Он в буграх и лишаях . . .  
Вам открою душу я —  
А дракон на крыше — я!

Горькой жизнью умудренный,  
Я, как Гофмана герой,  
Навсегда ушел в драконы!  
Я за них стою горой!

Я вчера девчонку сгреб,  
С нею шасть на небоскреб!

Там, в заоблачном Нью-Йорке  
Скрыто логово мое . . .  
А что есть святой Георгий —  
Все вранье! Все вранье!

---

---

У меня горит пещера,  
Черным светом залита!  
У меня клубами сера  
Изо рта, изо рта!

Дым столбом стоит от оргий  
У меня, у меня!  
А что есть святой Георгий —  
Болтовня! Болтовня!

Я люблю девчонок хрупких —  
Поутру, поутру  
Я их прямо в мини-юбках  
Так и жру! Так и жру!

Что касается съестного —  
Я удал — разудал!  
Никогда того святого  
Не слышал, не видал...

Вот сейчас взмахну крылами —  
Отходи поскорей!  
На три метра свищет пламя  
Из ноздрей, из ноздрей!

У святого — ни копыя!  
Не купить ему копыя,  
Не достать ему коня,  
Не догнать ему меня!

Я сейчас снимусь со старта —  
Улетаю в Бамбури:  
Там на конкурсе поп-арта  
Засадаю я в жури.

Что святой? О нем ни слуха.  
Не святой, а звук пустой.  
Показуха! Показуха —  
Ваш святой! Ваш святой!

Тьфу!

---

---

**ИВАН ЕЛАГИН**

**ГИМН ЦЕНЗОРУ**

Цензор!  
Ты надо мной как Цезарь.  
Я грезил,  
А ты резал!

Режь меня  
Грешного!  
Не печалься —  
Ты же начальство!

Ты — единственный  
Из земных детей,  
Знающий истину  
Во всей ее полноте.

Поэт со стихом носится!  
Радуется — сочинил!  
Но у тебя ножницы  
И бочка красных чернил!

Ты,  
Преданный  
До глубины души  
Своей эпохе, —  
Тебе ведомо,  
Какие стихи хороши,  
Какие плохи.

---

---

Ты даже  
На вздохи ветра  
Накладываешь вето!

Мерой твоей мерим!  
Курс на тебя берется!  
Ты облечен доверием  
Высокого руководства!

Целовал я дамочку  
(С каждым может случиться)  
И в подколенную ямочку,  
И в ключицу! . .

Но ты,  
С наскоку  
Ринувшийся в баталию,  
Крикнул:  
Целуй в щеку!  
Руку клади на талию!

И сразу же я, опомнясь,  
Провозгласил скромность!

Нравился мне  
Вольный стих,  
Непроизвольный стих!  
Но ты закричал:  
Никаких вольностей!  
И я стих.

Обещаю  
Не быть неряхой,  
Резать строки  
Ровно, как сельдерей!  
Да здоровствует  
Амфибрахий,  
Анапест,  
Дактиль,  
Хорей!

Я буду  
Бряцать лирой,  
А ты —  
Меня контролируй!

---

Ты укажи поэту,  
Что подлежит запрету,  
И сообщи заодно,  
Что славить разрешено.

Ты,  
Кто мудр и непогрешим,  
Светом своим  
Осени нас.  
А мы  
Стихи писать поспешим  
Распивочно  
И навьносно.

ГИМН ЦИТАТЕ

Где-то, о чем-то обмолвился гений когда-то — цитата.  
Не прикасайтесь! Тут все непорочно и свято — цитата!  
Лупят друг друга противники фразою сжатой — цитатой!  
Дурень взывает некстати и кстати — к цитате!  
Старый догматик на карточке снятый — с цитатой!  
Приспособленец сползает по скату — в цитату!  
А краснобай обзавелся богатой цитатой!  
А ловкачу раздобыли по блату цитату!  
И клеветник прицепился в печати к цитате!  
Господа молит начетчик: обрадуй цитатой!  
Дай всеобъемлющую по охвату цитату!  
Речь болтуна потрясают раскаты цитаты!  
Склочник взывает, крича благим матом, к цитатам!  
Умники сплошь начинают трактаты с цитаты!

---

---

Публику лектор томит сто тридцатой	цитатой!
Чтоб возбудить уваженье в дитяти	к цитате,
В лагере день начинает вожатый	цитатой!
Кто-то бормочет — назад, как в тридцатом,	к цитатам!
И растекается в витиеватых	цитатах!
Скучный оратор кладет как заплаты	цитаты!
Дочку назвал компилятор завзятый	Цитатой!
... Раз укротитель водил по Арбату	цитату!



---

---

АНАТОЛИЙ ДАРОВ

## ПРИБЛУДНЫЕ СЫНЫ

В Дабендорф попали только к вечеру, не без помощи советчиков-винетчиков. Артист увязался было провожать «до самого», но Саша отмахнулся: с таким гидом за год не доедешь.

И сразу попали в облюбованный русскими солдатами в немецкой форме, но с нашивками «РОА», \* ресторан около вокзала. За рестораном простирался почти русский мир в деревне с почти русским почвенным названием: Глинник.

Здесь узнали: было покушение на Гитлера. Сами немцы. Ранен легким испугом.

В углу за сдвинутыми около фортепьяно столиками пели:

— Ой, жаль жаль! —

ухарски обрывая под звон бокалов. Девушки с нашивками «ОСТ» на блузках подвизгивали тончайше-радостно. Хозяйка — толстая, шустрая, миловидно-копноголовая — бегала от стола к столу:

— Што такой и пошему — «шаль, шаль»?

Ей объяснили. Смеялась оглушительным бауэрским смехом, шлепая пустыми кружками по крутым, как жернова, бедрам. Ее помощница-старушка — и та не отставала:

— Рихь-тих-тих-тих!

В двух залах не хватало места. Платили, не требуя мелочно мелкой сдачи, и дозволенное тотальным законом пиво лилось рекой, смешанное с ручейками запрещенного денатурата. Поставщик по истине противоземного спирта — воровитая «остовская» аристократия из соседних деревень-станций с онемеченными славянскими названиями: Малов, Далевец, Цосны.

Спирт окрестили «чертом». Жгли желудки, травились, слепли, но пили, запивали — кто предательское чувство тоски, кто — тоскливое чувство предательства.

Младшие братья по крови, по возрасту не попавшие в Красную армию, в плен и в РОА, но пригнанные в рабство, ловчили, как мог-

---

<sup>1</sup> Главы из романа «Бессмертники».

<sup>2</sup> Русская Освободительная Армия.

---

---

ли. Ост-аристократы ходили при часах и при деньге, курили дорогие «черные» сигареты и быстро и точно вошли в курс новой и местной «политики»:

— Оно конечно. Здесь нам уж как плохо было, особенно по-первости, теперь-то мы осмелели. Но и то, скажем, из нашего Сосеновского лагеря, из трех тысяч гавриков, только мы трое рискуем к вам пробираться с чертом. Риск — потому платите . . . Да, чижало живется издесь. А игде лучше? И дома — оно, конечно, того . . . Сталинская диктатура — оно, конечно, гроб с музыкой, — и воровато опускались глаза.

В полночь, обычно поспешно и ни с кем не прощаясь, они забирали своих «хвостовок»:

— Что, дурехи, на погоны падаете? Они же изменщики, им же еще как будет! Или хвортепяну отродясь не видывали? Так мы вам сичас заграем.

— Скучно веселится маленькая дабендорфская Россия, в мундире чужого покроя, покрытая первоначальной пылью измены фронтового счастья. Сашок, вперед отсюда! Меня раздражают эти нашивки «РОА» и клеймо «ОСТ» или наоборот, — Алкаев встал. Но Половский усадил, как осадил:

— Посидим еще, патриотик, утри ротик. Попробуем теперь коричневого пива — фашистскую брагу.

Снова в углу затянули — и все столы подхватили: «Жаль, жаль!» В разгаре песни и стучанья уже по-немецки кружками по столу, в ресторан топотно и шпоробряцально вошли офицеры. Стало тихо, потому что:

— Смотрите, это же сам генерал Власов!

— Неужели? Андрей Андреи-ич!

— А что ж тут такого. Не первый раз.

— Он наш ресторашек во как любит. Увв-важайть . . .

— Сидите, ребята, — сказал высокий генерал. Но все встали.

— Тогда я уйду. — Все сели.

Крупные губы, очерченный властностью подбородок, высокий, круто бегущий назад, как у Николая Первого, лоб. Из-под бровей мелко выглядывают глаза — строгие, но за толстыми стеклами огромных очков тонко таятся усмешка, или вызов — всему: и себе, и своей судьбе, и всем. И озерная в серых глазах каплится грусть. Без нее в общих чертах простое лицо Власова было бы ordinarily-мундирным, как у многих военных по призванию.

Он выпил кружку пива у стойки, пробасил внятно: «Молодцы ребята, пойте дальше» — и ушел со своими офицерами, высокими, как на подбор, здоровыми, вернее, здоровенными красавцами.

Алкаев глядел остановившись, забыл про пиво.

— Что это, Саша, личная охрана такая?

---

---

— Нет, охрана великой личности. Какой знаменательный день: твой Жиллов, он же, конечно, Жиров, кажется, уже ничей Гитлер и наш Власов.

— Наш? Возьми его себе. А мне он не нужен. Рост, глаза, голос, жесты — актер-трагик в очках.

— Да, но это большой актер великой русской трагедии.

— Ого! Пожалуй, лучше не скажешь... — Дмитрий, отвычно морщась от «черта», недовольно оглядывал ресторан. — Куда мы попали... Нашивки-фальшивки «РОА» и даже «осты»-прохвосты.

— Куда и следовало. И не кривляйся, да не искривлен будешь. Власов хороший дядя. Он взял на себя донкихотскую ответственность. Это не измена, если ты уходишь от бандита...

— И переходишь на службу к другому бандиту, который убивает и грабит твою страну...

— Да, но все-таки, Власов — не измена. Это убеждение, уже идея. Пойми главное: изменник — если немец, француз, англичанин, американец. Но русский — другое психологическое дело. Не каждый русский способен и обязан защищать психопата и бандита-вождя, советскую власть с концлагерьями и коммунизм с неизвестностью, гибельно-гигантский опыт и безжалостный пыт.

— Ого, видно, в «Винете» тебя здорово подвинули, бывшего лирического противника Сталина.

— Обо всем этом я думал еще тогда, когда — один, слава Богу, из всего нашего института, — сидел в НКВД... Каждому национально мыслящему даже дураку должно быть ясно: перейдя к немцам, Власов по крайней мере спас от голодной смерти сотни тысяч военнопленных, если не больше миллиона...

Шумно вошел фельдфебель-геркулес, хозяйка оторопело сказала «майн гот», а он медленно прошел на кухню, с важным кивающим видом хозяина.

— Вот и Васька Куля, хозяйкин хахаль, — сказали за соседним столом. — Она в нем души не чает...

— А он в ней — тела. И Куля — по-русски звучит, как пуля, — заметил Саша, — а выглядит как целый снаряд...

Поздним вечером, еле держась на ногах от усталости и отчужденности от «черта», что вместе называлось чертовской усталостью, подошли к воротам школы пропагандистов РОА, держащимся на честном слове. С письмом Жилова их пустили в лагерь, обнесенный не очень колючей, но все же проволокой, прорванной в тех местах, где ближе к лесу.

Дежурный офицер с вялым лицом направил их — «отсыпайтесь с дороги» — в барак с двойным и подозрительным названием «сборно-штрафной».

В комнатах пахло застоялой пустотой, и только из одной слышался голоса. Там офицеры играли в карты, в шахматы и в воспо-

---

---

минания. Как известно, самые болезненные воспоминания у молодых, у стариков они притупляются и пошаливают: врут в свои собственные глаза.

За столом картежников сидели, вернее, заседали все те же, но располневший теперь Ваню и похудевший Ваня, по-прежнему лохматые, как два карачаевских конька. Ваню с буйными криками проигрывал, Ваня с такими же криками снимал с коня только что положенные Ваню и другими смехотворно маленькие фронтовые марки.

Кому, кому, но гостям была известна несостоятельность этих выкриков: касса-то у кавказцев общая.

В углу, под портретом Власова в известном френче сталинского покроя, сообщали друг другу:

— Я в то время еще в лейтенантах ходил.

— И что же, до чего доходились?

— А до майора, но здесь очень строгая комиссия — дали только капитана. Не стал, знаете, спорить. Не в чинах дело. В идее, да. Так сказать.

— А этот рыжий подхалимыка врет, что был майором. Я его сержантом в Киеве видел.

— Только вы поосторожней с ним: он, говорят, поднемецкая сволочь.

— Пусть он сам будет поосторожней. Неровен час, башку-то открутим и в немецкую канцелярию подбросим.

Кто-то напевает на мотивчик, привезенный из Италии, где тоже есть какие-то части РОА и казаки, не желающие к ним присоединиться. Казакам теперь всюду подавай привилегии, хотя бы и ни за что. Исторически привыкли.

Ка-апуляди, капуляди,  
Полюбите Христа ради . . .

Безусый — такой же, может быть, каким был до плена — лейтенантик декламирует Киплинга:

Умей поставить в радостной надежде  
На карту все, что накопил с трудом,  
Все потерять, и нищим стать, как прежде,  
И никогда не пожалеть о том.

Другой, тоже, видно, не знающий лезвия бритвы, угрюмо слушает, упрямо повторяет: «А Гумилев лучше писал, да, гораздо лучше писал» . . .

— Да, Гумилев здорово писал о капитанах, но не о таких, как я, — сказал капитан со следами не только бритвы, но и сабли на смуглом лице.

Не удивительно, что в РОА, в этом удивительнейшем в истории мира движении военнопленного русского народа, которое исто-

---

---

рикам будет так трудно понять, простить и осудить, самыми любимыми поэтами были Киплинг и Гумилев . . .

— Эге, да нашего полку прибыло! — обрадовался Ваню, а Ваня грустно мотнул головой:

— Придется вылезать из игры. Еще два приبلудных сына. За что попали, цивилияги?

— Как за что? — не понял Саша. — За измену родине, что ли?

— Да нет, это само собой, но почему вас в наш знаменитый барак сунули?

— А вас?

— Здесь почти половина штрафников. Мы с Ваню, например, пропагандировали в лагере военнопленных, чтобы не умирали с голоду, а шли на военный паек к Власову без большевиков и капиталистов . . . Да пойдёмте в нашу комнату.

Ваня вывернул карманы на стол, собрал марки в кучу, почертил в воздухе пальцем — и разделил их на четыре части.

— Счастье ваше. Поздравимся с крупным выигрышем.

Ваню, как игрок пассивного счастья, побежал за «чертом». За чаркой омерзительного даже не зелья, а синья, с сизыми керосиновыми пятнами на маслянистой поверхности, Ваню признался: никакой пропагандой они не занимались — кому она теперь нужна? — но играли на баяне, дулись в карты и в деревнях щупали запретный арийский плод, тоталитарно и окончательно перезревший. А официальная версия — подрались с немцами. Это Власов любит. Недавно немцы, по глупости или нарочно, прислали военнопленных рыть блиндажи для Власова и его штаба. Чем они думали — неизвестно. Картина: идут наши доходяги, на власовцев не смотрят, — и власовцы чувствуют себя не в своей, а в немецкой, тарелке . . . А Власов подошел, дал каждому по сигарете, — а потом вдруг видит у них на спинах клеймо «КГ». Приказал снять френчи и тут же сжечь, а ребятам выдать новые . . . А пропагандировать теперь поздно. Война кончается. Дураки тоже кончаются, хотя и не сразу: инерция глупости велика и томительна. И заметьте: не успеют кончиться одни идиоты, как начнутся другие. Закон войны и мира . . .

\*\*  
\*

Утром пили кофе в картежной комнате. По утрам Ваню с Ваней обычно наперебой вспоминают Моздок со всеми окрестностями.

— А станицу Русскую — помнишь, как бомбили . . .

— Эх, бедный Моздок. Бедная моя в нем жена.

— А он в нас — как церковь, что уцелела на Базарной площади, и мы в ней — вместе с ней уцелели . . .

— А чей-нибудь уж близок час.

— Наш столетний Пушкинский парк . . . Обугленный, ни одно-

---

---

го живого — зеленого дерева, и только один бюст поэта стоит, виден отовсюду — белый-белый.

— И Казбек — как гипсовый, а когда солнце всходит — бриллиантовый...

Да, Казбек стоял над ними, над воспоминаниями и над самой войной — равнодушный и далекий.

Саша принялся чертить, выдумывать что-то круглое, в колосьях, с серпом и молотом посредине: герб новой России — о ней здесь так много, для успокоения ли совести, фальшиво или честно, или во власти самовнушения — когда-то коммунистического, теперь антикоммунистического — говорили и спорили.

— Ничего что-то не выходит из этой новой России! — неудачный художник рвал из блокнота лист за листом.

— Ничего и не выйдет, — сказал унтер-офицер с забинтованной головой над кружкой кофе — прерывистым, будто перевязанным голосом. — Взять, к примеру, миня. Я, скажу, в поиматии Власова участие имею.

— Ври больше, — не поверил Ваню.

— Зачем врать? Можно еще как подтвердить-проверить... Нас, русских, было двое.

— Может быть, лучше бы было, чтобы — ни одного, — заметил кто-то.

— А остальные были немцы. Армию его, говорили, немцы загнали усю в куток. На нескольких километрах уся была сконцентрированы. Ну, и почали ее бонбить. Куда ни кинь — усе в цель. Отдал он, конешно, приказ, как следует быть — не сдаваться, но по лесам разбегаться. И сам побег. И две недели ходил-бегал, ягодки собирал. А немцы его искали упорственно, знали, что деться некуда. Не Сталин же его выручать будет... Когда мы его, наконец, окружили в избушке-то, еще не зная, он ли, — он возьми да и выйди сам, от слабости шатается. Не стреляйте, — крик, — я самый есть генерал Власов. Немецкий офицер еще сказал ему в насмех, вроде, одно слово — «Сталин» — так его и передернуло всего, Власова-то. «Я, крик, этого дьявола ненавижу теперича».

— Похоже на правду, хотя и не первый раз такое слышим. А сам-то ты как в эту кашу попал, забинтованная ты садовая голова? К нам только сегодня приперши? В очишко на молочишко не хочешь перекинуться? — Ваню уже доставал истрепанную колоду, тербил сосисочными пальцами.

— Мине карты не интересуют. Баловство одно. Я об сурьезных делах думаю. Вы вот слушайте сюда, если спрашиваете, — перевязанноголовой допил кофе и поставил кружку вверх дном. — Когда немцы к нам пришли, я лежал в гостипале с переломанной случайно ногой. Немцы вышвырнули наших раненых на мороз, положили своих. Провалился я у одной сердоболки на печи месяца два,

---

---

поправился вроде, потом вижу — жрать совсем уже нечего. Немцы все подчистую забрали. Потом мобилизовали усех, которы поздо-ровше, хивами, хильфегегерями, \* значит . . .

Парень заинтересовал всех. Расспрашивали. Отвечал охотно и, может быть, если привирал, то неохотно. До войны ездил помощником «мшаниста». Жил в семье с двумя «дядьками». До немцев они работали в сельсовете, при немцах тоже. Армия Власова выбила немцев — и Особый отдел расправился со всеми немецкими «при-спешниками». Одного дядьку повесили, другого почему-то помило-вали. А когда снова пришли немцы — повесили того дядьку, кото-рого большевики помиловали.

— Вот тут и разберись, игде правда? — бывший «помохарь», как его уже все называют, разводит руками и кашляет. — А я себе нем-цам сапоги чистил. И кто куда пошлет — службу нес. А на Власо-ва мне взяли, как местные леса хорошо знаю . . . Потом мы еще одного полковника схватили. Плакали, зубами дрались. А нонче ви-жу его — идуть себе здесь по лагерю в полковничьей же хворме. «Здрате, — говорю. — Не узнаете. Та я ж вас у плен брал» . . . На-хмурился чиво-то. Ступай, грит, к черту . . .

— Ну, и дурак же ты, братец. Нет у тебя никакого психологи-ческого понятия. Герой — голова трубой! — Ваня покачал лохматой головой. Но «помохарь» не смутился:

— А ты чем лучше? Все мы одинаковые . . . А погоны да грамота твоя здесь — тьфу! — не при чем . . . А то еще мне пришлось побы-вать в одном лагере военнопленных. Так там полицай похвалялся: Яаа-ак, грит, вдарю червоноармица в ухо — так и с копыток до-лой, як вдарю . . . Потом приехал власовский офицер — пропаган-дист изотсюда, с Дабендорфа. Задрался с полицаем из-за чего-то. Правда, он здорово ел перед тем. «Я, грит, сначала должен подкре-питься да поздоровшеть, а потом я ему покажу, уж к чему-нибудь прицеплюсь». Вот и сцепились. Аж от столовки до уборной драка шла. Потом его власовец топил в дыре долго. Кунал и вытаскивал, кунал и вытаскивал. Но так и не утопил. «Это, грит, не входило в программу». А немцы стояли кругом, как на кулачках. Один грит: — Нам наплевать, один изменник давит другого . . .

— Довольно, — остановил Ваню. — Дитя природы само подошло к истокам Достоевского . . . А я про такие случаи тоже знаю. Дирал-ся наш брат и между собой — из-за власовской программы, но это вполне входило в программу.

. . . В дверь просунулась кубанка над чубом и вошел казак в ще-гольских сапогах.

— Казаков нима?

— Есть, вот они мы.

---

\* Hilfswillige — добровольные помощники.

---

---

— Мабудь, до Краснова податься?

— Нам и здесь не плохо.

— Издесь кормять плохо. И бывших комиссаров обличьа на каждом шагу выглядяють. А меня, героя Варшавы, хотят за що-то судить. Я не хочу Власова. И Краснов его не хочет.

— Погоди, Сталин их помирит.

— Вот, я ж и говорю, шо издесь комиссаров бильщ, як треба.

Казака вежливо выпроваживають казаки же:

— Не туды, брат, попал. Садись на коня и погоняй отседова.

Хотя, — подумал Алкаев, — это не значит, что они не объединятся с ним сегодня вечером в ресторане «Черт», где после возлияний Кубань сливается с Доном, но всегда сначала с Терекком.

### ДАБЕНДОРФСКИЕ ДИАЛОГИ

Каждый день в сборный барак приезжали пропагандисты «Новой России без большевиков и капиталистов» и, конечно, без немцев, попадали и хиви из разбитых на восточном фронте немецких дивизий. Они были странно веселы, эти свидетели и вольные или невольные же участники предпоследней катастрофы Вермахта на полях Польши, беглецы с начала войны до конца — с запада на восток, потом с востока на запад.

— Бьют немцев, и слава Богу. Так им и надо, немцам, — говорили они. — Так нам и надо — нам, чтобы в другой раз не связывались. Мы думали обмануть немцев, как саму смерть, а обманули самих себя.

Им возражали спокойно-пришибленно:

— Здесь никто и не думал обманывать немцев. Но ушли бы они из России или нет — это другой вопрос. Скорее всего они нас, липовых освободителей, пустили бы в расход, а Россию отдали бы на съедение зондерфюрерам с немецкими же овчарками во главе. Но Россия восстала бы. И кровушка бы лилась, да лилась. Нет такой армии в мире, которая смогла бы долго держать оккупацию бесконечной России и безграничного русского народа, сумевшего сбросить с себя и татар, и тевтонов. Дойдет очередь и до Сталина. Конечно, надо бы Власову договориться с англо-американцами. Но Сталин успел договориться раньше — и о наших тоже башках...

Кажется, общую затравленную мысль выразил бесхитростный «помохарь», этот украинизированный кацап:

— Да, слышно, быдто на какой-то фиренции постановили после войны выдать всех советских подданных. Хорошо жа. Тогда мы сразу заделаемся антисоветскими подданными. Как тогда нас выдашь?

От бурных и откровенных споров, разговоров и разговорчиков сборный барак шатался, как пьяный, на глазах у других барачков. Среди них он, конечно, занимал первое место, если не считать та-



---

---

инственного, как закрытый клуб, барака № 1 — редакционного. Там редакции двух газет — «Доброволец» и «Заря», — уживались при-  
близительно так же мирно и ordinarily, как «Известия» и «Прав-  
да», с которыми они вели посильное сражение на словах.

Котелковый обед из общего котла получали в по-немецки быст-  
рой очереди на кухне. Консервированная пицца, консервная, из ба-  
нок, посуда. Плавленый сыр, пресованный хлеб, сплюснутые сиг-  
ареты. Все это немецкое. И разнообразнейший русский разговор-  
ный десерт.

— Все равно, ничего бы не вышло: ни у нас с немцами, ни у нас  
с американцами. Русский народ никому теперь не верит, — говорит  
пожилой офицер с простым, одухотворенным печалью лицом, как-  
их немало среди власовцев.

— Ты, брат, прав: не нам наш народ судить.

— Но и не ему — нас.

— А по мне хуже большевиков никого нет. С немцами справить-  
ся можно, что и большевики теперь доказывают, а с Усатым — по-  
пробуй-ка . . .

— Когда вы думаете о большевиках — вообразите себя в концла-  
гере. Тогда все будет проще.

— А думая о немецких партнерах вообразите себя в немецком  
лагере, или, как было на моих глазах, горящую деревню, детишки  
выползают из огня, а их косят из автоматов. Если вы это считаете  
борьбой против большевиков, то я плюю вам в морду.

— Спокойней, спокойней. Политики губят мир, политикой и на-  
до спасаться. Будем скифами: терпенье и отступление до извест-  
ных или неизвестных, но железных границ.

— За одно то, что они с нами делали в плену, сердце ни в ка-  
кую месть не укладывается.

— Если применить к немцам их же методы — ни одного немца  
в мире не останется в живых.

— Уж кто-кто, но Усатый долбак на это не пойдет. Ему один  
проблематичный немецкий «товарищ» дороже тысячи русских бес-  
партийных.

— И американцы на это не пойдут: им один немец, может быть,  
дороже всего нашего, несмотря, что кого только в нем нет, барака.  
И батальон РОА в Шербурге не забудут: он дрался до конца, когда  
уже немцы сдались.

— Им плевать и на нас, и на немцев, и на батальон в Шербурге.  
Война до них не достала. И жрать у них есть что — даже, говорят,  
в океан выбрасывают целыми баржами.

— Вот нехристи.

— Так это ж они отбросы выбрасывают.

— Там у них — государство для людей, а не люди для госу-  
дарства.

---

---

— А все-таки мы — сила, неожиданная ни для кого.

— «Мы», «мы», а сколько нас? Сотня тысяч? Пусть миллион, причем процентов семьдесят механических безыдейников... само-спасателей...

— Что это он? А по шее не хошь?

— Тихо, дайте досказать. Не грязните единственную в Европе свободную трибуну. Продолжайте, как вас, безыдейник или бездельник...

— Так вот, пусть нас миллион — что это по сравнению с гневным валом взявшегося за дело войны, оскорбленного русского народа?

— На поэзию трудно отвечать. Но как бы то ни было, мы должны быть благодарны Власову уже за одно то, что спас нас от военнопленной смерти. И не только за это! Еще больше за то, что с ним, наконец, мы обрели чувство, право, дерзость хоть раз в жизни, наконец, подняться против бандита Сталина. Пусть поздно, зато нас не забудут.

— Удивительно получается: мы показываем кулак одному усатому и кукиш — другому, подуску.

— Оба хороши.

— Во всяком случае, было бы преступно и глупо не использовать такой единственный шанс — поднять свой голос, хотя бы морально отомстить партбандитам.

— Власов нас спас, а сам погибнет.

— Погибнем и мы. Спас, но для чего? Для Сибири?

— Ну, что жа? Там, может быть, выдержим какой-то срок, а у немцев — так дудки бы.

— Да, мы в тупике. Выхода никакого, кроме из немецкого лагеря в советский, с пересадкой в Дабендорфе. Но что бы кто ни говорил, мы честно рискуем: выступили с оружием в руках, а не из-за угла или письменного стола. Что будет, то будет. Риск первый и обычный — фронт; риск второй — голодная смерть в плену; риск третий — конец войны, на сталинскую пощаду могут надеяться только идиоты; риск четвертый и самый страшный — презрение своего народа. Но тут есть надежда: народ-то поймет и простит. Пусть, может, и не сразу.

— А мне кажется, что я постарел от... предательства.

— Это идол с кавказским ремешком — на нем бы его повесить — вогнал нас в это дело.

— Он нас из него и выгонит.

— Я только теперь понял, когда уже поздно: спасал свою шкуру за кусок хлеба, а потом к нему, в виде по-немецки тонко намазанного слоя, прибавились маргариновые, но совершенно правильные идеи.

— Никогда не поздно понять, что беспочвенник и мягкотелец, и к тому же совсем не интеллигент.

---

---

— Да, и вот эти, как вы по-мичурински сказали, маргариновые идеи . . . Мичурин где-то сказал: «Эти западные маргариновые мудрецы» . . . Эти идеи — а именно погнать в три шеи Сталина, то есть с Молотовым и Берия прежде всех, — совсем неплохи, только если бы не с немцами, а самим бы, самим бы, да.

— Ишь какой «сам с усам» нашелся. А там — сом с усом, и ему еще дядя Сам помогает.

— Все-таки, сколько не самооправдывайся, а все ваши идеи притянуты за лагерную проволоку.

— А ваши?

— Он же цивилияга, не видите?

— Да, я не в немецкой форме. Мои идеи еще не оформились. Можете считать меня предателем, но я не могу быть придателем всему этому какому-то исторического значения. Для истории, может быть, Андрей Курбский интересней Власова.

— Он не знал плена. Он не в форме. Но он может расписываться за историю.

— Счастливчик.

— Ему нужен лифчик вместо формы.

— Странная зарождается демократия: у одних чешутся языки — у других руки.

— Зачем скрывать, разве не многим там и — увы! — здесь власовцы кажутся только шкурниками и предателями, и, что греха таить, такие есть. Куда направляют немцы полицейских из эвакуированных лагерей, из особых частей СД и Гестапо — к нам, только мы их не знаем, и если среди нас есть доносчики, так это они же. Но большинство из нас — просто комплекс внешней пропаганды, вполне правдивой и проверенной на собственном опыте, с внутренним самовнушением, инстинктом. Мы будем прощены историей — перед лицом правды, она откроется перед всем миром и откроет ему глаза, и он увидит гекатомбы сталинской тирании над катакомбами России.

— Но прежде он увидит человекодоменные печи в нацистских концлагерях.

— Это не оправдание Сталину.

— Да, но, все-таки, большая для него удача.

— Что говорить, ему здорово повезло. Но я не думаю, чтобы всех нас ему удастся получить по списку, уже, конечно, заготовленному.

— Эх, ребяташки . . . А что делать? Психологически мы явление логическое, то есть неслучайное, но политически мы не успели превратиться в «мы».

— Ну вот, замыкал, пустомеля.

— Продолжаю: но этот налет случайности — не будь военнопленных, было бы Власовское движение? — может быть с годами . . .

---

---

— И с такими гадами, как ты . . .

— Молчи, чернь . . . с годами, и очень близкими, превратиться в пыль и прах забвенья. Никому мы не будем нужны, ни память о нас . . .

— Все может быть. Простой народ — он забывчивый и мудрый. Интеллигенция — злопамятна. Она свалила царя. Свалит и Сталина, дай срок. И на нас собак навешает.

— Он-то ей даст срок, будьте уверены. И старой, и новой — по Ткачеву, который хотел отсечь головы всем русским старше двадцати пяти лет. Для ускорения коммунизма.

— По Ткачеву или Нечаеву?

— Оба хороши.

— По-моему, о Власовском движении не только говорить — думать еще рано. Нужно только действовать, спастись. Не для того мы уцелели в боях и в бесчеловечном немецком плену, чтобы так просто сдаться.

— Самое удивительное, что второстепенные читатели забыли первоклассного писателя, который не нуждается, чтобы его считали классиком — «Царь Голод» имя ему.

— Вы нам голову не морочьте. Во всем виноват Сталин и элита коммунистической партии, его породившая, и вся партия, будь она проклята пролетариями всех стран . . .

— Которые, между прочим, тоже хороши. Немецкие рабочие не отказались поживиться за счет русских, и с легкостью, не требующей избытка низшей совести или высшего образования, возомнили себя выше всех, а русских назвали унтерменшами. А любой француз ни в грош не ставит немца, англичанин презирает и тех, и других, и третьих. Каждый европеец выше другого европейца, и поэтому в наших глазах все они очень низко пали.

— Осторожно, он идет, — сказал кто-то, и все умолкли.

Вошел дежурный офицер, с повязкой на рукаве, и вызвал «румынских гостей» к майору Жирову.

В приемной майора что-то писал денщик, мел листы белобрысыми прядями.

— Погодите. Вот, стих допишу. Рихма чиго-то не получается. Майор — он тоже стих дописывает. Недавно перешел на стихи. А то все прозой, прозой шпарил.

В кабинете их ждал Жиллов с пирамидкой табака на письменном столе.

— Угощайтесь, ребята. Простите, сигарет нет. Не от жиру я перешел на Жирова. Вас удивляет метаморфоза? Не люблю ездить в Берлин в форме . . . Теперь, чтобы много не говорить: попал я к немцам под Волховом, был комиссаром дивизии, входящей в армию Власова. Об остальном нетрудно догадаться, но понять и объяснить нелегко. Добрый судья не знал бы, кого судить, а Усатый дьявол

---

---

обойдется и без суда. Но когда-нибудь и его без суда прикончат. Что же мне с вами делать? . . . Сейчас я ведаю, кое с кем повыше меня, но они ничего не смыслят, прессой, а значит, и такими птичками, как вы — по молодости еще не очень высокого, но по судьбе уже дальнего полета . . . Как вам понравились власовцы?

Саша ответил, запинаясь:

— Да ничего . . . Люди русские . . . Я даже заразился, начал придумывать герб Новой России. А разговоры — такие, что надо бы записать, да боюсь, попадет к немцам. Тогда будет герб — гроб.

— Да, пока лучше не записывать . . . А как тебе, Митя?

— Разговоры характерные, но записывать их нечего, топчутся на одном месте, как и все, очевидно, движение. Конечно, мы думали, что Власов хотел обмануть немцев, и Усатому показать шиш, но на это не хватило ни ума, ни сил, ни — и это, может быть, главное — ни времени.

— Да, брат Митя, время — враг всех временщиков. Время сильнее всего, и сама королева наук история — только служанка времени.

— Но скажите лучше вы нам, что все это такое? — спросил Дмитрий.

— Ишь ты, какой ловкий, — Жилов медленно прошел от стола к двери, машинально попробовал, хорошо ли заперта. — Но спасибо за откровенность . . . К сожалению, Власов честнее перед немцами, чем многим хотелось бы, по-моему, глупее перед англо-американцами, а от своих кроме ордена подвязки на шею ждать нечего . . . Конечно, знай мы многое — на многое бы не пошли, а уж если пошли бы, то более очертя голову . . . Кусает теперь усы и Сталин: его цензура-дура сама себя высекла. В «Майн кампф» ведь все сказано ясно: весь мир — для немцев, все остальные — рабы. Задача немцев — «господствовать, управлять, эксплуатировать». Гиммлер писал в 1942 году: «Наша задача . . . германизировать Восток». Не отставали от партийных вождей и военачальники. Фельдмаршал Рунштедт: «Мы должны будем уничтожить по меньшей мере одну треть населения присоединенных территорий. Самый лучший способ — недоедание» . . . Как видите, фельдмаршал не надеялся на одно оружие: «. . . Голод действует гораздо лучше, чем оружие, особенно среди молодежи». В «Правилах для лагерей военнопленных» Рейнике-волк написал: «Употребление оружия против военнопленных, как правило, законно». . . . Ну, как вам это нравится? Цитирую по отшибленной памяти . . .

— Знать бы раньше, — сказал Алкаев. — А Власов читал сии руководства убийцам?

— Читал, но как и я, слишком поздно. К тому же мы не знали истинного положения в оккупированных областях и даже в плену. Нас сразу изолировали. Но все равно, как-то нужно было отомстить

---

---

и своему бандиту. Вот уж, действительно, навязались на шею Европы два психопата, и оба с усами. И как же посмеялась над ними обоими судьба-история: Сталин до войны уничтожил цвет армии — теперь вынужден слать на фронт из концлагерей; Гитлер уморил голодом миллионы советских военнопленных — потом брал с Востока почти детей в «остарбайтеры» . . .

Что вам еще сказать о Власовском движении? Что оно ни на Востоке, ни на Западе не движется? . . . Власов думает: немцы — бандиты. И Сталин бандит. Надо попытаться рискнуть, свалить Сталина с помощью немцев, потом честно заплатить им. Если же они обнаглеют — пусть пеняют на себя.

Немцы думают: все враги — не люди, а их союзники — не солдаты. Власов не враг и не союзник. Используем его, больше как пропаганду, а для отвода глаз дадим две-три дивизии, не больше, и под нашим фактическим командованием. А в случае победы — посмотрим, как с ним поступить. Можно обвинить в заговоре и убить. Во всяком случае, от основной программы на Востоке мы никогда не откажемся.

Об ошибках немцев противно говорить. Их не было. Были преступления. Просчеты Власова? Военный — немцев может спасти только чудо, — но чуда не будет. Политический — западным союзникам их союз со Сталиным кажется портивоестественно-вынужденным, а союз Власова с немцами — противоестественно-преступным.

Психологический — советский солдат поймет власовца, но не простит измены — не Сталину, а самому ему. Сам Власов сказал мне вчера: «Знаю, что проиграли. Ничто не спасет. Но какая-то сила толкала меня. Нельзя было не попытаться, я считал это своим долгом».

Однажды мы праздновали день рождения Власова в его квартире на Кибиц-вег 9: немецкие штабс-капитаны из прибалтийских приблизительных баронов, несколько из «мы» на «ты» и охрана из своих. Один из фонов сказал: «Я поднимаю свой тост за то, чтобы вы, русские, поняли, что мы, немцы из России, и только мы, пошли на это дело, и совершенно, как и вы, искренне, а потом увидели, что нас, как и вас . . .» Он хотел сказать «обманули», но не успел, потому что кто-то нарочно разбил стакан . . . Надо сказать, что вся эта так называемая власовская акция был делом рук, голов и совести маленьких немецких штабс-капитанов и зондерфюреров, которые хотели спасти не только Германию, но и Россию, при помощи русских, и надо сказать, что им можно было верить — или нам так в то время казалось, — что они будут честны с нами и с Россией. Но как только дело попало к Гиммлеру — все пропало. И нас, и наивных фонов — обманули.

---

---

Несколько доблестных и наивных офицеров РОА написали немецкому командованию письмо о том, что они чувствуют себя оскорбленными и обманутыми, и просят, чтобы их снова перевели на положение военнопленных. Власов читал это письмо со мной вместе. Я советовал ему, чтобы мы все сделали то же самое. Но он не решился на такой шаг и письмо порвал.

А с каким ужасом слушали мы рассказ одного из любимцев Власова, русского артиста из Праги, о зловещей долине Вольфлебен, где заключенные из Бухенвальда, в большинстве русские, работали на строительстве пещер-логовищ V 2... В известняковых пластах работали привилегированные, а на подъездах и подходах — тысячи полутрупов с кирками и лопатами, под дождем и снегом, и немцы добивают упавших... Подъем на работу — в 3.30, горячая похлебка, и в 4.30 — траурный марш на работу... Конечно, я уже не могу рассказать так, — то впечатление прошло, — так живо и трепетно, со слезами на глазах, как этот артист, дай Бог ему жить и здоровым быть, — но помню, что все мы плакали, и Власов больше всех, а я скрежетал зубами.

... Через весь чистенький и уютенький городок Эрлих, по знаменитой аллее Гете прогоняли тысячи рабов. Немцы, конечно, не при чем. Те немцы, которые вместе с перинами выглядывали из окон и улыбались. Это не их гнали. Это для них гнали рабов в чудесную долину Вольфлебен, окруженную холмами и рощами, в эту долину смерти, долину V 2.

Издоранные шинели, пижамы, разбитые деревянные башмаки. Растер ногу — заражение крови — оттаскивают в сторону. Холод, грязь, кровь, приклады, палки, трупы — дорога к V 2. На разъезде к паровозу тянутся сотни рук — погреться.

В 4 дня работа кончается. И начинается бессмысленнейшее издевательство: поверка и счет рабов. Считают час, два. Десятки трупов за это время относят к будке — пересчитывают снова. Садисты слабы в арифметике. Потом шатающаяся колонна должна пройти мимо коменданта лагеря с овчарками — и приветствовать его по хай-гитлеровски. Руку поднимает один из трех или четырех, кто посильней, а остальные его поддерживают, чтобы не упал...

Только в десятом часу вечера колонна возвращается в лагерь спать, проходит по тихим улицам беленького, чистенького городка Эрлих, и жители его не ложатся спать, пока рабы не пройдут: с удовольствием выглядывают в окна. Иногда, как с неба или из-под земли, русская «Катюша» волнует подлые ставни, и они захлопываются.

А белые сигары высовываются из белых пещер, погружаются на платформы — по одной на каждую — и увозятся. Белые, толстые гадины-гусеницы ползут по трупам, потом взлетают в воздух и несут смерть на Лондон.

---

---

Братья-славяне, вместе с лондонцами, не забудут это долину V 2. Не забывайте и вы, ребята, хотя вы и просто славяне, без братьев.

— Не забудем, — сказали хором, — и Жиллов продолжал спокойно:

— Что скажу я: Власов — Дон-Кихот. Большой актер великой русской трагедии . . . Что? Вы тоже так думаете? Вот, видите . . . Но именно такой, может быть, и нужен был. А теперь — что вы скажете? Но не будьте безрассудны — и не судите. Он ни герой, ни предатель. Он — символ. И актер — о, да, как все большие люди. Вот штришок: когда-то, на фронте под Волоколамском, Илья Эренбург, у которого известный нюх на события и личностей, с восхищением рассказывал военным журналистам о встрече с Власовым. И тоже — актер, говорит, крепкие словечки вышедшего из народа самородка и удачника. Раненого солдата в свою бурку укутал. Не знал Илюша, что и бурка эта была театральным жестом: таких у Власова были полные сани. А каждый раз с себя снимал, будто последнюю. Молодец, так и надо. Но бурок у него было много, а голова одна, и теперь он ее за нас всех, а может быть, и за всю очумелую под властью сталинских опричников Россию — сам снимает. Конец войны — вот он, бери его в обе руки и убегай подальше от своих.

Друзья молчали. Сказать им было нечего.

Жиллов достал из шкафа большую коробку из-под конфет. Нет, к сожалению, это не конфеты. Здесь было все, что осталось от него — бывшего, от него — советского . . . И открыл, и высыпались орден и медали. Он заслужил их честным страхом, им же превращенным в подвиг, а иногда и сдвиг на участке фронта, где был аккредитованным пулями корреспондентом. Поэтому о нем некому было писать.

Саша это понимал. Он курил уже третью «пушку», дымил, как паровозик.

— Когда-то, на прифронтовых окопах, во время неожиданного сражения, я увидел зайца-доходягу. Он еле бежал. А я за ним — еще более еле. Меня куда-то, не скажу, куда, ранило. И Митька вынес мою тяжесть с поля почти настоящего и единственного за блокаду нашего боя.

— Молодцы. Уж кто-кто, но я-то знаю, где было страшнее всего — в городе . . . А эту видите? — Жиллов показал фотографию в коробке: сноповолосая блондинка улыбалась белозубо. Разрешите представить: последняя жена моя. А последняя — всегда первой. Любил. Любила. И что? Все отняла у нас война — любовь, родину, победу. Одного не может она отнять — любви к родине. *К преданной родине — любовь еще преданней . . .* За мою недолгую жизнь я изменил многим красивым и милым женщинам, но что они



---

---

все по сравнению с Россией? Которой я, получается, тоже изменил . . .

Саша отчаянно-несогласно рассыпал волосы, казалось, в воздухе вокруг головы у него была своя идея.

— Изменник — немец. Изменник — француз. Но мы люди мирового и страшного опыта принесения счастья всему миру, а себя в жертву. А если мы не хотим, не доросли, недопоняли? А если мы узнали правду в концлагерях, застенках НКВД и искусственных морях? Разве мы обязаны защищать такую власть — партии, а не народа? Вот о чем надо твердить заклинательски.

Дмитрий зло отвернулся от Саши.

— Все так, но сначала, все-таки, надо было побить немцев. Выбора не было.

Жилов впервые внимательно посмотрел на Сашу.

— Умно. Но скользко. Опасно. Опасность в том, что от этого, несмотря на политическую справедливость, до физического, отвратительного предательства — один шаг. Все мы — твердые орешки и скорлупа — на немецкой наковальне, под нависшим сталинским молотом: чужая власть врага и своя власть — враг. Поди-ка, выбери. Для меня такое — уже не жизнь. От такой жизни спасает только смерть. Душа моя еще не стояла на четвереньках или на коленях. Я сам сумею поднять ее к небу.

Жилов засыпал орденами улыбку последней жены и закрыл коробку, с ароматом конфет, подвигов, славы, любви. А блокадные «мальчики» вспомнили операцию «Сладость жизни» и никогда не умирающую в памяти смерть Сары.

Саша вздохнул.

— Над этой коробочкой и мы вкушаем горестную сладость теперь уже героических воспоминаний. Словно со временем воспоминания тоже получают повышение в чине и ордена.

Жилов жалостливо сощурил ярославские голубые глаза и сморщил нос, похожий, к удивлению Саши, на незабвенный Параськин — породистой картошкой.

Жилов спрятал коробку в шкаф.

— Теперь поговорим еще искреннее, хотя в нашем положении искренне можно только сомневаться . . . Самое лучшее для вас — пошлаться по Европе, поелику возможно. Лучше пробавляться заметками в наших газетках — в них, между прочим, попадаетея и честный, благородный материал, — чем работать на заводе. Но вам, если потом попадетесь к так называемым нашим, влетит побольше, чем «остам», хотя те приносили какую-то пользу немцам, а вы только мотались по Европе. Пользы от вас немцам — как от козла молока, но во мщении будете козлами отпущения. За что же вам влетит? А за то, что вам повезло выйти из стада, из толпы, из армии рабов, и вы старались жить и уцелеть, как мыслящие существа. В

---

---

чем же правосудие? А в том, что карается страшная зараза скользкого примера. Я вспоминаю слова Ленина о причинах поражения венгерской революции 1920 года: «В личном смысле разница между предателем по слабости и предателем по умыслу и расчету очень велика. В политическом отношении этой разницы нет, ибо политика — это практическая судьба миллионов людей, а судьба не меняется оттого, преданы ли миллионы рабочих и бедных крестьян предателями по слабости или из корысти...» — Жиллов довольно гладил широкий лоб, будто хвалил его за то, что осталось еще что-то за ним, в памяти. — Поняли? Так что пощады мы не ждем, и вы не ждите, предатели по слабости, и даже не изменники, а просто приبلудные к нам сыны... России, конечно.

— И что же нам делать? — спросил Дмитрий. — Все это звучит порядочно, перворазрядно похоронно. Вся надежда на вас...

— Как на козла отпущенья ваших грешков? Ладно, не волнуйтесь, я уже все устроил. Поручился за вас: сидели в НКВД, боролись, страдали — врал, как мог...

— Но я в самом деле сидел, — обиделся Саша.

— Извиняюсь. Тем лучше. Короче, я устроил вас разъездными корреспондентами власовских газет. Прежде всего помчитесь в Париж — у нас там есть отдел, и дни его сочтены, как и немцев в Париже. Если попадетесь к американцам — эка беда! — там и останетесь. Они нас не поймут, но и не съедят, а, наоборот, есть и жить дадут. Ох, ненавижу эту мелкотравчатую Европу... Потом, если вернетесь (надеюсь, не без вина), можно будет еще съездить в Италию или в Данию. Это все, что осталось от поднемецкой Европы. Есть наши отделы пропаганды РОА в Вероне и Аальбурге.

Дмитрий обнял Жилова, а Саша подпрыгнул и сел на стол.

Жиллов улыбался.

— Вам обоим нет и пятидесяти, чего, к сожалению, я не могу сказать о себе одном, — голос его стал уже совсем скрипучим, постаревшим. — Хорошо, что попался на вашем пути дядя Жиллов. Хорошо, что я знаю Митю раньше, с его явно бунтарским настроением, которое он от меня и не скрывал. Только тот же бунтарь в нем сидит и теперь. Там — против Сталина. Здесь — против немцев, это естественно, кто же за них, но и против Власова, хотя, кажется, не очень... Только остерегайтесь некоторых бело-фанатиков, уже окончательно обалдевших от второго удара судьбы: в каждом из нас они видят советского шпиона, а ведь мы просто агенты своей тоски, продажи Октября, фронтовой неудачи, а теперь и донкихотства. Разница между нами и ими та, что они потеряли в России какое-то имущество, а мы просто и только Россию. Мы были богаче, мы потеряли больше...

Саша слушал рассеянно. Его интересовало другое:

---

---

— Мы уедем, и вдруг, где-нибудь в пути — война прикажет долго жить. Нам — долго жить. Хорошо — жить, но что делать. Посоветуйте, дядя Жил . . .

Жилов ответил сразу, будто ждал этого вопроса.

— Когда все утрясется — держите курс на Америку. Там вас никто не попрекнет, как везде в Европе, что едите чужой хлеб, не смотря на то, что зарабатываете его своими руками.

— Неужели не выдадут?

— Бог не выдаст, Сталин-свинья не съест. Все войны кончаются неразберихой — кому как повезет . . . Но вдруг немцы изобретут какую-нибудь люфт-вафлю?

— А вам хотелось бы?

— Вы шутите? За кого меня принимаете?

— Шучу, и принимаю за обыкновенного изменника.

— Но в том-то и дело, что все мы не обыкновенные изменники. Пусть уж лучше мы погибнем, чем победят немцы!

— Хороши у немцев союзнички.

— Союз ягнят с волками. Пусть поздно, но мы все-таки их раскусили, а скоро их смелют в порошок. Союзнички . . . Не мы виноваты, что эти ариомонстры всех считали дураками, а сами остались в дураках.

Жилов согласно голубел глазами.

— А вот кому буду нужен я — старый журналист, с репутацией, подмоченной то кровью, то вином? Не знаю, не знаю. Но я — это не так важно . . . Главное, что войне скоро конец, одни социалисты накостылляют другим, Америка же никогда не будет в убытке . . . Еще одна, может быть, непоследняя, схватка Востока с Западом — кончается победой Востока при помощи того же Запада. Герои России скоро будут под Берлином, а непогрешимый отец народов еще крепче засядет в Кремле, как богдыхан, чтоб он сдох. Русский народ, задетый немцами за национальное живое, завоевал победу. Но если он ее отдаст Сталину, уже укравшему Октябрь, — Россию ждет новая пятилетка, уже не знаю, какая по счету, рекорды мирного, похожего на вечную войну, труда, пахота при луне и перепись убывшего еще до войны населения. Ветераны запоют одесскую песенку:

Товарищ, товарищ,  
Болят мои раны,  
Болят мои раны на груди . . .  
За что ж мы боролись  
И кровь проливали . . .

Жизнь снова войдет в свои нормы, в том числе стахановские, от которых станет окончательно ненормальной . . . Такая перспектива — уже не для вас, мы уже испорчены, не нужно нас и миловать.

---

---

А пока — прощайте. Вернетесь из Парижа — прямо ко мне. Отсюда вас нагрузят какими-то пакетами, оттуда не забудьте прихватить для меня табачку, иначе мое дело — совсем табак. И напишите что-нибудь для приличия — приличное, чтобы мне не пришлось за вас краснеть по начальству . . . Которого, в сущности, уже нет.

. . . Как пьяные, вышли от Жилова.

В темноте мрачными глыбами выступали бараки. В них, под почти русскими соснами, жилось почти по-русски: играли в карты и читали стихи, праздновали крестины и хоронили самоубийц; старые эмигранты вспоминали о России, а молодые не могли о ней забыть, и все бросали, потом собирали окурки.

— Дабендорф или Дадендорф? — спрашивал Саша.

Полнотелая немка-луна взошла над лесом. Лагерь спал, только в одном затемненном бараке шла приглушенная игра. Не все ли равно, кто проиграет, кто выиграет — все проиграли.

Взвыла сирена. Луна быстро закатилась в тучеубежище. Ни из одного барака никто не вышел.

Здесь живут фаталисты без фатовства и позы.

Да и не бомбят почему-то Дабендорф, может быть, берегут для расправы иного сорта.

Но судьба рассуждает по-своему, кого казнить, кого миловать. Она не признает конференций.

Осветительные ракеты повисли над Берлином. Кажется, там уже нечего освещать.

Но шаги победителя еще не слышны.

Дали отбой, луна осветила бараки — штрафной зажег свет первым. Из открытого окна грустный и мужественный баритон чеканил по-солдатски:

Идите дальше. Что-то будет.

Мечом прокладывайте путь.

И вас Россия не забудет,

И нас запомнит, как-нибудь . . .

---

---

## СОФИЯ ПРЕГЕЛЬ

Я выхожу из игры. Надоело  
Подниматься и таять, как дым.  
Быть и кормою и парусом белым  
И неустанным шумом воды.

Волны сомкнулись. Спряталась рана  
И бередить ее ты не смей.  
Снова над морем чайки-бипланы  
И в облаках ныряющий змей.

Да, я знаю, так было положено,  
Чтоб со мною уйти могли:  
Флаг, чужими ветрами умноженный,  
Дети, собаки, будка с мороженым,  
Тихий порт, где спят корабли.

---

---

**СОФИЯ ПРЕГЕЛЬ**

Не повторится громкий город южный,  
Все отошло в немую ночь без сна  
И кажется бездарной и ненужной  
Навязанная кем-то новизна.

В последний раз высокие баркасы  
По звездам уплывают на покой.  
Печальней и пустынной час от часа  
Сияет небо в лужице морской.

И тут же — через пыльную разлуку —  
Своим незнанием радостно богат,  
Цепляясь за невидимую руку,  
Спешит ребенок в медленный закат.

И для него все так светло и ново  
И до конца непобедимо прав  
Огромный мир, закрытый и суровый,  
Нелепый мир, смешно круглоголовый —  
В шуршании запутавшихся трав.

---

---

## СОФИЯ ПРЕГЕЛЬ

Куда они, бездомные, спешат  
Через преграды и слепые дамбы?  
Зачем кипят непрошенные ямбы  
На синем острие карандаша?

Забудь о них, подсчитывай слога,  
Впадая в стихотворную дремоту,  
Где все неново: степи и снега  
И света золотые переплеты.

Еще дрожит послушная свирель  
И вышина прохладна и эфирна,  
Но в ночь уходит милый дактиль. Мирно  
Плетется рядом серенький апрель.

И с ними некто с нищею сумой,  
В большой, до пят свисающей рубахе . . .  
А, это ты, покойник-амфибрахий,  
Старинный друг, любимый недруг мой!

---

---

## СОФИЯ ПРЕГЕЛЬ

Лампы кружились над головой,  
Трубы играли вальс цирковой,  
И этому был особенно рад  
Дельфин по прозванию Синдбад.

Но вдруг открылась ему глубина,  
Он поднял кого-то с мертвого дна  
И умчал на берег, где в валунах  
Растекалась пеной волна.

И там были обручи, провода,  
Под мячом колыхалась вода,  
И дети у самых светлых ворот  
Стояли разинувши рот,  
А матрос с португальского корабля  
Хохотал — и стонала земля.

Расширялись смеха его круги,  
Отбивали такт его сапоги . . .  
И этому был особенно рад  
Мореплаватель гордый, Синдбад.



---

---

**ЛИДИЯ АЛЕКСЕЕВА**

Сидел мальчонка маленький  
С удилицем в руке,  
Другой повис зеркально к ним  
В струящейся реке:

Подошвами приклеился  
И в облако повис,  
И даже не разделся он,  
А головою вниз.

В воде один поблескивал,  
Другой примолк на пне,  
И связанные лескою  
Задумались вдвойне.

А под пеньком мальчишечьим  
Вода плыла тиха, —  
Еще, пожалуй, тише, чем  
Рождение стиха.

---

---

**ЛИДИЯ АЛЕКСЕЕВА**

Нет, в ней разрыва нет  
И даже узелков,  
В той нити, что на свет  
Вела из детских снов.

И это я в игре  
Касаюсь ворса лбом  
На вытертом ковре  
На серо-голубом.

И это схвачен мной  
У мокрых скал морских  
Подброшенный волной  
Мой самый первый стих.

И это отдан мне  
Весь мир из Божьих рук, —  
И я стою в окне  
Вагона всех разлук.

Старушечья скамья  
И стайка воробьев . . .  
И там, должно быть, я —  
Не вижу без очков.

---

---

ВЛАДИМИР ЮРАСОВ

## ДОМОИ

### ВЧЕРА НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ

Два дня не переставая лил дождь. На дворе было холодно и сыро. Из тучи, как из окна, руками вперед вылезало солнце, озирая казармы, вымытые в лужах мостовые, идущих с завтрака строем солдат. Солдаты неохотно, понукаемые браво шагавшим в стороне старшиной, пели:

... Где же вы теперь, друзья-однополчане,  
Дорогие спутники мои...

Василий сидел дома и ждал звонка Натальи Николаевны. Было уже начало девятого. Вставал Василий теперь рано, задолго до подъема. Вчера решили выехать пораньше — сначала в Цвикау, потом в Лейпциг. Комендант Цвикау, полковник Васильев, во время войны служил в их дивизии, в Лейпциге комендантом был генерал-майор Кафтанов — тоже знакомый Натальи Николаевны. «Через них все и достанем», — сказала она. И список покупок составила: для Сони, для стариков Василия, для него самого и для ребеночка, — так и сказала: «Дома где купишь, когда народится». — «Когда оно еще будет, Наталья Николаевна». — «Ничего, мать до времени припрячет. И не красней, не маленький. Я еще крестить приеду».

В дивизии уже знали о его демобилизации по собственному желанию. Посмеивались: чего он дома, чудак, не видел!..

Много хлопот было с автомобилем. На автомобиле настоял генерал: «Победитель без приличного трофея — не дело. Дома пригодится, а девать будет некуда — продашь: все не в убытке». Комен-

---

Главы из романа «Параллакс», вышедшего на английском в Нью-Йорке в изд. «Нортон» ("Parallax" by Vladimir Yurasov, W. W. Norton, New York). Печатаются с сокращениями.

---

---

дант Норджаузена «устроил» четырехцилиндровый «Мерседес» — почти новый, всего девять тысяч километров прошел, черный, в никеле, с радиоаппаратом, и всего за семь тысяч марок. Хозяин автомобиля, местный фабрикант, продавать не хотел, но в коммандатуре пригрозили «демонтировать в счет репараций». Василий все представлял себе, как он въедет на «Мерседесе» в деревню — сбегутся все на свете! Будут завидовать, ахать. А об отце и говорить нечего, скажет: «Ну, Василь, ты у меня теперь вроде помещика какого или министра!» Посажу отца с матерью да Соню, — подумал Василий, — и поедем по деревням по родичам и знакомым! . .

Оставалось оформить паспорт и пропуск на автомобиль в Транспортном управлении в Берлине. Генерал через того же начальника штаба армии устроил Василию разрешение на отправку автомобиля до Бреста попутным военным эшелоном.

Все, все выходило отлично. Сегодня в Лейпциг и Цвикау, завтра в Берлин — и айда! Прощай Германия! С приближением отъезда росло нетерпение. С армией покончено.

Наконец зазвонил телефон.

— Слушаю, — хотел сказать «Наталья Николаевна», но по шуму в трубке понял, что звонили по городской сети. — Подполковник Трухин у телефона.

— Вася? — сквозь шум и потрескивание спросил далекий голос. Василий больно придавил микрофоном ухо, надеясь, что ослышался: голос был Федора. — Это я, Вася, — Василий думал, что Федор звонил из западной зоны. — Я ехал к вам, да лопнула крышка, а запаски нет . . . Сижу у Дюрена, по дороге в Эрфурт.

«Здесь!» — гвоздем насквозь пробило Василия.

— Ты? . . Ты . . . из отпуска?

— Да, вернулся. Один день остается. Выручи, пожалуйста.

— Ты где? В Дюрене?

— Возле. Я встречу тебя на дороге.

— Ладно. Пока, — Василий поспешно, как пряча, повесил трубку. — Мать честная!

Не успел он отойти от телефона, как тот опять зазвонил. Василия так и дернуло.

— Да, — выдавил он с трудом, ожидая голоса уполномоченного Филимонова или замполита.

— Васенька? Я готова.

— Э-э-э . . . Наталья Николаевна? Вы где? Дома?

— Где ж еще? Заезжайте и едем.

Наталья Николаевна ждала на крыльце, в пальто, в платке, в ботах. У ног притулилась набитая пакетами авоська.

— Ты что это такой? — спросила она, всматриваясь в Василия.

Василий оглянулся.

— Вы готовы?

---

---

— Как видишь. Авоську возьми — еды набрала, кто его знает, сколько проедем. Еще масла и сала немного, немцы будут сговорчивее.

Усаживаясь рядом с Василием, она спросила снова:

— Не заболел ли ты не во время? Вид у тебя сумрачный какой-то . . .

— Хуже, Наталья Николаевна. Отъедем — скажу . . .

За шлагбаумом Василий остановился у первого угла: ехать и рассказывать он был не в состоянии.

— Федор звонил, — одним духом проговорил он.

Наталья Николаевна секунду смотрела на него, потом сорвала с головы платок, словно он мешал ей.

— Батюшки! Откуда?

— Отсюда, километров двенадцать.

— С границы?

— Нет, к Эрфурту.

— Да как же это?

— Ничего не знаю, просит приехать. Что-то случилось.

— Ой, Вася, что ж теперь делать?

— Надо ехать, ничего не сделаешь. Не мог же он так, по дурусти.

— А как увидят? Да как же это? Господи ты Боже мой . . . — она завертелась, хватаясь то за платок, то за перчатки. — Может, с ним беда какая . . . Скорей поезжай, милый, скорей . . .

Ехали, минутно оглядываясь — не следит ли кто, не едет ли кто следом.

Наталья Николаевна первая увидела за деревом, у самой дороги высокую фигуру в синем пальто и шляпе. Как только Василий затормозил, Федор подошел и полез на заднее сиденье.

— Поезжай до поворота направо, там небольшая дорога в соседнюю деревню, — быстро, задыхаясь, проговорил он.

Наталья Николаевна, обернувшись, с ужасом глядела на его мокрую измятую шляпу, на его худое, заросшее, какой-то мукой измученное лицо.

— Как ты попал сюда? — выговорила она наконец.

— Сейчас, Наталья Николаевна, сейчас . . .

Василий свернул, дорога шла через лес.

— Вот там, направо, след, сверни туда и прямо в кусты . . .

Подминая мокрые кусты, автомобиль въехал в лес. Василий потянул тормоз и сразу обернулся.

— Ты как попал на эту сторону?

— Через границу . . . С приятелем.

— Тоже из наших?

— Не совсем. Павел Петрович Чугунов. Был замполитом дивизии, под Сталинградом в плен попал . . .

— Замполит?!

---

---

— Был. Теперь домой пробирается.

— Да ты как его знаешь?

— Ты не бойся, Вася, он хороший человек. Он в лесу, далеко, меня ожидает.

— О нас говорил ему?

Федор оглядел красное злое лицо Василия, испуганное Натальи Николаевны и не увидел того, что ожидал после такой разлуки, после всего, что было.

— Я ему ничего не говорил о вас.

— Ты не кипятись, — раздражаясь, сказал Василий. — Я демобилизовался, через день домой уезжаю.

— Как демобилизовался? Почему?

— Так. Сам. От греха подальше. Соню должны вот-вот освободить. Я ездил к ней . . .

— Ты? К Соне? Где она?

— На Урале. В лагере. Пять лет дали.

— Пять лет?

— Я и у Делягина твоего был. И в Москве. Обошлось. Катя помогла, короче — освободят Соню.

— Катя в Москве?

— Была, теперь вернулась в Берлин. Все из-за тебя. И демобилизовался я из-за тебя . . .

— Как из-за меня?

— Да так. Сержанта Егорова помнишь? Вернули его американцы, а трибунал приговорил — повесить. А с ним потянули: друзей да с кем разговаривал, да кто помогал. Понятно тебе? Выдают вас союзнички-то? — не то со злорадством, не то со злостью спросил Василий.

— Выдают . . . — словно был виноват в этом, ответил Федор.

— Видишь! Такая каша может завариться.

— Подожди, Вася, — вмешалась Наталья Николаевна. — Ты, Федя, расскажи толком, что случилось-то, почему ты назад вернулся?

— Деваться там некуда, Наталья Николаевна, — и торопясь, словно боясь, что не успеет, Федор стал рассказывать.

Василий слушал мрачно, то и дело оглядываясь по сторонам и прислушиваясь. Наталья Николаевна два-три раза начинала плакать.

— Вот так и согласился с полковником! Единственный выход — пробираться домой. Демобилизационный пакет у Карла, на конверте даты нет. Границу перееду, а там замету следы.

— По демобилизационному пакету как раз и засыпешься, — уже совсем зло сказал Василий. — Теперь для переезда границы надо специальный пропуск.

— Какой пропуск?

---

---

— НКВД! В Берлине, в штабе СВАГ дают. А на нем фотография и секретный шифр.

— Не может быть!

— Вот тебе и не может быть.

— Тогда я так попытаюсь . . . пробраться.

— Как это так пробраться? Граница там не то, что здесь. Ты что, не знаешь? А пограничная зона? Собака и та не пробежит. Поймают — где был? Прижмут и крышка. Два месяца куда спрячешь? Надо доказать, где был. Не дело говоришь.

— Тогда, тогда посоветуй, как лучше . . .

— Вот ты когда совета спросил! Бежал — никого не спрашивал! Что мы тебе теперь посоветуем?

— Может быть, Катя . . .

— Катя, Катя . . . Довел женщину черт знает, до чего, а теперь Катя! Нет, ты Катю не вмешивай. Заварил кашу, сам расхлебывай! Федор, не узнавая, глядел на Василия.

— Подожди, Вася, перестаньте вы горячиться, — прикрикнула на них Наталья Николаевна. — Ты, Федя, слушай: надо думать и как тебе помочь и как нас не подвести. От твоего положения мы все зависим: и он, — она кивнула на Василия, — и Соня, твоя сестра, а его невеста. Ведь он ее от лагеря, от гибели спас, а так ее не только не освободят, но еще хуже засадят. И Катя . . . А с ней ребеночек — твой ребеночек же. А с ним и я, старая, за компанию. И мой старик, и его . . . — опять кивок на Василия, — отец и мать. И Катина мать . . . Пойми нас, Феденька . . .

Василий сидел вполоборота, только скулы выдавали волнение. Наталья Николаевна вытерла концом платка глаза.

— А здесь еще такие страсти пошли. Людей кругом судят, каждый день приказы . . . И не просто судят, а по законам военного времени.

— Эх, заварил же ты кашу! — хлопнул рукой по сидению Василий.

— А ты не выходи из себя! — прикрикнула на него Наталья Николаевна. — Надо обдумать без горячки. Конечно, лучше бы ты, Федя, не бегал, но сделанного не вернешь и говорить об этом не стоит. Два месяца никуда, это правда, не спрячешь. Если бы знать наверняка, что проберешься через границу, лучше и не придумать. А если поймают? Рискуешь-то всеми?

— Наталья Николаевна, я ведь хочу лучше . . .

— Верю, Федя, верю, милый. Вот и давайте по-хорошему. Ни ты нам не враг, ни мы тебе не враги. — От этого противопоставления «ты — нам, мы — тебе» Федор поежился: получалось, вроде не враги, но уже и не свои. — Я вот что думаю, Вася: поедем-ка мы сейчас прямо в Берлин. Федя тут попрячется, обождет. А ты, Федя,

---

---

дай нам адрес твоего прежнего немца-шофера, Карла. Он тогда не подвел и сейчас не подведет. Посоветуемся с ним, он здешний, положение знает лучше. Может, и с Катей поговорим — не чужой же человек . . . Это мы по дороге обсудим. К ночи нас поджидай. Только, ради Бога, своему комиссару о нас не говори. Не верю я им, комиссарам, уволь. Хочет идти — пусть идет.

— Он даже ваших имен не знает. И моего не знает, я ведь там Таневским назвался, чтобы вас не подвести.

— Вот и хорошо, пусть не знает.

— Да он и не подведет, Наталья Николаевна. Правда. Он замечательный человек . . . Выстрадал такое . . . Хочет правду в народе рассказывать . . .

— Вот видишь. Может, он и хороший человек, Федя, только правду народ сам знает. Терять-то ему, видно, нечего, а нам есть. Пройдет — дай ему Бог счастья, а нам надо о себе думать. Да ел ли ты сегодня? — вдруг спросила она, что-то разглядев в Федоре.

— Я . . . я ел, Наталья Николаевна, — попробовал соврать Федор.

— Ой, я старая дура, да ты ж голодный! — она полезла в авоську и стала совать Федору пирожки и котлеты.

Василий в зеркальце видел, как судорожно проглотил Федор непослушную слюну.

Наталья Николаевна засуетилась, завертелась.

— Ты вот что: возьми все продукты и неси своему товарищу, комиссару твоему. Поешьте и ждите. Мы когда, Вася, управимся?

— К полночи, не раньше.

— К полночи нас тут и поджидай, Федя. Если задержимся — подожди. А где же вы спите?

— В лесу сарай с сеном . . .

— Так вот и спите? — Федор кивнул. — Боже ты мой. Дай, Вася, мое одеяло. — Василий передал Федору одеяло. — А теперь иди, милый . . . Только адрес шофера дай.

Василий достал блокнот. Федор написал адрес Карла, потом вылез, взял авоську, одеяло и, не оглядываясь, пошел в кусты.

— Вы это серьезно, насчет Берлина? — спросил Василий, выехав на дорогу.

— А что же делать, Вася?

— А Катя?

— С Катей я и не знаю. Любит она его очень. Примчится . . .

— Да он-то ее не любит, Наталья Николаевна. Нехорошо это . . .

— Так-то оно так, да грех ей не сказать.

— Потом скажем, Наталья Николаевна. Нельзя ему назад в Союз. Поймают обязательно — все пойдет прахом. Наши, может, уже и пронюхали про него, в этом власовском лагере, а то и в разведке американской. Нельзя! Шутка ли — через границу!

— А может быть, и можно как-нибудь, Вася?



---

---

— Это же граница, Наталья Николаевна! Мышь и та не проскочит. А потом, этот его напарник — комиссар? А разведка? А влазовцы? Вы понимаете, чем это пахнет? Такой шпионаж пришьют! А нас всех шпионской организацией сделают.

— Ох, Васенька, понимаю. Да ведь жалко его. Ты видел, на кого он стал похож?

— А Сони не жалко? А Кати не жалко? А нас не жалко? Как мы будем выглядеть в НКВД? Нет, как хотите, а назад ему нельзя.

— А если его там поймают и выдадут?

— Пусть живым не дается.

— Что ты говоришь, Вася!

— То и говорю. Не маленький, знал, что делал. Вы думаете, мне его не жалко? Будь я один, можно было бы и рискнуть, А так . . .

— А нельзя ли ему здесь, в нашей зоне запрятаться, Вася?

— Нет, Наталья Николаевна. Здесь через год будет то же, что и у нас: паспорта, милиция, НКВД.

— Что же делать, Боже ж ты мой . . .

— Назад ему надо, вот что. Ходил через здешнюю границу два раза, пройдет и третий. Дадим денег, еды. Может, Карл какой немецкий документ достанет. Будет там жить как немец. Немецкий язык знает. И пусть не лезет к этим американцам да к белым с влазовцами. Присroitся, не маленький . . .

## ДОМОЙ!

От Рюдерсдорфа до Бреста эшелон шел двое с половиной суток. Польша встретила вьюгой — вагоны и платформы, груженные демонтированным оборудованием, покрылись плотным снегом. Только во втором вагоне из забитого окна дымилась железная труба — в вагоне ехали три демонстражника, сопровождавшие эшелон. На седьмой от их вагона платформе лежал крепко закантованный проволокой котел среднего размера, внутри которого сидел Чугунов.

Чем дальше на восток, тем становилось холоднее. Последние сутки, перед Брестом, ударил мороз и Чугунов в своем железном убежище непременно замерз бы, если бы не было на нем трех пар толстого шерстяного белья, да если бы не одеяла и не спирт, добытые Карлом. Спирт Чугунов берег — спирт был его капиталом, с которым ему предстояло начать жить: и как взятка хорош, и знакомство завести поможет, и для обмена ходок. Но когда Чугунов начинал коченеть и его клонило в сон, он всхватывался на одеревеневшие ноги, делал большой глоток из фляги — горло, пищевод, а через некоторое время и желудок обжигало, — Чугунов торопливо набивал рот морозным сухим снегом и принимался делать гимнастику: раз-два, раз-два — приседание при выпрямленном корпусе, раз-

---

---

два, раз-два — резкие повороты всем корпусом на расставленных на ширину плеч ногах; раз-два, раз-два — в такт колесам — рывком поднять прямую ногу, стараясь достать носком кончики пальцев вытянутой руки; раз-два, раз-два, раз-два... пока под одеждой слегка не проймает влажным теплом. Потом надо ходить по овальной ржавой стенке котла; шагов не слышно: поверх теплых больших ботинок накручены и обвязаны веревочками половинки одеяла.

Наблюдение из «дота», как прозвал Чугунов свой котел, он вел через десятка полтора отверстий от четвертьдюймовых заклепок. Единственную крышку котла он еще в Рюдерсдорфе, до отправки эшелона, закрутил изнутри трехмиллиметровой проволокой, так, что открыть ее снаружи и заглянуть в котел было невозможно. Врагом номер один был мороз. Но была и другая опасность: как бы вокруг отверстий от заклепок не образовался иней от собственного дыхания Чугунова — белый иней на черном железе котла был виден за версту. Для этого Чугунов под солдатским одеялом, которым была укутана его голова и лицо, для фильтрации дыхания время от времени менял шерстяные тряпки и куски грязной ваты, отрывая их от одеял.

К границе подъехали вечером. Два пограничника с сильными электрическими фонарями, с овчаркой, сопровождаемые демонстрационными, обходили эшелон. Шел мелкий морозный снег, машины и другое оборудование на платформах и в вагонах пахли маслом, химикалиями, запахами многих людей — собака не почуяла притаившегося в котле человека, а может быть, ветер помог, налетев сбоку. Да и двухдневный снег на секциях цементных печей, на «грохотах», редукторах, шаровых мельницах, котлах, трубах на платформах был таким плотным, спокойным, в паровозной копоти и саже. И мороз, конечно. Ничто не вызвало подозрения у опытных пограничников. Когда они осветили котел фонарями, черная внутренность его наполнилась яркими лучиками, как ночное фронтовое небо в свете прожекторов. Трех демонстрационных Чугунов уже видел на станциях Польши; в солдатской форме с офицерскими знаками различия на погонах, они бойко меняли у полячек немецкие одеяла и носильные вещи на сало, колбасу и самогон.

Определенного плана у Чугунова не было: добраться до советской территории, потом до Москвы, и до квартиры, ключ от которой снова висел у него на груди на тесемке, под бельем. Он все представлял себе, как отплет ключем дверь (поздно вечером или ночью, чтобы никто не увидел), как бросится к нему испуганная Нина, как он на цыпочках войдет в спальню поглядеть на дочерей, но те сразу проснутся, ведь барышни уже: Тане семнадцатый в феврале пошел, а Ольге в мае будет пятнадцать! Нина, когда он уходил на фронт, работала инструктором в его же райкоме.

---

---

Заперев себя в котле, Чугунов как бы отрезал все, что было с ним с 42-го года, с того дня, когда он — дивизионный комиссар теперь знаменитой на весь мир 62-й ударной армии генерала Чуйкова — попал под Сталинградом в плен к немцам. Котел был одним из сталинградских дотов, попавшим на заблудившуюся в мире железнодорожную платформу.

Единственно, кого Чугунов несколько раз вспомнил из «этой» жизни — Карла: «Спасибо немцу, а то замерзать бы мне, как ямщику во той степи». Мысль напомнила, что Карл помог, потому что об этом ему сказал Федор, но о Федоре Чугунову думать не хотелось. Думать хотелось об одной Нине.

В Брест на перевалочную базу эшелон подали уже за полночь. На путях под выгрузкой и погрузкой стояли десятки составов: поезда, составленные из немецких вагонов и платформ, разгружались, а русские составы более широкой колеи нагружались. Гигантская территория перевалочной базы была ярко освещена и, несмотря на глубокую ночь, жила напряженной жизнью: свистели маневрировавшие паровозы, лязгали буферами вагоны, шипя и отдуваясь, переносили тяжести паровые краны, матерно ругались такелажники и грузчики, сновали с разноцветными накладными в руках ответственные исполнители, экспедиторы, всякого рода «толкачи», съехавшиеся со всех концов Советского Союза.

На Чугунова никто не обращал внимания, хотя одежда и ботинки его были явно иностранного происхождения, — но кто теперь не носил одежды из Европы, особенно в Бресте? Из котла он взял с собой флягу со спиртом, оставшийся кусок сала с килограмм весом и кусок хлеба, — сало и хлеб завернул в подобранный с земли номер «Известий», сверток засунул в карман куртки и совсем стал похож на работягу, каких на базе сновали тысячи. Для полной маскировки он держал в руке несколько подобранных с земли разноцветных квитанций и накладных.

У ярко освещенного стенда с газетами стояла группа в шесть-семь человек. Чугунов тоже подошел. Первую и вторую страницы «Правды» занимали статьи и заметки в связи с постановлением «О государственном плане развития сельского хозяйства на 1946 год», на третьей странице отчет о нюрнбергском процессе, на четвертой — большая статья о Фультоновской речи Черчиля. Вид «Правды» потряс Чугунова: она как близнец была похожа на довоенные номера; газета в нем самом что-то проявила из того времени, когда он был секретарем райкома. В одном месте он вдруг заметил жирно напечатанную фамилию: «Секретарь Обкома тов. Д. И. Артемьев систематически проводит . . .» — «Мать честная, Митя! Значит, он не в Москве. Он знает, где Нина!»

Дмитрий Иванович Артемьев был близким человеком Чугунову: вместе жили в общежитии, перед войной работали в соседних рай-

---

---

комах. «Вот это повезло!» — чуть не вслух сказал Чугунов и полез под вагон на соседнюю платформу. Он ходил по базе часа два, пока не нашел эшелон, на вагонах которого значился город той области, где Митя Артемьев был теперь секретарем Обкома. Эшелон был погружен и, видимо, ждал отправки. «Как будто для меня приготовили», — усмехнулся Чугунов и полез в широкораздвинутые двери одного из вагонов. В темноте перелез через какие-то ящики, тюки в дальний угол. Глотнул спирта, закусил салом, приготовился ждать.

Уже светало, когда стали запирать и пломбировать вагоны. Вскоре подали паровоз, который грубовато, как друга, толкнул Чугунова в бок — вот, мол, как тебе, паря, везет! В полутьме Чугунов отыскал пачку с войлоком, стянул в угол четыре мешка с чем-то мягким, вроде ваты и бумаг, устроил из них медвежью берлогу, залег, отдышался, снова отвинтил флягу и уже отпил трижды, каждый раз торопясь, закусывая салом и хлебом. Хмелея, завалил себя кусками войлока. Паровоз дернул, состав тронулся.

Когда поезд набрал скорость, Чугунов под войлоком расхохотался. Потом слушал стук колес. Потом пел во весь голос:

Далека ты, путь-дорога,  
Выйди, милая, встречай,  
Мы прощались с тобой у порога  
И, быть может, навсегда . . .

— Нина, Ниночка! Ведь я еду к тебе! Твой Павел! Павлуша твой! Ты слышишь меня? Нина-а-а! Ниночка-а-а! . . .

## СЕКРЕТАРЬ ОБКОМА

Секретарь обкома Артемьев поднял телефонную трубку и сердито сказал:

— Я вас, Мария Николаевна, просил не соединять меня . . .

— Дмитрий Иванович, — ответила в трубке секретарша, — извините, но звонит какой-то Павел и утверждает, что вы ждете его звонка.

«Павел? . . .»

— О, я действительно забыл. Спасибо. Соедините, — Артемьев подождал, пока секретарша положила трубку. Но на линии оставались телефонистка, контрольная телефонистка, да мало ли чьи уши могли быть на его, секретаря Обкома партии, телефонных проводах! Сказал очень занятым голосом: — Артемьев у телефона.

— Здравствуй, Митя. Это я, Пат . . . — еще на рабфаке Чугунова и Артемьева прозвали «Пат и Паташон», но Артемьев и без того узнал голос Чугунова.

— Ты где?

---

---

— В городе . . . Проездом . . .

— Надолго?

— Не знаю . . . Хотел повидаться. Ты когда возвращаешься домой?

— Дома я буду поздно. — «Дома никак нельзя!» — А в Обком не зайдешь? — проверяя положение Чугунова, спросил Артемьев: посетителям Обкома нужно оставлять свои паспорта в бюро пропусков, посетителей же первого секретаря Обкома проверял еще и «цербер», как называл Артемьев своего личного охранника, капитана госбезопасности Мешкова. Чугунов, конечно, знал порядки.

— В Обком я зайти не успею, Митя.

«Значит, не может . . . Где же мне его встретить?» — но ответить на этот вопрос секретарю Обкома было не так легко: капитан-цербер, сидевший сейчас у двери кабинета, повсюду сопровождал его, освобождая от своей опеки Артемьева только дома. Шофер Петрович, домработница Нюша и кто-нибудь из личных секретарей, наверно, были осведомителями и сообщали «кому следует» о жизни, передвижениях, встречах, посетителях первого секретаря: порядок был твердым, давно заведенным и даже привычным. «Как же быть? Тьфу, дьявол!»

— Подожди, дай сообразить, — сказал он в трубку.

— Жду.

Артемьев подумал: встретить где-нибудь на улице? А «цербер»? А Петрович? У кого-нибудь на квартире? И сразу вспомнил секретаря по сельскому хозяйству, отправившегося в поездку по области. Уезжая, он еще просил Артемьева о матери-старушке, оставшейся одной дома.

— Подожди, — другим тоном сказал Артемьев в трубку и стал листать книжку телефона. — Запиши: улица Ленина, дом 8, квартира 26. Старушку зовут: Юлия Федоровна Кочетова, ты должен знать ее сына, Николая Кочеткова, он теперь у меня по сельхозделам. Он в командировке, а старушка прихварывает. Я обещал заехать сегодня в . . . семь часов вечера. Записал?

— Да.

— Тогда, до скорого.

«Цербера отправлю обедать — скажу, что еду домой на обед, а Петрович завезет меня к Кочетовой, а минут через сорок заедет, за это время мы и поговорим . . . и договоримся» . . .

Старушка Кочетова сразу стала угощать Чугунова обедом, как привыкла это делать для сына (жена сына погибла на фронте). Чугунов, на радость старушке, съел все до крошки. Без четверти семь в дверях появился Артемьев. Короткий, широкий, в коричневом кожаном пальто с поясом, в такой же фуражке, лицо круглое, курносое, глаза быстрые. Протянул Чугунову крепкую короткопалую ру-

---

---

ку, левой рукой взял за плечо и рассматривал его снизу раскосыми, светящимися от волнения глазами.

— Ну, здравствуй, Павел. Как же ты, а? — поцеловал в щеку, обнял, хлопнул по спине. — Война уже год как кончилась, а ты вроде с войны. — Обернулся к старушке: — Вы извините нас, бабушка.

— Да ты что, батюшка. Встречай, встречай дружка, а я что, а я пойду подремлю . . . Разве я не понимаю . . .

Старушка ушла в соседнюю комнату. Чугунов с Артемьевым остались стоять друг против друга — один высокий, в мятом немецком костюме, другой коренастый, в кожаном пальто: «Пат и Паташон».

— С войны не с войны, а из плена, — ответил Чугунов, разглядывая Артемьева.

— С плена? Откуда? — сбрасывая пальто, спросил Артемьев.

— Из американского.

— Вот оно как . . . Узнаю орла. И что теперь?

— Не знаю. Документов нет. Ничего нет. Но об этом потом. Первое — что с Ниной? Где она? Что с детьми?

Артемьев достал носовой платок, громко высморкался.

— Нина в порядке, Павел. Давай сядем.

Сели за столик, покрытый серой клеенкой.

— Дети тоже в порядке.

— Что она . . . что делает?

— Партиструктором по-прежнему. Но не в Москве, а на периферии. Но сначала расскажи о себе . . .

— Мне главное Нину встретить, девочек . . .

— Насколько я понимаю в арифметике, тебе сейчас не Нину надо встречать, а где-нибудь в глуши, в медвежьем углу где-нибудь пристроиться, — сказал, перестав улыбаться, Артемьев.

— Я пять лет их не видел, Митя!

— Мы с тобой тоже пять лет не виделись. Да . . . — Артемьев оглядел Чугунова. — Задача почище новой пятилетки!

— Если тебе не с руки, то я как-нибудь иначе, Дмитрий . . .

— Ты это, знаешь, брось!

— Риск . . .

— Ладно уж, я, а не ты, первый секретарь Обкома. Ты как узнал, где меня искать?

Чугунов рассказал про Брест, про номер «Правды», про свою поездку в вагоне с демонтированным немецким оборудованием.

— Это для нашего химзавода, — заметил Артемьев. — Меня сюда еще в 44-м перебросили.

— Не жалко Москвы?

— Нет. Сейчас лучше на периферии.

— Что так?

---

---

— Да так уж: шаг назад — два вперед, как учил Ильич.

— Как вообще дела?

— Дела? Сложные дела...

— В каком отношении?

— Как бы тебе это сказать... — Артемьев обрадовался возможности отвести разговор от Нины. — Прежде всего, понимаешь, война как бы показала, что — как бы это тебе сказать? — госработа, правительственная деятельность, дипломатия, промышленность, наука, ранги, погоны и прочая в каком-то плане значительнее партийной работы. Правительственная деятельность — война, перекройка Европы, Азии — это как-то выглядит грандиознее, историчнее, как бы больше историей пахнет! Там, в нашем многотысячелетнем прошлом войн, министров было в тысячу раз больше, чем партийной работы. Ты улавливаешь мою мысль?

— Не совсем, но ты давай... высказывайся.

Артемьев хохотнул.

— О таком, брат, только и можно в подобных обстоятельствах высказаться...

— Не боишься?

— Чего? Я — секретарь обкома, член ЦК, а ты беглый пленный, подлежащий расстрелу. Чего же мне бояться? Это тебе надо бояться.

— Все-таки, подумал?

— А как же? Приходится. Сам знаешь.

— Боишься по-старому?

— И боюсь. Скажет Хозяин на голову стать — стану, гопака уже плясал, сказал: пляши — я и плясал. Повыше меня плясали. Ничего не поделать. Все бояться, а я, что, лучше других?

— Все?

— Конечно, все. Вот фронтовики некоторые смелости набрались, но им — раз! — и рога обломали.

— Извини, что перебил, рассказывай, о переменах.

Артемьев сбоку бычком поглядел на Чугунова, хмыкнул — все, мол, такой же!

— Как бы тебе это сказать. Ты знаешь о довоенном равновесии сил между госаппаратом и партаппаратом, а сверху «хозяйский» контроль через «органы». Ты думаешь, меня зло не берет, — вдруг рассердился Артемьев, ударяя сверху тычком в воздух, — что я, член ЦК, секретарь ведущего Обкома партии, должен встречаться с тобой, как какой-нибудь жулик?! Ты думаешь, мы, партработники, не знаем, что Берия установил тотальную слежку за каждым из нас? Взбрдет Хозяину в голову «гениальная» идея, и опять пустит нас всех в расход, как пустил ЦК тридцатых годов! Вот почему победит тот, кто даст членам ЦК, ведущим работникам гарантию, что этого больше не будет...

---

---

— Позволь, в чем победит? — перебил Артемьева Чугунов. — Хозяин-то жив?

— Жив-то он жив, но всяко может быть... Постарел да и труханул за войну, это, знаешь, даром не проходит... Так вот, во время войны, когда решалась судьба государства, партаппарат фактически не функционировал. За годы войны он оказался на второстепенных ролях — равновесие нарушилось. Хозяин это чувствует: стал Председателем Совета министров — Совнарком его уже не устраивает! Генералиссимусом... Создал недавно Президиум Совета министров из восьми своих заместителей... Это с одной стороны. Но с другой стороны, генералиссимус-то он генералиссимус, а сам хорошо знает, что не то, что Жуков, а простой толковый генерал в военном деле смыслит куда больше его! В государственных делах вверх идет ученый человек: экономист, инженер, химик, физик, а Хозяин духовной семинарии не кончил. Он хотя и «гениальный» и «всех времен...», но сам-то знает, что все — подхалимаж! Зато в партийных делах — там он действительно Хозяин! Вот почему я уверен, что генсек в нем в конце концов съест и председателя Совета министров, — хотя там и там те же люди. Понимаешь?

— Не совсем...

— А ты вспомни, что по программе государственная власть, государство должно у нас отмереть. Так? Но никто никогда не говорил об отмирании партийного руководства! Вот в чем штука! — Артемьев захохотал, словно кого-то наивного ловко обвел вокруг пальца.

— Рассказывай дальше, — сказал очень заинтересованный Чугунов.

— Соображать, Павлуша, надо! — Артемьев крепко потер свои короткопалые руки. — Наша цель остается идеологическая: построение коммунизма. А это значит, что неизбежны противоречия и конфликты между интересами страны и партии. А значит — между госаппаратом и партаппаратом! Вот почему сейчас Хозяин начал усиливать и аппарат партии, его вес... усиливается партийная, идеологическая работа...

— Каким же образом?

— Прежде всего найден новый враг — внутренний враг.

— Кто же еще?

Артемьев добродушно засмеялся:

— Не поверишь: «Абрамович» — еврей. Тот самый, что и у Гитлера был.

— Начнете сажать?

— Уже сажают. Будут и стрелять.

— Но как же антисемитизм совместить с коммунизмом, с пролетарским интернационализмом?



---

---

— Антисемитизма никакого и нет, — Артемьев хихикнул. — Враг называется «космополитом» да еще и «безродным». Слово подобрать не трудно, сам знаешь. Еврей удобен...

— Я где-то читал, — сказал Чугунов, — что после общегерманского погрома в 30-е годы в Берлин приезжала делегация японцев, и глава их делегации сказал, что ему очень жаль, что в Японии нет своего еврея, который помог бы создать мощное движение среди японцев.

— Хозяин свое образование пополняет у всех, не только у Гитлера, — засмеялся Артемьев. — Так-то, брат... Есть слухи, что Хозяин собирается расширить состав Политбюро, а это пахнет временами Николая Ивановича!

— Ну, а если кто-нибудь из госорганов возьмет и ликвиднет Хозяина? Терять-то все равно нечего.

— То есть как это... — Артемьев бычком уставился на Чугунова.

— Ну, или помре? Сам же говоришь, что постарел...

— Тогда будет не чистка, а драка.

— Между кем?

— Между равнодействующими: госаппаратом и партаппаратом. Только сначала, думаю, и те и другие перестрашуются за счет «органов» — в «органы» я сегодня не пошел бы!

— Чем же это — постановлениями «партии и правительства»?

— Зачем, — серьезно ответил Артемьев, — у армии старые счета с «органами»... Только, как бы там ни было, а победа будет за нами!

— Это за кем же?

— За партийными органами. Потому я в них и остаюсь. А чтобы не попасть в заваруху, сижу на периферии. После Хозяина нужно будет оживить партийную работу, приблизить ее к жизни. Сейчас ее приходится искусственно поддерживать евреем, «врагами»; идеологическая работа, как и сама идеология, стоит на месте со времен Маркса, во всяком случае со времен Ильича. Хозяин может попытаться свалить вину на «головастиков», чисткой, но он ничего сделать не может, ибо приблизить партработу к жизни для Хозяина означало бы признаться в ошибках, а этого он никогда не сделает. Понимаешь ситуацию? Хозяин хитер, а хитростью истории не сделаешь...

— Что же это получается: что это за государство, что за общество, если борьба за власть никогда не сходит с повестки дня? — сказал Чугунов.

— Это, Павел, признак здоровья, признак молодости. Кто бы ни победил, основа та же.

— Ну, а насчет народа, насчет рабочего?

— Как? Все так же. Народ, он и есть народ, Павел.  
— Но все-таки?  
— Думай сам: тяжелая промышленность — в первую очередь, пока не догоним капиталистов по продукции, а это значит, что потребителю — в последнюю очередь.  
— Ну, а если Сталина не станет и начнется драчка?  
— Тогда участники драки начнут народу подкидывать...  
— А если он не поверит подачкам на этот раз?  
— Народ-то? Да ты что! И подачек-то много не нужно, больше обещай, и все будет в порядке. Ты что, не знаешь наш народ?  
— Митя, а в коммунизм ты веришь?  
— То есть, как это, верю ли я? Во что же мне верить? В Бога? В «свободу, равенство и братство»?  
— Прости, я пошутил.  
— Хорошие шутки. — Артемьев потер крепкой рукой подбородок. Усмехнулся. Опять сбоку поглядел на Чугунова. — Конечно, живи сегодня Маркс с Энгельсом или Ильич — стенки бы им не миновать... Но коммунизм — его, брат, уже не расстреляешь. Он, знаешь, сам еще долго стрелять будет. И Хозяина может... Все еще может быть...  
— Митя, а что Нина?  
Артемьев, опомнясь, откинулся назад, поглядел на не сводившего с него глаз Чугунова. Потом тяжело встал, расставил ноги, сложил короткие руки на груди, поднял плечи:  
— Нина, Павел, третий год моя жена.  
Чугунов медленно повалился грудью на край стола, лицо его стало сереть, словно от клеенки. Артемьев поторопился сказать:  
— Ты, Павел, меня знаешь. Были мы с тобой друзья с юности. Вместе за Ниной ухаживали, она выбрала тебя... Я тогда уехал на строительство, в работу влез с головой, чтобы ни дня, ни ночи!.. Помнишь? Она и теперь одного тебя любит...  
Чугунов зажмурился и тихо сказал:  
— А замуж за тебя вышла.  
Артемьев, словно этого и ждал, — рубанул рукой в воздухе и чут не выкрикнул:  
— Ты брось из себя Отелло корчить! Вышла она за меня из-за девочек! Из-за Тани и Оли. Кто-кто, а я это знаю вот как! Ты-то в плен под Сталинградом попал, власовцем там заделался, а ей что было делать? Ты целку из себя не строй! Про власовство твое сразу узнали. Ее пособия в военкомате лишили, с должности партинструктора сняли, из квартиры с детьми выгоняли, был поставлен вопрос об исключении из партии... Я помог, чтобы не исключили из жизни. Посоветовал оформить развод с тобой — я, да, я посоветовал. Защищал на обкоме. Потом предложил замуж... Она несколько дней проплакала и согласилась. Согласилась спасти твоих, Павел,

---

---

детей. За твое владение ей, как жене изменника родины, пять, а то и восемь лет припаяли бы. Девочек под чужой фамилией — в детский дом. Ты этого бы хотел? Чего же ты молчишь? А?

Чугунов сидел не двигаясь, крепко зажмурив глаза. Из левого глаза показалась слеза и, наполнившись, скатилась по впалой щеке.

— Вот как было, — сказал Артемьев, глядя на мокрый след от слезы. — Теперь понимаешь, почему я не мог тебя домой... Вот сидим с тобой, а они там ждут меня обедать... Может, мне лучше позвонить...

Чугунов открыл лихорадочные глаза, подался в сторону Артемьева:

— Митя, позвони... Дай услышать... Только голос...

Артемьев, насупившись, молчал.

— Митя... Пожалуйста...

Артемьев взял телефонную трубку и стал набирать номер. Чугунов торопливо встал, подошел к нему, приложил ухо к обратной стороне трубки.

Где-то далеко, совсем как прежде в Москве, раздался голос жены: «Слушаю».

— Нина, ты извини... Я опять опаздываю... — проговорил Артемьев.

— Я так и знала. Обед стынет. Девочки пришли из школы... Предупредил бы, право!

— Извини. Я тут старого друга повстречал...

— Мог бы его пригласить к обеду...

— Не сообразил сразу. Вы без меня обедайте...

— Вечная твоя манера — обещать, а потом — объективные причины. Оля вон говорит: «Я так и знала»...

Чугунов с совершенно безумным лицом схватил Артемьева за плечо. Артемьев закрыл ладонью микрофон трубки:

— Ты что?

— Попроси девочек, девочек попроси подойти...

Артемьев махнул от огорчения рукой и, слегка отвернувшись от Чугунова, сказал в трубку:

— Нина, позови к телефону Таню и Олю, я извинюсь перед ними.

— Это лишнее...

— Я хочу с ними поговорить! Прошу тебя...

В трубке далекий голос жены позвал: «Таня! Оля! Идите сюда...» Послышались девичьи голоса.

— Да, я слушаю.

— Таня?

— Да.

— Танечка, вы уж обедайте без меня. Мне никак не успеть, дорога.

---

---

— Я так и знала, что опять дела задержат . . . Следующий раз не обещай.

Чугунов так прижался ухом к оборотной стороне трубки, что сдвинул Артемьева с места.

— Ну, а Оля как?

— Оля так же голодна, как и я, как и мама.

— Дай мне Олю.

— Да, это я, папа.

— Ты тоже сердисься?

— Что?

— Я спрашиваю: ты тоже сердисься на меня?

— Я? Нет. Это Танька сердится, а я нет. Я уже конфет наелась!

В трубке послышался голос жены:

— Дмитрий, а когда же ты приедешь? Я спрашиваю, потому что в восемь у меня райком. К которому часу Маша должна разогреть обед?

Чугунов вдруг как бы обмяк, отвернулся, отошел к окну. Артемьев, забывая ответить жене, смотрел на его сгорбившуюся спину. В трубке тонкий женский голос продолжал спрашивать:

— Что ты там молчишь? Митя? Алло?

— Да, да . . . Я соображаю . . . Разогреть не надо . . . Я скоро приеду . . .

Над дверью зазвонил звонок. Артемьев посмотрел на звонок, на Чугунова, громко сказал в трубку:

— Нина, одну минутку . . . — показал Чугунову свободной рукой, чтобы тот ушел в спальню, а сам пошел открывать дверь. За дверью стоял Петрович.

— Прибыл, Дмитрий Иванович.

— Очень хорошо, очень хорошо, Петрович. Подожди меня минутку в машине, я сейчас освобожусь, — и, взяв трубку, сказал жене: — Вот и Петрович приехал, так что буду через несколько минут.

Петрович ушел. Чугунов вернулся осунувшийся, но спокойный и заметно побледневший.

— Поезжай, Дмитрий, — сказал он Артемьеву, — я только хочу спросить тебя, не знаешь ли, где теперь Борис Шиллов?

— А, «воспитанник»! Как же, он сейчас секретарем райкома неподалеку . . .

— Кроме того, у меня, понимаешь, ни документов . . . Ничего.

Артемьев взял со стула свое кожаное пальто, сел:

— Фу, ты черт! Что тут придумать? Деньги у меня есть при себе, а вот насчет документов . . . Что же тут придумать? Подожди, подожди . . . — он полез в карман брюк, достал металлический кружок печати. — Вот, нашлась, — достал бумажник, вытащил оттуда чистый обкомовский бланк, подвинулся к столу, подписался «вечной» ручкой снизу бланка, открыл кружок с печатью, подышал на

---

---

нее и сильно приложил к своей подписи: — Ты, Павел, уже сам вписывай какую хочешь фамилию... Чугунов — не советую.

— Понимаю: в случае чего, ты ничего не знаешь...

— А ты как бы хотел?..

— Нет. Все правильно. Спасибо. Ты прав — Павла Чугунова больше нет. Убит под Сталинградом. Именно так: дивизионный комиссар Чугунов убит под Сталинградом...

. . . . .

## НА ПЕЧИ

Настал день, когда Павел Петрович рассказал Соне и о жене и о дочерях. Соня слушала и чуть не плакала, так жалко было ей Павла Петровича. Тот от воспоминаний побледнел, не мог усидеть на месте, все ходил по конторе:

— Видите, и здесь женщина оказалась лучше — спасла детей, пока я предавал их своим... условным разумом, как говорит мудрый Старик!

Рабочий день кончился и Соня, чтобы развлечь Павла Петровича, предложила ему навестить Старика, а заодно и пообедать у них.

— Спасибо, Софья Михайловна... Только муж ваш не очень-то ко мне...

— Ему трудно, Павел Петрович... Он, правда, добрый...

— Да... И молодец, вас не побоялся из лагеря вытащить... Это, знаете, не всякий...

Василий второй день был в областном центре — поехал получать в облисполкоме медаль «За трудовое отличие», которой его наградили за успехи колхоза. Дома его ожидали к вечеру. По случаю награждения сына Гликерия Семеновна нажарила котлет, напекла ватрушек, вытащила припрятанный литр водки.

Старик бухгалтеру заметно обрадовался, позвал к себе на койку. Соня в соседней комнате переодевалась и через перегородку слышала их.

— ... Ну, что такое страх? — говорил Старик. — Здоровый природный инстинкт! Сожмется человек от страха — не так заметен для беды. Зверь маскируется защитной окраской, раненый забивается в глушь и отлеживается. Так и душа человека. Страх он тоже сила...

Глухой голос бухгалтера что-то возразил.

— Рефлексы Павлова? — переспросил Старик. — А про безусловный рефлекс свободы павловской слышали? Об этом рефлексе в книгах Павлова теперь вычеркнуто. Рефлекс-то этот оказался сильнее всех условных рефлексов: лишенные свободы подопытные жи-

---

---

вотные, в неволе, не принимали ни пищи, не спали, ни на что не реагировали, подышали, то есть предпочитали смерть. Это значит, что жизнь сильнее условных рефлексов.

Голос бухгалтера о чем-то спросил. Старик словно рассердился:

— Общество! Народ! Выдумка все это!

— То есть как это выдумка?!

— Да так! Я сам начинал с народников, а сегодня говорю вам: выдумка! В прежние, далекие времена народ, общество были нужны людям для борьбы за жизнь каждого отдельного человека, а ныне общество и народ превратились в беду для отдельного человека, в орудие борьбы против каждого отдельного человека, а, значит, и против самих себя: против народа, против общества. Один умный человек сказал: «Подчинение личности обществу, народу, человечеству, идее — это продолжение человеческих жертвоприношений». Очень верно!

— По-вашему выходит, что жить человек должен для себя? Анархия...

— Именно для себя! Но по-хорошему. А по-хорошему жить — значит жить и для другого и для других...

— Для ближнего?

— Это как кому нравится, для ближнего или для близкого, или для дальнего. Жить по-хорошему, значит прежде всего терпимость проявлять к другим. Любовь к ближнему — это прекраснотушие, любить можно только любимых, а вот терпимо относиться можно ко всякому, даже к такому, который думает иначе, чем мы. Без терпимости, дорогой мой, гибель человеку на земле. Что может сделать человек во время массового бедствия: землетрясения, наводнения, эпидемии? Единственное условие борьбы — терпимость, терпеливость и взаимопомощь.

Соня вышла помочь свекрови накрыть на стол. Гликерия Семеновна, кивнув в сторону Старика, вполголоса сказала:

— Все торопится... Высказать все хочет, боится, не успеет.

— Почему? — не поняла Соня.

— Плох очень... В глазах тоска!... — и добавила со вздохом: — Помирать никому не хочется.

Павел Петрович вышел от Старика хмурый, невеселый. Увидев бутылку с водкой на столе, наклонился к уху Сони:

— Софья Михайловна, голубушка, можно мне сегодня напиться? Тихонечко...

Он разом выпил полный стакан водки и скоро захмелел. Поймал руку Гликерии Семеновны и, глядя на нее блестящими своими глазами, вдруг сказал:

— Мать, а мать, роди нам героя! Героя роди, мать!

— Батюшки, да что ты такое болтаешь, Петрович? Леший в тебе заговорил! Вон она, — Гликерия Семеновна показала на невест-

---

---

ку, — может, и народит тебе героя, а я уже стара для таких вещей . . .

Бухгалтер грустно огляделся и грустно сказал:

— Все ждут. А чего ждут? Смерти Хозяина ждут. Потом будут ждать смерти наследника . . . Но сколько же можно ждать? Степан Иванович, почему все боятся?!

Степан Иванович облизал ложку, вытер тыльной стороной руки усы, откашлялся:

— Скажу я тебе, Петрович, про деда своего — ох, и дурной же был человек, царство ему небесное! Сущий деспот-то! Всю семью изводил до невозможности. Отец мой с братьями не раз думали утопить его, пьяного. Иной раз невестку было всем — и отцу, и дядьям, и матери моей, и другим невесткам и дочерям, и нам, малым внукам. А потом, глядь, он и помер, Бог убрал. Ну, вот . . . Отец мой тоже крут был — не дай Бог под горячую руку попасть! Но рядом с дедом был он много лучше: небось-то муки набрался с молодости, душа через боль-то жалости научилась. Потом помер и отец. Мы, дети, уже лучше пошли — старшие еще выкомаривались, а кто поможете, те мягче вышли. А вот Василь еще жалостливее получился, а дети его обязательно еще лучше будут: Бог, Он-то видит — на правду и выводит. А убей отец с дядьми деда? Пошел бы в семье грех. И отец мой мог стать хуже деда, а мы, внуки, того хуже. Грех — он весь род портит. И что ж ты думаешь, в народе нашем та же порча идет: убили одного царя, убили второго, может, и плох был царь Николай — не знаю, — ну, и пошла писать деревня! Сталин тоже, говорят, Ленина убил, а там пришлось и Троцкого и других! А уж простых побили — счету нет! И пошел грех, и пошел . . . А люди? Люди терпят и ждут, хотя плохо им до невозможного. Но дождутся, потому что, если грех не подкармливать, — ему и крышка! Умирать ему не хочется, так он, вот, и подталкивает на кровь-то — крови ему требуется . . .

Бухгалтер перегнулся со стулом назад, заглядывая на койку Старика:

— Вы слышите? До чего удобная философия! Непротивление злу да и только: зло, мол, само отомрет . . .

— А ваша философия, — послышался голос Старика, — от нетерпения. Вы хотя и кающийся большевик, да покаяние ваше нетерпеливое.

— Да мало ли заплачено уже! Десятками миллионов человеческих жизней, не считая изуродованных! — тоскливо сказал бухгалтер.

— Много. Тем более нельзя новым грехом свести на нет выстраданное.

— Но какой же это грех, бороться со злом?

---

---

— Боритесь, но не грехом, а правдой — за человека боритесь! За униженного, за оскорбленного заступись, пример подай, на крест за него пойдешь! Сами говорите, что все ждут, да ждут по-разному. Помогайте, чтобы ждали не по-разному.

— Так это может тянуться еще сто лет!

— А грешили сколько? Вишь, захотел — раз-два и отделался!

— Это действительно, — вставил слово Степан Иванович, — скоро только слепые котята родятся.

— Напомню вам великого пророка нашего, Федора Достоевского, — продолжал с койки Старик, — он грех этот в Раскольникове показал. Идея Раскольникова убить вредную для всех старуху-паразита — и есть большевизм. Вот и убили: царя, помещиков, богатых дельцов, заводчиков, купцов — ну, как Раскольников старуху ту, ростовщицу — в твердом убеждении, что от забранного у старухи добра польза будет. Но пришлось убить не только старуху, но и рабочую Лизавету! Сами знаете, сколько побили рабочих да крестьян. Соня-Россия поняла, что грех Раскольникова и ее грех, и потому пошла за ним на каторгу. А вы предлагаете Раскольникова убить.

— А все-таки я бы Сталина убил, — сказал как бы про себя бухгалтер.

— Уж не ополоумел ли ты, Петрович! — прикрикнула шепотом на него Гликерия Семеновна. — Окно-то открыто . . .

— Его, может быть, и убьют на него похожие, когда гниль по всей голове пойдет, — ответил Старик. — Слабость зла в самопоедании. Зло взаимоуничтожается, потому что одно зло со знаком минус, а другое со знаком плюс . . . Добро-то только складывается. Как велико и могущественно зло ни бывает, а все равно придет к нулю, а добро, как бы мало и незаметно оно было, в конце концов сложится в большое и положительное.

— Какое же это зло со знаком плюс?

— Во имя добра действующее.

— Значит, сидеть, сложа руки?

— Зачем? Я вот ходил. Гликерия Семеновна вон Василия вырастила, сердца смягчает. Соня детей народит, будет воспитывать как надо . . . Ты . . . ты тоже пойдешь однажды и станешь ходить между людьми.

— Нет, все-таки, у вас какой-то биологический подход к общественной жизни!

— Слово, оно, конечно, ученое, но что есть общество? Люди. Почему же человек, люди живут по биологическим законам, а их общество должно жить по-иному? Именно так: биологический род, раз заболел, если и выздоравливает потом, то поколениями выравнивается.

— Но некоторые виды и гибнут . . .



---

— А опытный садовод заболевшему растению помогает, и здоровье в конце концов изживает болезнь.

— А хирург для восстановления здоровья нездоровое отрезает.

— Но как же отрезать, чужак человек, если болезнь по всему организму пошла!

— Что же делать?

— Поставить правильный диагноз и лечить. Лечить настойчиво, любовно, веря в конечное излечение. Главное же, чтобы больной сам понял свою болезнь... Вот я, видишь, занемог — свернулся и сплю, стараюсь не прыгать, поменьше дергаться — стараюсь не мешать жизни брать свое. А ты предлагаешь мне кулаками выбивать из себя болезнь.

— Но милиционер вас хватает и бросает в тюрьму, где отлежаться вам не дают.

— Милиционер, он, конечно, старается, — засмеялся тихонько Старик, — но вот живу же. Власть, действительно, покоя не дает, тормошит, мешают, а люди тянут, терпят... Тело России вон какое! Не больно-то сдвигнешь. В местах, где власть тормошит сильнее, как Москва или другие центры, там болезнь будет дольше держаться, но Россия не только Москва. Чем дальше от Москвы, тем здоровее. Я всю Россию исходил... Верь мне: отлежится она, оправится, поднимется, разотрет больные места и пойдет... пойдет! — Старик помолчал, затем, будто вспомнив что, сказал: — Думаю, что и страх или, как говорят в лагерях, «вижить» — тоже в плане национального «перележать», «переболеть», и связан он с ожиданием... После Сталина «вижить» неизбежно превратится в «жить»!..

— Это как же — совесть проснется?

— Нет, совесть, обычно, виноватых не мучает. Проснется она не у тех, кто виноват, а у молодых... у тех, кто не знает ни коллективизации, ни ежовщины, ни войны...

Бухгалтер встал, потянулся, отошел к печке, оглядел всех: и старики Трухины, и Соня, наверно, явно согласны со Стариком; может быть, они не все понимают из их разговоров, но все на стороне Старика. Наверно, и жена Нина, и дочери тоже согласны с ним. Может быть, даже Артемьев и Шилов по-своему согласны. Почему же один он не может согласиться? Нетерпение?

Старик как в воду глянул:

— Многие, вот, на войну снова надеются. Жизнь и тут против — атомную бомбу дала, а с нею и страх общей гибели: соблазн нетерпения и уменьшился. Тот же закон сохранения жизни действует.

— А что, если Сталин возьмет и кинет эту бомбу? Она вам не топор Раскольникова.

— Сталин и его помощники, они тоже боятся. Может быть, больше, чем мы...

---

---

— Значит, значит, значит — сидеть, сложа руки, или лежать на печи?!

— Зачем? Поле вон какое! Сколько я видел безвестных тружеников на этой ниве: учительниц в школах, чьи ученики Раскольниковыми не будут; матерей, которые растят детей здоровых; бабушек, которые внуков берегут от всякой напасти... Встретил я под Смоленском одного — райкомовский пропагандист марксизма-ленинизма, а по воскресеньям с людьми о Боге, о душе беседовал. Встречал ученых, больших инженеров, о будущем серьезно думающих. И членов партии таких встречал. И женщину, помогающую через ключую проволоку заключенному, и вольных людей встречал, кто тайком кусок хлеба дает лагернику, встретил даже уполномоченного НКВД, выпустившего арестованного. И молодежь и стариков, думающих над жизнью и над книгой... Что их объединяет? Партия? Организация? Программа? Нет, милый мой человек! Тоска по очищению, тоска по человечности, жизнь... Да... Вы лучше меня знаете, что в женщине жизнь сильнее сказывается, хотя не так ясно и не так бурно. Она многого не понимает и не может, но она всегда знает, что хорошо, а что плохо. Что к жизни, а что к смерти. Призывы к действию ее не объединят, а доброе — объединит. И помните: женщина воспитывает человека — ребенка и мужчину, а это самое главное... Не достижения, а это...

Бухгалтер засмеялся и, вспомнив свой разговор с Шиловым, громко сказал:

— Давайте примем такую резолюцию: женщина — это добрая оппозиция нашей мужской власти, и свет ее не дает нам, мужчинам, завести род человеческий к гибели!

Все рассмеялись, понимая, что Петрович «отошел».

Гликерия Семеновна подошла к койке Старика и, покраснев, как девушка, вдруг спросила:

— А конец света, дедушка, будет?

— Никогда его не будет, милая. Конец света придумали люди из тех, кто смерти боится... Ну, хватит на сегодня... Устал я что-то.

Когда разошлись, Соня из своей комнаты слышала, как Старик тяжело дышал и все покашливал...

. . . . .

## С Л Е З Ы

В середине марта сильно потеплело и Катя поехала погостить на несколько дней в Нордхаузен к генеральше — с Натальей Николаевной она могла говорить и о Федоре. Генерала дома не было: дивизия готовилась к переходу на лагерное положение. Наталья Ни-

---

---

колаевна приезде Кати и обрадовалась и испугалась: хлопотала по хозяйству, ухаживала за ней, не знала, что называется, где и посадить, — о Федоре, о Федоре надо было рассказать, но как же это сделать?!

Ездили осматривать окрестности. Гористая Тюрингия лежала в туманной дымке: темные, влажные, похудевшие деревья толпами стояли по склонам, вдоль дорог, по берегам речек, стояли и ждали. Побывали в Вартбурге, где в домике на стене сохранялось явно подкрашиваемое чернильное пятно: по преданию, Лютер швырнул в икнувшего его черта чернильницей, а во дворце, где в средние века соревновались мастерзингеры (проигравшему певцу рубили голову), в коридоре рассматривали фрески: на одной стороне они изображали жизнь мужчины, на другой — жизнь женщины; мужчина до двадцати лет — теленок, после двадцати — козел, после тридцати — бык, после сорока — лев, потом рабочая лошадь, а в девяносто — осел, столетие было изображено черепом; женщина была голубкой, лебедем, павой, сорокой, курицей, в девяносто лет — соевой, в сто — такой же череп. Катя вместе с Натальей Николаевной смеялась, смеялась, а потом вдруг расплакалась. «И сама не знаю, отчего... Извините, Наталья Николаевна». Это, может быть, и решило: вернулись домой, пообедали, Наталья Николаевна усадила Катю на диван и все рассказала: и о приходе Федора, и о «комиссаре», и о брате «немки», о Карле... Кате сделалось дурно. Напуганная Наталья Николаевна с помощью вестового солдата уложила Катю в постель, вызвала дежурного врача. Катя пришла в себя, оглядела неузнававшими глазами комнату, врача-майора, остановилась взглядом на плачущем лице Натальи Николаевны, что-то вспомнила, тут же встала и, не говоря ни слова, принялась лихорадочно одеваться. Наталья Николаевна с врачом пытались ее остановить, но Катя с такой силой оттолкнула майора, что тот чуть не упал.

Не простившись, с одеревенелым лицом Катя села в автомобиль и, забившись в угол, сказала шоферу:

— Поезжайте домой... Скорее.

После Галле разразился ливень. Били молнии, по небу из конца в конец гневно грохотал гром. Старик-шофер включил фары и напряженно вглядывался в потоки дождя, заливавшие и смотровое стекло, и свет фар, и дорогу, и сам воздух. По обочинам автострады то и дело попадались автомобили и грузовики, переживавшие ливень. Мосты все еще были не восстановлены и ехать нужно было осторожно, но Катя повторяла:

— Скорей. Скорей...

— Это невозможно, гнедиге фрау, ничего не видно...

— Не ваше дело. Делайте, как вам говорят.

---

---

Быстро надвинулся вечер. Измученный шофер все-таки успел разглядеть впереди полосатое заграждение и стал тормозить.

— Я сказала вам ехать быстрее! — чуть не закричала на него Катя.

Старик рассердился и, не ответив, свернул с бетонной автострады на глинистый выбитый путь объезда — задние колеса сразу занесло вправо, потом влево, скользкая, обильно поливаемая потоками дождя дорога сразу пошла круто вниз, шофер затормозил, но автомобиль продолжал скользить. Шофер успел заметить поворот налево и стал сворачивать, но автомобиль занесло — справа сквозь дождь вырос кузов застрявшего у обочины грузовика — ударились задним правым колесом. Катю сбросило с сиденья, швырнув правым боком на спинку переднего сиденья.

Автомобиль стал. Верх кузова загудел на ровной ноте. Шофер, чертыхаясь, вылез под дождь. Катя, опершись руками о сиденье, села; сильно заболело в ушибленном боку.

— Вы в порядке? — крикнул шофер.

— Да-да... Поезжайте.

Старик не ответил и стал дергать за вмятое крыло. Потом плюнул и полез за руль.

Поврежденное крыло со скрежетом терлось о покрывку заднего колеса, и хотя ливень скоро стал затихать, быстро ехать было невозможно. Боль в боку, нарастая, переместилась вниз живота. «Ну, вот и все... Выкидывай...» — подумала Катя и тут же в горячем иступлении стала твердить: «Ну и пусть! Пусть! Пусть! Пусть! После этого предательства, после того, что они сделали с Федором, пусть и ребенок умрет! Пусть и я умру! Пусть все идет к черту! Ах, какие сволочи! Шкуру свою, шкуру только б сберечь! Предатели. И этот еще! — подумала о Василии. — Мама, я, Коля помогли ему Соню найти, помогли освободить, я рисковала мамой, собой, ребенком — твоим сыном, Федя, рисковала! Помогли, устроился, а теперь предал! Мужичья душонка! Ты его на фронте спас, я его счастье здесь спасла, а он, видишь, как... Нет, не будет и вам добра! Нет. Нет. Нет. И эта старая ханжа: 'Феденька, сыночек', 'милая вы моя', крокодиловы слезы... Когда надо, не отговаривали бежать, а теперь отговорили! Все шкуры. Шкуры... Федя! Куда же они тебя отправили?! Куда забрали от меня?! На какую новую муку? Что мы им сделали, Федя?!...»

Она не береглась толчков: разбитая автострада была сплошь в выбоинах, каждый толчок больно отзывался в боку и в животе. «Пусть! Пусть! Пусть!...»

На контрольных пунктах при проверке документов дежурные офицеры по несколько раз переспрашивали ее, — она не понимала, кто они и что хотят от нее, пока шофер не догадался и стал говорить:

---

---

— Фрау оберст очень больна. Авария случилась, — и показывал на вмятое крыло.

В Карлсхорст приехали ночью. Катя с помощью шофера едва поднялась в квартиру на второй этаж. Рыльский вышел в пижаме: разглядев Катю, испугался:

— Что случилось?

— Авария, герр оберст . . . Очень скользко . . .

Катя, скинув пальто, прошла к себе в комнату и, не раздеваясь, легла на кровать. В коридоре муж кричал в телефон, вызывая скорую помощь.

Больница Карлсхорста была в нескольких кварталах. Катю поместили в отдельной комнате. Дежурный врач, обнаружив небольшое кровотечение, позвонил главврачу, жившему при больнице. Главный врач, полковник медицинской службы — полная, розовая женщина в очках, сквозь которые умно глядели светлые глаза, — осмотрела молчащую в иступлении Катю, распорядилась сделать укол, вызвала сестру:

— Паша, не отходите от больной . . . Психическая травма. Если кровотечение усилится, разбудите меня.

Рыльскому сказала:

— Вы, полковник, поезжайте домой. Возможен выкидыш. Она сейчас уснет, посмотрим, что покажет завтра.

Засыпая Катя видела над собой строгое лицо сестры, потом потух верхний свет, сестра отошла к столу у окна, где горела маленькая лампочка под зеленым абажуром.

Почти двое суток Катя лежала, не отвечая на вопросы врачей, не разговаривая с сестрами, отказываясь от пищи. Только пила. Боль то утихала, то нарастала. Рыльский приходил три раза в день, но по распоряжению главврача его к Кате не пускали.

На третий день около полудня Катя уснула и так крепко, что проспала до вечера. Открыла глаза, огляделась, — сестры не было, в окне за качавшимися от ветра черными ветками больничного сада догорал желтый закат. Катя подняла одеяло и потрогала живот — боли не было. Повернулась на бок к закатному окну — боли не было. Подтянула колени, свернулась калачиком. «Феденька, я дура у тебя . . . Влюбленная в тебя дура . . . Беременная сыном твоим дура . . . Я ведь чуть его не убила, Федя, сына нашего чуть не убила . . . Прости меня дуру . . . Ты ведь жив там? А Карл здесь. Через него я и найду тебя! Чего же я, дуреха, распустилась? Ты только пережди где-нибудь. Где-нибудь в уголке. Слышишь, Федя? . . .»

Катя не слыхала, как в комнату вошла медсестра. Ее строгое лицо выросло над Катей, темные глаза улыбнулись:

— Ну вот . . . Теперь все будет хорошо . . .

— Вы о чем? — спросила Катя.

— О том, что плачешь . . . Обошлось, значит.

---

---

Катя рукой потрогала свое лицо, оно было мокро от слез. И подушка была мокрая. Катя полезла под подушку за платком.

— А вы не прячьтесь. Слез стыдиться не надо, — отходя к столу, сказала сестра.

— Что ж тут хорошего? Все это мы, женщины, плачем: горе — плачем, радость — плачем, больно — плачем, сладко — плачем... Просто неприлично получается.

— Ничего такого не получается! Слезы — благодать наша. Нам русским бабам, судьба слезы дала вроде как силу. Беда ударит — слезы удар смягчают, и сердце не разбивается. Горем глаза затмит — слезы омоют и опять кругом видать. Ум помутится — слезы опять же очищают. Только подумать, что русской бабе пришлось перенести, и в старину, и теперь тоже! Слез целые реки пролито, только смыли они и мор, и глад, и беды, и пожарища, и душа осталась чистой.

— Это что же, вроде дезинфекции?

— А вы не смейтесь. Дезинфекция не дезинфекция, а вроде противоядия, чтобы с ума не сойти, да душа чтоб не очерствела.

— Так разве только русские женщины плачут? — улыбнулась Катя.

Сестра поглядела на нее, подошла, присела на край кровати:

— Вон как хорошо ты улыбнулась, голубка вы моя. Слава Богу. А что до других, то так уж оно вышло русской бабе на роду — плакать. Другие не так плачут. А иные и вовсе не плачут: привычки к беде нет. Насмотрелась я за войну на всякие нации — на фронте медсестрой в полевом санбате была, в плен попала, у немцев в госпитале работала, потом во Франции, там с подружкой бежали к партизанам ихним. Пришли американцы и англичане, в английский госпиталь военный попала, с ним в Англию, а пять месяцев назад привезли сюда на репатриацию. Только меня опять в госпиталь вот из лагеря взяли... Что дальше будет, один Бог знает...

Катя с интересом разглядывала простое крестьянское лицо сестры, оно казалось еще темнее от белого халата и белой косынки. Руки ее тихо лежали на коленях мягкими ладошками кверху — сколько ран перевязали они? Сколько глаз закрыли навеки?

— Немка, к примеру, горит все, смерть гуляет кругом, бомбы рвутся — светопреставление, а она головы не теряет, отберет самое ценное в чемоданчик и аккуратно в бомбоубежище... Ну, вот только если мебель у иной сгорит, случается, плачет: «Майне шёнэ мёбель! Майне шёнэ мёбель!» Француженка, так та плачет, скорее, истерично. Англичанка — та я не видела, чтобы плакала: в самую страсть — смешное видит. Помню: в наш госпиталь бомба попала, всю стену на шесть этажей, как ножом, срезало, а врач наша — ни в какие бомбоубежища не ходила! — ванну принимала: стена-то об-

---

валилась, а она голая в ванне на четвертом этаже на виду у всего белого света. Так и сидела, пока солдаты спасательной команды ее по пожарной лестнице не снесли. Снесли, а она и говорит им: не можете ли мне принести мой халат и сумку с вещами, что на двери висеть остались? Солдат слазил, принес. Построились они, как по команде, вокруг нее, отвернувшись, чтобы переоделась. Она халат надела, пудреницу из сумки достала и давай нос пудрить. А лицо-то у самой все в саже! Смеются только. Вокруг убитые, раненые, стон... Одним словом, каждый по-своему бережется. Наша, если в горе не плачет, беда: с ума тронется.

— Вы, наверное, и про меня так думали? — спросила Катя.

— По правде сказать, думала. А увидела слезы, обрадовалась.

— Но вы все-таки преувеличиваете силу слез.

— Нет, не преувеличиваю. Возьмите с другого конца: раньше в России, да и теперь случается, говорят, чудеса бывали. Так чудеса эти больше про иконы Богородицы — что плачут они. В других странах разные чудеса бывают, а у нас больше слезы Богородицы. Да что там, спросите самую захудалую старушонку у нас, и та вам скажет: без слез пропадать бы нам.

— Ну, а мужчины?

— Что мужчины — они слабы плакать. Чтобы плакать, надо силу от земли-матери иметь... Если читали Евангелие, то знаете, что когда распяли Христа, то все покинули Его, даже ученики Его, а вот женщины остались возле креста... Плакали. И дело свое женское делали.

— Вы что же, Паша, верующая?

Паша неумело улыбнулась, опустила строгие глаза и просто сказала:

— Верю. В немецком лагере уверовала. Потом укрепились в вере. Баптисткой стала.

— Почему же баптисткой?

— Да так оно вышло, голубка. Может, потому что в советское время выросла, к собраниям привыкла, церковей настоящих не стало, служба церковная дело мудреное: стой и слушай, что священник скажет, а баптистское собрание — оно удобнее, самому можно выступить. А потом, Бог-то один...

— А вы не боитесь?

— Чего?

— Ну, хотя бы, что я возьму и начальству донесу?

— Не донесешь... Да, оно, начальство-то, наверно, знает... Держат меня, потому что сестра я опытная. А что отправят меня отсюда в лагеря дальние, так на то Господня воля. Только Божья воля и в другом — пошлет добрых людей в помощь, как посылал до сих пор.

---

---

— Я шучу, Паша.

— Знаю.

— Шучу, хотя и не англичанка.

— Какая из вас англичанка, вы из нашего брата: себя бы только отдать . . .

— Как вы сказали?

— Себя отдать.

Катя во все глаза смотрела на Пашу: откуда она такая взялась?

— Я, может быть, уже и отдала себя, Паша, — сказала она чуть слышно.

— Догадываюсь. А теперь я вам поесть принесу, я вам оставила, ждала, что переборитесь.

— Значит, слез одних недостаточно?

— Слезы — они для души, еда — для тела.

Пришла главврач. Ощупывала холеными умелыми пальцами живот, смотрела умными глазами сквозь очки и на прощанье сказала:

— Очень рада. Там муж ваш все время рвется повидать вас?

— Пожалуйста, не надо . . . — вырвалось у Кати.



---

---

**ИРАИДА ЛЕГКАЯ**

На городских площадях голуби и весна  
Пыльная тишина каменных ледников  
Праздничная тишина

В городе никого  
Голубая весна и лето недалеко  
Я узнаю подстриженную ручную траву  
Другое лето настигает меня на ходу  
Вот проведу рукой по глазам и проснусь  
На дне моей жизни в детстве в саду

---

---

**ИРАИДА ЛЕГКАЯ**

Сегодня друг а завтра вор  
Кто ужинать ко мне придет?  
Какая все же благодать  
Не без улыбки понимать  
Что мы не знаем ничего  
Цветами комната в глазах  
И стол накрыт

И по ночам

Мне снится

Небо

пополам

(вы помните?)

Гроза в начале

Июня?

Мая?

Гром шагов

Вот-вот войдет неожиданный гость

Все с полуслова понимая

Откроешь дверь и никого

---

---

**ИРАИДА ЛЕГКАЯ**

Я сижу колени обняв  
Кто-то плачет в преддверии ада  
Сердце белого летнего дня  
Воскресенье

Тоска без пощады

Я руками ее разведу  
Я любую беду услышу  
Если ветер еще не утих  
Говорит

И ответ излишен

Не туманится светлый дух  
Разговорами о погоде  
Дом мой пусть и голос потух

Я не выдержу этой свободы

---

---

ИРАИДА ЛЕГКАЯ

О Т Ц У

Желтая река

зима

лес

Телефонные линии наискосок

Линии пересекающие висок

Неба

Для цвета слова нет

Путь

еще три часа

далек

Желтая земля

сухая трава

От жизни меня ты не уберег

День мой облачен и высок

Серая лента

белая полоса

Целая дорога в моих руках

(никогда низачто меня не ругал

раз попытался

заплакал сам)

Рай твой безоблачен и далек

И не ждет повинной моей головы

... Будем довольны жизнью своей

Тише воды, ниже травы ...

СТИХИ О МОСТАХ

После ночи — всегда короткой  
Победив усилием лень,  
Я бегу упругой походкой  
Начинать свой рабочий день.

В переполненный поезд силой  
Втисну тело. А вот душа  
Будет строчками песен милых  
Полчаса блаженно дышать.

Остановка. Вон из вагона.  
Над чертежным склонясь столом,  
В четкий мир железобетона  
Погружаюсь всем существом.

И покорны чьей-то причуде,  
Сочетанью цифр и мечты,  
Будут где-то каменной грудью  
Над водой вздыматься мосты.

Но никто из тех, кто в машине  
По мостам промчится весной,  
Не оценит ту точность линий,  
Что сейчас под моей рукой.

И ложатся цифры рядами,  
Оживляя чертеж. И вот  
Новый мост почти что стихами  
О своем рожденьи поет.

---

---

НОННА БЕЛАВИНА

СТАТУЯ

Я была вакханкой. А ты не знал.  
И любил меня, как святую.  
И руки мне, склонясь, целовал,  
Мадонну с меня рисуя.

Я была вакханкой. А ты не знал,  
Называл богиней упрямо,  
И в честь мою везде воздвигал  
Золотые светлые храмы.

И все поверили. Побороть  
Пришлось с трудом и тоскою  
Мою горячую, жадную плоть  
Молитвой и покоем.

Ну что ж? Такой ты сделал меня,  
Такую воспели в одах.  
А ты — живую — всю из огня  
Искусству так и не отдал.

Ты выдумал эту святость мою.  
И вот у ступеней храма  
Теперь я статуей белой стою  
И люди целуют мрамор.

Над головой моей тонкий нимб.  
Но что-то людей тревожит.  
И шепчут: «На губы ее взгляни!  
На святую она не похожа!»

---

---

ЮРИЙ БОЛЬШУХИН

## ЗВЕРИ, ЛЮДИ, ДУХИ

### ВАРИАНТЫ

1

Бог, я уверен, знает, для чего существует человек. Однако, довольно философии.

25 сентября 1903 года в двух различных городах России родились два мальчика; им дали претенциозные имена, одному Олег, другому Лоллий. Олег еще туда-сюда, была такая мода на славянщину, но Лоллий?

25 сентября 1933 года в Турове, бывшем тогда столицей Антии, на углу Театральной площади и Пушкинской улицы, за столиком пивной «Новая Бавария» сидел Олег. Востроносый черненький официант Виктор только что вытер столик грязным влажным полотенцем; образовались волнообразные разводы, которые тут же высохли. На них он поставил две бокастые, толстого стекла, кружки светлокоричневого пива с плотной пеной, еще шевелящейся, и два маленьких блюдечка с моченым разбухшим горохом.

Был третий час дня, в пивной пахло дубовыми бочками.

— Виктор, почему две кружки? И дай стаканчик.

— Есть! — бодро ответил Виктор. — А это для них.

По другую сторону узенького столика, обитого коричневым линолеумом, сидел человек в легком сером костюме, в зеленоватой сорочке с кирпичного цвета галстухом. Перед ним лежал красный резиновый кисет и прямая, заграничная трубка.

— Простите, — сказал Олег, — я вас как-то не заметил.

— Бывает.

— Приятно вас видеть — сказал Олег, и ему в самом деле, стало очень хорошо, примерно так, как после двух первых стопок, хотя он не выпил еще ни одной. — Вы тоже трубочку курите, как и я.

— Да.

---

---

— Позвольте вам налить?

— Отчего же.

— Виктор, пожалуйста... — сказал Олег, но Виктор уже поставил возле каждого по светло протертому стаканчику. Это выглядело прилично: обычно посуда в этой пивной подавалась мокрая, ее не вытирали после ополаскивания. Виктор подмигнул и удалился к другим столикам. Олег потянулся рукой вниз, достал стоявшую на полу четвертушку водки и отковырял картонную капсулу, о которой на этикетке было сказано: «Укупорку капсулой покупатель не оплачивает». Он налил по трети стаканчика и протянул свой к сидевшему напротив, чтобы чокнуться. Чоканье прозвучало нежным хрустальным звоном.

Оба выпили, прихлебнули пива. Оно было свежее — единственное его достоинство, не считая того, что оно вообще — было. Олег достал свою кривую корешковую трубку, ей шел восьмой год, хороший стаж для трубки.

— Попробуйте моего, — сказал человек в сером костюме, протягивая свой кисет.

Олег, набивая трубку волокнистым светлым табаком, делал это из вежливости: у него нынче были деньги и он запасся превосходным табачком под названием «Трубка мира», прессованным, темно-красным. Но волокнистый светлый оказался отличного вкуса и запаха.

— Прелесть! — сказал он. — Мне сегодня удача во всем, и это, знаете, особенно хорошо, потому что у меня нынче день рождения: ровно тридцать.

— Да. Очень хорошо. Поздравляю вас с днем рождения. Но вы с утра ничего не ели, возьмите рыбки.

— Рыбки?

Рыбка лежала посреди столика, золотистая шема, деликатно нарезанная ломтиками. И аккуратные ломтики свежей булки были уложены кругом; тарелочка, на которой булка и узкое блюдо с шемаей, сверкали от чистоты. Олег ел и удивлялся этой, непривычной для дешнего места чистоте, и внимательной ласковости Виктора тоже.

— Вы, конечно, кинорежиссер, но откуда? Одесских я, в общем, знаю. Вы москвич?

— Отчасти, — улыбнулся спрошенный. — А вы обратили внимание на непоследовательность Виктора? Посуда чистейшая, сам добренький, а столик вытер довольно грязной тряпкой. Дело в том, что он совсем растерялся и мало что понимает. Виктор! — позвал он, и тот мгновенно явился, к недоумению Олега: дозваться Виктора всегда было трудно, он подходил исключительно по собственному рассуждению, но в общем, успевал повсюду. Два других официанта, вялые и как бы невыспавшиеся, работали кое-как.



---

---

— Ну что, Виктор? Действуешь?

— А как же! — ответил тот с готовностью. — Сами видите.

— Да уж, вижу. Но ты не увлекайся все-таки.

— Как-нибудь, лишь бы честно, — так у нас на Журавлевке говорят, хихи...

— А столик грязный. Человек пришел посидеть за кружкой пива, у него день рождения, а локти к столу прилипают. Видишь, какой непорядок.

Плоское лицо Виктора с острыми черными усиками стало лиловым от злости.

— Я извиняюсь. Действительно непорядок. Сию минуту!

И он действительно не больше минуты потратил на то, чтоб пивной столик сделался как новенький. Хрусткое холщевое полотенце еще хранило складки от горячего утюга.

— Позвольте экспортного, по случаю вашего дня рождения? — отнесся он к Олегу. — С чем вас и поздравляю, возьмем из бронезапаса. Республика наша строится, дыбится, но насчитываются отдельные трудности, товарищ Зетов. Пивко вывозим за валюту, себе оставляем самую малость.

Злоба так и хлестала из него, и чем больше хлестала, тем милее в обращении становился он.

— Странное существо, — заметил Олег, когда Виктор шмыгнул за синюю занавеску.

— Злобное. И в сущности вовсе не нужное. И злость его мелочная, ни к чему.

Виктор принес превосходное пиво золотистого цвета, с легкой узорчатой пеной, стукнул донцами кружек о столик и мотнулся к другим посетителям в отдаленном углу.

— Никакой это не запас, просто отпустили из треста для местного потребления, но он ни одному человеку не предложит.

— Однако, вот нам с вами предложил.

— Я сказал: ни одному человеку.

Олег смотрел на блестящую точку — это был отсвет солнечного луча, заигравший на металлической оправе судка для горчицы-перцу-соли, стоявшему на соседнем, незанятом столике. Вокруг не было ничего. Как ничего? Пространство, во всяком случае, было. Нет, не было и пространства, ни меры пространства, ни объемов, ни форм. Здесь не было ничего осязаемого извне, и само понятие «здесь» или «там» стало ненужным и неприменимым. Он ощущал только собственное бытие, а также другие бытия. Все было в наилучшем порядке, было прекрасное состояние полной отвлеченности и вместе — полной реальности. Слияние ощущения и смысла, то, к чему стремятся поэты, художники, музыканты и что им изредка удает-

---

---

ся закрепить в форме — на мгновение, на тысячелетие. Но ему это было присуще изначально и не зависело от времени.

«Это я, — подумал он.— Но кто — я?» Он сделал усилие.

По склону холма, ослепительно зеленого в кипении солнечного света двигался, переставляя огромные толстые лапы, громадный пузатый светло-серый зверь. Он подошел к такому же светло-серому стволу дерева и, вытянув длинную шею, стал срывать молодые листья и жрать их. Аккуратно объев весь нижний пояс листы — выше его маленькая голова с розовой с черным пастью не достигала, перешел к соседнему дереву. Забеспокоился. Шея несколько опустилась, приняла горизонтальное положение; шумно втянул воздух, повернул голову влево, вправо, издал скрипучий звук. Из-за холма выдвинулась такая же маленькая голова, потом такая же долгая шея, за ней грузное туловище на столбовых лапах. Оба зверя сошлись, стали рядом и принялись подталкивать друг дружку то шеею, то боком. Головы их раскачивались, описывая плавные дуги. Длинные толстые хвосты оставались у основания неподвижны, а концы их непрерывно елозили, приминая жесткую растительность, яркозеленую на свету и отливающую буро-красным под косям углом.

Второй зверь издал такой же скрипучий звук, но более низкого тона. Мягко ступая, как бы резиновыми лапами, подошел к дереву и стал кормиться, первый последовал его примеру, но, сжевав двести охапки листьев, перестал есть, сдвинул передние лапы и замер в совершенной неподвижности. Когда листва дерева была аккуратно объедена, оба животных перешли к следующему и опять сначала кормились вместе, затем явившееся вторым продолжало поглощать листья вместе с тонкими ветками, а другое предалось созерцанию. То ли оно было сыто и питалось, так сказать за компанию, то ли это — галантный жест самца . . . Пожалуй последнее верней, потому что, повторив несколько раз сцену с переходом к еще неоципанному дереву, оба посмотрели вокруг, описав маленькими головами на длинных шеях полную окружность, и снова стали играть, но второй зверь по временам прибавлял шагу, а первый догонял и тяжело наскакивал на убежавшего.

Пронеслись одно за другим тонконогие прыгуны и скрылись. Пара гигантов остановилась и тревожно задвигала шеями взад-вперед, потом пустилась бежать бок о бок. Наперерез метнулся огромными прыжками зверь поменьше, с хвостом покороче и с растопыренными малымя передними ногами. Башка его на широкой узловатой шее заканчивалась разинутой пастью со множеством острых зубов, неровных — больших и мелких. И эта пасть сомкнулась на глотке животного, бежавшего впереди. Плоская, как меч, струя крови взметнулась и упала, разбившись на капли, сверкнувшие под солн-

---

---

цем. Потом кровь хлынула сплошным потоком, добыча повалилась на бок, хищник рвал большие куски мяса, кожи и углублял кровавую морду все вглубь, добираясь до лакомых кусков.

Раздался скрипучий крик осиротевшего самца, в крике была злоба, ужас и тоска. Светло-серый зверь откатнулся назад, опираясь на надежный хвост и обрушил на врага массивные тумбы передних лап. Тот боковым движением пасти резанул противника наискось по брюху — узкая красная полоса, поворот грузного туловища, взмахи длинного хвоста, бестолковое топтанье.

Силы много, да сноровки нет, и страх одолевает. Светло-серый поволокся наутек.

Блестящая точка — ответ на судке для горчицы-перцу-соли, погасла и тут же запылала багровым облаком. Заскрипела дверь. «Ну куда, отец, мотай, мотай отцеда!» Хлопнула дверь, запахло свежим воздухом. «Пусть войдет». «Куда — войдет? Не знаешь?» И опять Олег всматривается и видит, как между теми же деревьями, похожими на акации, проползает на брюхе, подпираясь короткими пятипалыми лапами новое чудище, узкий грязно-зеленый ящер, на спине его топорщится невысокий гребень из торчмя поставленных щитков, голова удлинённая с глазами, прикрытыми роговыми прозрачными крышками, и на темени третий глаз — все светятся напряженным зеленым огнем. Олега охватывает веселый, непреодолимый гнев. Сейчас, сейчас, сейчас! Ящер останавливается, тело его круглое, как веретено, как змея, бесконечно длинный хвост подергивается, как у кошки, выслеживающей птицу. Вот этот наведет порядок... Жрущий загрызенную тварь хищник отскакивает от добычи, съезживается и распаивает пасть. Оттолкнувшись от земли, он прыгает на ящера — храбрость обреченного — и вот он уже подкинут высоко и шмякается наземь, а дракон перекусывает ему загривок. Олег ловит себя на кусающем движении челюстей и чувствует положительный восторг. Он переводит дух.

— А разве он виноват?

— Виноват ли, не виноват, а вши с него капаят. Мыслимое ли дело...

Соседний столик уже занят. За ним сидит бледный молодой человек с пухлым лицом, вероятно, кисло-мягким, и женщина в шелковом малинового цвета плаще, повязанная щегольским пестрым платочком. Из-под платочка выбиваются кудерьки. Это двадцатичетырехлетний доцент, математик Коля Ополков со своей подругой, проституткой Клавой. Они живут как примерные супруги, что не мешает Клаве практиковать.

— Жалко же, — говорит она нежным голосом, — люди же.

— Люди же, Клавочка, это ты правильно говоришь.

Маринованное сердце мое на блюде  
пред вами.

---

---

Лопайте, прожорливые люди,  
великую дань!

Это не мои стихи, детка, это стихи большого, но скверного поэта.

Снова открывается дверь, входит старик, сплошь заросший серою щетиной, слипшиеся волосы закрывают ему глаза, на нем коричневый армяк. Он останавливается у порога и протягивает обе руки. Становится ясным, что до этого времени в пивной было шумно. Наступает полная тишина.

— А что он на твои деньги купит? И сколько тех денег?

— Поди сюда, отец, не бойся.

Старик делает движение подойти, но не знает, к кому. Подлетает Виктор.

— Мотай, мотай, отец! Не разрешается, понял?

За столиком посреди пивной сидят четверо. Человек со вдавленными висками и серым мертвым лицом, поставил руку локтем на столик и кистью этой страшно худой руки помахивает, будто разгоняет дым. На самом деле он подзывает старика и одновременно приказывает Виктору отстать. Ослушаться этой руки невозможно, хотя власти в ней уже нет и жизни совсем мало. Осталось только излучение власти, не так давно — бывшей.

— Откуда?

— С Росоватки.

— Знаю Росоватку. Сам-один?

— Жена еще . . . и дочка.

— Остальные померли?

Старик молчит.

— Кулинич?

Старик молчит.

— Шмелюк? — человек со вдавленными висками обводит взором сидящих за столом и кивает на старика. — У них в Росоватке одна половина села все Кулинич, а другая, за прудом — Шмелюки.

Старик приподымает опущенную голову и с трудом выговаривает:

— Уже и нет больше никого. Чисто.

— А внуки ж твои где? Были внуки?

Медленно, будто шейные позвонки у него заржавели, старик поводит головой туда-сюда и тупо смотрит прямо перед собой. Человек со вдавленными висками вынимает газету и ссыпает на нее с тарелки посреди стола так называемый салатик: соевые бобы в вязкой желтой полужидкости, а с блюбочка пять кусочков серой булки. Один из собутыльников вынимает из портфеля целую булку, сморщенную и вялую, два творожных сырца в промокшей пергаментной бумажке. Всю снедь завертывают кое-как в газету и вручают старику. Тот принимает бережно, обеими руками и как буд-

---

---

то кланяется. Он знает, что нужно поблагодарить, но вспоминает заданный ему вопрос о внуках.

— У нас внуков . . . внуков нету. Я с третьего года, а баба с четвертого. Молодые.

Старик отходит и поворачивается к двери, опять возвращается и говорит:

— Спасибо вам, добрые люди.

У двери его нагоняет Виктор и дает ему измятый кулек с едой.

— Сматывайтесь все до холеры, чтоб вас тут и не воняло! Людоеды, сволочи!

Лицо его подергивается, усики шевелятся.

— Видели? — спрашивает Олега человек в сером костюме.

— А вы говорили, что Виктор злой. Не злой, раз голодных кормит.

— Да? А вы, стало быть, злой?

— Это — почему я сам даже не попытался им помочь? Вы меня смущаете. В самом деле, почему? Положим, у меня самого ничего нет, я получаю хлеб по четверти фунта в день, в общем, я не голодаю, но подголадываю. Однако, сегодня я при деньгах, мог бы . . . Конечно, я мог бы . . .

— Наблюдатель жизни, ленивый на добро, падкий на зло, так? А белку помните? Ту, которую в Петровском мальчишки задавили слегой. Летняя белка, шкурка и гроша не стоит. А?

— Откуда вы знаете про белку? Почему вы так говорите? Кто вы?

— Или вот, Вероника.

— Ну, Вероника . . . Она осталась не в проигрыше.

— Нет, в проигрыше, и в большом. И вам ее жалко.

— Да кто же вы такой? Жалко . . . конечно, жалко . . .

— И динозавриху жалко. Жалко ведь?

Олег сильно потер обеими руками лицо и разнял руки, как бы сняв налипшую паутину.

— Напился я, что ли? Нет, вот четвертинка стоит только початая. Странно. Или это викторово экспортное пиво такое крепкое? Что вы мне говорите об мне самом и я вам отвечаю, как во сне? Почему вам известно о динозаврихе, когда я сам не ведаю, как это мне привиделось? О скажите мне, кто вы?

— Это фраза из «Богемы»:

О скажите мне, кто вы?

Я вас молю!

— «Незнакомец мягко усмехнулся», — проговорил Олег. — Так выражаются в старомодных книгах. Вы же незнакомец и вот, «мягко усмехнулись». Ну бросьте, и давайте познакомимся, а то сидим два часа и . . .

---

— Вы стали забывчивы, Олег, но это в порядке вещей. Федор Давыдович Сущев — вам это что-нибудь говорит? Ничего это вам не говорит. Давайте-ка, закурим, и налейте по стопке. У нас с вами есть деловой разговор.

— Здорово, Гурка! — крикнул один из сидевших вместе с человеком со вдавленными висками, обернувшись и облокотясь на спинку стула.

— Здорово.

— Объединяйся с нами! Флорка придет?

— Придет, — ответил Олег. — Погоди, я занят.

— Преклоняюсь перед занятым человеком.

Широкий с мясистым лбом, мелко курчавый мужчина встал, отодвинул стул и подошел к Олегу, положил ему на плечо небольшую, с рыжими волосками руку. Скрученный в колбаску полосатый галстук свисал и покачивался в воздухе, успевшем стать сизым.

— Фельетон надираешь? Ну, валяй, там ждут. Разменивайся на медяки.

Он выпрямился, слегка пошатнулся, поцеловал Олега в щеку и, лавируя между столиками, направился к стойке.

— Мишка! — крикнул вдогонку Олег. Тот вернулся. Олег налил водки в пивную кружку. — Выпей с нами, познакомься...

Приняв кружку, Мишка уставился на Олега, вытаращив маленькие карие глаза. Приподнял кружку, где водки было на доньшке, выпил и тихо осведомился:

— Ты что? Совсем... в дрезину?

Похлопал Олега по плечу, поставил кружку и ушел.

— Не удивляйтесь, Олег, — заметил Федор Давыдович. — Миша меня не увидел, а вы предложили «познакомиться». Естественно, он предположил, что вы совсем пьяны.

— Как это не увидел?

Он взял стопку.

— Ну, вонзим... «Не увидел»! Вы что же, Бог? Как это в церкви поется: «Бога человекам невозможно видети». Но я, например, вас отчетливо вижу, Федор Давыдович, следовательно, вы не Бог.

— А вы уверены, что вы — человек?

— Более или менее человек, гм... Возможно, не первого сорта, но все-таки... Гм... да. Не ангел, о нет! Далеко не ангел, сознаю. Эгоист, скотина, гад ползучий — прекрасно понимаю это, дорогой, особенно сегодня понимаю, отхватив по сей день ровно тридцать солнц, как выражаются, если не ошибаюсь, луораветланы, бывшие самоеды. Но ведь и вы, я надеюсь, тоже не ангел. Что делать ангелам на московской кинофабрике?

— Что вы знаете об ангелах, Олег?

— Что я знаю об ангелах?

Пока Федор Давыдович Сущев и Олег Данилович Зетов вели деловой разговор, тридцатилетний старик из Росоватки (живший по сю сторону пруда, следовательно, Кулинич) и двадцатидевятилетняя старуха Горпина сидели, вытянув тонкие и одеревеневшие от усталости, гудящие ноги, в подворотне соседнего с пивною дома. Их дочка Приська, привалившись к матери и укрытая полой ее темного неопределенного одеяния, спала. Ей было хорошо, она наелась и отяжелела.

Возле них стоял, прислонившись к стене, человек со ввалившимися висками и слушал.

... Муж к леснику пошел, к куму, у кума коза, обещался дать стакан молока для деток. Ну, иди недалечко — если в силе, а голодному и за день не обернуться, заночевал, а я думаю, как бы его не съели. Тоже ходила на раздобытки, ничего не нашла. Прихожу домой, а эта — она кивнула на Приську — говорит: мама, Надийка уже померла, а я еще живая. Божечка, Божечка, что же это? Я как глянула, мало что не упала. Лежит, еще не простыла. Плакать не могу, села на пол возле нее, примостила голову, думаю: скорее бы нас всех Господь сделал неживыми.

А Приська подошла и ко мне притулилась, вот как сейчас. Так мы все вместе, мертвые и живые... И как будто все спим, в хате совсем тихо. Прися откочнулась от меня, и я смотрю, у нее глаза как-то засветились. «Мама, Надийка мертвая, ей все равно, а я голодная, ой, какая голодная... Отрежь кусок ее мяса, свари, я поем, а потом тоже помру».

Я как вышла из разума, говорю: «Сделаю так, донечка». Говорю: ты залезь на кровать, укройся с головой и лежи, а я скажу, когда будет готово. Ох! Прися забралась на кровать, укрылась, лежит, а я себе думаю: надо сделать тайком, чтоб никто не знал. Подняла Надийку — совсем высохла, легонькая, как перышко — снесла в подпол, засветила каганец и отрезала кусок тела, от ножки. Ой, Господи! Замотала в тряпку. Сама, ну, каменная, ни слезинки, только думаю, как бы не заметил кто. Вылезла, позавещивала окна, затопила печку, поставила чугунок с водой и туда покрошила цыбульку да набросала петрушки, а больше ничего нет. Соль, правда, была. Сварила мясо, поставила на стол, налила в миску юшки и мелко порезала мясо. Разбудила Прися: иди, кушай. Она взяла ложку. «Мама, а ты? Ты ж тоже голодная...» И я взяла ложку тоже. Дитя берет кусочки, жует, и прихлебывает жижицу, и сразу покраснелась. «Мама, ешь!» Я поболтала ложкой, подцепила кусочек... и тут только поняла, что я сделала. Надичка, донечка моя родненькая, я ж тебя родила, я тебя растила, я ж тебя, дочка, ем!

---

---

— Но ведь не попробовала даже? — сказал человек со ввалившимися висками.

— Нет! Бог не попустил, чтобы мать родное дитя ела. Эта... Приська, она маленькая, как зверенок, у ней нет понятия.

— Как же нет понятия: ведь она сказала, что поест, а потом тоже умрет. Стало быть, есть понятие и у маленькой.

— Я на нее иной раз смотреть не могу, такая она мне гнусная. Но потом станет жалко и ее. И сколько нам еще мучиться, сколько? Чем мы виноватые?

Человек со ввалившимися висками — впрочем, у него есть имя: Петр Аполлонович Водлица — поспешно вытащил папиросу, закурил и закатился воющим кашлем, лающим кашлем, гулким, со втягиванием воздуха, хватанием себя за грудь и мотанием головой. Папироса выпала из его руки, покатилась на середину тротуара. Старик Кулинич, сидевший, свесив голову набок, оказывается, не спал. Он вскочил и поднял папиросу. Водлица замахал на него руками и нечленораздельно не то прошипел, не то промывчал что-то. Кулинич вернулся на свое место.

— Давайте, граждане, отсюда! Дед, подымайсь!

Возле них стоял милиционер и энергично водил рукой от груди вправо, точно по струнам гигантской невидимой балалайки.

— А ну, пошли, быстро! Не отсвечивай!

Осторожно, чтоб не раздражить снова больную грудь, Водлица втянул воздух и поманил милиционера. Тот подошел и спросил:

— В чем дело, гражданин? Зачем нарушаете?

— Все в порядке, пьяных нет, — ответил Водлица свистящим шепотом. — Кати, друг, дальше, понятно?

Милиционер узнал его, откозырял и удалился.

— Вы вот что: тут вам спать нельзя, человечки. Ступайте в Дом крестьянина, я дам записку. Там вас обработают, выпитесь, потом пойдете на стройку. И — все забыть: что было и чего не было. Грамотные? Ну и ладно. Считайте себя устроенными, такое вам привалило счастье, понятно? Так вы Кулинич или Шмелюки?

— Обязательно Кулинич, — ответил старик.

— Теперь вы обязательно Шмелюки. И все. А ты, чудак, хотел мою папиросу докурить! У меня чахотка в последней стадии, я через неделю сдохну, а вы еще поживете. Только: все забыть начисто. Ничего не было. Как фамилия?

— Шмелюк! — отчетливо вымолвила Горпина. — Ой, спасибочки ж вам! Дай вам Боже здоровья!

— Как бы не так! Одно, что — не даст, а мне и не надо. Мне, человечки, жить не надо, и это очень хорошо. Это — справедливо. Возьми папиросы, только в мою сторону не дыми. Э, Коля! — махнул он выходящему из пивной математику. — Сюда, сюда! Отведи их в Дом крестьянина, я дам Сурину записку.



---

— Ой! — подскочила Клава, — ой хорошо! Кольке надо в университет, я их сама отведу.

— А вот послушай, Петр, у меня вылились стихи:

Я Богу позвоню по-телефону...

### 3

Одни листья совсем желтые, другие покрылись желтыми пятнышками с коричневой серединкой, а третьи опали, свернулись и потемнели. День был прохладный, а к началу вечера потеплело. Есть уже и полуоголенные веточки, они особенно четко рисуются на городском небе, переставшем быть ярким.

И пахнет вянущим листом, чистотой свежего воздуха, осенними цветами и чуть теплым камнем. Садовая темнозеленая скамейка, на которой закрашены давние имена и сердечки, длинные клумбы с пестрым бордюром, звонки трамвая, отсветы заката на стеклах верхних окон банка и шаркающая подошвами толпа прохожих — очень хорошо! Кто же вы, Олег Зетов? Соберите куски своей личности, растерянные по житейским путям.

Вы — вот эти длинные ноги в штанах, отказывающихся держать складку, эти ступни в коричневых, с утра начищенных башмаках, тонкие руки с ладонями лопатой и довольно длинными пальцами и видимая вами верхняя часть туловища в голубой рубашке и галстухе в полоску? Это вы?

Вспомните, как, бреясь, вы наблюдаете свое солдатское и актерское лицо с грубыми чертами носа и рта, однако облагороженное тем, что называется «интеллигентностью». Единственное, что нравится вам в вашем лице, это уши, потому что они прижаты к голове, ничуть не оттопырены. Но что у вас за взгляд! Он непереносимо тяжелый, потому что совершенно открытый, точнее голый, низменный — взгляд пресмыкающегося, без всяких приятных поволок или задумчивости или мягкости. Почему вы так смотрите? Ведь вы поэт, выдумщик, живете настроениями, видите все в особом свете, под особым углом, точно сквозь лирические очки. Отчего же не заметно никакой мечтательности в ваших неопределенно серых гляделках?

Вы большой любитель жизни, вы обжираетесь жизнью, даже если у вас в желудке мучительная пустота или если в носоглотке сухость от простуды (научитесь, наконец, дышать носом, а не пастью!) И зубы у вас часто болят, что уже хуже? — и все-таки вам нравится жить телом. А душа у вас есть? Ну вот, слушайте: вы не состоите из собрания костей, мяса и внутренностей. В вашей узкой голове живет ум и всеобъемлющее сознание, но и это еще не все. Вы действительно родились ровно тридцать лет назад, но вы были

---

---

и до рождения, вы это твердо помните, хотя и не представляете, как вы были и где вы были.

Вы были во вселенной, вы в ней и остаетесь. Во вселенной это значит везде. Вам всегда нравилось быть. Вы не ангел — что вы знаете об ангелах? Однако, вы деист. Вы определенно не верите в упрощенную теорию, которую вам навязывают с пятнадцатилетнего возраста. И вы не добрый. Вы нехороший, делаете много скверных вещей, потому что для вас самое важное ваша собственная персона. Тем не менее, вы ненавидите зло и отлично его распознаете. В этом отношении ваша пронизательность безгранична, вы, можно сказать, специалист по распознаванию зла, не так ли? Мало вам доводится любить, как любят добрые люди; любите свою родню, а лучше — самого себя. Ваша любовь не деятельна, ленива, как и во всем вы ленивы, сибарит.

Но вы справедливы и жалостливы — больше жалостливы, чем справедливы. Откуда это у вас? Вы плохо приспособлены к обстоятельствам, живете как будто в неродной стихии, и это верно, потому что жизнь человека для вас непривычная среда, и ваша человеческая душа недоразвита, не так, как у иных счастливцев. Есть такие счастливицы, они так ловко оборачиваются в любых обстоятельствах, до такой степени все учитывают и так удачно обходятся, что кажется, будто они не раз уже прошли всю свою жизнь и теперь им все знакомо.

Слушайте, Зетов, вы сами захотели побыть человеком, так не пеняйте на неудобства им быть. Настоящая ваша сущность не человеческая, не ангельская и не демонская. Вы стихийный дух, созданный Богом, как и все прочее, с той целью, чтобы все, ранее не бывшее — стало быть. В бытии стихийного духа тот же смысл, что и в бытии всего. Быть — это хорошо, добро зело.

И вам хорошо, хотя вы и несчастны. Дух это чистое сознание, не отягощенное плотью, но и плоть — тоже хорошо. Духу нет надобности противопоставлять себя материи, и в этой вульгарности вы неповинны.

Вы не задумывались, Олег, по какой причине у вас слабость к тем тварям, которых большинство людей боится до содрогания: к змеям, ящерицам, амфибиям, а также к крысам? Вы добры и к другим животным, но к этим расположены особо. Для вас слово гад не брань, а одобрение. Это потому, что вы по своей природе ближе к этим отверженным, которые ничем не хуже любимчиков человечества. Вы собрали в себе сознание этих тварей, слабое в каждой особи, и храните его.

Первая ваша добродетель это жалость. Вторая — справедливость. Третья, самая важная — смирение.

---

---

## НА ВЕЧНОМ РАССВЕТЕ

Лека перебегала от дерева к дереву по кругу (деревья, пошедшая в ствол сирень, образовывали как бы хоровод, слегка уклоненные одно к другому, подавая соседям руки ветвей), а Бренко гонялся за ней, по кругу же.

Она бегала так стремительно, что наступали мгновения, когда ее толстые длинные косы, перестав биться по плечам, хлестать воздух и совершать маятниковые взмахи, вытягивались за ней двумя параллелями, наподобие удлинившихся крыльев меркуриева шлема, на уровне ее ушей. А то — движение замирало, мальчик пересекал круг по хорде, и вот-вот уже достигнет, но Лека оказывалась у другого деревца и, ухватясь за ствол, обкручивалась около него, резко отшатываясь то вправо, то влево, когда Бренко растопыривал руки, чтоб ее схватить, потом отрывалась и стрелой пускалась по кругу дальше. Ее желтые волосы только и сверкали в еще не до конца растаявшей синей тени свежего утра.

Так они неслись в мерной повторяющейся игре, следуя жеманным сиреневым деревцам, расставленным, как цифры на циферблате часов.

Окна дома, тремя корпусами ограничивающего двор (с четвертой стороны стоял одноэтажный флигель) были еще сонные: на котором опущена штора и лишь слегка отогнут снизу один ее уголок, которое белеет гипсово-неподвижной занавеской, иные и наглухо заперты; впрочем, несколько окон опасно приотворены: люди больше боятся простуды, чем отсутствия воздуха. В комнатах он был густ, пахнул вчерашним ужином, носками и аммиаком, кое-где одеколоном «Красная Москва» или «Золотая осень». Только у академика живописи Тарарушенко на третьем этаже южной стороны оба окна настезь: старик страдает астмой.

На северной же стороне занавеска одного окошка была ясно-желтая, из приколотого английскими булавками куска тонкого шелка, и такая легкая, что и при безветрии все зыбилась. Из-под нее выглянула женщина с голыми плечами, такая, о которых говорят: совсем еще молодая, и осторожным голосом, чтоб не потревожить отсыпающихся в воскресное утро граждан, протяжно позвала:

— Ле-ка!

Дочка услышала и остановилась на полушаге, а Бренко, из уважения к честности игры, тотчас затормозил свое устремление и замер в несколько неестественной позе. Эту позу Лека истолковала в худую сторону, приписав мальчику намерение воспользоваться тем, что ее внимание отвлеклось маминым зовом, и сцапать. Она порывисто метнулась в сторону, зацепившись чуть отставшей подошвой сандалии о выступавший из земли корень и неловко свалилась набок. Первым делом, она взглянула вверх на окно, не видела ли ма-

---

---

ма, но та, привыкшая к лекиному обычаю резвиться спозаранку во дворе, больше не показывалась. Поднявшись, девочка сделала вид, что выходит из игры и, припадая на одну ногу, поковыляла к воротам, чтобы (думал Бренко) попасть домой с уличного парадного. Но вдруг несколько раз перескочила с ножки на ножку и, обретя все проворство, припустилась что есть мочи! Оглянулась на одуряченного, высунула язык и крикнула:

— Чéчир-ячир-нечур! — формулу возобновления игры, прерванной чураньем (хотя перед тем и не зачуралась). Бренко бросился вдогонку.

Они бежали сперва по прямой, потом, огибая угол дома со ржавой, изгрызанной ветхостью водосточной трубой, закруглили линию бега, бессознательно наслаждаясь отчетливой легкостью своих движений и ощущением неисчерпаемого запаса сил.

У самых ворот они увидели новое, чего вчера вечером здесь не было: прислоненное к стволу ровного коренастого грецкого ореха, творило, кучку бутового камня, а возле забора — горку песку, наполовину освещенную бледным солнцем, отражавшимся от стекла распахнутого окна академика живописи. Сразбега Лека бросилась на золотую, как по нитке отмежеванную, освещенную сторону песчанной горки — и снова мальчик на долю секунды оторопел: ему сдалось, что подружка снова споткнулась и что нечестно ее иметь. Но остановить свой разгон уж не успел и, следуя за движением Леки, упал на нее, и, как зверята, они перевалились раз, и два, и три, фыркая и повизгивая от восторга. Она больно вцепилась мальчишке в успевшую уже выгореть за весну и ставшую отливать красной медью темную чуприну, а он, мотая головой, тянулся руками к ее голове, чтоб отплатить, но ему это никак не удавалось, Лека была по-беличьи быстрая и увертливая.

Изловчась, Бренко правой рукой прижал Леку поперек туловища к песку, а левой схватил за косу, одновременно откачнув свою голову, хоть и не взвидел света от боли.

— Ну, пленил, пленил, пусти! — крикнула девочка, сама однако не выпуская из крепко сжатой ладошки тонких, обильных, скользких и плотных, как воробьиное оперенье, бренкиных волос.

— Сама пленила, а сама вякаешь! — обиделся он, и тот же час почувствовал, что свободен, и сам отпустил противницу. Он сидел на песке, взъерошенный и тяжело дыша, и увидел, что она, нахмуря тоненькие, как темные шнурочки, брови, морщась, потирает лодыжку.

— Больно? — спросил он со всей деликатностью одиннадцатилетнего городского мальчишки. Лека не отвечала. Послунявив палец, она счищала прилипшие к белой, не до крови, ссадине, песчинки. Бренко стало ее жалко. Будто они в целом свете одни, и вот, ей больно, а он в том виноват. Он тупо таращился на нее.

---

---

Оставив ссадину, Лека откинулась на спину, закинула руки за голову и устала в легкое летнее небо, затканное переплетом ветвей. Чуть повернувшись набок, она согнула одну ногу в колене, опершись ступнею на песок, другую свободным танцевальным движением отвела в сторону. Локти ее, выходящие из засученных рукавов блузки линияло-персикового цвета, были еще по детски округлы, не достигнув подростковой угловатости; повыше локтя светила нежная белизна, а от локтя к красноватым кистям простиралась матовая желтизна загара — цвет майского масла. Лицо, видимое одновременно и в профиль, и в три четверти, было скорее овальное, но с высокими скулами; тупой ровный носик, крупные, под плотными лепными веками лиловые глаза, тяжеловатый, как у Юноны, подбородок и низкий, без заметной округлости, чистый лоб, осененный спутанным сиянием двух-трех солнечножелтых прядок.

Бренко смотрел на лежащую перед ним девочку, как на восхитительную цветную картинку, умиляющую его своим аккуратным, но несколько не прилизанным совершенством, на притихшую, неподвижную, источавшую тонкое тепло. Он смотрел безотрывно, не мог наглядеться, и все отчетливее понимал сердцем, что не простая жалость сжимает это сердце, а что она ему дорога по особенному и вместе — как-то обычно, привычно. Так дорога, как переполняющая его, еще не осознаваемая им сила жизни, которая заставляет его жадно впитать душистый прохладный воздух, бегать, совершать ловкие прыжки, утолять вечно мучающую его жажду холодной водой, ощущать в руке тяжесть камня и слитность металла, плотность и легкость дерева, а под ногой — надежную твердую земли или рыхлый сыпучий песок, или ускользящую текучесть времени . . .

Тогда, не в силах снести излишек проникнувшего в его существо огромного разноцветного мира, полного ветра, птиц и листьев, он нагнулся и округленным по рыби, затвердевшим ртом припал к открывшейся за вздернутой полосатой юбочкой, теплой, бархатно-гладкой ноге, повыше исцарапанной шершавой коленки.

Вскочил — и унесся, красный, весь стыдясь, как высеченный.

Бренко пробежал несколько поперечных улиц, ни на что не глядя, а между тем все, что встречало вокруг, само собой отпечатывалось в его памяти накрепко. Улица ранним воскресным утром была наполнена остатками рассветной синевы и упругою прохладой, но по крышам и в промежутках между домами уже скользило набирающее хода солнце. Дворники в синих штанах и куртках, поверх которых надеты ослепительно белые передники, продвигались вдоль своих домов, описывая метлой широкие плавные дуги и с каждым шагом немного наклоняясь вперед; иные уже тащили уда-

---

---

вы брандспойтов, шуршащие брюхом по асфальту, привинчивали их к гидрантам и принимались за поливку. Прижав наконецник пальцем, они заставляли струю распыляться павлиньим хвостом, и веера струй там, где попадал на них солнечный луч, сверкали синим и желтым брильянтовым огоньком, и просверкав, тяжелая струя с мягким барабанным рокотом падала наземь, прибывая поднятую подметаньем пыль. Пахло как после дождя. Бренко сменил бег на шаг.

Фрутовое было еще закрыто, и на террасе кондитерской еще стояло оленье стадо стульев, опрокинутых вверх ветвистыми железными ножками. Бодрая конопатая подавальщица с кудряшками под косынкой протирала витрину, где лобастый вождь и учитель шурился с необрамленного портрета, окруженный бумажными маками и выгоревшими коробками из-под шоколадных конфет «Мишка на севере». Возле темно-серого, узкооконного дома, неустанно подтягивавшего свою невообразимо тяжелую массу вверх, отчего казалось, что дом с усердным недоумением пожимает плечами, стоял деревенский грузовичок с надставленными простодушным умельцем свежесотесанными бортами: в доме, постройки 1911 года, некогда принадлежавшем видному члену Государственной Думы, обитал видный член горсовета, которому запросто привозили продукты и живность из довольно отдаленного колхоза его имени. А дальше, на противоположной стороне улицы, над шоколадно-коричневым необыкновенно чистеньким полутораэтажным домом развевалось непомерно большое красное знамя, в складках коего то показывалось, то исчезало нечто бело-черное: это был флаг германского консульства. Бренко пошел тише. Ему, как и всем проходившим здесь, невтерпех было поглазеть на фашистский стяг со свастикой — опасный соблазн, привычно преодолеваемый тренированными гражданами.

«Почему все-таки знамя у них — красное?» — в тысячный раз подумалось Бренко. Уши его перестали гореть, только щеки еще немного жгло. Оставалось несколько десятков шагов до Половецкого скверика, где хорошо присесть на зеленой скамейке, изрезанной пронзенными сердцами, вензелями влюбленных и неприличными словами — всё закрашено масляной краской и испещрено траурными с белым ободком знаками присутствия гнездящихся на вершинах деревьев галок и ворон. Он остановился у обочины тротуара, выжидая, когда проедет заворачивающий вправо автомобиль. Недалеко на тротуаре лежал не успевший еще вырасти, но успевший засохнуть темнокоричневый лист каштана, сбитый на днях бурным ветром. Лист двумя частями плотно прилип к мокрому асфальту, а третья часть подымалась и опускалась с болезненным трепетанием умирающей бабочки. Мальчик засмотрелся на этот лист, ему

---

---

стало грустно, и припомнилось несделанное дело, ради чего он поднялся нынче так рано. Он поспешно сунул руку в карман — и похолодел: свертка денег не было в кармане. А нужно было, как только солнышко встанет, бежать на Краковскую и снести Павлу Павловичу мамин долг: пятнадцать рублей — пока Павел Павлович не уплыл на Дажбожье урочище. Что же теперь будет? Бренко подумал — и круто повернувшись, побежал искать потерянные деньги: верно, он обронил их, барахтаясь с Лекой по песку! Воспоминание о Леке снова обдало его кипятком стыда, но кипяток не ошпарил, только сильно согрел, и с мятным холодком печальной жалости.

Во дворе свояченица мадам Ранец вешала белье досушиваться. Стирка у Ранцев была вчера, и белье повисело часть вечера, а на ночь не оставлять же, чтоб украли. Корзина и огромный эмалированный таз стояли на земле, часть белья уже висела на веревках. Простыни мерно вздымались и опускались под напором крепчайшего ветерка — чинно и торжественно, как жрецы, совершающие иератический танец. Свояченица скользила на цыпочках от дерева к дереву, натягивая новые линии, закрепляя их, обегая вокруг дерева. Пятки ее, когда она привставала на носки, выглядывали из бежевых старых туфель, пятки были желто-розовые.

Бренко порылся в песчаной груди, денег не было, не было этого плотно свернутого тощего пакетика с прилипшими песчинками, хоть ты что хочешь делай! Но может быть, под сиренями? Бренко бросился в центр двора и стал шнырять, приглядываться, не лежат ли его деньги.

— Скажи мне, парнишка, к чему ты тут нышпоришь? — спросила свояченица, вперяя в Бренко несколько косые глаза. — Это просто удивительно: вот его тут не было, и вот он тут есть, специально чтобы замазать мне чистую белизну! Если ты шукаешь вчерашнего дня, так он уже не вернется, это пропащее дело.

— Деньги потерял, — угрюмо сказал Бренко.

— Деньги, — спросила свояченица, — где ты украл деньги?

— Не украл, а потерял, малохольная! — огрызнулся Бренко с отчаянием.

— Потерял! — воскликнула свояченица. — Чтобы это потерять, надо это иметь. Возьми этот конец мотузки и держи мощно. Не выпускай, Боже борони!

Она сунула ему в руки скользкую блестящую новую конопляную веревку со множеством грубых колючих и упругих заусениц, и Бренко ничего не оставалось делать, как держать эту веревку, тем временем свояченица проворно развешивала гигантские панталоны мадам Ранец — розовые, кремовые, лиловые; искусственно-шелковые подштанники товарища Ранец, преимущественно голубые, его восхитительные полосатые сорочки и гордые пододеяльники, украшенные щедрыми прошивками.

---

---

— Ну молодец, юный пионерчик, настоящий Тимур, — сказала женщина, беря у Бренко веревку, — надо помогать всем трудящимся, это закон юных ленинцев, чтоб ты знал. Хорошенький мальчик, только морда у тебя грязная, поди умойся, — добавила она. — Много денег? Беда, — продолжила она, не дожидаясь ответа, — мама послала в очередь за хлебом, а он деньги потерял! Вот это я понимаю, шикарно.

— Ге! — послышалось от ворот. Там стоял Усик, отставив больную ногу далеко от здоровой — как, бывает, телеграфный столб укрепляют длинной подпоркой под большим углом. — Мотай сюда!

Бренко подбежал к Усику, совсем огорченный. Вот-вот выйдет мать, спросит, отнес ли деньги, — что же ей сказать? А тут эта косяя дура с бельем, и вот еще вожатый. . .

— Чего ты? — спросил вместо приветствия Бренко.

— Тут такое дело, понимаешь, организуем вылазку в Дедово. Слушай сюда!

У Усика манера говорить таинственно-доверительно, будто ни-весть какой секрет. Волосы у него точно напомажены, блестят и притиснуты к черепу, белый воротник апашки открывает смуглую толстую шею, а сам Усик невелик, хотя довольно коренаст, и если бы не колченовость, мог быть видным парнем, ему семнадцать. Он пристально всмотрелся в лицо Бренко и спросил:

— А в чем дело, почему ты такой занюханый?

— Занюханый! — передразнил Бренко. — Пятнадцать дубов потерял, маханша послала дядьке долг отдать, а я потерял, ясно?

Усик повсстал.

— Слушай, позычь пять драек, я марки загоню, отдам, гад буду! Ты же с получкой.

— Я бы дал, — сказал Усик. — Я бы, честное пионерское, дал, да уже нету: за харчи, квартплату внес, можешь понять, за заём вычли, членские взносы, а на мероприятие подотчет не получил, надо из своих. Нет, не могу. Позычь у Леньки, что?

Лицо Усика стало расплываться, пушок на верхней губе затопорщился, черные цыганские глаза приятно заволоклись, и Бренко вконец расстроился, подумав об усиковом злорадстве над его бедою, но вдруг у самого его в глазах потемнело. «Куда же все девалось? Почему тьма?» Он ощутил на своих глазах чьи-то холодные пальцы, плотно прижатые, а на спине — чье-то мягкое тело.

— Угадай! — произнес знакомый голос, но угадать никак было невозможно.

— Пусты! — негодуяще заворочался Бренко, вырываясь.

— Хороший парнишка, беда! Пошли, я тебя зимной водичкой умою, — сказала свояченица мадам Ранец, беря Бренко за плечи и наваливаясь на него. — Чего ты выдираешься? Скажи спасибо, ну скажи спасибочко!



---

— Идите вы . . . знаете . . .

— Дурной, гробьян, разве можно гробить старшему товарищу!

— А чего вы вяжетесь?

— Тю! Ты еще не дожدهшь, чтоб я до тебя вязалася, глянь сюда!

Она протянула Бренко заветный сверточек — пятнадцать рублей.

— Ой, спасибо, тетя! Где вы их нашли?

— Где нашла, там их уже нет. Под скамейкой лежали. Когда мама говорит: отнеси деньги, так надо отнести, а не бегать, как скаженый с желтенькой девочкой на светанку, понял?

— Ох! — выдохнул Бренко от полноты обрадованного сердца. — Ну молодец тетя, ну молодец! Мне, понимаете, надо было подождать до солнца, тот человек работает на второй смене, неудобно до солнца подымать.

Он зажал деньги в кулаке и отправился на Краковскую.

— Мировой пацаньяка, — заметила свояченица мадам Ранец, глядя вслед.

— В порядке, — отвечал Усик, продолжая таращиться на нее. — А я смотрю, откуда такая гражданочка взялась.

— От сырости завелась, — отвечала свояченица, — а вы что за один?

— Имеешь прописку?

— В натуре. Между прочим, мы с вами вместе свиней не пасли, не обязательно мне тыкать.

— Если обстановочка позволяет, можно и потыкать. Работаю по детдвигению, давай, подключайся. Комсомолка?

— Я комсомолка, я на сессию, а может — переведусь на стационар. Нагрузок у меня хватает.

— Лиза! — крикнула мадам Ранец из окошка. — Ты всё попрощепляла? Вот еще прищепки, лови! Куда ты задевалась, Лиза?

— Зараз, я тутка! — крикнула свояченица через плечо. Изучающе поглядела на Усика и ушла. Усик вытащил коробку «Беломора», постучал папиросой о крышку, спрятал коробку, похлопал по карманам, спичек не было.

— Спичками я располагаю, — раздался голос снизу, от основания грецкого ореха. — Вот возьми, но не злоупотребляй курением, неоднократно тебе советовал.

Прислонившись к грецкому ореху, Тренч посматривал на Усика и по сторонам. Он довольно давно уже тут сидел. Он всегда сидел, это было его единственное положение, ног у него не было уже двадцать лет. Он был весь обмотан тряпьем до груди. Снизу под тряпками было приспособлено сидение венского стула — Тренч его изредка просушивал на солнце, любя гигиену. Он был философ и на-

---

---

блюдатель жизни. Обитавшие в деревянном флигеле теософки не раз пробовали привлечь его в свое сообщество, но Тренч сбивал их с толку слишком щедрым избытием мыслеформ, да и аура его была что-то пестровата. Они его раз уговорили искупаться в имевшейся у них медной ванне, и нагрели на примусе и натаскали из кухни в ванну горячей воды (холодной тоже — к ванне почему-то не были проведены ни водопроводные, ни водоотводные трубы), но помочь Тренчу не могли, в силу девичьего стыда, и Тренч едва не утонул; отношения испортились, он заподозрил девушек в тайных кознях по наущению дьявола Бегемота. В своем труде «Чело Века и Преудобление» он отметил этот эпизод подробным исследованием. «Искупаться, — писал он, — искупание, Из купание. Но кто такие Изы? Изычницы. Язычницы, Язиды-Изиды. Купаются—паются—аются. Покупаются? Я не хочу купаться. Кто купается, тот и покупается. Могу быть искуплен, но не куплен. Ку это корова, ку-рова, Язидина корова, Супруга Аписа. Апис — или Ляпис? Ляпис-Лазурь, узорь зорь Я был — страшно сказать — весь мокрый. Мокрогенный. Моя вина искуплена увечьем Человечьим от Трам. Мне ноги отре.»

Ему ноги отре трамвайными колесами, он, будучи студентом Техноложки, вольно сотрудничал в Охране, его столкнули под колеса, когда он, с инженерским дипломом в боковом кармане сюртука ехал на товарищеский обед по подписке. Это произошло в начале февраля 1917. Седьмого февраля.

Усик, надо отдать ему справедливость, в общем не брезговал отцом и даже, случалось, предлагал ему жить вместе, в усиковой комнате. Он жалел отца, да и в райкоме ему ставили на вид отсутствие заботы о живом человеке, пока Тренч самолично не явился в райком, наблюдав на весь коридор и кабинет «Ландышем серебристым», и не сказал товарищу Заззудо, что не желает стеснять молодого человека. Он мог бы жить в инвалидном доме, тем более, что как старый революционер и жертва царской охранки, имеет преимущественное право, но он не хочет, он вольная птица, материалист-перипатетик и натур-философ. Согласитесь, что при моем физическом состоянии я не в состоянии иначе служить партии и правительству как плодами материалистической мысли. Товарищ Заззудо сказал, что да, конечно, и дал Тренчу экземпляр книги «Материализм и эмпириокритицизм», который Тренч бережно спрятал за пазуху.

— Тебе, может быть, деньги нужны? — спросил Тренч сына, — я могу ссудить, когда-нибудь при случае вернешь, а в общем не беспокойся.

— Спасибо, — сказал Усик, пряча пятерку. — Я за харчи внес, заем вычли, членские взносы, теперь, можешь понять, обратно ме-

---

---

роприятие проводить приходится за свои, пока получу подотчет.

— Знаешь, эти Ранецы опять получили письмо из Америки, не кажется ли тебе это несовместимым с их официальным положением? Теперь они выписали эту молодую женщину, свояченицу. Она комсомолстка, но какая-то маловыдержанная.

— Вы уверены, что из Америки? Не из Польши?

— Прощлый раз из Польши, а позапрошлый и этот раз — из Америки. Письмоносец подсунил им под дверь, и я, случайно находясь поблизости, исследовал конверт. Элиас (это значит Илья) Джи Смольский, пятьсот семьдесят восемь, Ист (это значит восток) четырнадцатая улица, Нью-Йорк, Нью-Йорк.

— Как? Повторите.

— Не надо, я записал на бумажке, возьми пожалуйста. Ты латинские буквы разбираешь?

— Разберем, — сказал Усик пряча бумажку. — Ну, пока, папа, я пошел, надо тут организовать вылазку.

— Ступай, голубчик, мне приятно видеть твою кипучую деятельность, а я вот, созерцатель, так судил мне рок.

— Ни хрена не поделаешь. Приходите вечером, будем ужинать.

— Спасибо, не премину, если меня не отвлекут размышления.

Бабушка, взяв светлую бутылку, повернула ее в руке вправо-влево и сказала:

— Вот это вино, Коля, сотерн (это, конечно, не настоящий, а крымский), мне напомнило, знаешь, забавный анекдот, как барыня пришла в магазин...

— Какая там еще барыня, аба! Барыни в Черном море купаются.

— Ах, Колечка, какой ты еще дурак! Ну, не хочешь, я не стану рассказывать.

— А рассказывай! Ну, что ты, какая!

— ... пришла и спрашивает сотерн. А приказчик...

— Продавец?

— Тогда были конечно приказчики, очень хорошо торговали — и как быстро! Приказчик говорит: сударыня, вам угодно сотерн или го-сотерн? А она спрашивает — тоже дурочка была, вроде тебя...

— Аба! Молчать, пока зубы торчать!

— Фи, какая гадость, вот, ты стал настоящий уличный мальчишка.

— Мальчишка-шмальчишка! Ну, говори же про свою барыню!

— Она спрашивает, какая разница, сотерн или го-сотерн. Приказчик отвечает: разница такая, что вот вы — сударыня, а есть го-сударыня, вот в чем разница! Понимаешь, он вежливо так сказал и остроумно, а бедняжке ответить нечего, потому что государыня это императрица.

— Паразитка, подумаешь!

---

---

— Колечка, нельзя так говорить. Знаешь, как их страшно убили?

— Так и надо, что убили. Они сосали кровь из трудящихся масс, эти твои цари. Ты, аба, настоящая контрреволюци-цуци-цуция, — сказал Бренко, тиская толстые плечи бабушки и тряс лбом о ее висок. — И ты тоже была го-сударыня в золотой шляпе, да? Но ведь ты никого не эксплуатировала?

— Вероятно нет.

— Вири-ятно. Твой муж кто был?

— Чиновник казначейства.

— Что такое — шмазначейства? Казначейства? Он казнил людей?

Бабушка захохотала и оттолкнула Бренко, ладонью надавив ему лоб.

— Ужасно, ужасно ты глупый. Тебе уже двенадцать лет, смотри, а какой несмышленьш.

— Я шутяю же-ж. Ну что ты, — Бренко дурашливо заскулил. — ну что ты такая малохольная! Я с тобой как с человеком... Казна... казнач — значит казнил, то есть, я извиняюсь, шлепал. Он был шлепальщик, да?

— Не дури, Коля, казначейство есть и при советской власти.

— А нет!

— А есть!

— Когда ж нет никакого казначейства! Что там делали?

— Деньги считали государственные.

— Так это финотдел. Видишь! Сама говоришь, а сама не понимаешь. Твой муж был служащий — так что ж такое. Он же не виноват, что тогда не было советской власти и все деньги забирал царь. Правда?

— Ой, Колька, Колька!

— Ну да! — капризно воскликнул Бренко. — Никому не нужна твоя императрица. Ламцадрица. Их все ненавидели.

— Вовсе не ненавидели, наоборот, очень любили. Ах, Коля, императорская семья была — все такие красивые, милые, деликатные люди.

— Люди на блюде. А иди! Я же знаю. Я не хочу, чтобы какая-то го-царица была выше тебя, понимаешь?

— А ты понимаешь, что вот это, когда не признают ничьих достоинств и не соглашаются поставить другого выше себя — это значит, что такой человек низкий, ограниченный и раб?

— Я не раб! Теперь у нас нет никаких рабов, а все — граждане. У, ты несознательная элементка!

— Убирайся от меня. Что ты себе сделал за привычку со мной панибратствовать? Видишь, опять растрепал, право, как годовалый щенок.

---

---

— Но я тебя люблю и хорошо к тебе отношуся. А ты мне треплешься, что я ограниченный раб.

— Не ты, а я вообще говорю, что признак внутренней несвободы это — не признавать главенства или достоинства другого.

— Другого, а не царя. Я признаю товарища Сталина.

— Ну да: носите своих вождей на палочках и горланите.

— А твоих царей давно уже нет никаких, ага, ага!

— Это и беда, что нет.

— Их же нет! Значит, они были плохие.

— Они были хорошие, но не могли спасти себя и всех нас.

— Ага! Не могли! Значит, были слабые и им дали по шапке.

— Допустим, что так. Нехватило силы.

— Ну, так как же ты не понимаешь, что раз у них нехватило силы, значит они были плохие.

— Что же, по твоему, тот хорош, у кого сила?

— Яснюк!

---

---

**ВЛ. ДУКЕЛЬСКИЙ**

Морями слов умыт и реками,  
по звуковой скучая тверди,  
вчера я жадно слушал реквием  
Джузеппе Верди.

Истерзан черырьмя солистами,  
Искромсан пылким дирижером,  
Оркестр аккордами мясистыми  
обменивался с хором.

Сопрано гулкие горошины,  
альты — откормленные Пери —  
я сытой музыке не верю;  
а Моцарт умирал, заброшенный,  
пусть не отравленный Сальери, —  
он умер над тетрадкой нот.

Учеником Вольфганга неким  
единственный закончен реквием,  
гимн смерти . . . он один живет.

Ноябрь 1967

---

**ВЛ. ДУКЕЛЬСКИЙ**

Заплесневелые классики  
на полке носом клюют.  
Бессонница. Пульс или часики  
отсчитывают бег минут.

Пленная птица стремится  
из клетки порхнуть в весну.  
В клетке грудной не птица,  
а сердце в плену.

Часы остановятся? Можно  
их с легкостью завести.  
Пленную птицу безбожно  
держат взаперти,  
Лети, баловница, лети!

А сердце — дело другое:  
не птица, не часики, что ж,  
остановится — сдайся без боя.  
Сердце не выпустишь, будь покоен;  
как часики его не заведешь.

Ноябрь 1967

---

---

ГАЙТО ГАЗДАНОВ

## Отрывок из романа

Этими долгими зимними вечерами, когда я сидел один в своей квартире, в той идеальной душевной пустоте, в которой я находил столько положительного, а Мервиль столько отрицательного, я думал о разных вещах, но думал так, как мне почти не приходилось этого делать раньше, — вне всякого стремления прийти к тому или иному, заранее намеченному выводу, который мне лично казался бы желательным. Я убедился в том, что классическое построение всякой литературной схемы чаще всего бывает произвольным, начинается обычно с условного момента и представляет собой нечто вроде нескольких параллельных движений, приводящих к той или иной развязке, заранее известной и обдуманной. От этого правила бывали отступления, — например, введение пролога в старинных романах, — но это было, в сущности, отступлением чисто формальным, то есть переносом действия на некоторое время назад, когда происходили события, не входящие в задачу данного изложения. Вместе с тем, мне теперь казалось, что всякая последовательность эпизодов или фактов в жизни одного человека или нескольких людей имеет чаще всего какой-то определенный и центральный момент, который далеко не всегда бывает расположен в начале действия, — ни во времени, ни в пространстве и который поэтому не может быть назван отправным пунктом в том смысле, в каком это выражение обычно употребляется. Определение этого момента тоже заключало в себе значительную степень условности, но главная его особенность состояла в том, что от него, — если представить себе изображенную графически схему, — линии отходили и назад и вперед. То, что ему предшествовало, могло быть длительным, и то, что за ним следовало, коротким. Но могло быть и наоборот: предшествующее могло быть коротким, последующее — долгим. И все-таки этот центральный момент был самым главным, каким-то мгновенным соединением тех разрушительных сил, вне действия которых трудно себе представить человеческое существование.



---

Эти рассуждения — в те времена — имели для меня чисто отвлеченный интерес. Но когда впоследствии я возвратился к этим мыслям, я неизменно приходил к одному и тому же заключению, именно, что этим моментом в том периоде, через который мы все проходили тогда, была декабрьская ночь в Париже, в начале суровой зимы. В эту ночь Эвелина праздновала открытие своего кабаре, на одной из узких улиц, отходящих от Avenue des Champs Elisées. В морозном воздухе горели уличные фонари, двигались и останавливались автомобили, светились вывески, на тротуарах, — был второй час ночи, — стояли проститутки, закутанные в меховые шубы, в конце прямой, поднимающейся вверх, незабываемой перспективы Елисейских полей темнела Триумфальная арка. Мы ехали с Мервилем в его машине. До этого мы ужинали у меня дома, он сказал мне, что операция у Эвелины прошла благополучно, как всегда, что Эвелина получила наконец деньги из Южной Америки, и что он лично пострадал гораздо меньше, чем он этого боялся вначале. Он был благодушно настроен и был склонен рассматривать метампсихоз, о котором Эвелина не переставала говорить, как совершенно невинную, в сущности, вещь, никому не причиняющую особого вреда. Он подтрунивал надо мной и над тем, как я, по его словам, защищал Платона от комментаторских покушений Эвелины.

— Слава Богу, — сказал он, — какие бы глупости ни говорила Эвелина, это ничего изменить не может. А тебе бы хотелось, чтобы в ту минуту, когда она начинает говорить об Элладе, она бы вдруг исчезла, и на том месте, где она только что была, возник лоб Сократа с этой необыкновенной вертикальной морщиной и ты услышал бы блистательную речь о том, что так как мы неспособны представить себе вечность, то боги дали нам ее верное отражение в понятии о времени?

— Я не буду тебе отвечать на цитату из Платона, — сказал я. — Но ты угадал мое искреннее желание: я бы действительно хотел, чтобы Эвелина исчезла; независимо от ее рассуждений, ты понимаешь, какое это было бы счастье? Ты только представь себе: она начинает говорить, ты с ужасом встречаешь ее неумолимый взгляд — и вдруг она исчезает. И нет больше Эвелины. Увы, это счастье нам не суждено. Кстати, как, ты говорил, называется ее кабаре?

— „Fleur de Nuit“.

— Название многообещающее.

Когда мы вошли в кабаре, там было полно народу. Это были обычные посетители таких мест: немолодые дамы с голодными глазами, молодые люди в смокингах, пожилые мужчины с усталыми лицами и представители той трудно определимой категории, которые говорят на всех языках с акцентом и которые могут с одинаковой степенью вероятности получить на следующий день орден Почетного легиона или вызов к судебному следователю по обвинению

---

---

в выдаче чеков без покрытия. Первым, кого я увидел, был человек, которого я давно знал, немолодой мужчина с озабоченным лицом, — выражение, которое он сохранял при всех обстоятельствах. Он начал свою карьеру на юге России, много лет тому назад, с того, что приобрел небольшую типографию, где стал делать фальшивые деньги. Его дело неизменно расширялось и когда он уехал за границу, у него уже был значительный капитал. Затем он перенес свою деятельность в Константинополь и страны Ближнего Востока, заработал крупное состояние и переселился наконец в Западную Европу, где стал собственником нескольких доходных предприятий и где жил теперь, посещая театры, концерты и кабаре. Но эта жизнь его не удовлетворяла и он искренне жалел о прежних временах. К тому, чем он заполнял теперь свои многочисленные досуги, он никак не мог привыкнуть. Он любил, как он говорил, искусство и это действительно было верно, хотя и не в том смысле, который он этому придавал. Речь шла обычно о театре и музыке. Но на самом деле он любил, конечно, другое: гравюры, точность рисунка, безупречность типографской работы, то, что составляло подлинный смысл его жизни и вне чего он никак не мог найти себе применения. Он сидел за своим столиком один перед бутылкой шампанского.

Я обвел глазами небольшой зал и увидел еще несколько знакомых лиц, фамилии которых часто фигурировали в так называемой светской хронике: кинематографические артисты, люди без определенных занятий. У Эвелины были знакомства в разных кругах: среди тех, чье присутствие она считала необходимым в этот вечер, было, например, два велосипедных гонщика и один бывший боксер среднего веса, который издали был замечен, потому что его смокинг как-то уж очень резко не гармонировал с его плоским лицом и раздавленными ушами. — Откуда она всех знает? — сказал я Мервилю. Он пожал плечами. На Эвелине было черное, открытое платье и жемчужное ожерелье на шее, — оно очень меняло ее.

— Хороша все-таки, — сказал Мервиль. На небольшой эстраде, освещенной прожекторами, все время сменялись артисты. Программа была не хуже и не лучше, чем во всяком другом кабаре, все было в конце концов приемлемо. Каждого артиста представляла Эвелина. В середине спектакля, после двух русских гитаристов, она вышла на сцену и сказала, что сейчас будет выступать Борис Вернер.

— Он не нуждается в рекламе, — сказала она, — мы все его знаем. — Я переглянулся с Мервилем, он посмотрел на меня удивленными глазами. Я не успел ему однако сказать, кто такой Борис Вернер; в зале раздались аплодисменты и на эстраду вышел тот самый круглоголовый пианист, которого мы слышали летом, в стеклянном ресторане над морем на Ривьере, где я встретил Мервиля. В эту ночь он играл иначе, без своей тогдашней небрежности, — настолько виртуозно, что невольно возникал вопрос: отчего этот чело-

---

---

век выступает в кабаре, а не дает концертов. Я сидел и слушал и в отличие от того впечатления, которое у меня было, когда я впервые увидел его за роялем, теперь мне казалось, что вместо пустоты, с которой он играл в прошлый раз, сейчас возникает представление о далеком и прозрачном мире, похожем на удаляющийся пейзаж, — облака, воздух, деревья, влажный шум реки. Он был действительно прекрасным пианистом.

Только тогда, повернув голову, я заметил Андрея, который сидел с какой-то блондинкой, не очень далеко от нас. Я подумал, что в его жизни произошли значительные изменения: в прежние времена его средства не позволяли ему посещать такие места. Но то, что меня поразило больше всего, это бледность и выражение тревоги на его лице. Я проследил его взгляд и увидел, что он, не отрываясь, смотрел на высокую женщину, сидевшую за одним из крайних столиков, на небольшом расстоянии от столика бывшего фальшивомонетчика. Это продолжалось не долго, Андрей расплатился и ушел, поддерживая под руку свою белокурую спутницу. Я опять посмотрел в ту сторону, где сидела эта женщина. Далекое и смутное воспоминание возникло передо мной. Где я мог видеть эти неподвижные серые глаза? Мне показалось, что я стал жертвой галлюцинации: этого лица, — это я знал твердо — я не видел никогда и нигде. Но ее спутника я знал. Я встречал его несколько раз, он был любителем искусства не меньше, чем фальшивомонетчик, с той разницей, что он предпочитал живопись и литературу. Он был настоящим и бескорыстным библиофилом, но поговорив с ним как-то об этом я убедился, что в литературе он все воспринимал с одинаковым доверием. Он любил литературу вообще, как люди любят природу, а не какого-либо отдельного автора в особенности. В сравнительных достоинствах литературных произведений он не разбирался и они его не интересовали. Ему было тридцать пять или тридцать шесть лет, у него были покатые плечи, роговые очки и выражение восторженности на лице, не менее постоянное и не менее утомительное, чем выражение озабоченности на лице фальшивомонетчика, с которым у него было вообще какое-то, непонятное на первый взгляд, сходство.

Я смотрел на него, вспоминал, как несколько месяцев тому назад он говорил с дрожью в голосе о каком-то авторе, фамилию которого я забыл и вдруг почувствовал, что Мервиль сжимает мне руку. Я повернулся в его сторону и увидел, что он был в чрезвычайном волнении.

— Это она, — сказал он. — Мог ли я думать? . .

— Кто «она»?

— Она, мадам Сильвестр! — Та дама, с которой ты познакомился в поезде? — Боже мой, твоя медлительность иногда так неуме-

---

---

стна . . . Что теперь делать? Как к ней подойти? Неужели она меня не узнает?

Я никогда не видел его в таком состоянии.

— Подожди, все это не так сложно, — сказал я. — Я знаком с человеком, который ее сопровождает.

— Что же ты молчал до сих пор?

Я пожал плечами.

— Извини меня, — сказал он, — ты видишь, я не знаю что говорю.

Через несколько минут Мервиль сидел с ней за одним столиком и излагал ей что-то настолько бессвязное, что за него было неловко. К счастью спутник мадам Сильвестр успел выпить чуть ли не всю бутылку шампанского и сидел совершенно осовелый, глядя перед собой мутными глазами и плохо понимая, что происходит вокруг. С эстрады смуглый мужчина в ковбойском костюме, держа в руках небольшую гитару, на которой он себе аккомпанировал, пел вкрадчивым баритоном по-испански; черное открытое платье Эвелины медленно двигалось между столиками и в неверном свете зала тускло сверкали ее жемчуга. Фальшивомонетчик сидел, подперев голову рукой, с выражением далекой печали в глазах и я подумал: о чем он жалеет? О том, что прошли лучшие годы его жизни и ничто не заменит ему того типографского станка, с которого все началось и которого давно уже нет? О том, что это вялое существование так называемого порядочного человека скучно и тягостно и никогда больше не будет магического шуршания новых кредитных билетов, которые были обязаны своим возникновением его вдохновению, его творчеству? Спутник мадам Сильвестр, преодолевая смертельную усталость и дурь, сказал, обращаясь ко мне:

— Джойс . . .

Но это имя мгновенно вызвало у него спазму в горле. Он взял неверной рукой бокал шампанского, отпил глоток и повторил:

— Джойс . . .

В ту ночь мне не было суждено узнать, что он думает об авторе Улисса, потому что после третьей попытки он отказался от надежды высказать свое мнение: его состояние явно не позволяло ему роскоши сколько-нибудь обстоятельных комментариев по поводу какого бы то ни было писателя. Он умолк и смотрел на меня мутным взглядом и я подумал, что такими рисуют обычно глаза рыбы, глядящей в иллюминатор потонувшего корабля. На эстраде, сменив смуглого мужчину в кожаных штанах, цыганско-румынский оркестр играл попури из русских романсов и голос одного из музыкантов, — я не мог разобрать которого, — время от времени выкрикивал в такт музыке слова, имевшие отдаленное фонетическое сходство с русскими; плоское лицо боксера, казалось, еще расширилось и раздавленные его уши стали пунцовыми. В полусвете кабаре,

---

---

сквозь папиросный дым и цыганскую музыку, отражаясь в изогнутых стенках бокалов, смещались, строго чередуясь точно в возникающих зеркальных коридорах, белый и черный цвет крахмальных рубашек и смокингов. Потом опять, словно вынесенные на вершину цыганской музыкальной волны, появлялись неуверяющие жемчуга Эвелины. Я сидел, погруженный в весь этот дурман и до меня доходил заглушенный голос Мервиля, который говорил мадам Сильвестр о движении поезда, похожем на путешествие в неизвестность и о том трагическом душевном изнеможении, которое он не мог забыть все эти долгие недели и месяцы, о том, чего вероятно не существует и не существовало нигде, кроме этого движущегося пространства, — «летний воздух, пролетающий в вагонном окне, далекая звезда на темном небе, ваши глаза, ваше лицо, — сказал он почти шепотом, — то, за что я так бесконечно благодарен вам . . .»

Спутник мадам Сильвестр все так же прямо сидел на своем стуле в состоянии почти бессознательного героизма и было видно, что он давно уже не понимал смысла событий, которые клубились вокруг него в звуковом бреде, значение которого от него ускользало и нельзя было разобрать, где кончалась скрипичная цыганская мелодия и где начинался чей-то голос, который то проступал через нее, то снова скрывался за особенно долгой нотой, в судорожном вздрагивании смычка на пронзительной струне, — Мервиль находил даже, что исчезновение мадам Сильвестр и этот воображаемый адрес в Ницце, теперь, когда он снова видит ее, что все это было чем-то вроде счастливого предзнаменования и он это понял только сейчас, глядя в ее лицо . . . Был пятый час утра. Я поднялся со своего места, пожал руку Мервиля, посмотрел на замершее лицо спутника мадам Сильвестр, сказал, прощаясь с ним, что я совершенно согласен с его суждением о Джойсе и направился к выходу, у которого меня остановила Эвелина, обняв мою шею теплой рукой. Она была пьяна, но я знал ее необыкновенную сопротивляемость алкоголю. Она была пьяна и поэтому выражение ее неумолимых глаз стало вдруг мягким. Она сказала:

— Спасибо, что ты пришел, я это очень оценила. Ты сволочь, но ты знаешь, что я тебя люблю. И если бы я теперь не любила Котика . . . Прощай, приходи, — ее жемчуга сверкнули передо мной последний раз и исчезли. Я вышел на улицу. Была студеной ночью, над моей головой, окрашивая все в призрачный цвет, как сквозь освещенную воду аквариума, горели синие буквы: „Fleur de Nuit“. Ко мне тотчас же подошла очень бедно одетая женщина, которая держала в руке маленький букет фиалок: „Monsieur, les violettes“ . . . Я знал, что этот букет она предлагала всем, кто выходил из кабака. Она была пьяна, как всегда, и как всегда не узнала меня. „Monsieur, les violettes“ . . . Некоторые отворачивались, другие давали ей немного денег, но никто, конечно, не брал цветов и она рассчитыва-

---

---

ла именно на это. Ей было около пятидесяти лет, ее звали Анжелика и я однажды, несколько лет тому назад, просидел с ней два часа в ночном кафе и она рассказывала мне свою жизнь, вернее то, как она себе ее представляла в ту ночь. Это представление смещалось в зависимости от степени ее опьянения — и тогда менялись города, названия стран, даты, события и имена, так что разобратся в этом было чрезвычайно трудно. То она была вдовой генерала, то женой морского офицера, то дочерью московского купца, то невестой какого-то министра, то артисткой, и если бы можно было соединить все, что она говорила о себе, то ее жизнь отличалась бы таким богатством и разнообразием, которых хватило бы на несколько человеческих существований. Но так или иначе, результат всего этого был один и тот же и этого не могло изменить ничье воображение: она была бедна, больна и пьяна, и в том, что ожидало ее в недалеком будущем, не было ничего кроме безнадежности и перспективы смерти на улице, — в зимнюю ночь, перед затворенной дверью кабаре, за которой пили шампанское и слушали музыку. Я дал Анжелике несколько франков и пошел дальше. Было пустынно, тихо и холодно. Я поднял воротник пальто — и вдруг передо мной возникли: теплая ночь на Ривьере, стеклянный ресторан над морем и тот удивительный импровизатор, игра которого теперь, в моем воображении, была чем-то вроде музыкального вступления к тому, что сейчас происходило, что было предрешено и что уже существовало быть может в недалеком будущем, которое ожидало нас всех в этом случайном соединении — Анжелику, Мервиля, Андрея, мадам Сильвестр, Котика, Эвелину и меня, — в том, чего мы не знали и что вероятно не могло произойти иначе, чем ему было кем-то суждено . . .

---

---

**БОРИС ПОПЛАВСКИЙ**  
(1903-1935)

*Александрю Гингеру*

Александр строил города в пустыне,  
Чтил чужие вина и богов.  
Память, чай, его жива поныне.  
Шел и не снимал сапог: без сапогов.

Александр был провинциал тщедушный  
С толстой шеей набок и белком навывкат.  
Александр был чудак великодушный,  
Илиаду под кирасой мыкал.

Вспыльчивый и непомерно добрый,  
Друг врагу, он в друге зрел врага.  
В снежных скалах на морозе твердом  
Нес безумного солдата на руках.

Если не считать пороков неких,  
Тела слабости, судьбы, ее щедрот,  
Есть похожие на Бога человеки,  
Тезки неки. Славен этот род.

---

---

**БОРИС ПОПЛАВСКИЙ**

**О Н О**

Спокойный сон — неверие мое,  
Непротивленью счастью дремоты,  
В сем ваше обнаженье самое,  
Поэзии блистательные моты.

Необорима ласковая порча:  
Она свербит, она молчит и ждет  
Она вина картофельного горче  
И слаще, чем нерукотворный мед.

Приятно лжет обакула любви  
И счастья лал, что мягко греет очи  
И дальних путешествий паровик,  
Заслышав койки, ты забыл о прочем.

Но жизнь друзей от нас навеки скрыта,  
Как дальних звезд столь равнодушный свет.  
Они быть может временем убиты  
И то, что зрю, того давно уж нет.

Все нарастает неживая лень  
На веки сыпля золотой песок.  
Уж стерлась берегов определенность,  
Корабль в водах полуночи высок.



## Последняя лошадь Аржевила

Со старым Гаглио знакомство у Ивана Петровича Шадурова вышло желудевое. Их свели старые дубы парка, обильно посыпавшие землю своими плодами. Желуди пропадали зря, Шадурову было их жаль. И когда октябрьским вечером в домик Шадурова пришел по желудевому делу сосед Гаглио, маленький, сучковатый, как старый дубок, обломанный бурями, Иван Петрович обрадовался.

У Гаглио сохранилось еще несколько зубов, серебряная щетина на голове упорно топорщилась, глаза были веселого небесного цвета, на щеках юношеский румянец. Руки он держал растопыркой, пальцы были красноречивые, с черными крепкими ногтями. От него веяло здоровьем, несмываемой веселостью. Он сыпал солеными прибаутками, мешал итальянские слова с французскими, и чуть не приплясывал.

Сначала было трудно понять, зачем он пришел, да еще с мешком. Постепенно выяснилось, что хочет для кроликов сделать на зиму запас желудей.

— Пожалуйста, очень рад, — ответил Иван Петрович, про которого в Аржевиле говорили, что «он очень милый, но слегка шальной». Во всяком случае соседи уже пронюхали, что от нового управляющего отказа в просьбах не бывает.

Гаглио удовлетворенно потряс мешком, прилип глазами к бутылке красного вина и уходить явно не собирался. В кухне уже топилась печка. Было уютно по-зимнему. Иван Петрович налил два стакана и они чокнулись.

— За дружбу, — сказал он на чудовищном французском языке, как говорил неизменно всем, без различия пола и возраста.

— За ваше здоровье, — ответил Гаглио, выпил залпом и витиевато повел речь о том, что в большом имении нужны рабочие, самому не справиться и что надо же помочь бедному человеку: идет зима, начнутся дожди, холода.

Шадуров не любил обиняков и намеков.

— Кто этот рабочий? — спросил он, отсекая все ненужное.

---

---

Гаглио замаялся. По стародавнему деревенскому обычаю надо было долго кружить вокруг да около, хмыкать, покашливать, вздыхать и качать головой. Так, с его точки зрения, было надежней. И с сожалением, что его лишают законного развлечения, не дают уговоривать и петлить, он признался, что это тоже сосед-итальянец, горемыка.

— Видели толстозадую бабу с лошадьё, которая своей телегой автомобилю разгоняет? Так это ее сожитель.

Бабу Иван Петрович заметил давно. Она восседала несокрушимой тумбой на козлах. На толстых ногах багрового цвета не было чулок. Рот перекошен. Пряди волос выбивались из-под рваного платка. Обширные ее недра прикрывала обтрепанная вязаная кофта. Она лихо дергала вожжи, гордо неся свою бесформенную голову с лицом похожим на перепеченную оладью, и что-то беспрерывно рычала.

— У нее есть сожитель? Ну-ну! — сказал удивленно Иван Петрович и засмеялся.

— У нее их было, как блох у собаки, да теперь стара стала, вот и связалась с остолопом, — и испугавшись, что так он только повредит своему протезу и что лучше вовремя ретироваться, Гаглио поперхнулся, спешно допил вино и уже у двери спросил виновато:

— Так что же, присылать Луи?

— Присылайте, черт с ним, — ответил Иван Петрович. — Посмотрим на этого смельчака.

\*

Смельчак оказался изможденным и явно голодным мужиком, еле державшимся на ногах. Он с величайшим трудом связывал слова, они у него как-то застревали в глотке, потом самовольно вырывались, пугая его самого. Седые с чернью волосы были давно не стрижены и торчали пучками из-под засаленной кепки. Руки черны, словно он в дымоходной трубе переночевал; на левой руке не хватало среднего пальца. Лицо было мрачное, сосредоточенное, но глаза красивые, карие. Видно, что в молодости был хорош собой.

С первого же дня начались истории. Что бы не давали делать Луи, все он делал усердно и бестолково. И чем больше старался, тем бестолковее получалось.

— Ах, болван, ах, идиот, — ворчал про себя Иван Петрович, в сотый раз объясняя одно и то же. — Понял? — спрашивал он наконец.

Луи мрачно тряс головой и делал все наоборот. Единственное, что ему удавалось, это чистка террас от сорняков, особенно от еже-

---

---

вики. Резал он ее с остервенением, просто с какой-то ненавистью, словно бедная ежевика, которой судьба уготовала последнее место в растительном мире, была виновата в его горемычной жизни и он вымещал на ней свои обиды, не подозревая о соединявшем их сходстве. Сорняк — и ни к чему не пригодный, косноязычный человек! Им, казалось, не было места в современном мире. И никому не приходило в голову, что осенью ежевика приносит в дар свои изсиня-черные, душистые ягоды или что в диких, но все же порою красивых глазах Луи скользило словно обманутое детство мира.

Характер у него, в общем, оказался несговорчивый, с другими рабочими ладил плохо, но к Ивану Петровичу неожиданно привязался и выражал свою симпатию по-своему. По утрам он являлся за приказаниями и если где случалась катастрофа: землетрясение, крушение поезда или революция, неизменно приносил утреннюю газету. Больше всего его радовали катастрофы. С каким-то страстным упоением тыкал он пальцем в жирный газетный заголовок и твердил: «Тысячи убитых», или — «из пассажиров уцелело только несколько человек!» — как будто эти далекие и абсолютно его не касающиеся события были той радостной, всеразряжающей встряской, которой так не хватало в его однообразной жизни. Они раздражали его дремлющее воображение своей грандиозностью, необычностью. И ему явно хотелось и Ивана Петровича приобщить к этому мрачному празднику.

Вскоре в мнении появилась и Онорина, сожительница Луи. Надо было перевезти на нижние террасы удобрения, сделать это можно было только на телеге. Луи гордо предложил «услуги своей жены». Хотя в их семействе он в расчет не принимался, но внешние приличия перед людьми поддерживал упорно: разваливающуюся избушку, где они ютились, называл «моим домом», а смирную гнедую лошадку с игривым именем Плутовка — «мой конь», хотя за такую смелость Онорина могла бы намять ему бока. Лошадь была ее и только ее сокровищем. Она чрезвычайно гордилась, что у нее одной во всей деревне сохранилась лошадь.

И вот, когда на главной аллее имения показалась тележка, запряженная славной, откормленной лошадкой, с пышными щетками около копыт и расчесанной гривой, с надменно возвышающейся на козлах Онориной, похожей на древнюю каменную бабу, сердце Ивана Петровича, старого кавалериста, не выдержало.

— Славный коняка, — сказал он одобрительно и пошел за сахаром.

— Не правда ли? — величественно бросила Онорина. — Всем коням конь, не чета здешним придурковатым мужикам, — и она презрительно посмотрела на Луи. Тот покорно и мрачно молчал.

---

---

Плутовка съела сахар, благодарно заржала и поймала мягкими влажными губами Ивана Петровича за плечо, напоминая, что от повторения не откажется.

— Плутовка — общая баловница, — добавила Онорина. — Когда приезжаю на базар и привязываю ее к столбу, все хотят угостить и погладить. Но я не всякому позволяю.

«Министр-баба», — подумал Иван Петрович, но слушать ее рассказу не стал.

Онорина удивленно раскрыла перекошенный рот. Она твердо, по опыту, знала, что люди ничего так не любят, как услышать какую-нибудь грязную историю.

«Чудной, — подумала она. — Но дурака Луи держит, а это главное».

Женщина она была благоразумная и заработок у нее был на первом месте.

\*

Прошло два месяца. Зима наступила ранняя и угрожающая. То беспрерывно хлестали в окна холодные дожди, то дули ледяные ветры с Корсики. Южный ветер — беда для здешних мест: в зимние дни он несет неожиданные морозы. Работы в имении приостановились. Луи все же приходил в положенные дни, трясясь от холода в пиджаке с чужого плеча, с оборванными пуговицами. В его помутневших глазах было покорное отчаяние. Он заметно слабел. Шадуров кормил его густым борщом своего приготовления, который можно было есть вилкой, платил за мифические рабочие дни и отпускал домой. Ему и в голову не приходило, каков был этот дом!

Однажды Луи ему пожаловался, что нечем кормить Плутовку, — летом соседи со злобы сожгли заготовленную на зиму копну сена и теперь все деньги уходят на корм.

— Твоя Онорина со всеми ругается, вот и результат. Ты бы ей посоветовал быть потише, — ответил Шадуров и дал денег на овес.

Было дождливое воскресное утро. Иван Петрович неторопливо пил чай, радуясь праздничному отдыху, окающей печке, ворчливому ветерану-чайнику на плите. Внезапно постучали, вошел Луи. Он покачивался на кривых ногах, сжимая потуже рваный шарф вокруг худой и жилистой шеи.

— В чем дело? — спросил Иван Петрович, но ничего понять было невозможно, кроме отдельных, повторяющихся, как зловещий припев слов: «хозяйка, Онорина, лошадь, выселяться».

— Велика невидаль, хозяйка. Это мадемуазель Помье, что-ли? — презрительно бросил Иван Петрович. — Что она вам сделать может? Авось зимой не выселит. А выселит — другое шато найдете.

---

---

— Коня девать будет некуда. Пожалуйста, пожалуйста, пойдете. Она испугается.

— Да кто испугается? Твоя Онорина? Ее и пушкой не испугаешь.

Но видя умоляющее лицо Луи, Шадуров молча надел куртку, они вышли. Идти пришлось недалеко. На шоссе, рядом со смазливый, розовый, как новорожденный младенец, домиком парикмахера, к которому, по выражению все критикующей Онорины, съезжались дуры со всей округи, даже из Ниццы, стояли железные ворота, а за ними какие-то развалины.

«Ворота явно краденные, — подумал Иван Петрович. — И откуда их только Онорина сперла?» — На Луи у него подозрений не было: слишком прост.

Уже издали донесся страшный галдеж. В шмелиный бас Онорины врывались визгливые ноты другого женского голоса, но перебороть гудение не могли и лишь снова и снова тонкими всплесками взлетали над ним. А у ворот отчаянно надрывались тощие Оноринины собаки.

Луи пропустил Ивана Петровича вперед, — вероятно, скрип ворот спугнул мадемуазель Помье: крик внезапно прекратился и на узкой тропинке, ведущей к крохотной избушке, они столкнулись с маленькой изящной женщиной в меховой шубке с крашеными, бледно-сиреневыми волосами. Разителен был контраст между умиротворенными волнами великолепной прически, производением соседа-парикмахера, и выражением бешенства на мелких, довольно правильных чертах ее лица. Луи низко и испуганно поклонился, уступая дорогу. Иван Петрович тоже снял свою пролетарскую кепку, но в ответ она только презрительно дернула змеиной головкой, уничтожающе улыбнулась и прошла мимо них.

«Мы и они», — подумал с горечью Шадуров и оглянулся. Направо от ворот возвышался сарайчик, построенный Луи из деревянных ящичков, которые Онорина, распродав привезенные овощи, подбирала на базаре. Стенки его были тонки, как у спичечной коробки, и еле выдерживали крышу из гофрированного толя. Дверь сарая была приоткрыта и Иван Петрович увидел Оноринину легендарную тележку.

— Спим. Тут, — сказал Луи. — В сене тепло.

Иван Петрович только свистнул. В этакый холод в таком сарайчике! И когда взгляд его скользнул по пустым бутылкам, выстроившимся стражей у забора, он не удивился. Еще дальше была крохотная каменная хибарочка.

— Там конюшня, — сказал Луи. — Наверху комната. Холодно. Потолка нет.

Около избушки, под открытым небом, стояла лопнувшая плита с длинной, хоботом загигающей, трубой. На плите — закопченная

---

---

кастрюля, в нее падали капли дождя. Из трубы валил дым. Варили суп.

«Вот так и плывут они все — плита, избушка и ее обитатели к неведомой гавани. Дымит труба, хлещут дожди, мерзнут люди и звери и что их ждет — Бог весть!»

Грусть Ивана Петровича перешла в столбняк, когда он увидел Онорину. Они не встречались давно и за это время от крепко сбитой, несокрушимой женщины остался только голос. Вместо лица был череп, обтянутый кожей. В красных, слезящихся от дыма и холода глазах, застыло что-то неподвижное, жуткое.

Она не узнала или не захотела узнать Ивана Петровича. Слова, непрерывно слетавшие с ее языка, не были обращены и к Луи. Она больше не кричала на своего, обращенного в бегство, как ей казалось, врага, а говорила нараспев, убедительно, твердо и нежно:

— Расстаться с тобой, Плутовка, продать на бойню! Нет, нет, мы никуда не уйдем отсюда. Ты не бойся, маленькая, будет сено, овес и вода. Они из зависти, что у них нет такой лошадки, сожгли твоё сено . . . грозят . . . выгоняют . . . Куда? Я никуда не пойду! — дико закричала она и ринулась на замерших Луи и Ивана Петровича.

— Успокойтесь, Онорина, мадемуазель Помье давно ушла, здесь только друзья, — сказал Иван Петрович.

— Друзья? У бедных нет друзей! Есть только Плутовка. Она возит тележку. От нее тепло. Нет, холодно, холодно! Дай вина, Луи, пошевеливайся, старый идиот! А ты иди вон, — грубо крикнула она на Ивана Петровича. — Все вы шляетесь, чтобы что-нибудь стибрить, последние овощи с огорода украсть, сено сжечь. Запри ворота, Луи, спусти собак! Будь вы все неладны!

— Я пойду, Луи, — тихо сказал Иван Петрович. — Пусть успокоится. А если что надо . . .

И он пошел домой, как побитая собака.

«Сытая Франция, автомобили, холодильники, телевизоры . . . и эти двое . . . Хорошо, пусть Онорина с Луи вселились к Помье самостою, пусть не платили аренды, пусть у хозяйки есть покупатель на землю, но ведь зима, ведь они на дворе. И еще лошадь . . .»

\*

Три дня не показывался Луи в имение, но Иван Петрович встретил его случайно в лавочке, служившей клубом для обитателей Аржевила. Лицо его казалось еще более растерянным, чем в то воскресенье, когда он приходил за Шадуровым.

— Ну, что, как дела, Луи? Успокоилась Онорина?

---

---

На глаза Луи набежали слезы и он медленно вышел из магазина, забыв о покупках. Шадуров пошел за ним.

— Так что же? — спросил он снова.

Луи только рукой махнул.

— Ночь говорит . . . День говорит . . . Голой раздевается. Жарко. Ложится и воет. Не поймешь.

— Ты звал доктора?

— Не хочет. Приходил парикмахер. Спрашивал . . .

— А ты ее не слушай, иди за доктором. Дело серьезное.

Испуганное лицо Луи стало еще испуганнее. И будто вдруг вспомнив о чем-то очень важном, неотложном, он побежал опрометью к избушке, оставив Ивана Петровича одного.

Через два дня выпал снег, обледенело шоссе. Несколько автомобилей уже лежали в овраге, другие мерзли в гаражах. Жители деревни попрятались. В лавочке исчезли товары — подвоза не было. Не было даже газет. Только порой завывала сирена Скорой помощи, везя в больницу жертву несчастного случая.

Иван Петрович засел дома, как медведь в берлоге. Только вместо классической лапы, были с ним родные классики — Россия! И за окном была тоже Россия — заснеженное плоскогорье с замерзшим болотцем, белые фантастические деревья, легкие птичьи следы на тропинке и тучи голодных воробьев перед домом, где на столе лежали хлебные крошки. Он все собирался пойти к Луи, но на него напало какое-то оцепенение.

И снова, в неурочный час, появился Луи. Вошел в кухню без стука, не дожидаясь приглашения сел на стул, словно теперь было все позволено, и устался на Ивана Петровича покрасневшими от слез глазами.

— Увезли, — сказал он. — Куда, не знаю. Увезли вчера. Доктор сказал, что она . . . — у него что-то заклокотало в груди и он не кончил.

Иван Петрович встал, налил ему вина.

— Пей. Я пойду завтра к доктору. Узнаю. Может быть и не так уж плохо.

Но идти не пришлось. На следующее утро Луи вызвали в мэрию, чтобы сообщить, что Онорина, после припадка буйного помешательства, не приходя в себя, скончалась.

— Допилась до белой горячки, — говорили кумушки. — Этого надо было ожидать.

И еще забота свалилась на Луи. Что делать с лошадьёю? Ни денег, ни корма не было, и хозяйка прислала бумагу: выселяться немедленно.

---

---

Куда не совался Луи, предлагая купить Плутовку, все только посмеивались: чтобы возить овощи на базар, есть грузовички, для пахоты — трактор. «Лошадь твоя годна лишь на бифштексы», — отвечали ему со спокойной снисходительностью.

•

Бойни были за городом, у самого моря. Долго шли туда грязный оборванец и красивая послушная лошадка. Время от времени оборванец останавливался, поворачивался спиной к ветру, доставал из кармана бутылку. Лошадь спокойно и вежливо ждала, удивляясь, что никто не подходит, не дает хлеба, не разговаривает с ней. Она немного хромала: последний раз ее плохо подковали.

Входя в ворота боен, Луи застенчиво погладил спутанную, давно не чесанную гриву лошади и вновь приложился к бутылке. Плутовка ответила ласковым ржаньем.

Так ушла из жизни последняя лошадь Аржевиля.



---

---

**ГЕОРГИЙ РАЕВСКИЙ**

Ты с плачем входишь в мир, дитя.  
Его встречаешь ты со стоном . . .  
Резвясь, играя и шутя,  
В счастливом детстве полусонном.

Ты позабудешь этот крик,  
Ты эти слезы позабудешь,  
Рождения высокий миг  
Ты вспоминать уже не будешь.

А после — жизни грубый шум,  
Ее поспешное волнение  
И сердце и смущенный ум  
Отравят горечью сомненья.

Лишь через много, много лет,  
Земные исходив дороги,  
Увидишь ты простой ответ  
На всю тоску, на все тревоги.

И из последних слабых сил  
Со вздохом руки ты протянешь:  
Как, неужели? . . . Где ж я был? . . .  
— И замолчишь, и тихим станешь.

---

---

**ГЕОРГИЙ РАЕВСКИЙ**

Живое чудо бегало  
На быстрых, крепких ножках,  
И легкая везде была —  
На клумбах, на дорожках —  
Печать от тонкой туфельки.  
Но туча набежала,  
И зазвенели капельки —  
И чудо в дом вбежало.

---

---

МИЛОВАН ДЖИЛАС

## РАССТРЕЛ

Почти каждый вечер мне надо было инспектировать штаб отряда, погребенный в сугробах, в местечке в горах, в семи-восьми километрах от нашего городка. Оно было отрезано от всего в мире, кроме войны, которая бушевала в стране и требовала кровавой расплаты по счетам, не обращая внимания на суровость гор и климата, и еще меньше на вековое тупое молчание и изолированность одиноких деревень и тех, кто жил в них.

Отступая под натиском немцев, революционная армия врезалась в итальянскую оккупационную зону и вытеснила из городка соединение оккупантов, малочисленное и не слишком воинственное, отрезав его от главных сил; неподалеку в горах оно и осталось на всю зиму, в дикой стране, среди повстанцев. Революционеры хотели перезимовать в городке, подправиться, с тем, чтобы весной вернуться туда, откуда их прогнали. Но если немецкое командование, закончив прочесывание местности, сочло свою задачу выполненной, то контрреволюционеры, пользуясь поддержкой немцев, так не думали: для них, как и для революционеров, борьба не кончилась. Их борьба была битвой на смерть, собственную или противника.

В последние две или три недели до штаба отряда не раз доходили сведения о скоплении контрреволюционеров на правом берегу реки. Вырвавшись из горного ущелья, река в долине делила теперь людей одной крови, одного языка и традиций на два враждебных мира. Доходили слухи и о перегруппировке итальянцев в соседних местах. И жителей, городских и деревенских, как по сговору, охватила угрюмая молчаливость и настороженная боязнь. Никто ничего не знал наверное, но каждый инстинктивно чувствовал возможность наступления, захвата чужой армией и прихода какой-то другой власти.

Первые стычки уже происходили по берегам реки и штабу пришлось отправлять в городок раненых, как и избавляться от всякого хлама — от разных начальствующих лиц и лишних материалов, которых всегда много набирается вокруг командных пунктов во

---

---

время затишья в боях и которые при отступлении несносны и только мешают.

Штаб спешил закончить дела, те, что в бою, и особенно при отступлении, выполнять будет поздно. Бумаги и оружие, оставшееся без патрон, закопали. Проинструктировали политуполномоченных и разведчиков, как им работать в тылу противника; приняли решения и в отношении пленных и подозрительных личностей.

Спешка и напряжение в штабе росли со дня на день, с часу на час. Одной из причин было то — по крайней мере так мне казалось — что штаб находился как бы в самой середине сцены, там где поток прорывался из горных теснин в поречные луга; к тому же помещался он в большом белом доме местного учителя, расстрелянного несколько дней тому назад, — его мать, жена и трое детей ютились теперь в деревянной кухонной пристройке во дворе, откуда они все более открыто шипели на нас, в злобе и жажде мести.

В тот вечер я застал там обычную в эти дни повышенную напряженность; перемежающийся пулеметный огонь казался еще более близким и угрожающим; мать учителя поспешно, словно боясь мого дурного глаза, втащила любопытного внука в мрак лачуги и захлопнула дверь; дежурный офицер сказал мне, что штабные еще не вернулись, и что Страхиня, посыльный, отправился выполнять свои обязанности у ручья за домом: повел расстреливать одного из приговоренных.

Подумав, чем бы мне заняться до возвращения штабных, я вышел во двор, велел вестовому поставить наших потных лошадей в стойло, и направился в заросли за домом, где Страхиня, как мне сказали, производил расстрел.

Я много уже видел людей убивающих и убитых, и могу сказать, что не столько любопытство, сколько чувство долга заставило меня пойти туда. Все равно делать было нечего, а у меня возникла мысль, что наш метод расстрелов и закапывания тел может послужить потом врагу для его пропаганды — и нужно было присмотреть, чтобы все было сделано правильно.

Почти сразу невдалеке, сквозь голые ветви ольхи и ивы, я увидел двух человек. Это были Страхиня и крестьянин. Они стояли всего в тридцати-сорока метрах от дома, около ручья; вид у них был такой, словно я им помешал. На первый взгляд, они не были похожи на приговоренного к смерти и его палача. И близость могилы к дому поразила меня. Но я осмотрелся и заметил, что ложе ручья было сдавлено отвесными и каменистыми холмами. В самом деле там не было более подходящего и укромного уголка для могилы.

Я не мог удержаться, чтобы не сделать замечания: могила, по моему, была слишком мелка, она едва доходила до колен. Страхиня с нескрываемой досадой ответил: «Не хочешь же ты, чтобы я сам копал ему могилу? Он притворяется усталым и не хочет больше ко-

---

---

пать. Ну и пусть ложится в мелкую могилу, если ему так хочется. А у меня хватает дел: там и другие ждут, чтобы я покончил с их страданиями еще до прихода ночи».

Я давно знал Страхию, да и дело крестьянина было мне известно. Страхию только что исполнилось восемнадцать, но лицо у него было еще почти детским. Он родился в деревне, однако уже четырнадцатилетним мальчишкой попал в шахту. В революционной армии было мало рабочих и он скоро выдвинулся. Белокурый и довольно пухлый, даже рыхлый, он, конечно, привлекал всех девиц в деревенском или рабочем поселке на воскресном коло, да и в своем взводе он был общим любимцем за простой и добрый нрав и уважительную чистосердечность. За храбрость и смекалку его скоро отозвали из части и сделали посыльным при штабе, а теперь он выполнял еще и такие задания, как расстрел тех, кого штаб приговаривал к смерти. Он сам вызвался выполнять эту повинность. Расстрелы скоро стали его главным занятием. И не только потому, что число смертных приговоров все увеличивалось, но и из-за его бесценного умения приводить приговоры в исполнение. Он говорил, что принял на себя это задание добровольно, чтобы отомстить контрреволюционерам, жестоко избившим его еще в начале восстания. Может быть в этом и была правда. Но ясно, что не вся правда. В противоположность другим посыльным, Страхию не проявлял никакого интереса к книгам и лекциям, то есть к так называемому идеологическому образованию. Он находил, что расстрел контрреволюционеров был достаточно хорошим способом выделиться среди товарищей и подчеркнуть свою верность революции. И еще это было утверждением, не только для него, но и для других, чего-то главного, что Страхию любил в себе и хотел подчеркнуть. Нет сомнения, что он не принадлежал к людям, которые убивают с удовольствием, хотя Страхию выполнял это свое задание с холодной точностью и лютой ненавистью.

Ну, как бы там ни было, кто-то должен был выполнять и эти задания, и Страхию выполнял их без ненужных колебаний. Хоть и неизбежное, оно все равно оставалось необычным, и это, в штабе, знал каждый, кто был связан с этим. Стрелять в невидимого и безликого врага, или даже сыпать бомбы на деревню — это все-таки не то, что прикончить определенного человека, с которым неизбежен какой-то человеческий контакт, образ и облик которого, его манеры и поведение заставляют задуматься и о своей собственной судьбе. И люди смотрели на Страхию с некоторым недоумением — и с чувством неловкости. А он, словно бы и равнодушный к этому, с детской наивностью наслаждался вызываемыми им чувствами и насмехался над теми, кто содрогался от его работы.

Что касается крестьянина, то он был захвачен патрулем позади нашей линии недели две тому назад. Патрульные, из соседней с ним

---

деревни, показали, что он — зять одного из контрреволюционных командиров и был им известен, как вербовщик для контрреволюционеров. Доказать ничего было нельзя, а он сам ни в чем не сознавался, твердил, что перешел сюда только для того, чтобы купить табак, которого в этой округе, правда, было меньше, чем там, откуда он пришел. Все равно не было сомнения, что он расскажет контрреволюционерам обо всем, что увидел и узнал, а сколько он взял бы на себя еще и эту долю ответственности за вверенные ему жизни, значит, крестьянина надо было расстрелять.

Это был крупный и сильный человек лет пятидесяти, с косматой головой, уже заросшей кудрявой бородой и облепленный грязью. Странно было видеть, как рабски покорно он выполнял все, что приказывал ему Страхиня, готовя его смерть. Я подумал было, что огромный крестьянин, да еще не связанный, может броситься на Страхию, и удивился, что он даже не пытался бежать. Было достаточно светло, облачно, светила луна. Снег был довольно глубок и Страхине было бы тяжело бежать за ним по снегу: Страхиня был мал ростом и обут в тяжелые военные сапоги. И река была рядом, а на другом берегу крестьянина ожидала жизнь. Но он впал как в транс, будто решил, что ему судьба умереть. В общем-то мало заключенных бежит; мало таких, кто способен восставать против власти и организованной силы. Да и бегут больше из-за невыносимости ожидания, а не потому, что хочется жить.

И было нечто еще, может быть даже более сильное, что парализовало крестьянина. Это нечто была твердая уверенность, исходившая от Страхины, его спокойные движения, размеренная речь, крепкое телосложение и еще больше — его простота в обращении с приговоренными. Было в этой простоте что-то, неизбежно связывавшее Страхию с его жертвой в совместном выполнении предстоявшей им задачи.

Я не заметил, чтобы мое появление возбудило у крестьянина надежду, и уж конечно Стархиня и помыслить бы не мог, что я захочу остановить выполнение приговора.

После его брюзгливого ответа на мое замечание о недостаточно глубокой могиле, Страхиня деловито повернулся к крестьянину:

— Знаешь что, друг, нам нужно поторапливаться. Ни ты, ни я не можем отменить то, что должно быть. Разденься-ка, как следует. У тебя хорошая куртка и штаны, да и постолы твои почти новые и из хорошей кожи. Жаль, если бы они сгнили в земле, у нас люди босые ходят.

Крестьянин покорно согласился, как будто другого и не ожидал.

— Я разденусь, Страхиня, разденусь, братец. И в самом деле, зачем им гнить.

---

Он начал раздеваться. Снял куртку и заботливо свернув, положил на кучу снега, запачканого свежей, из могилы, землей. У него была могучая грудь, покрытая седеющими волосами и широкие, выступающие ребра. На темных руках, покрытых черными волосами, выступали узловатые мускулы. Он не жаловался, не дрожал от холода, хотя деревья трещали от мороза. Так же заботливо он снял рубаху и положил на куртку; потом сел на край могилы и начал снимать постолы. Сняв, он связал их и положил рядышком с курткой. На секунду он остановился, но так как Страхиня ничего не говорил, то снял и носки и всунул их в постолы — правый носок в правый и левый носок в левый. Потом он выпрямился, вылез из могилы, снял штаны, приложил штанину к штанине и положил сверху постолов.

Он не снял только шерстяные подштаники и стоя босый в месиве из земли и снега, сказал: «Страхиня, братец, не заставляй меня снимать и подштанники. Я стыжусь тебя, и думаю, что не хорошо погребать совсем уж голого». Страхиня кивнул, однако рассердился, что крестьянин называл его братом в моем присутствии. «Не называй меня братом. Мы не родные, и даже не товарищи. А подштанники можешь оставить. Мы не снимаем их с человека. Это было бы неправильно». Что Страхиня подразумевал под «правильно» в тот момент, трудно было бы сказать. Может быть это было только наиболее часто употребляемое слово в революционном словаре; фактически же оно означало политически наиболее выгодное. И все-таки, в этом слове было что-то — в данном случае снять или не снять последнюю одежду — что не укладывалось в регламент, писанный или установленный обычаем, действовавший в армии и штабе, а следовательно и в его работе. И был в этом слове еще остаток народной традиции, считавшей некрасивым и незаконным хоронить человека голым.

Вынув револьвер из кобуры, Страхиня положил левую руку на плечо крестьянина и начал устанавливать его на краю могилы удобнее для себя, продолжая говорить тем же тоном: «Становись сюда, да не тут, а сюда становись, сюда! Так!»

Не снимая руки с плеча крестьянина, Страхиня примерился, чтобы могила в длину приходилась как раз за крестьянином. И объяснил: «Знаешь, если ты вот так стоишь, ты как раз вытянешься вдоль могилы и мне не нужно будет еще возиться, перекаладывать тебя».

Крестьянин, как будто до него только сейчас дошел смысл того, что должно случиться, испустил вопль, широко перекосив темный рот, прикрытый густыми усами. «Горе мне и моему дому! Горе моей жене и детям! Горе мне, моя земля! Кому я тебя оставлю! Горе мне, горе!»

---

---

Его вопли напомнили мне о горькой доле крестьянина, о его вековой борьбе за родину и землю, и мне стало жаль его. Я мог бы приказать Страхиной отложить казнь и потребовать в штабе пересмотреть дело крестьянина. Но мысль эта только мелькнула и я сразу отказался от нее. Любое снисхождение противнику, каким без сомнения был крестьянин, при известных обстоятельствах могло ослабить боевой дух и единство солдат революции. Да и что подумал бы об этом Страхины? Ясно, что такое просто не могло бы уместиться в его уме.

Все еще держа крестьянина за плечо, он поднял револьвер к его лбу и, неожиданно для меня и вероятно для крестьянина, выстрелил. Крестьянин во всю длину вытянулся в могиле, тело его извивалось и смертный хрип вырывался из горла. Страхины сунул револьвер в кобуру, взял лопату, поплевал на руки и принялся забрасывать его землей.

— Но ведь он еще жив! — не удержался я. Страхины, прервав работу, объяснил:

— Да, жив. Конечно, он жив. Я же научился их стрелять: прямо между глаз, но немного ниже, так что пуля проходит под мозгом и не убивает, а только оглушает их. Он должен почувствовать свою смерть, сукин сын. Какой смысл в смерти, если ее не чувствовать. А так, — он снова взялся за лопату, — я хороню его, пока он еще жив. Пусть чувствует, что значит умирать.

Что тут было делать? Я выхватил пистолет и сердито, почти не целясь начал стрелять в крестьянина. Не помню уж, сколько пуль я выпустил, пока содрогания и хрипы в могиле не прекратились. Страхины заметил:

— А патроны надо бы поберечь. Этот бандит, — до сих пор он никак не обзывал крестьянина, а говорил все «друг» да «родной», — должен почувствовать смерть. На что и смерть бандиту, если он ее не почувствует. Нет, ты почувствуй, как же иначе!

Я перезарядил пистолет, положил его в кобуру и пошел в штаб, не сказав ни слова. Мне было знакомо чувство, которое давит человека в присутствии смерти и уничтожения, как будто все окружающее исчезает, исчезают все звуки, остается лишь смерть и все, что связано с нею. Но в этот вечер у меня не было этого чувства, не было до тех пор, пока я не вышел из ущелья на поляну перед домом. И тогда я заметил, что пулемет больше не тявкает, что река тихо постанывает, придушенная льдом, и что голубое сияние окружает дом, стоящий рядом стог сена и голые молодые деревца вдоль тропинки.

Перевела с сербского Т. ПЕТРОВСКАЯ



В. ВЕЙДЛЕ

## КАТАЛОГ ЭРМИТАЖА

Когда вспоминаются мне давно знакомые, полюбившиеся смолоду картины великих, а порой и не столь уж великих мастеров, я снимаю с полки каталог Эрмитажа. Тот самый, двухтомный, в 58-м году вышедший, который заменил все прежние. Хороший каталог, полный, где перечислены все картины музея, включая и те, что нынче не выставлены и сберегаются в запасах. Много в нем иллюстраций (хоть и среднего качества), так что я часто там нахожу воспроизведенным, а если нет, то описанным вкратце то, что мне вспомнилось. Очень часто нахожу или, верней, всегда, потому что того, чего найти нельзя, искать было бы, разумеется, нелепо.

Чего же там нельзя найти? Здесь, на Западе, это всякому ясно: картин, проданных при Сталине. Столь же ясно это хранителям Эрмитажа и, прежде всего, директору его картинной галереи, редактировавшему каталог. Но в самом каталоге не только отсутствуют эти картины — отсутствует и всякое упоминание о их исчезновении. Составителям каталога об этой продаже, в которой, конечно, не они повинны, приказано было молчать. Приказ остается в силе и по сей день, хотя дело это — давнее. Картины — и какие картины! — были проданы между 29-м и 36-м или 37-м годом. Они давно висят в различных иностранных музеях. Но в Советском Союзе об этом никогда не было сказано ни слова. Посетители Эрмитажа, да и все те, для кого имена Рембрандта, Рубенса, Тициана, Рафаэля и другие в этом роде что-нибудь значат, или просто люди, любящие свою страну и желающие сохранения ее богатств, в известность об этом никогда поставлены не были. Культ личности был в свое время осужден, и сама личность, которой этот культ воздавался, опорожена, но лишь — наполовину: о мерзких деяниях ее распространяться воспрещено. Не подлежит оглашению и этот сталинский подвиг, то ли потому, что продолжают его — втихомолку — одобрять, то ли

---

потому, что в силу круговой поруки считают разделенной ответственность за это злодеяние. В предисловии к каталогу говорится о «вероломном нападении фашистских захватчиков на Советский Союз» и об отправке картин и прочего в глубокий тыл, осуществленной благодаря «исключительному вниманию Советского правительства к сохранению сокровищ Эрмитажа». О том, однако, в чем выразилось это «исключительное внимание» за несколько лет до того, о «вероломном нападении» Сталина на эрмитажные сокровища, ни в предисловии, ни вообще в каталоге ровно ничего не сказано.

В 1964 году справляли двухсотлетие Эрмитажа, и, два года спустя, вышла по этому случаю книга «Эрмитаж за двести лет», коллективный труд хранителей музея, в котором излагается история и описывается состав различных его отделов, начиная со старейшего и главного — «Отделения живописи и скульптуры». О продажах и тут — ни слова. Говорится, конечно, о приобретениях — при Екатерине, Александре I и т. д., но обходятся самым тщательным молчанием те поступившие в музей картины (и скульптуры), которых там больше нет. Выходит, что их в музее никогда и не было. Несчастные составители книги вынуждены в этом пункте лгать, и любой осведомленный ее читатель (например, заглянувший в любой старый каталог) не может их не счесть лжецами. Как это ни грустно, но лжец по принуждению остается все-таки лжецом. А уж те, кто помнит эти картины, кто видел их в музее . . .

Читаю, например, что нидерландский XV век «представлен шестью картинами, из которых наиболее выдающимися считается редкий диптих флемальского мастера — «Троица» и «Мадонна с младенцем». Как же мне при этом не подумать: вам приходится это писать, хотя две эти картины, по мнению большинства исследователей, лишь старинные копии. Прежде не пришлось бы, когда «Благовещение» Яна ван Эйка находилось не в Вашингтонской Национальной галерее, а у нас, и когда рядом с ним висели у нас две створки складня «Распятие» и «Страшный суд» того же ван Эйка или, быть может, старшего его брата, принадлежащие нынче главному музею Нью-Йорка. Приобретены они были в Испании нашим послом Татищевым в 1845 году и завещаны им Эрмитажу, а «Благовещение» поступило туда при Николае I из знаменитого собрания голландского короля Вильгельма II, проданного с аукциона в 1850 году. Лишившись этих картин, весь отдел нашего музея (включая и нидерландский XVI век) лишился лучшего, что в нем было. Покинули его к тому же и наиболее выдающиеся портретные работы этой школы. Портреты сэра Томаса Грэшема и леди Анны Грэшем кисти Антониса Мора нынче висят в амстердамском Рейксмузее; они поступили в Эрмитаж при Екатерине, в составе полностью приобретенного ею знаменитого собрания Роберта Уолпола. Осталось в

---

этом отделе интересного и хорошего довольно много; совсем первоклассных картин в нем больше нет.

Читаю дальше, о фламандской живописи XVII века: «Исключительно богата коллекция картин Рубенса» или: «Двадцать пять картин, преимущественно портреты, ван Дейка». Но где же все-таки несравненный рубенсовский портрет Елены Фоурмент во весь рост? Где лучший наш ван Дейк — портрет Филиппа Уортона? Другой, менее замечательный, портрет лорда Уортона в Эрмитаже остался, но этот, вместе с Еленой Фоурмент, отплыл оттуда, можно сказать, на первом же корабле. Еще в тридцатом году покойный друг мой Жарновский получил от бывшей своей сослуживицы по Эрмитажу без труда расшифрованную им открытку, где было сказано, что неожиданно для всех хорошо ему известная Елена Ф., в сопровождении англичанина Филиппа, отправилась за границу, куда, повидимому, уедут и Титус Р. и Мария Альба, а быть может и другие их друзья. Действительно, последовали вскоре и другие отъезды: продана была и Мадонна Альба Рафаэля, и тот удивительный портрет, где высвечивает из глубокой ночи болезненное лицо Титуса, сына Рембрандта, — ну и пошло, поехало. Открытку я помню хорошо: первые две картины наверняка в ней были упомянуты, относительно двух других я менее уверен; но все равно: были, во всяком случае, проданы и они (Рембрандт — парижскому виноторговцу Этьенну Николаю, он теперь в Лувре; Рафаэль — Эндрю Меллону, американскому богачу, бывшему министру финансов; картина теперь в Вашингтонской галерее).

Продолжаю чтение. «Давно завоевала мировую известность коллекция картин Рембрандта, насчитывающая 25 произведений». Невинная, как будто, фраза, но как фальшиво и — прошу прощенья — как глупо она звучит для всякого, кому известно, что холстов Рембрандта в Эрмитаже было не двадцать пять, а сорок! Ну а вы, составители, — скажет такой читатель, — разве вы этого не знаете? И как же вы это так бойко пишете о «двух первоклассных мужских портретах Франса Хальса», когда их было у нас до покупки тем же Меллоном четыре, а не два? Куда же годится исторический обзор, в котором об этом не упомянуто? Но вернемся к Рембрандту. Четыре его картины не были проданы, а были переданы Пушкинскому музею в Москве; но другие нехватяющие, куда же они делись? Вы молчите, но ведь вы прекрасно это знаете. Титуса купил у Сталина мосье Николай. Другой портрет, его же (в шлеме и со щитом, называвшийся у нас Паллада-Афина) и портрет старика, сидящего в кресле, с тростью в руках выторговал у него же нефтяник Гюльбенкиан (в октябре 30-го года; обе картины находятся теперь в Лиссабоне). «Отречение Петра» — одну из значительнейших поздних

---

картин мастера — приобрел три года спустя Амстердамский музей, вместе с еще одним портретом Титуса в монашеском одеянии, с капюшоном, того же 1660 года, что и «Отречение». Чудесный этот портрет, с таким нежным светом на улыбающемся лице, сперва был «национализирован», поступил в Эрмитаж из Строгановского собрания, а затем верховный национализатор за хорошие деньги предоставил национализировать его Голландии. Около того же времени нью-йоркский антиквар Недлер (Knoedler), в той же национальной лавочке, для Меллона купил «Иосифа и жену Пентефрия», а затем и спокон веков прославленный «Портрет польского вельможи» (прежде называвшийся Яном Собеским) сбыт был лавочником с рук, как и «Девушка с метлою», как «Портрет молодой женщины с цветком», как и еще одна строгановская картина (пейзаж). В результате столь бойкой торговли наше единственное в мире по богатству собрание Рембрандта (сорока его картин не было и нет ни в каком другом музее) первенство свое утратило, и если превыше всех слов чудесное «Возвращение блудного сына» и сохранило, то лишь по недомыслию покупателей или потому, что не развязали они вовремя кошелек: всем было известно, что кремлевский старьевщик охотно распрощался бы с ним за четыре миллиона долларов.

Вообще на Западе все, кому ведать надлежит, знали, что через крупных торговцев картинами, выбрав по каталогу, можно было купить любое из эрмитажных сокровищ. Широкой огласки делам этим не давали, действовали не спеша, умножать числа покупателей не стремились, а продавцу было объяснено, что распродавать Эрмитаж с молотка или вообще оптом невыгодно: это вызвало бы на антикварном рынке немедленное и безудержное падение цен. Именно «железному» этому закону спроса и предложения наш музей и обязан тем, что насчитывает все еще 1313 голландских картин, из которых выставлены 426, и 576 фламандских, из которых выставлены 171. Цифры эти, как и другие, не без намерения щедро приводятся в книге об Эрмитаже за двести лет. Но ведь тридцать пять сохранных Воуверманов ни на каких весах не перевесят и одного проданного Рембрандта; да и портрета Елены Фоурмент не заменит ни один из многочисленных оставшихся у нас Рубенсов, хоть и сохранили мы каким-то чудом среди них изумительные эскизы декоративных сооружений, воздвигнутых в Антверпене по случаю въезда инфанта-кардинала, нового правителя Нидерландов. Количество во всем этом деле ровно ничего не значит сравнительно с качеством. Покупатели нашего национального имущества хорошо это знали, да и услужливый их поставщик, видимо, смекнул, что есть расчет продавать лишь самое лучшее и дорогое...

Вот я двухсотлетие Эрмитажа и справил, отложил в сторону книгу, плохо ознакомившись с историей других его отделов (ограбленный был ведь все же, да и остался, главным); перелистываю вновь те толстые два тома — печальный каталог, печальный оттого, что в нем нет картин, которые были в старых каталогах; да и не только печальный, а еще и жалкий, презрения достойный оттого, что об отсутствии их должен молчать, и молчит.

Раскрываю первый том: итальянская, испанская, французская живопись. Рафаэль. Его ранняя «Мадонна Конестабиле», что и говорить, мила; и «Мадонна с безбородым Иосифом» — тоже вещь хорошая. Но ведь «Мадонна Альба» была куда значительнее, а с ней вместе, заботами Меллона, и прелестный маленький «Святой Георгий» переселился в Вашингтон, как и — все его же стараниями — одна из лучших вне Италии картин Боттичелли «Поклонение волхвов», а также триптих Перуджино, так называемый Голицынский (по его прежнему владельцу), одно из наиболее живых и совершенных произведений этого мастера, и одно из последних эрмитажных приобретений Меллона: он его купил в 36-м году. Но еще до этого приобрел он (а затем передал той же галерее) самого обыкновенного нашего Тициана, «Венеру перед зеркалом» — вещь чудесной сохранности и волшебного мастерства. Больше сорока лет прошло с тех пор, как я ее видел в последний раз; а помню отчетливо теплоту, расплавленность письма, просвечивающий повсюду грубый холст и с неизъяснимой легкостью положенные на него красочные мазки, из которых рождаются, Бог знает почему, и бархат, и мех, и плоть, и пестрое крылышко держащего зеркало амура. Была у нас среди итальянских и еще одна исключительного волшебства картина — «Пир Клеопатры» Тьеполо. За нее боялись. Живопись ее казалась хрупкой. В конце первой войны, при отправке картин в Москву, большое полотно это свернули. Когда разворачивали после возвращения, Александр Николаевич Бенуа заплакал от радости: «Пир Клеопатры» был невредим. Но в Кремле не дремали: нынче он составляет главное украшение Мельбурнской картинной галереи.

Лучший наш Веласкес, погрудный портрет папы Иннокентия X — эскиз для большого портрета в римском палаццо Дориа-Памфили (или собственноручное повторение центральной его части) также был приобретен Меллоном и подарен Вашингтонской галерее. Лучшие наши картины старых французских мастеров тоже переплыли океан, хоть и не на его счет, и попали — «Мальчик с картонным домиком» Шардена сюда, «Меццетен» Ватто в Нью-Йорк, а «Триумф Амфитриты» Пуссена в Филадельфию. Два пейзажа Гюбера Робера (у нас их много, но не все столь хороши) приобрел

---

---

Гюльбенкиан, и он же — восхитительную мраморную «Диану» Гудона. Сам скульптор продал ее Екатерине; морским путем прибыла она в 1784 году в Петербург; морским же путем в 1930 году была — за ненадобностью, должно быть — отправлена обратно. «Обойдемся и без нее. Обойдемся и вообще без всего этого барахла, тем более, раз ослы-буржуи готовы платить за него фунты и доллары». Нечто подобное, нужно думать, попыхивая трубкой, бормотал себе под нос ломовой извозчик, в те годы правивший Россией и стегавший ее, свою негодную клячу, по глазам. Мог ли он мыслить иначе? Денежки заграничные всегда могли ему пригодиться для его заграничных темных дел. Ну, а там «Тьеполо», «Ватто» — забавных этаких слов ему и выговаривать никогда не приходилось. Да и не такие числятся за ним дела: в крови он по горло — не за холст, не за олифу счет ему предъявлять. С него и взятки гладки.

Но печаль-то вся в том, что насчет казней и лагерей у наследников и бывших сообщников его все же вырвался вопль, а об этом — не мокром, а всего лишь гнусном — деле хранят они прехладнокровное молчание, никому, вместе с тем, и пикнуть о нем не разрешая. Вот и выходит — понимаете ли вы это, властители и судии? — что сама Россия всех этих Тицианов и Рембрандтов и Рафаэлей выбросила за окно — на что, мол, они, обойдусь и без них — что сама Россия, включая ее художников, писателей, историков, музейных работников, всю интеллигенцию ее, о позорном этом деле молчит просто потому, что не считает его позорным и вовсе не испытывает потребности высказать сожаление о нем и кого бы то ни было в нем винить. Я — русский и знаю, что это не так. Но перед иностранцами — эх вы, юбиляры, хозяева страны — стыдно мне: за Россию стыдно.

\*

Так-то порой и расстроишься совсем, перелистывая эрмитажный каталог. Начнешь с воспоминаний, добрых и светлых, а подумаешь о том, как обезглавили музей, сливки сняли с его картинной галереи, и почувствуешь горечь, злобу, но всего острее именно стыд, при мысли о том, что молчат и молчат об этом тридцать лет, восхваляя, как ни в чем ни бывало, заботу властей, «исключительное внимание Советского правительства к сохранению сокровищ Эрмитажа».

Подымаюсь мысленно вновь меж блестящих желтомраморных стен по лестнице, именуемой нынче «халтуринской» (хотя покушался Халтурин, да и то неудачно, спровадив на тот свет ни в чем неповинных людей, не тут, а рядом, на царя, а не на картины; назвали бы ее лучше «сталинской»); поднимаюсь по лестнице этой, как бывало, как в последний раз утром, в день отъезда — 1924 год,

---

---

июль . . . Поднимаюсь медленней, чем прежде, по лестнице, довольно крутой, и предвкушаю . . . Нет, ничего не предвкушаю: думаю невольно не о том, что увижу, а о том, чего не увижу.

Вкрадчивый чей-то голос утешать меня пытается:

— Нечего грустить. Вот сейчас с площадки налево загнешь и в колонном зале, на Миллионную выходящем (то есть, тьфу, Хал . . ., но все равно) твоего Пуссена и найдешь: «Пейзаж с Полифемом». Прислонись к колонне и гляди, гляди, как глядел, словно во сне, когда было тебе всего четырнадцать годков, да и позже сколько раз . . . А если не там он, экая беда? В Эрмитаже он, ты ведь знаешь: «Амфитриту» продали, а не его. И парную к нему картину, «Геркулеса и Какуса» не продали, а в Москву отправили.

— Это зачем же? Послали бы другое что-нибудь. Кто же таких двойников разлучает? Я и тот пейзаж, почти так же, как этот, любил, да и «Амфитриту» . . . Не хватает мне ее . . .

— Ишь ты — не хватает! Поезжай в Америку. Существует «Амфитрита» — будь доволен и тем. А двойников они чуть ли не всех поделили. Так, мол, справедливей. Половина тут, половина в Москве. Не в Эрмитаже это придумали, и не музейные, конечно, люди. Другие, надмузейные. Они эрмитажных спросили: у вас французишки этого допотопного сколько осталось холстов? Те подсчитали; все, что могли, присчитали; говорят: семнадцать. Что ж, мало вам этого, что ли? Согласись, ведь немало. Да и хороших осталось четыре или пять. На этот манер и обо всем прочем суди. Ведь и под вожжей Джугашвили ни одной картины не продали, которая была бы единственной ее автора в музее. Обо всех знаменитостях, ежели спросят, — есть они у нас в Эрмитаже? — ответ будет всегда: как же им не быть? Были, значит, и есть. Из бесчисленных посетителей огромное большинство ни о каких исчезновениях и не подозревает. «Мадонна Альба» одно время заменена была копией: покрасовались тут и в других залах извещения: «Картина в реставрации»; но теперь тебе портить удовольствие — свое, да может быть и чужое? О своем ты только подумай: разве ты тичиановских Севастьяна и Магдалину не любил, а лишь одну «Венеру перед зеркалом»? Разве нежнейшее «Поклонение Богородицы и ангелов Младенцу» Филиппино меньше тебя умиляло, чем Боттичеллиевое «Поклонение волхвов»? Или «Юдифь», прелестная ранняя вещь Джорджоне, меньше интриговала и привлекала, чем тот — превосходный, правда — Перуджино, который ведь к особым твоим любимцам никогда не принадлежал? Вот и входи — пусть хоть мысленно — в итальянские залы, восхищайся, как прежде, скорбным, вечерне-серебристым, словно похолодевшим «Плачем над снятым с креста Спасителем» Веронезе, еще недостаточно оцененным (оттого

---

---

его, вероятно, и не продали), да и многим другим . . . Караваджо не забудь. На большого Прокаччини (Джулио Чезаре) погляди, перед которым восьмидесятилетний Липгардт, видимо забыв, кто ты, на изысканнейшем французском языке времен Второй Империи тебя спросил: «Как вы находите лицо Мадонны? Я им очень горжусь. Это, в сущности, теперь моя работа». Поблагодари в испанском зале Сурбарана за «Святого Лаврентия», которым, еще в отрочестве твоим, он тебя пронзил и покорил; поклонись «Поклонению пастырей» Маино, этого итальяно-испанского почти-Ленэна — Луи Ленэна (имя его не произносится «Майно», как воображают в Эрмитаже); разыщи Мурильо с большим ландшафтом, удивись ему опять. А потом будут тебе и Рубенсы, Иордансы и мало ли еще что, и на цыпочках войдешь ты в рембрантовский зал . . .

— Перестань, перестань, — отвечаю я, усевшись на тяжелый диван спиной к огромному Каналетто («Прием французского посла в Венеции»), — я отлично знаю, что много знакомого, мною любимого здесь осталось; знаю, что и прибавилось многое — путем реквизиции у частных владельцев, с ликвидацией оных или без нее (этого на картинах не прочтешь); но чем же это может поправить то непоправимое, что было сделано? Ни одной картины, равной по качеству и значению проданным, Эрмитаж не получил ни после продаж, ни в годы, предшествовавшие продажам. Лишился он всего тридцати пяти или сорока с немногим картин, но эти сорок картин — из них нынче двадцать одна в Вашингтонской Национальной галерее, — составляют две трети лучшего, что в нем было. Если последнюю треть убрать, останется огромная галерея, но . . . Да не стоит об этом говорить.

— Ты меня перебил, а я ведь собирался не только о твоём собственном удовольствии сказать, которое ты зря себе портишь, но и о чужом. Мысленно ты, ясное дело, в роскошном одиночестве по залам гуляешь да по диванам восседаешь; а ведь тут каждый день — полным полно, протолкнуться нельзя. Видел, небось, в «Эрмитаже за двести лет» картинку «Культпоход рабочих Ижорского завода»? Чуть не приступом собираются взять Зимний дворец и музей. Только снимок этот был сделан почти двадцать лет назад. Теперь и походов не надо, сами идут. Много молодежи. Недохвата картин заметить нельзя. Знаменитые имена, как и прежде, все налицо. Эти люди довольны . . .

— Они довольны, но ведь они все-таки обмануты. Если бы у хозяев страны была совесть, соответственное министерство разрешило бы или порекомендовало дирекции Эрмитажа где-нибудь неподалеку от главного входа в картинную галерею разместить на щитах фотографии всего того, что было сплавлено за границу, а в предисловиях к ее каталогам прилежно об этих продажах упоминать,



---

и, кроме того, выпустить отдельную книгу или брошюру, где вся история их была бы полностью изложена. Но ничего подобного не делается. Делается обратное: даже иностранным авторам, издающим за границей книги об Эрмитаже, внушается (очевидно, под страхом неполучения иллюстрационных материалов) о продажах не упоминать. Накануне пятидесятой октябрьской годовщины вышла очередная книга такого рода, весьма роскошно изданная. Ее угодливый составитель о продажах не заикнулся, зато превознес Эрмитаж до небес: один лишь Лувр может с ним сравниться (что было ложью и прежде, но стало сугубой ложью после продажи), а также соловьем расщелкался насчет того, что, будто бы, до революции музей был мало кому доступен. Очевидно, я сызмалу принадлежал к совершенно особому «счастливому меньшинству», а то и приходился родственником, сам того не зная, покойному государю. К счастью, не обо всем одинаково удобно лгать за границей и лгать у нас. Небылицами о западных порядках удобнее потчевать тех, кто не бывал на Западе; сеять клюкву насчет прежней России можно и в России, но не столь беспрепятственно, как среди тех, кто не имеет о ней ни малейшего понятия. Составители книги о двухсотлетию музея все-таки пишут: «Накануне первой мировой войны Эрмитаж посещали до 180 000 человек в год». Нынче посетителей этих, как и в западных музеях, во много раз больше — так много, что они, как и на Западе, мешают друг другу. Увидеть по-настоящему то, что видишь, становится трудно. Не в этом, однако, дело: здесь ведь и одним глазом не увидишь того, чего тут больше нет.

— Ты все о своем. Да им-то, сотням тысяч, миллионам — какое до этого дело? Огромный, великолепный музей! Они здесь учатся, пополняют образование или — как это говорится? — повышают культурный уровень. Не все ли равно — если думать о них — увидят ли они еще одного Тициана, еще одного Веласкеса и вообще те картины, которые они прежде могли бы здесь увидеть? О чем ты хлопчешь? О чем горюешь? Хлопчи, чтобы воскресли отцы этих людей, погибшие здесь во время войны, замученные в лагерях при Сталине. А если ложь тебе так уж противна, горюй о том, что вся «власть советов» только и держится ложью; что всю пятидесятилетнюю историю свою она изображает лживо; что не лжет она только в тех случаях, когда не видит надобности лгать, или когда знает твердо, что решительно никто не поверит ее лжи. Да ведь и вся ложь насчет этих картин заключается просто в молчаньи, в утаиваньи истины. Уж если бы они от этой лжи отказались, в таком безгрешном, для них, грехе покаялись, — как бы высмеял их тот мертвец, что заменяет им совесть, их божок, главный их божок . . .

— Знаю. Но живые — те, что здесь толпятся целый день, или хотя бы лучшие из них — разве не заслуживают они, чтобы им ска-

---

---

зали правду? И разве они все, даже и лучшие эти, только для наглядного обучения сюда и ходят? Для обучения чему? Довод этот мне кого-то напомнил. В живых его нет. Да я его и не знал. Федор Иванович Шмит. Странно, никогда его не видел, и все же лично к нему — не просто к писаниям его — отношу то чувство, которое всплыло во мне, когда я о них вспомнил. Горестное чувство: смесь отвращения с жалостью и с остатками уваженья.

\*

Дооктябрьский Федор Иванович был доцентом Харьковского университета и очень неплохим византинистом, первым издателем знаменитых мозаик константинопольской церкви Хора (Кахрие Джами). В середине двадцатых годов вышел (на немецком языке, в Берлине) другой его весьма ценный труд, еще до войны приготовленный к печати: издание столь же знаменитых и более древних мозаик церкви в Никее, тем временем погибших (церковь разрушили турки во время греко-турецкой войны). Но тем временем разрушению подвергся и сам Федор Иванович: Октябрь (это не единственный случай) свернул ему на сторону и сознание и совесть. Византийские свои штудии он забросил, а историю искусства стал преподавать на марксистский лад — тем грубейшим способом, который несколько лет спустя более мозговитыми марксистами (даже и Советского Союза) был объявлен «вульгарным социологизмом» и тем самым был ошельмован (нужно надеяться — навсегда). Карьеру сделать он, однако, успел: был назначен директором Всесоюзного Института истории искусства. Тогда же (в 1925 году) вышла излагающая его или вскормленные им в себе воззрения книга «Искусство», а в 32-м году, то есть уже после того, как началась продажа эрмитажных картин, появилась на французском языке, в журнале «Музеи», издававшемся Комитетом интеллектуального сотрудничества при Лиге Наций, его статья, частью резюмирующая те же теории, частью же ведущая их дальше, в сторону оправдания (хоть и всего лишь подразумеваемого) тех практических мер, о которых там прямо не говорится, но которые как раз тогда были в отношении Эрмитажа приняты.

Рассуждал Федор Иванович как нельзя более просто. Все привычные толки о безотносительной ценности искусства объявлял он совершенно устарелыми. Художник — представитель своего класса. Произведения его выражают потребности, цели и чувства этого класса, чем их форма, как и их содержание, строго предопределены. Искусство было во все времена агитационным, рассчитанным на классовую пропаганду. Нечего поэтому восхищаться мастерами, превозносимыми до небес в капиталистическом мире, и наполнять их изделиями музеи пролетарской страны. Все старое искусство — «старым надо почитать все, что сделано до 1917 года: оно

---

---

доисторично» — может иметь «для нас» не больше, чем документальный, социологический интерес. Джотто надлежит ценить как представителя феодальной эпохи. Рафаэль, хотя и писал Мадонн, выражает в своем искусстве первую волну капитализма — в этом и все его значение. Отчего искусство Тинторетто столь трагично, столь мрачно? Буржуазные историки этого не знают, а мы знаем: в середине XVI века Венеция потеряла монополию на ввоз соли в Европу — как тут не помрачнеть? Все эти важные исторические свидетельства не следует уничтожать, как и воспевающие сытое мещанство картины Рубенса, Хальса или французских мастеров прошлого века. Но музеи, обладающие ими, должны заботиться прежде всего о надлежащем их истолковании. Письменно и устно необходимо твердить посетителю о феодализме, капитализме и всех вообще социальных предпосылках того, что он видит перед собой, дабы он извлек из памятников старого искусства все содержащиеся в них уроки. Советские музеи в этом деле давно перегнали отсталый буржуазный мир . . .

Статью свою впавший в детство от подбострастия, хоть совсем еще и не старый, Федя Шмит кончал восторженной похвалой советской музейной политике. Отдавал ли он себе отчет о том, что бок о бок с Тинторетто (чьи холсты чаще бывают потемневшими, чем мрачными) Веронезе писал радостные свои холсты — Бог весть; но ничего не зная об утечке картин из эрмитажной галереи он не мог. И, конечно, его статья даже и этого рода «музейную политику» полностью оправдывает. Если Рубенс и Рафаэль ценятся лишь как поставщики классовых исторических документов, то кому же, кроме капиталистов, нужны оригиналы их картин? Да и приличных размеров фотография с картины Тинторетто даст ровно столько же матерьяла, как она сама, для недомыслия по части соляной монополии. Копии, фотографии следует даже и предпочесть оригиналам: они менее способны привлечь внимание зрителя еще и чем-нибудь другим, кроме своих классовых качеств. А если так, то, распродавая Рафаэлей и Рембрандтов, мудрая власть проявляет не только хозяйственную, но и более высокую мудрость. Следовало бы хозяину, переслюнив бумажки, еще и наградить Федю орденом Красного Знамени.

\*

Прошло много лет. Отмалчиваются. Продолжают молчать. Зато любят распространяться о «просветительной» или «научно-просветительной» работе музея. Но, по мнению нынешних хозяев, по их партийному мнению, чему же должны массы обучаться, как не тому, чему любая картинка в курсе политграмоты с тем же успехом могла бы их обучить? Благоглупости о соляной монополии и другие в

---

том же роде сданы в архив, но отнюдь не самый принцип партийной идеологической муштровки и не «классизм» как одна из основ этой идеологии. Без «классизма» и представить ее себе нельзя, как идеологии гитлеровской без расизма. Но и независимо от этого, покуда вы, нынешние, ясно, во всеуслышанье не осудили Сталина за его «музейную политику», как же нам не опасаться, что вы еще и сами к ней вернетесь? Покуда вы от Сталина, перечислив все гнусные дела его, не отреклись, как же нам — то есть как России — верить, что вы не вернетесь к Сталину?

Бог с ним, с каталогом, и с книгой о двухсотлетию музея. Нет, лучше их с полки не снимать, лучше не вспоминать. Вот я теперь от печальных мыслей этих и оторваться больше не могу: все воображаю себя на том диване, спиной к «Приему французского посла». На левой от меня стене, сразу после двери, — великолепный Строцци «Исцеление Товита» (какой он был колорист в лучших своих вещах!), а направо, посреди залы, «новое приобретение» (даровое, у Мусина-Пушкина взяли): «Гибель Адониса», мраморная группа, риторически «роскошная» (но превосходная все же) Маццуолы. Сейчас встану — хочу поближе посмотреть «Юную Деву Марию посреди подруг», нарядную, но по-домашнему, большую картину Гвидо Рени редкостных светлых тонов, столь занимавшую меня — в детстве? Да, почти что в детстве. Но тут — чьи-то шаги в соседнем зале, кто-то идет сюда, в «большой просвет». Начальство здешнее? Но ведь это университетский мой товарищ! Поседел, постарел, как я, но узнаю. И здесь, в этих залах, позже мы с ним встречались. Он уже служил тут. Поступи сюда и я, дослужился бы, пожалуй, до его чинов. А в тридцатом году, когда Елена Фоурмент «уехала за границу»... Брр! И этот обет молчания. Чего он только не натерпелся — и тогда, и за все это время... Владимир Францевич, милый! Но что же я ему скажу? Обнял бы его, а потом? «Друг мой, не хотел бы я быть на вашем месте. Как это вы...»

Слава Богу, что это — мечта, пустая, пустая мечта.

---

---

ГЕОРГИЙ АДАМОВИЧ

## ЗИНАИДА ГИППИУС

Каждый раз, как приходится мне говорить или писать о Зинаиде Николаевне Гиппиус, спорить с теми, кто относится к ней отрицательно, — а таких людей не мало, — каждый раз я вспоминаю лаконическую запись в одном из дневников Блока, без дальнейших пояснений:

— Единственность Зинаиды Гиппиус.

Да, единственность Зинаиды Гиппиус. Есть люди, которые как будто выделаны машиной, на заводе, выпущены на свет Божий целыми однородными сериями, и есть другие, как бы «ручной работы», — и такой была Гиппиус. Но помимо ее исключительного своеобразия, я не колеблясь скажу, что это была самая замечательная женщина, которую пришлось мне на моем веку знать. Не писательница, не поэт, а именно жанщина, человек, среди может быть и более одаренных поэтов, которых я встречал.

Думаю, что в литературе она оставила след не такой длительный и прочный, не такой яркий, как принято утверждать. Стихи ее, при всем ее мастерстве, лишены очарования. «Электрические стихи», — говорил Бунин, и действительно эти сухие, выжатые, выкрученные строчки как будто потрескивают и светятся синеватыми искрами. Однако душевная единственность автора обнаруживается в том, что стихотворение Гиппиус можно без подписи узнать среди тысячи других. Эти стихи трудно любить, — и она знала это, — но их трудно и забыть. В статьях, — хотя бы в тех, которые подписаны псевдонимом Антон Крайний, — по общему мнению, сложившемуся еще задолго до революции, будто бы сказывается ее необыкновенный ум. И в самом деле, она была необыкновенно умна. Но гораздо умнее в разговоре, с глазу на глаз, когда она становилась такой, какой должна была быть в действительности, без раз навсегда принятой позы, без высокомерия и заносчивости, без стремления всех учить чему-то такому, что будто бы только ей и Мережковскому известно,

---

— в разговоре с глазу на глаз, когда она становилась человеком ко всему открытым, ни в чем в сущности не уверенным и с какой-то неутолимой жаждой, с непогрешимым слухом ко всему, что за немением другого, более точного термина приходится назвать расплывчатым словом «музыка».

В ней самой этой музыки не было, и при своей пронизательности, она не могла этого не сознавать. Иллюзиями она себя не тешила. Музыка была в нем, в Мережковском, какая-то странная, грустная, приглушенная, будто выхолощенная, скопческая, но несомненная. Зато она, как никто, чувствовала и улавливала музыку в других людях, в чужих писаниях, страстно на нее откликнулась и всем своим существом к ней тянулась. От всего только бытового, бытом ограниченного, от всякого литературного передвижничества она пренебрежительно отталкивалась, будто ей нечего было со всем этим делать, и даже бывала в отталкиваниях не всегда справедлива, принимая за передвижничество и то, что было им только в оболочке. Ей, да и ему, Мережковскому, нужен был дух в чистом виде, без плоти, без всего, что в жизни может отяжелить дух при попытке взлета, они оба были в этом смысле людьми «достоевского», анти-толстовского склада, — склада, определившего то литературное движение, к которому они оба принадлежали и которое одно время даже возглавляли. Не случайно Зинаида Николаевна в последние годы жизни шутя называла себя «бабушкой русского декадентства».

В течение двенадцати-пятнадцати лет, предшествовавших войне, я у них бывал постоянно, и не только на шумных, многолюдных воскресных чаепитиях, которые должны бы войти в историю русской литературы, но и почти каждую неделю вечером, когда не было никого другого. Сначала разговор с ней, — то, для чего я и приходил и когда ни на минуту не бывало скучно, — потом, уже под полночь с Дмитрием Сергеевичем, выходявшим от себя с какой-нибудь рукописью или книгой. Должен признаться, — и это я до сих пор вспоминаю с удивлением, — что в его обществе, если я оставался с ним наедине, мне всегда бывало как-то не по себе. Не неприятно, не тягостно, а именно не по себе. Я не знал, как с ним говорить, что ему сказать, я не находил тона, он меня стеснял, и вовсе не из-за какого-нибудь чрезмерного литературного этикета, как можно было бы, допустим, стесняться писателя с европейским именем, который к тому же гораздо старше тебя. Нет, я не чувствовал его, как человека, не понимал, что это за человек, не мог себе представить, каков он, например, один, у себя в комнате, что он делает, о чем он думает. Было в нем, в его душевном составе что-то неуловимо причудливое, почти диковинное. Каюсь, у меня в связи с этим явилось даже предположение, которое оказалось неверным.

Зинаида Николаевна не раз рассказывала мне о том, как они, оба, были в Ясной Поляне. Перед тем, как разойтись на ночь, Толстой

---

---

будто бы остановился со свечей в руках и молча, пристально, в упор, долго смотрел на Мережковского.

— Мне даже жутко стало, — вспоминала она, — что это он своими страшными серыми глазами уставился на Дмитрия!

Мне представилось, что Толстой безотчетно задумался: что это за человек такой, как бы его надо было описать? Толстой, — думал я, — встретил «модель», непохожую ни на какую другую, и именно поэтому так пристально, со вниманием и любопытством художника, в Мережковского вглядывался. Но потом я прочел в воспоминаниях Короленко, что с ним было то же самое: он тоже поймал на себе долгий, упорный взгляд Толстого и ему тоже стало «жутко». Очевидно это было у Толстого привычкой: ничего странного, загадочного, трудно уловимого в личности Короленко наверно не было.

Вернусь однако к Зинаиде Николаевне.

Если я позволил бы себе с уверенностью сказать, что был с ней близок, то все же не решусь употребить слово «дружба». Слово это требует обоюдного согласия, признания с той и другой стороны, и кто же этого не знает, слишком часто у покойников, в особенности у покойников знаменитых, находятся после смерти друзья, которые заявлениями о мнимой дружбе с ними сильно их удивили бы. Но я действительно хорошо знал Зинаиду Николаевну, и только узнав ее понял, — а теперь, на расстоянии двадцати с лишним лет понимаю еще вернее, — что между нею самой и тем, что она говорила и писала, между нею самой и ее нарочитым литературным обликом было резкое внутреннее несоответствие. Она хотела казаться тем, чем в действительности не была. Она прежде всего хотела именно *казаться*. Помимо редкой душевной прихотливости, тут сыграли роль веяния времени, стиль и склад эпохи, когда чуть ли не все принимали позы, — а она этим веяниям не только поддавалась, но в большой мере сама их создавала. Ведь даже Иннокентий Анненский утверждал, что в литературе, в поэзии надо «выдумать себя». Не могу понять, для чего. В литературе, в поэзии надо быть самим собой: все прочее — суета сует, пустые, досужие измышления, прах, который рано или поздно развеется. Анненский оттого и останется в русской поэзии, — думаю, до последнего дня ее существования, — что «выдумывая себя», он оказался не в силах истинную свою сущность преодолеть. О Зинаиде Гиппиус это можно было бы сказать только с оговорками.

Она хотела казаться человеком с логически неумолимым, неизменно трезвым, сверхкартезианским умом. Повторяю, она была в самом деле очень умна. Но ум у нее был путанный, извилистый, очень женский, гораздо более замечательный в смутных догадках, чем в отчетливых, отвлеченных построениях, в тех рассудочных теоремах, по образцу которых написаны многие ее статьи. Она хо-

---

тела казаться пронизательнее всех на свете, и постоянной формой ее речи был вопрос: «А что если? . . .» А что, если дважды два не четыре, а сорок семь, а что если Волга впадает не в Каспийское море, а в Индийский океан? Это была игра, но с этой игрой она свилась, и на ней построила свою репутацию человека, который видит и догадывается о том, что для обыкновенных смертных не доступно.

Она знала, что ее считают злой, нетерпимой, придирчивой, мстительной, и слухи эти она усердно поддерживала, они ей нравились, как нравилось ей раздражать людей, наживать себе врагов. Но это тоже была игра. По глубокому моему убеждению злым, черствым человеком она не была, а в особенности не было в ней никакой злопамятности. (Еще меньше было этого в нем, в Мережковском. Прекрасная его черта: ему можно было сказать, что угодно, он сердился, махал руками, возмущался, а через полчаса все забывал и говорил с обидчиком, как с приятелем). Однажды Милюков заявил Зинаиде Николаевне, что не может больше печатать в «Последних новостях» ее статьи:

— Я слишком стар и слишком занят, чтобы уследить за всеми шпильками, которыми вы каждую свою статью украшаете!

Она была искренне удивлена: «Ну, подумайте, у меня шпильки! У меня!» Она не придавала своим язвительным выпадам значения, она забывала о них, как о чем-то третьестепенном и в худшем случае только забавном.

Другое воспоминание. В самом начале революции Троцкий выпустил брошюру о борьбе с религиозными предрассудками. «Пора, товарищи, понять, что никакого Бога нет, ангелов нет, чертей и ведьм нет», — и вдруг, совершенно неожиданно, в скобках: «Нет, впрочем одна ведьма есть — Зинаида Гиппиус». Мне эта брошюра попала на глаза уже здесь в Париже, и я принес ее Зинаиде Николаевне. Она, со своим вечным лорнетом в руках, прочла, нахмурилась, пробрюзжала: «Это еще что такое? Что это он выдумал?» — а потом весело рассмеялась и признала, что по крайней мере это остроумно.

Вот перебирая давние свои впечатления, пытаюсь в них разобраться, я прихожу к мысли, что Зинаида Николаевна, как личность, была больше, значительнее, человечнее и даже сложнее всего, что удалось ей написать. Нет, «удалось» пожалуй не то слово; всего, чем она хотела в литературе казаться в расчете на возникновение какой-то легенды, имя которой «Зинаида Гиппиус». Но Блок не ошибся в своей необъясненной формуле о ее единственности, и я уверен, что все действительно близко ее знавшие с Блоком согласны, хотя и они не легко нашли бы своему согласию объяснение. В ней была какая-то сухая печаль, — говорю «сухая», потому что бесконечно далекая от всякой слезливости или жалостливости, — печаль поднимавшаяся будто из самых глубин ее натуры. Если бы все-таки попытаться определить в двух словах то, что было в ней



---

---

основным, самым существенным, я бы сказал, что была она человеком вполне земным, но с каким-то постоянным, хотя и рассудочным — и в этом-то и была ее драма! — томлением о потустороннем. Ей действительно были скучны «скучные песни земли», но не потому, чтобы она помнила «звуки небес», а только потому, что она знала о существовании людей, которые эти звуки улавливали. Не случайно в одном из давних своих стихотворений она писала, что «мертвый ястреб — душа моя». Некоторые ее стихотворения противоречат этому утверждению и как будто рвутся из того заколдованного, удушливого круга, который был ее миром. В некоторых сквозит не то упрек самой себе, не то стремление себе помочь, — например, в восьмистишии, необычно для нее откровенном, лишенном притворства и что-то приоткрывающем:

Преодолеть без утешенья,  
Все пережить и все принять,  
И в сердце даже на забвенья  
Надежды тайной не питать,  
  
Но быть, как этот купол синий,  
Как он, высокий и простой,  
Склоняться любящей пустыней  
Над нераскаянной землей.

Заканчивая эти заметки, я сомневаюсь: не вызовут ли они недоумения? Это все, — могут мне возразить, — это все, что вы нашли нужным сказать о выдающейся поэтессе, о человеке, сыгравшем в нашей новой литературе значительную роль, наконец о верной спутнице Мережковского, сотая годовщина со дня рождения которого недавно была отмечена? (Они ведь были неразлучны, и по утверждению Зинаиды Николаевны не расстались за полвека супружества ни на один день).

Мне хотелось прежде всего быть правдивым, тем более, что правдивость по отношению к Зинаиде Гиппиус в конце концов приводит к чему-то не очень далекому от надгробного «похвального слова». Возникает образ сложный, лишенный тех условно хвалебных черт, которые тут же и забываются. Я рад и даже благодарен судьбе за то, что с Зинаидой Николаевной мне привелось встретиться, — потому, что встреча и долгое общение с таким человеком обогащают жизненный опыт и позволяют еще лучше вчувствоваться в безграничную, загадочную противоречивость человеческого ума и сердца.

---

---

ЮРИЙ ИВАСК

## Эпоха Блока и Мандельштама

### О НОВОЙ РУССКОЙ ПОЭЗИИ

В девяностых годах в «Северном вестнике», журнале ограниченного распространения, появились стихи молодых поэтов — Мережковского, Гиппиус, Сологуба. В те же годы вышли первые книги Брюсова, Бальмонта. Этих поэтов иногда называли модернистами, декадентами, символистами. Но понятия эти очень разные и ими часто злоупотребляют.

Во второй половине XIX века, с прогрессом техники и распространением рекламы, эстетика тоже вовлекалась в торговый оборот. Все должно было быть «модерным»: машины, ткани, мебель, дома. И художники тоже начали претендовать на модернизм. Классицизм новизны избегал, хотя все великие классики писали иначе, чем их предшественники: Еврипид или Расин. Барокко и, в особенности, романтизм, уже отмечены пристрастием к подчеркнутой оригинальности, но культ новизны возник сравнительно недавно.

Символическое искусство — самое древнее. Символичны фрески пещерного человека. Символично всякое религиозное искусство, и оно везде преобладало до эпохи Ренессанса, до возникновения светской культуры. Эллинский классицизм тоже служил религии. На Акрополе воздвигались храмы. Все герои классических трагедий — живые символы, связанные с религиозной мифологией. Классические греки ценили гражданские добродетели, но принимали участие в елевзинских таинствах и совершали паломничества к дельфийскому оракулу.

Новый западный символизм отчасти мистического происхождения. Бодлер читал Сведенборга и использовал его теософию для своей эстетической теории корреспонденций. Однако, он не эстет. Его великая поэзия религиозна в каждом очередном кощунстве

---

Главы из задуманной книги.

---

«Цветов зла». Отрекаясь от Бога, он далеко от Него не уходил, и он умел страстно молиться.

Вершители дум многих символистов — Ницше и Ибсен. Ницше-сверхчеловек — символ: он антитеза Богу, его соперник, — феномен, несомненно, религиозного порядка. Ибсеновские герои тоже символы и их нравственные искания, по существу, религиозные. Но таких наивных русских символистов, как Бальмонт и Брюсов, занимали преимущественно эстетические корреспонденции между любимыми вещами, пригодными для «певучих стихов».

Декадентство у нас неожиданно предугадал забытый элегист пушкинской эпохи — Тепляков:

Потом изящные пороки,

Глухое варварство потом.

Упоение пороками, но без страсти, упоение смертью, но не в бою, а в месте безопасном, или жеманная двусмысленность — вот декадентские черты можно найти и в александрийской культуре, и в манеризме барокко. А в русской поэзии — у Тютчева: *Люблю сие незримо / Во всем разлитое таинственное зло...*

Есть разложение и в стихах «кладбищенского» поэта Случевского, предшественника символистов.

Декадентство, как и все прочее на свете, может быть источником творческого вдохновения. Сколько прелести в декадентских стихах Бодлера, хотя он был не только декадентом, но и мучеником. Однако грубо, утомительно декадентство Гюисманса в его описании черной мессы.

Модернизм был поверхностной модой века сего. Декадентство — западное поветрие, и у нас оно как будто не имело под собою болотистой почвы Франции в «конце века». Символизм, не наивный, брюсовско-бальмонтский, имел глубокие корни и в России, и на Западе. Русские символисты питались не только Ницше, Ибсеном, но и Тютчевым, Достоевским и многие из них были чем-то обязаны Владимиру Соловьеву.

Сколько было символистов, столько было и религий. Соловьевское софианство преломилось в вариантах Блока и Белого. Ницше-символизм — у Вячеслава Иванова. У Сологуба, прославлявшего Господа и Дьявола — своеобразное манихейство. У Мережковского — третий завет Духа-Матери. Вся эта метафизика теперь часто вызывает улыбку или наводит скуку. Пророчества этих лжепророков не сбылись, кроме одного: предсказанная ими катастрофа, действительно, произошла — октябрьская революция. Но никакого возрождения за ней не последовало. Это лучше всего понял Блок, обманувшийся в музыке революции. Все же, может быть и есть какое-то зерно правды у русских символистов-метафизиков, как и у часто двусмысленных гностиков раннего христианства. Дискуссия с еретиками умудряла отцов церкви и способствовала развитию дог-

---

матики. Крохи новой истины были и у русских символистов. Существенно также, что они сохраняли верность «духовному максимализму» после-пушкинской литературы, в особенности огненному Достоевскому, хотя в их собственных писаниях было больше дыма, чем огня. Декадентские соблазны замутняли сознание, у них часто двоилось или троилось в глазах, а все же им иногда приоткрывалось, хотя бы и в искаженном виде — абсолютное, вечное, божественное, а в искусстве они достигли многого. Духовное разложение не помешало, а метафизический символизм способствовал возрождению русской поэзии в короткий, едва только на два десятилетия затянувшийся серебряный век. Символисты творчески выразили то, что требовало выражения — и декадентские соблазны и смутно брезжившие им новые истины. Обновилась самая *плоть* стихов — размеры, напевы, язык; и это обновление поэзии, в лучших случаях, было вызвано не суетливым желанием удивить новизной: новое «содержание» действительно оформлялось иначе; и вместе с тем символизм был связан с романтическими традициями русской поэзии — с Лермонтовым, Тютчевым, Фетом, Полонским.

Историю новой русской поэзии иногда начинают с Бальмонта и Брюсова, хотя они моложе Анненского, Сологуба, В. Иванова, Мережковского, Гиппиус, но они «нашумели» раньше их.

**КОНСТАНТИН БАЛЬМОНТ.** Его давно не читают. Говорят, что и раннего Бальмонта переоценили (Адамович) или же предпочитают среднего (Марков). Мне кажется, все лучшее он написал в молодости, на рубеже двух столетий. Надсоновско-интеллигентскую Россию пробудили его петушиные крики: Будем, как солнце, оно молодое . . . Она отдалась без упрека . . . Я на башню всходил и дрожали ступени . . . Символика его шаблонная, а декадентство — только подражание моде. Не походил он на Нерона, которого однажды назвал братом.

Кто равен мне в моей певучей силе? — спрашивал он. До Блока, действительно, никто из современников. Но есть монотония в излюбленных им трехсложных размерах. Мелодика его напрашивается на пародию. Быстро «приелись» его составные эпитеты — нежно-дымный хризолит. Тютчев был изобретательнее: дымно-легко, мглисто-лилейно . . . И перестали удивлять бальмонтовские неологизмы (безглагольность).

В серебряном веке Бальмонт сыграл роль Языкова — задорного юнца, которому прощаются все мелкие грешки и отсутствие мыслей за звонкий голос. Явился Бальмонт — и вот в накуренной комнате, набитой спорящими интеллигентами, открылась форточка в утренний мир, оглашаемый петушинными криками. Он бездумно радовался и радовал, и не только читателей-модников, но, например, и Анненского.

---

**ВАЛЕРИЙ БРЮСОВ.** Если Бальмонт — петушок, то Брюсов будто бы вол . . . что, однако, неверно, хотя и было у него воловье терпение, когда он писал книгу «Все напевы» или же занимался теорией версификации. Есть у него темперамент, есть дарование.

Современным ему поэтам нравились его чеканные программные стихи: *Ты должен быть гордым, как знамя, / Ты должен быть острым, как меч . . .* Его анти-белинская, анти-чернышевская переоценка русской литературы, до сих пор остается в силе. Другой переценщик, Мережковский, увидел в Гоголе, Достоевском, Толстом вселенских пророков, а Брюсов определил — разъяснил мастерство Пушкина и Тютчева, Каролины Павловой и Случевского. У Брюсова поэты научались большему, чем у очаровавшего их звонкого Бальмонта. Он всегда помнил, что поэзия есть «союз волшебных звуков, чувств и дум» (Пушкин). Многие в его поучениях очень поверхностно, примитивно-научно, как и у всеми забытого, но очень им ценимого провозгласителя научной поэзии во Франции — Ренэ Гиля. Брюсов твердил о хорошем вкусе, но вкус у него был не тонкий, а поэзия часто пустозвонной, как у поэта-урбаниста Верхарна, которому он тоже поклонялся, как и Ренэ Гилю. Теперь в брюсовской поэзии радуют те его стихи, которым он сам, может быть, не придавал большого значения, — его щемящие, задыхающиеся паузники:

Цветок засохший, душа моя!  
Мы снова двое — ты и я!  
Морская рыба на песке,  
Рот открыт в предсмертной тоске.  
Возможно биться, нельзя дышать . . .  
Над тихим морем — благодать.

Цветок засохший — начало пушкинского стихотворения, но все же стихотворение это единственное, неповторимое, брюсовское.

Поэтам честолюбивым, власть имущим, часто удаются стихи, выражающие отчаяние, стихи беспомощно-гренькающие. У Стефана Георге, который тоже разыгрывал мэтра, вождя, даже идола, и более убедительно, чем Брюсов, — лирическое отчаяние выразительнее его торжественных речей.

**ЗИНАИДА ГИППИУС.** Подавая реплики на религиозно-философских собраниях, она наводила пугающий лорнет на архиереев и батюшек. Играла свою роль салонной «дьяволицы», но и была по настоящему умна. Еще в «Мире искусства» она писала: вот Мережковский и Розанов постоянно говорят о Боге, интересно говорят, но сами как-то от Бога прячутся. Больше полувека Гиппиус писала стихи «на религиозные темы», но избегала что-либо претенциозно утверждать, как многие из ее современников-симолистов. Сомнений своих, в противоположность другим богоискателям, она не скрывала.

---

---

Поэзия Гиппиус — интеллектуальная. Мне мило все отвлеченное, — писала она еще в 90-х годах. Поэтический словарь ее — бедный. В мире Гиппиус конкретна только всякая нечисть — пауки, пиявки, кобры, вообще все отталкивающее, страшное — «рыже-липкие струи», «шершаво-пыльный гранит». Незабываемы ее образы кошмарных девочек, казалось бы возникших из предсмертного бреда Свидригайлова: одна из них — «девочка в сером платьице» (как и сологубовская Недотыкомка серая) — есть физически воплотившееся зло. У нее косы как будто из ваты и особенный говорок — прерывисто-дразнящий, ласково-жуткий:

То у бусинок нить раскушу,  
То первый росток подсушу,  
Вырезаю из книг странички,  
Ломаю крылья у птички.

Злая метафизика и кошмарная пошлость всегда вещественно-реальна в поэзии Гиппиус. Что-то она досказала о бесах, чего не сказали Гоголь и Достоевский. Как и Бодлер, Гиппиус иногда упивалась «цветами зла». Декадентская атмосфера — для нее самая привычная, домашняя, и она как-то обескураживающе-естественно жалила или ломалась; и ее незачем попрекать за манерность. Без позы — не было бы ее поэзии обольщений небытием. Ей нравилось заигрывать со злом и, именно поэтому, ей удавалось его художественно воплощать.

Из своих жутких сумерек Гиппиус тянулась к свету. Если верить Злобину, ее последнее слово о «самом главном» — эти два расщипрованных им стиха:

Но свободою Бог зовет,  
Что мы называем любовью.

Может быть, это значит: если бы люди по-настоящему любили, они тоже называли бы любовь — свободой.

Изредка удавались ей образы-символы недекадентские — не злая девочка в сером платьице или с красной лейкой, а добрая, с розами: Святая Тереза Младенца Иисусова:

Она не судит, она простая,  
Желанье сердца она услышит,  
Розы ее такую чистою

Такою нежною радостью дышат.

А все же главное ее назначение — в изображении и разоблачении всякой вышедшей из небытия и жутко воплотившейся небыли.

Гиппиус — мастер того «валкого» размера, который иногда называют паузником или дольником. Фет в этом неровном ритме задыхался, агонизировал. А она в своих обрывистых стихах то манерно лукавит, как ее кошмарные девочки, то сама по декадентски ворочит, то капризно-упрямо спорит с Богом или с дьяволом, то тихо молится своей маленькой Терезе, то зябко поеживается в своем

---

отвлеченном одиночестве; и умеет она в своих паузниках передавать все оттенки неповторимых интонаций голоса:

Тихие сумерки . . . И разноцветная  
Медленно меркнувшая морская даль.  
Тоже тихая и безответная,  
Розово-серая во мне печаль.

В предисловии к первому сборнику стихов Гиппиус писала: «поэзия (. . .) словесная музыка — это лишь одна из форм, которую принимает в душе молитва». Но в той же книге она признается: *Мне близок Бог, но не могу молиться, / Хочу любви и не могу любить . . .* Так она и осталась у порога Дома Божьего, — окруженная привычной ей нечистью из гоголевского «Вия», но и с порывами к свету, с робкими полумолитвами. А в творчестве своем она чиста: песню свою она в русской поэзии спела. К тому же, по самой природе своей искусство безгрешно, хотя и может соблазнять.

**ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВ** — филолог-классик, гуманист, каких мало было в России, да и в Европе. Кое-кому казалось — в нем нет ничего русского, а он коренной москвич. Русские его корни в поэме «Младенчество» (1918 г.). Строфика напоминает онегинскую (14 строк), а ключ к «Младенчеству» тот же, что и в «Возмездии» Блока, в «Первом свидании» Белого — ключ «невещественный», мистический. Описывается в поэме и быт — московский, интеллигентский, начала 70-х годов. Но всюду соприкосновение с мирами иными: ранние видения, тайные знаки. Язык отчасти разговорный: *Мать у Большого Вознесенья / Сам-друг живет своим дожком . . .* Но немало и архаизмов: *Сотворили Псалтирион / Мои персты . . .* Прадед был протоиерей, а правнук станет жрецом неведомой церкви; и унаследованный от предков церковнославянский язык прозвучит иначе, чем в церковной поэзии; а на закате жизни он будет писать мистический эпос, покрывающий тысячелетие Руси.

У Вячеслава Иванова своя особенная религия, как и у других символистов. Бердяев писал, что он смешивал и даже отождествлял Христа и Диониса, «открытого» и оживленного Фридрихом Ницше. Это неверно, — убедительно доказывает Степун. Все же, как и у других символистов-богоискателей, была в его писаниях некоторая двусмысленность и, главное, не было огненной веры. В культуре В. Иванов у себя дома, но не в религии. Он умел раскрывать творческую культуру, основанную на традиции, и несколько лет царил над всеми модернистами в своей знаменитой квартире-башне в Петербурге. По сравнению с ним, мэтр Брюсов многое терял, казался поверхностным. А после революции В. Иванов отстаивал культурную традицию от своего собеседника М. О. Гершензона, который в спешности культуры усомнился («Переписка из двух углов»).

В. Иванов писал о греческих трагедиях, о романах-трагедиях До-

---

стоевского, но трагедии русской долго не замечал (в отличие от Блока, Белого, Гиппиус). Он объял многое в минувшем, но эпоха крестом на него не легла. Пророчествовал о новой хоровой культуре, и пророчества его сбылись, но в искаженном виде — в гротеске большевиков, составлявших «хор» из послушных рабов-подголосков. Как Стефан Георге, мечтавший о новом духовном германском ордене, не ответствен за Гитлера, так и В. Иванов — за Ленина и его наследников. Оба поэта эмигрировали.

Поэзия В. Иванова — торжественная, жреческая, со многими славянизмами, и перекликается с нашим XVIII веком. У Василия Петрова султан *ярится*, а у Вячеслава Иванова бык *ярился*. Некоторые стихи — очень уж ученые, монотонные, но иногда книжника одолевают страсти и тогда он становится поэтом:

И не затем ли так узывно дики  
Тимпан и систр . . .

Восклицает он — тоже торжественно, но с хрипотцой страсти. Есть манерность в этом наречии-неологизме, похожем на архаизм: *узывно!* Но есть в его иступленных стихах и смелый вызов. Пусть и у вакханта язык книжно-изысканный, но иногда ему не до книг:

Люблю тебя, любовью требуя;  
И верой требуя, любя

Эта поэтическая формула риторична, но слышится здесь голос страсти, как у Корнелия и Расина в их стихах-изречениях.

Мистика В. Иванова убеждает, одушевляет не в его стихотворных трактатах, а в задыхающихся «паузниках»:

С отцом родная сидела,  
Молчали она и он.  
И в окна ночь глядела . . .  
«Чу», — молвили оба «звон . . .»

Здесь ничего не провозглашается, но — переживается.

Твой нагие мощи, Рим . . . — сказал В. Иванов на склоне лет, уже сам римлянин и римский католик. Действительно, он дал Риму земное бессмертие в русской поэзии. В его Вечном Городе говорят камни; и нет ничего отвлеченного, есть живость — особенно в барочных «сценах»:

Танцуют отроки на головах  
Курносых чудищ. Дивны их проказы:  
Под их пятой уроды пучеглазы  
Из круглой пасти прыщут водный прах.

Все звучно-архаично, но и вещественно-точно, иногда забавно-гротескно. Будто Державин и Гоголь «смешались» и получился В. Иванов, непохожий, однако, ни на Державина, ни на Гоголя.

Ямбическое московское «Младенчество», зазывные или узывные вакхические клики, «паузники», осенний барочный Рим, да и мно-



---

---

гое другое — вот чем одарил русскую поэзию В. Иванов, и можно только пожалеть о том, что стихи его мало читают.\*

**АЛЕКСАНДР БЛОК.** Свежо предание, но верится с трудом...

Еще в 20-х годах Блок был для многих — не один из поэтов, а единственный поэт, сама поэзия, мерило ее. Его не забыли, не забудут, но отношение к нему уже прохладное, почти что «официальное». Ему кадят, но на него немногие молятся. В диалогах Живаго и Лары слышались уже последние отзвуки блоковской высокой лирики.

Уже в ранних своих стихах — Блок мистик и влюбленный. Таким он и остался до конца. Мистику понимали плохо, а потом совсем перестали понимать; влюбленного всегда понимали.

За чистыми гимнами — гимны соблазнительные: появилась Незнакомка. Блок достигает мастерства. Лирический порыв еще стремительнее, страстнее, волшебнее.

Позднее — образ России. Ее прошлое — Куликово поле. Ее будущее — Новая Америка. Летит степная кобылица... Уголь стонет и соль забелелась... Токи огромного напряжения, упоительные ямбы, упоительные анапесты.

В юности сладостные мотивы Жуковского, Фета, Полонского. В зрелые годы — гоголевская музыка пространства-простора, ямщицкие колокольчики, цыганская гитара Аполлона Григорьева, «достоевские» выкрики Мити Карамазова, наконец, вагнеровско-нищевская музыка будущего, — но в русском исполнении, с русской инструментовкой. Полет не то в Новый Иерусалим, не то — вверх тор-машками, в тартарары. Но куда бы мы с Блоком ни летели, мы испытывали счастье быстрой езды. Можно сказать: Блок *спел* Гоголя и Достоевского, *допел* Аполлона Григорьева, *договорил* последние слова Дон-Жуана: Выходи на битву, старый рок!

Блок поддавался стихиям — был медиум в «процессе творчества», а в поэзии гипнотизировал обезумевших вместе с ним читателей. Иногда, волнуясь и спеша, искажал язык. Нельзя держать Равенну-младенца *в руках*. Нельзя смотреть издали *за темную вуаль* Незнакомки. Педанты его за это укоряли (С. К. Маковский). Но

---

\*Жаль, что позабыли и критические статьи В. Иванова, его замечательный очерк «Манера, лицо и стиль» («Ворозды и межи»). Манера — это литературные приемы. Лицо — творческая личность. А в стиле преодолевается все субъективное, психологизм; и техника, приемы — строго подчинены «идее», «норме». У акмеистов, писал В. Иванов — есть манера, но нет лица, они увлекаются стилизацией, у них нет стиля, как и у футуристов, у которых только литературные приемы. В том же очерке В. Иванов пишет: в современном искусстве немало бунтарства, многие из художников наших — мятежники, но все они только взбунтовавшиеся рабы, а не владыки, не цари, как Данте. Последние из писателей реалистов похожи на обезьян: поверхностно подражая природе, они ни в чем разобраться не умеют, ничего вообще не смыслят.

---

---

здесь не ошибка, а прием, хотя бы и неосознанный: если в стихийной поэзии все позволено, то можно иногда и ломать грамматику (то же самое делал Толстой, но по другим причинам — он думал, что герой его, Правда, изъясняется коряво, а не по-тургеневски гладко...).

Гармоничны, даже как-то «акмеистичны» некоторые итальянские стихи Блока — прекрасные, но все же не вполне блоковские. Вообще — став мастером, он мастерства своего не ценил. Не хотел, чтобы свободная птица вдохновения томилась в тесной клетке искусства («Художник»).

Еще в ранней юности Блок писал, что будет свидетелем «гибели вселенной». Но и верил тогда, что после великих мятежей наступит небывалое возрождение. Чаяния наполовину сбылись — если не вселенная, то русский «старый мир» сторел в революции, не в февральской, а в октябрьской, стихийной. Еще есть упоение в стихийной динамике «Скифов»: *Да, скифы мы! (. . .) С раскосыми и жадными глазами . . .* А в «Двенадцати» — упоение слабое. Частушечный говорок заглушает песню ветра. В эпилоге — ложь — художественная и религиозная: сусальный Христос хлыстовского радения. Да, ложь, хотя Блок никогда не лгал, только заблуждался. Он писал, что увидел Христа впереди красноармейцев, и он же говорил, что глубоко ненавидит этот «женственный призрак». Ему хотелось, чтобы тех двенадцать вел «Другой». Так оно и было: Сатана прикинулся Христом. Это не ново: иногда обманывались и святые, принимая Антихриста за Христа. Петька разобрался лучше автора: после убийства Катьки покаялся. С ним был истинный Христос. Позднее Блок понял, что был введен в обман: никакого возрождения за гибелью «старого мира» не будет. Он умер — оттого что «музыка ушла из мира». Зинаида Гиппиус его за «Двенадцать» «не прощала»... Но такие страстотерпцы — все прощены. Мы же испытываем благодарность, благодарную радость: на какой лирический девятый вал подымались мы с Блоком; но теперь мы с ним уже не возносимся.

Да, Блок ошибался и, ошибаясь, мучился, пел. Может быть, серафимы поют его песни в раю, хотя и без слов, без блоковских — иногда кощунственных слов.

Теперь конец мира куда реальнее, чем в блоковскую эпоху. Но нет апокалиптического упоения, — нет того ямщицко-цыганского, гоголевско-достоевского вызова, который сводил с ума в блоковской поэзии. Песни гибели больше не веселят сердце и не верится, что за катастрофой наступит какое-то возрождение. Вот почему Блок от нас далек! Мы еще восхищаемся им, но уже не отождествляем себя с Блоком.

Блок наиболее «максималист» из всех писателей XX века, и это связывает его с другими «максималистами» — со всей нашей проро-

---

---

ческой, послепушкинской литературой, не только с Достоевским, но и с Толстым. Стоит жить, чтобы предъявлять огромные требования к жизни, — писал Блок. Он их и предъявлял, а когда эпоха отказалась их выполнить — задохнулся.

Блок был одержим стихиями, упивался динамикой-дисгармонией, «ветровыми» песнями, но умирая вспомнил «веселое имя» Пушкина и завещал нам — пушкинское откровение о жизни, а не о гибели и об утопическом будущем. Программу-минимум — по сравнению со своей программой-максимум. Но вечное раскрывается не столько по горизонтали истории — в грядущем, сколько по вертикали — из любой точки настоящего, которого у Блока не было. Он отвергал почти все, что видел вокруг себя и жил-пел в романтических порывах, а за порывами неизбежно следуют срывы. Говорится это, конечно, не в укор. У Блока — своя судьба, не навязанная ему извне, а добровольно им принятая и полностью раскрытая им в поэзии.

**АНДРЕЙ БЕЛЫЙ.** Неоформленный гений, недовоплотившийся человек. Тянуть безвесый, никакой . . . — писал он о себе. Но лучше сказать — не тянулся, а несся с безумной быстротой. Был — эфирной породы, но и зорок: все подмечал, гротескно преувеличивая каждую мелочь. Его герои в романах или гоголевские «типы», или «достоевские» бесы, но в современном одеянии и с обостренными нервами; или — такие же эфирные существа, как он сам. Вершина Белого-поэта — «Первое свидание», поэма о Москве на рубеже двух столетий, о его юности, о студенческих годах. Следуя за Владимиром Соловьевым, за его «пророческой метелью», он где-то на Арбате увидел утопические зори новой эпохи. Вестницей светлого будущего явилась ему Надежда Львовна Зарина — Маргарита Кирилловна Морозова (1873-1958), добрый гений музыкантов, поэтов, философов:

Браслеты — трепетный восторг —

Бросают лепетные слезы;

Во взорах — горный Сведенборг;

Колье — алмазные морозы . . .

Блеснет, как северная даль,

В сквозные, веерные речи . . .

Летит вуалевая шаль

На бледнопалевые плечи

Тут же плотный, увесистый московский быт «купцов, ученых, миллионеров»: на концерте — «рой матрон мегерых», а на улице — «мордастый кучер прогигикнет». Но все бытовое вовлекается в вихревой полет и уносится по родному Арбату, то в Благородное собрание, то в Новодевичий монастырь, то ли к черту на кулички, то ли в

---

---

мистическую северную даль. Современная наука тоже движется — танцуя. Белый соединяет —

Законы Бойля, Ван-дер-Валяса —  
Со снами веющего вальса . . .

А в эпилоге поэмы ветры и вальсы замирают в лирическом шестесте:

Я смыт вздыхающей волною  
В неутихающий покой.

В «Первом свидании» тот же размер, что и в «Евгении Онегине», но этот — самый излюбленный русскими поэтами ямбический метр — изменен почти до неузнаваемости. У Белого преобладают облегченные четырехстопные ямбы с двумя ударениями. По подсчетам К. Ф. Тарановского, их иногда больше 20 процентов. К тому же добавлю, они часто следуют один за другим (частота ряда):

Невыразимая Осанна,  
Неотразимая звезда,  
Ты откровеньем Иоанна  
Приоткрывалась навсегда.

Та же быстрота и легкость и во многих других его стихах. Смысл — иногда улетучивается: слышатся одни звуки. Музыка его ветров и вальсов враждебна слову. Но в «Первом свидании» есть быт, то гротескный, то уютный, и хотя он тоже сдвигается с места, но, при этом, иногда оказывает сопротивление крылатому поэту.

Степун сказал о Белом: он существо, променявшее корни на крылья. Но в этой поэме Белый все же в какой-то почве «коренится», как и в своей прозе (и в романах его слово крепче, чем в поэзии).

Эфирный Белый в чем-то совпадает с нашей эпохой убыстренных скоростей. Но где цель? Нет цели в нашем увлекательном аэростроительстве; и, может быть, на другие планеты полетят уже не люди, а роботы. Бесцелен и полет «безвесового, никакого» Белого. В нем мало было сущности, мало бытия. Он романтический поэт-энтузиаст-мистик, но и нигилист, стремительно влекущий не в благословенный Египет осенних журавлей, а в никуда. Он все завивался в пустоту —

Лия лазоревые дури  
На наши мысленные зги.

Но иногда радостно захватывает дух и от современных самолетов, и от стихов летучего Белого. Кое-кто возразит: уж не кощунственная ли это пародия на Св. Духа, который дышет, где хочет? Сплошной обман Люцифера? Едва ли . . . Все это безумное парение могло бы быть осмыслено человеком, словом человеческим и словом Божиим. Что-то знал об этом и Белый. Завиваемый ветрами и

---

вальсами он иногда затихал, очеловечивался на московском перекрестке, где —

... Богоматерь в переулочек  
Слезой задумчивой глядит.

Белый умер от последствий солнечного удара или от злоупотребления солнечными ваннами. Свою смерть он сам себе напрогнозировал: *Золотому блеску верил, / А умер от солнечных стрел* (1907). В этом стихотворении, да и в некоторых других, слышится рыдающий надгробный напев. Значит не был он только каким-то эльфом, а иногда воплощался в человека и горько оплакивал свою судьбу.

Белый шел — вернее, неся, по творческому пути, параллельно пути Блока, и их часто сравнивали. Блок тоже мчался, и у него — крылья, но он взвалил на горб груз эпохи и, задохнувшись, упал под непосильной тяжестью. А Белый — все зорко подмечая, глядел на жизнь со стороны, из стратосферы, и страдал не от ноши, а от своей невесомости, от отсутствия земного притяжения, от своей гениальной, но иногда несколько хлестаковской легкости в мыслях.

Мандельштам писал о нем:

Как снежок на Москве заводил кавардак гоголёк,  
Непонятен-понятен, невнятен, запутан, легок.  
Собиратель пространства, экзамены сдавший птенец,  
Сочинитель, щегленок, студентик, студент, бубенец...  
(«Памяти Андрея Белого», 1934 г.)

**ИННОКЕНТИЙ АННЕНСКИЙ.** Подобно Бальмонту и Брюсову он искал символических «соответствий» между земными предметами и явлениями, но, вместе с тем, не имел ничего общего с наивным сомнительным эстетством этих зачинщиков модернизма. Он далек и от символистов-богоискателей с их религиозными чаяниями и неземными мечтами, и они его недолюбливали. Для В. Иванова Анненский — «разоблачитель беспощадный», не удостоившийся «высших духовных посвящений». Да, символов вечного он не искал и какую-то свою собственную религию изобретать не порывался.

Анненский не прощал Богу страданий. Он всегда помнил о слезинке безвинно умученного ребенка и, как Иван Карамазов, готов был отказаться от входа в мир Божий. Ему было страшно жить, и ему было всех жалко — не только озлобленных «Эстонок», не прощающих гибель своих сыновей-бунтовщиков, но и какого-то задержанного в участке жулика-забуддыгу, которому так хотелось «курнуть».

В мире Анненского — всюду незабываемые обиды.

Бывает такое небо,  
Такая игра лучей,  
Что сердцу обида куклы  
Обиды своей жалчей.

---

---

Кукла эта, бросаемая в водопад чухонцем — смелый, необычный символ жалкого смертного — «игрушки в руках судьбы».

Страдание, жалость и еще ужас. Как и близкие ему по духу — Случевский и С. А. Андреевский, написавший «Книгу о смерти», Анненский был одержим мыслями о конце. Тот же ужас разлит в поэзии замечательного польского поэта Киприана Норвида (1822-1883), но его Анненский не знал.

Умел он передавать ужасное и пошлое. Вот похороны по первому разряду в Вене: фраки, серебро и фенол

В дыханья левкоев и лилий . . .

Все это похоже на ложь —

Так тусклы слова гробовые.

Описал он и собственные похороны («Зимний сон»).

Некоторые стихотворения Анненского напоминают короткие рассказы Чехова. Его «Прерывистые строки» — вариант чеховской «Дамы с собачкой». Но там где Чехов вяло-спокойно констатирует безвыходность положения, — Анненский срывает голос в лирическом крике-вопле: Этого быть не может!

Или восклицает:

Как эта улица пыльна, раскалена,

Что за печальная, о Господи, сосна.

(«Нервы»).

Можно сказать: Анненский *спел* Чехова (выразил чеховскую тоску в поэзии).

Обличая бессмыслицу повседневного быта и торжествующей пошлости, Анненский иногда подражал забытому теперь во Франции «проклятому поэту» Шарлю Кро (1842-1888) — его гротескно-детскому языку; вся наша жизнь это: ням-ням, пи-пи, аа, бобо. Подражая ему Анненский писал:

. . . я был бы Бог . . .

Когда б не пиль, да не тубо,

Да не тю-тю после бо-бо.

Анненский любил то, что его мучило, пугало или даже вызывало отвращение. Каждый художник любит свой материал, утверждал он, и именно поэтому Гоголь умел извлекать поэзию из описываемой им пошлости. То же самое можно сказать об Анненском. В искусстве он упивался тем, что его мучило в жизни.

Иногда, как-то очень по-декадентски, он упивался болью в этих незабываемых жестоких стихах:

И стойко должен зуб больной

Перегрызать холодный камень.

Еще одно стихотворение, напоминающее чеховский рассказ («Кулачишка»). Жил какой-то забулдыга, жил только для того —

---

Чтоб дочь за глазетовым гробом  
Горбатая, с зонтиком, шла.

Все грубо, повседневно, и в эпилоге эта укалывающая сердце иголка (по выражению Адамовича). Анненский был великий мастер всаживать эти иголки — иногда реалистические (в «Кулачишке») или же просто лирические: «нищенство берез» или —

Этот нищенски синий  
И заплаканный лед!

Изредка Анненский вставлял модные — модернистические «красивые» слова — будь то «лиловые аметисты» или «сладостный гашиш»; или же соблазнялся поэтическими красотами, уже выходившими из моды (грезы, ореол, фиал). Но в его лучших — игольчатых стихах — этот эффектный театральный реквизит отсутствует.

Анненский поэт изумительный, но неровный, иногда косноязычно-беспомощный. Об облаках он говорит: *И столько мягкости таило их движенье, / Забывших яд цепей и муку расторженья...* Это нелепо сказано, — нелепо. Даже во многих лучших его стихотворениях сталкиваются одинаковые согласные: зуБ Больной... Ты муЗ Сулишь, Фамира... Нет плавности, хотя он и умел иногда извлекать сладостные звуки из словесной мелочишки, из местоимений, частичек: Скажи одно ты та ли, та ли...

Анненский — классик, гуманист, как и В. Иванов, но в стихах своих он не прославлял ни темного Диониса, ни светлого Аполлона. Его сердцу ближе обезображенная статуя Андромеды «с искалеченной белой рукой»: такую вот богиню пожалеть можно, и она его вдохновила.

В переводных и оригинальных греческих трагедиях Анненский избегал архаизмов, которые у нас культивировали поэты-переводчики от Кострова, Гнедича до Вячеслава Иванова. Ему нравилось классику снижать: в его греческих трагедиях слышится русское просторечие (футы-нуты, шкодливая кобылица) и даже допускаются газетные вульгаризмы (интересен, артистичность). А его Фамира Кифаред, главный герой одноименной трагедии — неврастеник XX века...

В поэзии Анненского — *грузный полет* (как и в одном из забываемых зимних его стихотворений). Он тяжело и невысоко взлетал. Анненский боялся предать на каких-то седьмых небесах всех, кого он жалел, всех кто безысходно томится на земле, и свою чеховскую героиню в «Прерывистых строках, и Кулачишку с его горбатой дочерью, или жулика, запертого в «холодной» — все жалкое и даже пошлое.

А сердце... бубенчиком бьется  
Так тихо у потной шлеи.

Это и есть его поэзия, его красота — не залихватые колокольчики гоголевской или блоковской тройки, а слабо звенящие бубен-

---

цы на замученной, вспотевшей кляче, которой не угнаться за рысаками-пегасами. Седок-поэт все это любит и бессильно, но упорно укоряет отсутствующего Бога и бессмысленную смерть.

Лишь изредка этому чеховскому интеллигенту с философией Ивана Карамазова брезжилось:

А если грязь и низость — только мука  
По где-то там сияющей красе . . .

Все же небо Анненского — пустое, сколько бы ни протягивались к нему «дальние руки» его поэзии.

За Анненского нельзя краснеть, как иногда за символистов с их вещаниями и чаяниями, хотя у них и была все же какая-то крупница истины. Он не лгал и не знал худшей разновидности лжи — искренних самообольщений. «Слушай и в смутных догадках не лги» — как бы еще «дописывает» его стихи в Париже Георгий Адамович.

Обиды и страхи Анненского — общечеловечны. Но доверие к жизни, к Богу тоже общечеловечно. Может быть, в наше время поэзия Анненского менее остро переживается — и не потому, что смерть теперь как-то «приелась» . . . Но кое-кого иногда заливая благодарностью за то, что мы все еще живы, не покараны за все наши преступления, за наше попустительство злу и, может быть, небеса — не пустые.

Анненского оценили поздно. Первая его книга прошла незамеченной. Но незадолго до его смерти его окружили молодые поэты — будущие акмеисты. Ахматова ему многим обязана — и отрывистыми паузниками и колкими прозаизмами. А настоящая оценка еще более запоздала. Его по-настоящему понял в 20-х годах Адамович. Он призывал эмигрантских поэтов учиться у Анненского, и Червинская, Штейгер, Чиннов у него многому научились, как до них Ахматова.

**ОСИП МАНДЕЛЬШТАМ.** О нем нелегко говорить. Даже самые верные его читатели прежде не имели настоящего представления о его поэзии. Он продолжает посмертно расти в наших душах.

Уж в «Камне», в стихах написанных в ранней юности, зазвучал этот волшебный голос — то виолончели, то флейты:

Только детские книги читать,  
Только детские думы лелеять,  
Все большое далеко развеять,  
Из глубокой печали восстать.

Такой счастливой, радостью одаряющей благодати — давно не было в русской поэзии. Мандельштаму тогда было семнадцать лет. Через год он пишет другое волшебное стихотворение о темной звериной душе.

Еще один глубокий лирический вздох и выдох:

«Господи!» — сказал я по ошибке,  
Сам того не думая сказать.



---

Это не только стихи мастера. Это благодатные дары, щедро рас-  
сочаемые всем тем, кому поэзия на самом деле нужна.

Несколько позднее — отчасти в соответствии с парнасской про-  
граммой акмеистов — стихи о соборах Нотр-Дам и Айи-Софии, сти-  
хи о Петербурге и Риме: всюду плотные вещи, камни; но обо всем  
этом не рассказывается, а поется, везде слышится тот же волшеб-  
ный к вольный голос, и ничего уже не остается от «тяжести недоб-  
рой» храмов и дворцов.

Стихи о Троянской войне: всего двенадцать строк; и это — не  
единственный ли достойный Гомера русский отклик на «Илиаду»:

Куда плывете вы? Когда бы не Елена,  
Что Троя вам одна ахейские мужи?

На какой жаворонковой высоте прозвучали эти лирические во-  
просы: куда? что? . .

В «Камне» и „Tristia“ вся наша иудео-эллинская-латинская цивили-  
зация спела свою песню песней.

Немало книжных ассоциаций, но это не ученая, архаизирован-  
ная поэзия Вячеслава Иванова. Не поэтические иллюстрации к исто-  
рии культуры Брюсова или Гумилева.

Мандельштам на своем лирическом приволье по-детски свое-  
нравно играет в географию, историю, в искусство. Он, дитя Европы  
(L'enfant d'Europe), ее свободный и мудрый наследник, запирает оз-  
веревшие европейские народы в «Зверинец» (1916). Поэт помнит: на  
самом деле они не звери, а строители соборов, слагатели гимнов. и  
языки их братские, вскормленные в той же самой «колыбели пра-  
арийской». Братство народов для Мандельштама — не лицемерный  
лозунг, а счастливая истина, прозвучавшая в хорале. Жестокую исто-  
рию поэзия не меняет. Но гимны Мандельштама поистине одари-  
ли светлой радостью и общеевропейское смутное время войн и ре-  
волюций. Благословенны его лирические сады тысячелетней куль-  
туры. В обрусевшем Крыму — «наука Эллады» (виноградники). Ита-  
лию и Русь роднят московские соборы «с их итальянской и русской  
душой». Русские и немцы возделывали тот же «славянский и гер-  
манский лен». Прекрасная дама Мандельштама — Ленор из бюрг-  
еровской баллады, Лигейя Э. А. По, Серафита Бальзака, русская Со-  
ломинка. Все они разной национальности и сливаются в образе его  
музы.

Мандельштам использовал технику модернистического импрес-  
сионизма, который, впрочем, не так уже блещет новизной: его мож-  
но найти у Тютчева, у Фета, в прозе Константина Леонтьева, в ба-  
рочной поэзии Донна или Гонгоры. Современный импрессионизм  
выражает быстроту и спешку нашей городской цивилизации. Грехи его —  
неряшливость и безответственность. Но в высокой поэзии  
импрессионизм убыстряет ритм. Капризный полет державинской

---

---

ласточки «туды и сюды», как и излюбленных мандельштамовских ласточек — «импрессионистичен».

Мандельштам часто перескакивает-перепархивает от одного предмета к другому (эллипсы). Есть «зияние» между отдельными его строчками, но каждый стих в отдельности — четкий, изваянный, одушевленный.

Только в пальцах роза и склянка —

Адриатика зеленая, прости!

Что же ты молчишь, скажи, венецианка,

Как от этой смерти праздничной уйти?

Роза влюбленных и склянка с ядом ревнивых; и, выписав эту строчку эпиграфом, можно было бы написать дюжину итальянских новелл в стиле 15-16 вв. В этом стихе дана ситуация, за которой импрессионистически быстро следует реакция: прощание с Адриатикой, упрек молчащей венецианке, — может быть всей Венеции с ее колоризмом в жизни и в живописи, с ее тщетой-суетой карнавалов — веселящих и губящих; упрек *праздничной смерти* в прекраснейшем и «протоестественном» городе на лагуне. В этой строфе два вокатива (Адриатика, венецианка), два императива (скажи, прости) и два вопроса (что же, как . . .). Эти грамматические формы допускают музыкальное-восклицательное или вопросительное ударение, и они придают этим, да и многим другим стихам Мандельштама особенную живость, обогащают их тональность.

Звуковые повторы имеют второстепенное значение в поэзии Мандельштама. Смысла они нигде не затемняют, но иногда волшебным образом расширяют значение, понимание. Поговорим о Риме . . . — писал он. Здесь слово *Рим* повторяется в глаголе *поговорим*. Так, хотя бы и искаженный в нашем языке Рим (не Roma) сближается — оказывается в звуковом родстве с русским разговорным выражением. Это лишний раз доказывает, что душа поэзии имеет свою психологию и фразы нейтральные по своему значению в прозе — пересмысливаются в стихах. Но проанализированные чудеса поэтического языка остаются чудесами и, к счастью, что-то от анализа всегда ускользает.

Источники поэзии Мандельштама — элегические. Он верно угадал свое «избранное сродство» (Wahlverwandschaft) с почти забытым мастером элегий: *Батюшков нежный со мною живет . . .* — писал он (в стихотворении, ему посвященном). У Батюшкова Мандельштам находит то, что было у него самого:

Шум стихотворства и колокол братства

И гармонический проливень слез.

И оба они были «итальянцами» (италофилами) в русской литературе. Но батюшковские элегии Мандельштам переписал заново на убыстренном импрессионистическом языке современной поэзии, и

---

---

оживил «отборный» поэтический словарь этого жанра разговорной речью. Все же, на слух, в его стихах иногда слышатся замедленный речитатив и плавное звучание Батюшкова. Вот первый стих батюшковской элегии «Тень друга»:

Я берег покидал туманный Альбиона . . .

А у Мандельштама:

За мыс туманный Меганом . . .

В последние годы жизни Мандельштам начал спешить. Он уже не заботился о лирической скульптуре стиха, его потянуло к эксперименту. Заввучали в его поэзии пастернаковские интонации, промелькнули хлебниковские неологизмы (кусава, жизненочка, умира-ночка). Это совсем не значит, что Мандельштам стал «модничать». Ему смутно брезжился замысел новой «Божественной комедии». Не в поэме Данте, а в своей собственной только еще «запланированной» Комедии, он услышал какой-то «футуристический рев» и никому неведомые еще «порывообразования» (а не «словообразования») и, может быть, многие его последние стихи были черновиками будущей большой поэмы.

Еще его заставляла спешить эпоха. В роковые 30-е годы круги советского ада все сужались. Его уже считали политически неблагонадежным. Он вызывающе смело уколол эпиграммой Сталина. Арест, ссылка в Воронеж и постоянное ожидание новых преследований. Приходилось писать урывками, в нищете, в короткие паузы между двумя страхами. Он наскоро записывал, что ему самому было еще неясно.

*Петербург! Я еще не хочу умирать*, — взывал он в Ленинграде. А в воронежской ссылке мечтает: *На вершок бы мне синего моря, на игольное только ушко!* Его тянуло на Запад, он возглашает здравницу — и не только за ламартиновско-тютчевскую музыку «сосен савойских», но и за то, что как будто лишено всякой привлекательности — за бензин парижских Елисейских полей, «за дальних колоний хинин».

Новая Россия его поедом ела. Но и в советском аду Мандельштам сохранил свыше дарованную ему благодать и свое детское — неисчерпаемое доверие к миру человеческого и Божьему. *Я больше не ребенок . . .* — писал он в 1931 году. На самом деле он оставался им до конца: *Вот оно, мое небо ночное, / Пред которым, как мальчик стою . . .* (1937).

Его последние мытарства и его последние стихи — трагичны, но все же везде чувствуется, что он — во имя блаженной своей лирики — противился мрачной, давящей трагике. Есть горечь, но и блаженство полета во многих его воронежских стихах:

---

---

Не кладите же мне, не кладите  
Остроласковый лавр на виски,  
Лучше сердце мое расколите  
Вы на синего звона куски.

Сказано: лавр, а читай: терний! Жалобные стихи, но и ликующие. Да, везде «привкус несчастья и дыма»; и ласточка его — уже «хилая, разучившаяся летать», но все же порывается в высь; и он сам еще раскалывает свое сердце на драгоценные куски небесного звона.

Фламандский мистик Рюисбрёк писал о трех образах пробуждающегося духа: верный служитель, тайный друг, скрытое дитя. У Манделъштама были эти качества мудрого «скрытого дитяти», но было у него и детское своеобразие, были ребяческие прихоти, было божественное легкомыслие чистого лирика.

Казалось бы, Манделъштам был далек от религии: от синагоги оторвался, а в церковь не вошел, хотя и тянулся к христианству. Но ему — блаженному ребенку и чистому сердцем художнику — раскрылась тайна греческой литургии:

И Евхаристия как вечный полдень длится —  
Все причащаются, играют и поют,  
И на виду у всех божественный сосуд  
Неисчерпаемым веселием струится.

Если бы христиане это помнили, знали: неисчерпаемое веселие Евхаристии, а не только педантично пересчитывали бы свои грехи! Эта строфа могла бы быть эпиграфом к книге по литургике.

У Манделъштама не было «чаяний» символистов с их верным предчувствием гибели и обманчивой мечтой о возрождении. Избежал он и холодного парнасского эстетства акмеистов. Небесную красоту он не проповедывал, земной по эпикурейски не наслаждался, но увлекаясь детской игрой с любимыми «вещами», и даже задыхаясь в глухом Воронеже, он все еще одарял лирической благодатью «скрытого дитяти». Секрет Манделъштама: наперекор всем враждебным стихиям он доверял свету — в ночи советской, звонил в свой батюшковский «колокол братства», тянулся за быстро летающими «туды и сюды» ласточками, иногда тяжело вздыхал, но не злобствовал, не проклинал, а щедро благоволил к миру, из которого его вытеснила озверевшая власть. Из любой земной точки он подымался к земному небу свободы и братства.

Старый Х., живущий в России, сказал: у нас было три великих поэта — Державин, Пушкин, Хлебников. Если уже выбирать трех, я назвал бы — Державина, Пушкина, Манделъштама. Или же так — звезда Манделъштама на поэтическом горизонте двадцатого века взошла выше звезд Блока, Анненского, Пастернака, Ахматовой, Цветаевой, Георгия Иванова.

---

---

**«КОММЕНТАРИЙ» И «ЕДИНСТВО»  
ГЕОРГИЯ АДАМОВИЧА**

«Комментарии» Георгия Адамовича также трудно и даже невозможно пересказать своими словами, как лирические стихи. Сколько острых мыслей, верных наблюдений, но все неуловимо: всюду оттенки, намеки, и как будто нет никаких выводов, итогов. Все же, есть в этой книге связующая нить, есть *единство*: именно так Адамович назвал свой последний сборник стихов, и обе эти книги дополняют одна другую: проза поэзию и поэзия прозу.

Темы «Комментарий» преимущественно литературные. Но литература в этой книге комментируется в связи с теми «проклятыми вопросами», которые не уставали задавать русские писатели, да и вся русская интеллигенция (за все 80 лет до революции). Это и правдоискательство Толстого, и богоискательство Достоевского, многих символистов, это и социальные проблемы — Белинский, Герцен, Некрасов. И это уже ставшее традиционным вопрошание продолжалось в эмиграции, в особенности в 30-х годах, когда прозвучала так называемая «парижская нота» (ее можно было бы назвать «нотой Адамовича»). Теперь русский Париж опустел, и Адамович остался почти в одиночестве, но все также упорно, настойчиво, не сдаваясь, говорит о том же: и это уже не диалог с последними «русскими мальчиками», а монолог . . .

В противоположность прежним пророкам или «властителям дум» Адамович ответов не дает и давать их не хочет. У него нет той утопической наивности, которой грешили и многие наши гении (но не Пушкин, не Боратынский . . .) Ум его аналитический, склонный к скепсису, к иронии. Столько авторитетов он поколебал, столько репутаций пересмотрел; как убийственны некоторые его характеристики: серебряный век предреволюционной русской культуры был век посеребренный . . . Ждали тогда революцию, даже чаяли ее, как Второе пришествие, но все это только иллюзии . . . Мало что выдержало испытание временем, мало что осталось из наследия этого серебряного или посеребренного века, — пишет Адамович, — только несколько собеседников: Блок, Анненский, Розанов. Их речи, их песни еще находят отклик . . .

Сколько еще в этой книге иронических замечаний: «телячий восторг» Пастернака, «величаво-хамски-небрежная окраска» стихов Маяковского . . . Но из этого не следует, что Адамович этих поэтов отрицает, скидывает их со счета. Он расслышал горестно-сладостную музыку в «Докторе Живаго», он находил некрасовские мотивы у Маяковского, но, вместе с тем, иронизирует над тем, что по его убеждению неполноценно, излишне в литературе.

---

Есть у Адамовича скепсис, есть ирония, но есть и энтузиазм, даже «бессмысленные мечтания» . . . и, поэтому, мне кажется, он сродни Версилову в «Подростке» . . . Адамович не только навсегда запомнил и «сложил в сердце своем» все то, что говорили русские пророки, «учителя жизни». Наперекор скепсису, «рассудку вопреки», он остается им верен и сейчас: он иронизирует, но все же продолжает мерить их абсолютной мерой и литературу, и философию, и жизнь. Вот несколько примеров его отрицаний и утверждений:

*«Как можно не видеть, что христианство уходит из мира!»* А все же, никогда не было ничего выше, чище христианства и он повторяет слова Розанова: Да сияют образы эти вечно (Спасителя, Богоматери).

Россия изменила своим пророкам, своему замыслу, после октябрьской революции «от свободы не осталось ничего», а все же есть и будет другая Россия, не великая империя, не сусальная Св. Русь, но народ, откликающийся на «Христос воскрес» — «Воистину воскрес».

Поэзия невозможна, пишет Адамович, но нужно стремиться к невозможному: *«Поэзия в далеком сиянии своем должна стать чудотворным делом, как мечта должна стать правдой»*. Тому залогом немногие настоящие стихи: последний монолог Татьяны, лермонтовский «Ангел» или несколько строк Анненского, Блока или Боратынского, Тютчева.

Это не ответы, не догматы, а смутные предчувствия и страстная надежда на ответ.

Можно себе представить, хотя и не без труда, как могут читать «Комментарии» Адамовича в России, где коммунистические ответы на все вопросы вбиваются в голову с колыбели до могилы. И где уже ищут другую правду, например, у Бердяева или у о. С. Булгакова.

Итак, молодой поэт или студент раскрывает «Комментарии». Читает с интересом, но и с недоумением, может быть даже кое-чем возмущаясь. Ничего в этой книге не провозглашается, нет в ней поучения. Все же, пусть и немногих, книга именно тем и привлечет, что она не поучает, но будит мысль, заставляет задуматься.

На последней странице Адамович вспоминает одного из самых любимых своих поэтов — Боратынского, и «низко ему кланяется», благодарит «за стойкость, за ясновидение, за печаль . . .» Если нужно было бы разъяснить, то можно было бы сказать — за стойкость мужественной мысли, за ясновидение в добре и в зле, в сомнениях и верованиях, за печаль о том, что правда не побеждает . . .

Да, ответа нет и нельзя отвечать с кондачка, наобум, но нужно страстно желать, чтобы в конце концов ответ был дан, с полуистинами жить не стоит. Вот что, прежде всего, хочет сказать Адамович.

---

О Бердяеве: его Адамович ценит, но в его учении сомневается, ему кажется, что он очень уж легко говорит от имени Бога. Все же, кое в чем Адамович Бердяеву близок. Бердяев утверждал: оправдание нашего бытия в творчестве. Он говорил о том, что мы призваны продолжать дело Божие, это восьмой день творения. Но существенно, что Бердяев не верил в реализацию творческих замыслов здесь, на земле. Культура для него всегда символична, и она только свидетельствует о наших упованиях, о порывах к Духу, к вечности, к правде и красоте. Здесь Адамович близок Бердяеву. В противоположность Г. П. Федотову, Ф. А. Степуну или В. В. Вейдле, он не верит в строительство Нового Града, новой религиозной культуры, у него вообще нет вкуса к «тварному миру», к вещам, включая и произведения искусства (как бы он их ни ценил, ни любил). В этом смысле Адамович вмещается в бердяевскую «Русскую идею»: он отрицатель, «нигилист» по отношению к любой цивилизации, к любому земному деланию и, вместе с тем, он «апокалиптик»: вопреки скепсису и «на зло» своей иронии он стремится в Вечный Град, а не в какой-то *новый*, который строится в дурной бесконечности истории. Это значит: все или ничего! Или Новый Иерусалим, где «мечта станет правдой», или «нигиль», ибо все остальное суета сует, как твердил Экклезиаст.

Уже самое название книги — «Комментарии» — исключает всякую догматику. Но могла бы она быть названа иначе — Перспективы.

Перспективы эти неутешительные применительно ко всем измерениям нашего времени: и к прошлому, и к настоящему, и к будущему. Но «невозможное», то есть высшее, вечное, истинное, тоже включено в перспективу этих горестных, а иногда и язвительных комментариев. Бог, Христос, христианство не утверждают, но скептическая мысль Адамовича везде граничит с метафизикой и что-то прозревает в «мирах иных». *«Комментарии» — книга скептика, который не хочет быть скептиком, но боится впасть в преждевременный восторг.*

Да, выводов, итогов нет, но есть единство в вопрошаниях, в требованиях, в домогательстве истины. Может быть, есть в этой книге и то, что можно было бы по старинному назвать — *завет*: сомневайся во всем, по-декартовски и даже по-вольтеровски, но не теряй надежду, как Паскаль, помни что «проклятые вопросы» Толстого или Достоевского, Анненского или Блока на самом деле требуют ответа... Это помнил и Альбер Камю — самый русский из современных французских писателей (и его повесть «Незнакомец» Адамович недавно перевел).

Книга прекрасно написана. Есть в ней зыбкость, как в лирике или в музыке, но, вместе с тем, сколько в «Комментариях» рассыпа-

---

---

но отточенных определений, которые Вяземский находил у Боратынского и называл их «аттическими». Вот пример:

«Пушкин в поэзии ищет совершенства, Лермонтов в поэзии ждет чуда — и свое 'бессмысленное мечтание' передал Блоку».

Это суждение можно было бы развернуть в книге (как и многие другие «формулировки»). Немало в «Комментариях» воспоминаний, характеристик. Особенно запоминается то, что Адамович говорит о Мережковском:

«Должен сказать правду: писатель он по-моему был слабый, а мыслитель почти никакой. Но в нем было 'что-то', чего не было ни в ком другом. Какое-то дребезжание, далекий, потусторонний отзвук, неизвестно чего (...). С ним наедине всегда бывало 'не по себе', и не я один это чувствовал. Разговор обрывался: перед тобой был человек с прирожденно-дикивинным оттенком мыслей и чувств, весь будто выхолощенный, немножко 'марсианин'. Было при этом в нем что-то мелко-житейское, но было и что-то нездешнее».

Да, Мережковский учителем не был, хотя ему и очень хотелось учить. Он будто принадлежал к какому-то ордену без устава, без организации, — к братству задумчивых странников, в которое входит и Адамович.

Почти 50 лет литературная эмиграция прислушивалась к голосу Адамовича-критика, а теперь уже некому прислушиваться, но, может быть, его монолог услышат в России неведомые нам читатели и задумаются, читая его книгу.

«Комментарии» были изданы в прошлом году В. П. Камкиным в Вашингтоне, а его сборник стихов «Единство» в том же 1967 году «Русской книгой» в Нью-Йорке. Недавно молодой американский славист Роджер Хаггунд защитил диссертацию «Адамович — критик» (университет Вашингтона в Сеаттле).

\*\*  
\*

Некоторые мелодии «Единства» — стремительные, крылатые:

Тишина, тишина. Поднимается солнце. Ни слова.

Тридцать градусов холода. Тускло сияет гранит.

И под черным вуалем у гроба стоит Гончарова,

Улыбается жалко и вдаль равнодушно глядит.

Это стихотворение было написано еще в 1919 году. Но и в более поздних стихах Адамовича тот же стремительный напев:

За белое имя спасенья,

За темное имя любви...

В «Единстве» немало реминисценций из Блока. О всех оставленных, о всех усталых... строчка эта напоминает блоковскую: *О всех усталых в чужом краю...* Но таких совпадений немного. Все



---

же, несомненно, что поэзия Георгия Адамовича, как и поэзия Георгия Иванова, родилась в блоковском мире, в его *музыке*. Понятие это или вернее — образ, точному определению не поддается. Это не инструментальная музыка. Это — музыка сфер — та романтическая динамика, о которой писал Ницше в философских комментариях к Вагнеру. Не ту же ли музыку слышал Гоголь, а также Лентьев, говоривший о «музыке дальней смерти» и «общепсихической музыке».

Музыка эта губила, но и обещала Блоку небывалое возрождение после катастрофы, — синий певучий рай. Гибель наступила в семнадцатом году, а возрождение было отложено на неопределенное время... Блок слушал и призывал слушать музыку революции в «Двенадцати», но незадолго до смерти он писал: *Музыка ушла из мира... нечем дышать*.

Музыка мира все глуше, бедней... — пишет Адамович, и признание это очень блоковское.

Адамович участвовал во втором Цехе поэтов Гумилева. В советских руководствах по новой русской литературе он до сих пор именуется «младшим акмеистом» (например в учебнике А. Волкова). Первую книгу его стихов («Облака») я не читал, а вторая («Чистилице») — явно ориентируется на Блока, а не на Гумилева и его акмеизм. В критических статьях Адамович иногда выступал с «тезами» против Блока, но в поэзии он следует за ним. То же можно сказать о Г. Иванове — и у него блоковские отзвуки, блоковские цвета — синий, голубой, черный — «черная музыка Блока». Подражания здесь нет или же оно несущественно, но замысел, настроения — те же.

У Г. Иванова, обманувшегося или обманутого блоковской музыкой, но все же до конца ей верного — упоение отчаянием, особенный страстный «цинизм», заносчиво-отчаянный вызов: *Хорошо, что нет России. Хорошо, что Бога нет...* Вместе с тем, именно в этих его «пессимистических» стихах музыка сфер звучит особенно напряженно, как-то победно-ликующе... Адамович тоже обличает обманувшую его музыку, и тоже верности не нарушает: вопреки скептицизму, недоумению, он остается ее преданным «рыцарем бедным». Пушкин сказал об этом рыцаре: *Он имел одно виденье...* То же повторяет Адамович: *Одно, единое виденье...* Отсюда и заглавие, вполне оправданное темой: «Единство».

За Блоком — Лермонтов. У обоих поэтов немало лермонтовских мотивов: например, из «Ночного смотря». У Г. Иванова: *Сиянье. В двенадцать часов по ночам*. У Адамовича в двух смежных стихах отзвуки двух лермонтовских стихотворений — и «Ночного смотря», и другого — *Выхожу один я на дорогу...* — *Один выхожу я из дому / В двенадцать часов по ночам...* А на мотив, близкий амфибрахиям Лермонтова в «Ангеле», написано одно из самых удивительных

---

---

тельных стихотворений в этой книге. Но в двух строчках (третьей и пятой) Адамович удачно нарушает монотонию этого певучего, но однообразного размера. Отмечу также типичные для Лермонтова рифмы — сплошь мужские, отрывистые:

Но смерть была смертью. А ночь над холмом  
Светилась каким-то нездешним огнем,  
И разбежавшиеся ученики  
Дышать не могли от стыда и тоски.  
А после... Прозрачную тень увидал  
Один. Будто имя свое услышал  
Другой... И почти уж две тысячи лет  
Стоит над землею немеркнувший свет.

Кажется, Борис Садовской, критик замечательный, но, к сожалению, забытый, сказал, что у Лермонтова только гениальные черновики: великий замысел, небесные видения, а исполнение — неадекватное, иногда очень уж слабое. Но без его замыслов, видений не было бы Блока, а также Г. Иванова, Г. Адамовича. Был им завоужен и Пастернак (*Приходил по ночам в синеве ледника от Тамары...*) Все эти поэты писали о Лермонтове или на лермонтовские темы лучше, отчетливее, чем Лермонтов, избегая шаблонных или случайных выражений, иногда портивших даже самые лучшие его стихотворения.

Лермонтов Адамовичу ближе, чем Блок. Блоковские мотивы в «Единстве» тревожат, куда-то уносят, но души Адамовича полностью не выражают. Поэзия Лермонтова ему понятнее: он едва ли отдал бы лермонтовского «Ангела» за многие или даже за все блоковские стихи... Адамович неповторимее, неотразимее в своих приглушенных, почти беззвучных стихах — в них слышится его вторая мелодия — не блоковская, а лермонтовская или же — напоминающая Анненского.

Г. Иванов заметнее, четче, доходчивее. Адамович остается в тени, но он и не тянется к огням рампы. «Иных поэзий торжество» для него — измена музыке, небу.

Вспоминаются эти стихи из «Евгения Онегина»:

Но Нина мраморной красою  
Затмить соседку не могла,  
Хоть ослепительна была.

О «соседке» (Татьяна) сказано: все тихо, просто было в ней. В своих певучих, стремительных стихах Адамович — не тих и не прост. Тихое и простое в других его стихах «без красок и почти без слов»:

Слушай — и в смутных догадках не лги.  
Ночь настает, и какая: ни зги!  
Надо безропотно встретить ее,  
Как ни сжималось бы сердце твое.

---

---

Слушай себя, но не слушай людей.  
Музыка мира все глуше, бедней.  
Космос, полеты, восторги, война, —  
Жизнь, говорят, измениться должна.  
(Да, это так... Но не поняли вы:  
«Тише воды, ниже травы»).

Кто к этим стихам прислушается, никогда их не забудет, как и другие — более известные его стихи:

И может к старости тебе настанет срок  
Пять-шесть произнести как бы случайных строк...

Далекое прошлое: Г. Адамович и Г. Иванов — Петербург, блистательный в ранние годы их юности, а позднее — обветшалый (и еще более прекрасный). Многое они пересмотрели и, пересмотрев, отвергли. Для них изгнание — несчастье, беда, но и творческая удача. Адамович признается: *Нет доли сладостней — все потерять, / Нет радостней судьбы — скитальцем стать*. Наконец, оба они, каждый на свой особый лад — допели Лермонтова, Блока, Анненского.

Блок говорил: стоит жить, чтобы предъявлять огромные требования к жизни. Но это не только его — блоковский «максимализм», его nonconformity. Вся русская послепушкинская, пророческая литература только и делала, что предъявляла такие требования — хотела правды, справедливости, рая, Бога и на меньшем не мирилась. Высоко вздымалась, но и срывалась. Пророчества, чаяния не исполнились, святая Русь перестала быть святой, музыка обманула, социальные утопии обернулись гротеском революции и потом зощенковской пошлостью. Стоило ли вообще беспокоиться, «рыпаться»? Тем, кто думает, что все-таки стоило, будут понятны, близки последние песни Георгия Иванова и Георгия Адамовича; эти читатели, может быть, предпочтут их эффектным громам-молниям поэтов-эстрадников и замысловатым темнотам поэтов-заумников. Те и другие иногда увлекательно дерзают, но, по сравнению с последними исполнителями лермонтовской или блоковской музыки, они опортунисты, будирующие обыватели или замыкающиеся в самих себе внутренние эмигранты. Эстрадники отлично знают, что осуждать можно и, в особенности, чего нельзя, а заумники отгораживаются от современного мира в полуподпольных кружках. Но Россия велика и очень уж она для нас «неизвестная страна»: может быть в ней уже раздаются или раздадутся голоса, которые услышат слабеющую музыку.

Лермонтовская и блоковская музыка иногда обманчива, но одно очевидно — с пошлостью, с мещанством, она несовместима. Говорится это не в суд и не в осуждение молодым поэтам. Каждому — свое. А есть и другой путь, например Мандельштама — он не мирился ни с обывательщиной, ни с жестокостью, но и не сводил с ума мета-

---

---

физической музыкой — больше доверялся жизни. Песни земли не казались ему скучными, и у него тоже были свои высоты, свое небо, которое, однако, земли не отрицало.

Это — некоторое отступление от темы... Но «Единство» Адамовича — книга о немодном теперь «самом главном» и, может быть, тем самым, она оправдывает и поощряет такие беседы о многом, даже обо всем... Это не только книга хороших стихов, имеющих несомненные формальные достоинства и неуловимую прелесть, неподдающуюся анализу. Стихи Адамовича будят мысль, незаметно очаровывают и глухо звенят где-то на самом «дне сознания», за что-то укоряя или же что-то смутно обещая:

Под низким, белым, бесконечным небом,  
Иль много позже, много, много дальше,  
Не знаю что, не понимаю как,  
Но где-нибудь, когда-нибудь, наверно...

---

---

А. ТУРГЕНЕВА

## Андрей Белый и Рудольф Штейнер

Упоминание в десятой книге «Мостов» о ряде лиц вызвало отклик со стороны А. Тургеновой, первой жены Андрея Белого (см. «Мосты» № 12). Поместив его, мы тогда же обратились к А. Тургеновой с просьбой осветить некоторые факты из жизни А. Белого. В ответ, при письме от 24 июля 1966 года, была получена статья, которая и печатается ниже, с некоторыми сокращениями (главным образом страниц, относящихся к биографии Р. Штейнера). К сожалению, судьба «Мостов» в то время была неизвестна, почему переписываться с автором по поводу отдельных мест в статье было преждевременно. Теперь публикуем статью посмертно: Анна Алексеевна Тургенева умерла 16 октября 1966 года, в Швейцарии, вблизи Дорнаха.

Редакция

Лишь случайно доходили в мой швейцарский угол сообщения эмигрантской печати об отношении Андрея Белого к Рудольфу Штейнеру и его труду. Откликаться на них не имело смысла, хотя бы потому, что в русских кругах было определенное нежелание ознакомиться с деятельностью Штейнера и они удовлетворялись, можно сказать, единогласьем отрицательных отзывов о нем представителей различных направлений. Но тема эта, потеряв более чем за сорок лет личный характер, не утратила своей остроты.

Примером могут служить статьи в последних номерах «Мостов», в частности написанная незадолго до его смерти статья Ф. А. Степуна («Мосты» № 11), с характеристикой Белого. Но перед тем как говорить о ней, коснемся высказываний двух критиков более раннего периода, придававших большое значение литературному труду Андрея Белого и изучавших его с любовью в тесной связи с биографическими данными о жизни писателя. Эти критики — Р. Иванов-Разумник и К. Мочульский. Но и они, подходя к времени, когда Белый встречался с Рудольфом Штейнером, допускают крупные ошибки, влияющие на их выводы о значении этой встречи

---

для писателя. Так, Иванов-Разумник полагает, что Белый примкнул к антропософии Штейнера уже в 1909 году и поэтому делает заключение, что «Петербург» был написан под ее, в художественном смысле, влиянием. В действительности Белый познакомился с антропософией весной 1912 года, то есть тремя годами позже и только две последние главы «Петербурга» были написаны Белым, когда он был членом Антропософского движения.

Более осведомленный об этом периоде (1909-1912) К. Мочульский описывает его очень подробно и точно, но он почему-то считает, что первая встреча с Штейнером произошла между Христианией \* и Берлином в 1912 году и что после этого Белый поехал в Англию. На самом деле поездка в Берген (а оттуда в Берлин) состоялась в октябре 1913 года, то есть через полтора года после первой, решающей встречи с Штейнером в Кельне. Интересно отметить, что эта ошибка привела Мочульского к выводам, прямо противоположным тем, которые сделал Иванов-Разумник, из-за своей ошибки.

При всем их различии, в отрицательном отношении к Рудольфу Штейнеру оба эти критика единодушны: оба они считают, что антропософия погубила в Бугаеве писателя. То же думает и Степун. Но почему Степун считает, что Андрей Белый «с ненавистью отошел от Штейнера» — и отошел ли он в действительности?

Этот вопрос ставится не только в эмиграции: судя по скудным сведениям, им интересуются и в России.

Нет сомнения, что во время кризиса 1922-23 года в Берлине, в состоянии аффекта, Бугаев выражался о Штейнере враждебно. То, что об этом А. Белый печатал сам, лежит на его ответственности, но надо ли его за это осуждать? Литературные круги знали Белого с начала столетия, они знали, что подобные болезненные состояния и выпады с ним случались не раз, — стоит только взглянуть в воспоминания о нем Бориса Зайцева («Мосты» № 10).

Прав Степун в том, что нападки Белого не могут вредить Штейнеру. Но они вредят отношению к нему тех, кто не знает всех фактов. Выпады эти Степун объясняет изменчивым характером Белого, как человека и писателя: он нападал и на ближайших друзей, например на Блока. Но в выводах своих Степун ошибается: Бугаев глубоко страдал из-за семилетнего расхождения с Блоком и был счастлив, когда они вновь нашли друг друга. Тут не было измены и причину надо искать в сложности его душевного склада, в бессознательном ощущении им опасности себе и другим и неправомерном внесении искажающего влияния этих ощущений в действительность.

Степун допускает, что Белый мог временно вернуться к Штей-

---

\* Так называлась тогда столица Норвегии Осло (Ред.)

---

неру, а потом снова отойти от него. Тут опять ошибка: в разгар нападок на Штейнера Бугаев говорил (если не дословно, то по смыслу достоверно), что как бы он не бунтовал и не ругал «Доктора», — так он называл Штейнера, — он никогда от него не отойдет, «потому что я знаю, что в антропософии правда, что в нем — правда. Я это знаю, — повторял он, — и от этой правды никогда не отойду».

Из этих слов видно, что мы имеем тут дело с двойственностью, проявлявшейся не в разное время, как думал Степун, а одновременно и поэтому ставящей вопрос о ней на совершенно другую плоскость.

Одной из основных тем Белого было нахождение современного сознания «на перевале». Наши деды не знали болезни раздвоения личности, можно сказать — распада ее душевного состава. И интерес к надлому внутренней жизни Белого основан, быть может, на том, что он, в своих предощущениях, дал нам яркий пример испытаний на пороге сознания, осилить которые возможно лишь путем углубления в тайны человеческого существования.

Была ли ему оказана помощь на этом пути? После разговора с Штейнером в Штуттгарте, перед отъездом в Россию, Бугаев говорил моей сестре, что данное ему на прощанье Доктором будет ему помощью во всей его последующей жизни.

И все же есть основания предполагать, что два года спустя, в России, та же «единовременная двойственность», раздвоение сознания, без видимой внешней причины опять овладела им. Но об этом после. Тут надо лишь оговориться, что помощь Штейнера никогда не затрагивала свободы Белого и не влияла на его судьбу.

Как относился Бугаев к Штейнеру? Как подошел он к антропософии и жил в ней? В кратком наброске можно лишь попытаться подойти к этим вопросам.

Осенью 1905 года в Лоскутной гостинице в Москве, у моей тети Марии Алексеевны Олениной-д'Альгейм, Андрей Белый читал, вернее пел и пел все выше свои стихи:

А поезд летит и летит и летит...

Крылатый поезд уже скрывался за облаками и можно понять, что пятнадцатилетней девочке, выросшей в деревне, на Пушкине, пришлось спасаться за спиной матери, чтобы скрыть неудержимый смех.

Как опаленные, — но каким огнем? — выглядели эти декаденты. Конечно, стихи Владимира Соловьева были хороши, но на какую прекрасную даму намекали наши новые друзья, оставалось неясным.

Вскоре д'Альгеймы увезли нас с сестрой во Францию. В Лувре Египет и Греция, особенно древняя, дали мне ответ, удостоверив,

---

что боги однажды вместе с художниками работали над камнем. Прошлое явно не ведало наших границ рождения и смерти. Что человеческая душа связана перевоплощениями со всей жизнью в истории, не подлежало сомнению, но где найти память об этом, где найти знание, соединяющее земное с надземным? Оставалось ждать и пока изучать гравюру в Брюсселе.

Эта работа дала повод для первого разговора с Андреем Белым, через четыре года после встречи в Лоскутной. Мне поручили нарисовать его портрет. Он выглядел еще более нервным, чем прежде. «Вот посмотрите, — говорил он, — я вчера получил эту фотографию от теософки Клеопатры Петровны Христофоровой. Это немецкий ученый, он утверждает, что можно научным путем подойти к духовному миру». — «О, это мужественный ученый», — был мой ответ. Посмотрев внимательно на строго вырисованные черты этого лица, пришлось задуматься, столько было в них глубокой, знающей воли. Как может такой человек принадлежать к теософам? Ведь они, по крайней мере московские, в лучшем случае — материал для забавных анекдотов.

На что намекали письма Бориса Николаевича, вскоре после моего отъезда в Бельгию, я узнала лишь впоследствии. В круг его жизни вошла «окультистка» и ясновидящая Анна Рудольфовна Минцлова, вызванная на это, как она говорила, словами Белого о розенкрейцерах в предисловии к его книге стихов «Урна».

По рассказам, она напоминала Блаватскую. Обладая глубокими знаниями, она горела стремлением создать круг людей в помощь стоящим за ней руководителям для борьбы с угрожающими человечеству в близком будущем катастрофами. Существовали ли эти руководители? Она была несомненно искренна и умела влиять на окружающих, несмотря на свою хаотичность. Она и ее друзья хотели послать Белого за границу, к своим сообщникам, — его решение на время отложить эту поездку имело неожиданные последствия. Минцлова заявила, что она должна скрыться, навсегда покинуть собранных ею друзей — так она и сделала (Бердяев в своих воспоминаниях подтверждает этот факт. Подробно о Минцловой писала также М. В. Волошина в своей „Die grüne Schlange“ \*). На прощанье Минцлова сказала Бугаеву, что в течение года он может быть встретит тех, с кем она хотела его свести. Слова эти остались загадкой; со временем все же выяснилось, что Минцлова, бывшая ученица Штейнера, получила свои обширные познания от него, но потом с ним разошлась.

В кратких заметках нельзя передать бредовую атмосферу, окружающую группы людей в России, переживавших эти и подобные

---

\* М. Woloschin. „Die grüne Schlange“. Deutsche Verlag-Anstalt.



---

им происшествия, в обстановке того времени. С разными оттенками, эти настроения были свойственны многим кругам. И приезжая из Западной Европы, ты каждый раз был захвачен душевным богатством и интенсивностью московских разговоров до трех часов ночи, за остывшим самоваром (в Петербурге, в «башне» Вячеслава Иванова они длились нормально до шести утра, но были более определенными, литературно-эстетическими). Но что следовало из этих разговоров? Они велись изо дня в день, непрерывно, пока кто-нибудь из участников не выдерживал и не начинал «бунтовать», впадая в «истеричку», — такой отсылался друзьями в деревню на поправку.

Можно подсмеиваться над подобной затратой энергии, но нельзя не отмечать, что нигде, как только в России, в эти первые годы столетия (годы исключительной важности в эволюции человечества, по словам Рудольфа Штейнера), надежда на духовное обновление не переживалась с такой силой — и нигде с такой силой не был пережит вскоре срыв этих надежд.

«Ждали Утешителя, а надвигался Мститель», — писал Андрей Белый в «Драматической симфонии» в 1902 году.

О, как паду — и горестно, и низко,  
Не одолев смертельные мечты!

Как ясен горизонт! И лучезарность близко.  
Но страшно мне: изменишь облик Ты . . . —

в те же годы говорил Блок. Вспомним и его более позднее, пророческое «Куликово поле».

Можно понять, что надвигающийся хаос искажал устремления молодых предвестников. Один Соловьев мог бы им помочь, но он умер в 1900 году.

Иной характер носили симптомы будущих зол на Западе. Говорить на серьезные темы там считалось невоспитанным. Бесцельная спешка, подобная крутящемуся по инерции колесу машины, казалось, овладела толпой. Куда ведет ее самоуверенное благополучие? Что охранит их ценности от нового варварства?

Наиболее драматично предупреждала нас о предстоящем русская природа, на Вольни летом 1911 года. Сидя ночами на террасе всей семьей, в том числе с убежденным марксистом, не допускавшим необъяснимого, мы прислушивались к невнятному гулу с большой дороги, проходившей из Луцка за версту от нашего дома. Гул, похожий на этот, стоял по ночам над Москвой в 1904 году, многие слышали его тогда. Теперь чудилось в нем движение по большаку тысячных толп, крики, грохот колес и глухие, как бы подземные удары — грома или пушек? Войной четырнадцатого года Луцк был наполовину разрушен.

---

---

В Москве встретила неожиданность: имя Штейнера вошло в обиход, им интересовались в Религиозно-философском обществе, в научных и литературных кругах, среди молодежи, собиравшейся в мастерской скульптора, если не ошибаюсь, Крафта. Часть этой молодежи занималась у Белого по ритмику, среди них Ходасевич, с ними общался и Пастернак. Главным пропагандистом Штейнера был знаменитый своими статьями в «Весах» Эллис-Кобылинский. Он ходил уже больше года в пальто, похожем на монашескую хламиду, питался пшенной кашей: бледный, с горящими глазами, он действительно напоминал средневекового испанского монаха.

Эллис распространял по Москве, как оккультные сенсации, сведения, выхваченные из закрытых циклов лекций Штейнера — и странным образом к этим «оккультным сенсациям» в Москве прислушивались с интересом, без особой критики, если они не касались специальных областей. В этом случае было иначе: так, представители различных философских толков обзывали Штейнера абсолютным диллетантом в их учениях; литературно-художественные круги видели в нем верх бездарности; вместе с тем даже среди наиболее враждебно настроенных мистиков и церковников, считавших его чуть ли не предвестником антихриста, были такие, которые зачитывались его «циклами». Помнится, только священник Флоренский проявил объективность: не принимая Штейнера, он все же в своем труде «Столп и утверждение истины» уделил его изысканиям о красках ауры несколько страниц.

Интересно отметить, что в Германии отношение к Штейнеру было противоположным. Там культурные круги знали и ценили труды подающего надежду молодого ученого. Но как мог он перенести свою деятельность на более чем сомнительное поле оккультизма? И к тому же — в Теософское общество? Это переходило границы допустимого. И вопрос этот стал понятен только впоследствии.

Пока что Андрей Белый метался среди различных школ неокантианства, стараясь обосновать свои теории выхода из них символизма. Как и все русские, он был убежден, что Штейнер ни в философии, ни в искусстве ничего не понимает. Под впечатлением от Минцловой, и к оккультным исследованиям большинство в нашем кругу относилось свысока. Но у меня, по прочтении двух вышедших тогда книг Штейнера, выросла уверенность, что у него я найду ответ на мои вопросы. В первой книге — «Как достигнуть познания высших миров», путь к этому познанию трактовался не как тренировка тех или иных наших свойств, а как полное преобразование всего человеческого существа. В другой книге — «Христианство как мистический факт», была дана возможность увидеть смысл эволюции человечества в виде ступеней развития, ведущего к центральному событию истории, действительному в ней извечно, в дохристианском прошлом и в грядущем. Как мог Бердяев, поставивший столь значи-

---

---

тельные вопросы в своих письмах к Белому, пройти мимо этой книги? («Мосты» № 10).

К весне 1912 года Андрей Белый начал задыхаться в литературной среде, его тянуло за границу, спокойно работать над «Петербургом», и мы решили пожить в Брюсселе, неподалеку от моего старого учителя гравюры.

Белый неоднократно подчеркивал, письменно и устно, правильность этого решения, оно привело его к самым значительным переживаниям в жизни. Этим переживаниям предшествовали события, писать о которых было бы неправомерно, если бы сам Белый подробно и — за исключением небольших ошибок — точно не говорил о них в журнале «Беседа» (Берлин, 1922 год).

Понятие «посвященный» столь растяжимо, что естественно ставить его под вопрос. Однако личный опыт еще до встречи с Штейнером показал нам, что среди нас есть люди, владеющие знанием и умеющие применять его в степени, далеко превышающей знакомые нам нормы. И сначала с помощью сна, переходящего потом в действительность, у нас создался, можно сказать, психический контакт с группой таких людей, длившийся несколько недель. Из него выросли три потрясающего впечатления встречи. Первая воспринялась, как непосредственное воздействие волевой силы, вторая притягивала обаянием, третья была призывом. И нужно было большое концентрированное усилие, чтобы не откликнуться. Откуда это, разве мы примадонны? Почему комнаты наши заполняются благоуханием незримых цветов? Чем заслужили мы такое внимание, даже если это от друзей Минцловой? Рудольф Штейнер скажет нам, идти ли им навстречу. Он открыто ведет свое дело и сам несет ответственность за него, никого не зазывая: ему можно доверять. Бросив обед, мы кинулись на вокзал, а оттуда в Кельн, куда, как мы случайно узнали, поехал Штейнер.

Нельзя сказать, чтобы в Кельне нас встретили особенно любезно, было ясно, что им не до нас, но все же, как русских, нас пригласили на лекцию для членов. Мы попали в толпу теософов, преимущественно дам, очень бескусно одетых, но среди них было много милых лиц без масок, которые постоянно встречаешь на Западе. Издали мелькнули черты лица, виденного на фотографии три года назад — и тут не было вопроса, мы нашли то, что искали, что жило в глубине души, как самое близкое. Лекция на незнакомом мне языке была, как музыка, понятна переживанию. В несколько месяцев на этих лекциях понятен стал и язык.

Несмотря на первоначальный отказ, два дня спустя мы были позваны для разговора с Штейнером. Он молча выслушал наш сумбурный рассказ, но примечательно было, как он слушал; за словом, за голосом он прислушивался к чему-то более важному. И сколько

---

---

тепла было в широко раскрытом взоре, чувствовалось, что сквозь настоящее он смотрит в наше, неведомое нам далекое прошлое, наше надвременное сопоставляя с достижениями и слабостями. Но странно, это не связывало свободы, ему можно было довериться. Это — человек. Впервые чувствовалась неизмеримая полнота этого слова; вместе с тем было и чувство, что человек этот самый нам близкий и что он — абсолютной простоты, внимания и человечности.

Как Кельнский собор среди города, возвышался он над людьми нашего уровня.

Единственным ответом на наши рассказы было приглашение к июлю в Мюнхен — «если вы свободны. Там вы посмотрите, как мы живем». В другом ответе и не было нужды.

Узнав о нашей поездке в Кельн, неожиданно из Берлина нагрязнул Эллис-Кобылинский, как всегда в монашеском одеянии и без копейки денег. Целую неделю мы находились в потоке его рассказов, из позаимствованного в лекциях Рудольфа Штейнера.

Эллис не оставил после себя значительного труда, но он был гениальным собеседником, исключительной, глубокого трагизма личностью, горящей постоянным огнем. От Маркса он перепрыгнул в демонизм, бодлеризм и символизм, от Прекрасной дамы к католической Мадонне, сожалел, что Доктор не иезуит и после двух лет потрясающих душевных драм успокоился в лоне католической церкви, где и умер.

Для Белого волновавшие нас события в Брюсселе превратились в кошмар наяву и он сбежал от них к д'Альгеймам в Париж, даже не ожидая меня.

В памяти остались слова, сказанные в ответ на мои неумелые рассказы дядей, Петром Алексеевичем д'Альгейм: «Если твои рассказы не выдумка, мы тут имеем дело с величайшим откровением духовных истин, такого еще не бывало. Я всегда верил, что такие знания сохраняются в тайниках истории. Почему они приходят именно теперь? Если это несвоевременно, это не к добру». На другой день он принес ответ: «Этой ночью я нашел в Зохаре ученье о семи архангелах, циклически руководящих судьбами человечества. По вычислениям переводчика, мы входим в период, когда архангел Гавриил в последний раз принял это руководство, а управлять им с этих пор будет Мессия. Если это так, мы стоим перед исключительным духовным событием, связанным с переломами и переломками. К такому событию человечество должно быть подготовлено исключительными, духовными откровениями» (П. А. д'Альгейм не смог преодолеть постигшую вскоре после этого его болезнь).

Лет десять спустя это учение Зохара нашло подтверждение в изысканиях Рудольфа Штейнера. В подобных сообщениях он ис-

---

---

ходил не из книг и документов, а исключительно из личного исследования.

В Мюнхене Бугаев погрузился в изучение нового пути по данным антропософии, идущим от духовного в человеке к духовному вселенной, в отличие от теософского пути. Вскоре Антропософское общество окончательно выделилось из Теософского.

В своей автобиографии «Между двух революций» Белый пишет, как в 1906 году, вскоре после трагических переживаний, связанных с Блоком, под темными сводами Августиновой пивной (Augustiner Keller) его охватывали непонятные состояния, нечто вроде воспоминаний о прошлых воплощениях, встреч с двойником (за неимением подлинника, перевозку с немецкого): «Тут мне показалось, что я нахожусь не в пивной, но под сводами пещеры в старой Германии III века и возникало желание уйти из моей родины в леса, в чужую жизнь и вдруг подойти к встречному, стоящему на берегу лесного потока, как я стоял над Невой, и сказать ему: «Брат! Может, так это и должно быть?» Я расплачиваюсь и иду тихими улицами мимо кофейни Луидпольд (Luidpold), в ней зал для лекций, сидя в нем многое я пережил... Шесть лет спустя слышал я в этом зале ответы на вопросы сознания, встававшие и прежде в Августиновой пивной». Шесть лет спустя, в 1912 году, в зале кафе Луидпольд, мы слушали цикл лекций Рудольфа Штейнера на тему «Стража порога» (порога духовного мира).

Помня, что Штейнер ничего не понимает в искусстве, Бугаев менее всего интересовался мистериями-драмами Штейнера, которые играла труппа, состоявшая из любителей. Но, к его удивлению, ему пришлось радикально изменить свое отношение: такой формы искусства он еще не встречал.

Затаив дыхание, с десяти утра до сумерек следили мы за ходом представлений, далеко не всегда удовлетворительно разыгранных, но важно было не это. Особенно потрясали своей непосредственной реальностью образы Люцифера и Аримана, — многое почерпнул из этого источника Вячеслав Иванов.

Постановка этих мистерий вызвала в Обществе потребность построить соответствующий им театр и Штейнер взял на себя изготовление для него модели. Так в 1913 году в Дорнахе, вблизи Базеля, был заложен новый антропософский центр.

Есть бытие, но именем каким  
Его назвать? Не сон оно, ни бденье.  
Меж них оно и в человеке им  
С безумием граничит разуменье.  
Он в полноте сознания своего,  
А между тем, как волны на него

---

Видения бегут со всех сторон.  
Как будто бы своей отчизне давней  
Стихийному волненью отдан он,  
Но иногда мечтой запечатленной  
Он видит свет, другим не откровенный.

Быть может это предисловие Боратынского к его трем видениям будущего человечества наиболее точно передает тот мир, в который с головой ушел Белый более чем на три года. Для уравновешенной работы этот мир, при помощи медитации, обращается познавательным путем «мечты запечатленной». Богатство переживаний, но и большие опасности встречает на этом пути тот, кто, как Бугаев, с детства обладает способностью жить в мире созданных им образов, особенно если эти образы, как мы знаем из опыта Дарьяльского в «Серебряном голубе», овладевают возможностью восприятия окружения. Если бы Бугаев серьезнее занялся разработкой своих образов, из него вероятно вышел бы значительный живописец.

В течение двух лет мы следовали за Штейнером по Европе из города в город, слушаая его лекции. К этому периоду относятся строки из мемуаров Белого от 1929-30 года («Между двух революций»): «... это было так, что 'я сам' в то время (подразумеваются годы 1904-08) не был мной 'самим', 'сам я' проявился, когда порвал со всеми салонами (московских и петербургских кружков), скрылся на четыре года из московской тюрьмы. Это было в 1912 году». В 1912-13 годах вся наша жизнь стояла под знаком лекций Рудольфа Штейнера.

Сложное построение публичных выступлений требовало большой сосредоточенности, в них не было ничего, облегчающего восприятие антропософии, но чувствовалась напряженная борьба с абстрактностью нашего мышления. На членских собраниях, иной раз в невзрачных стенах комнаты, прилегающей к провинциальному кафе, слова Штейнера переживались как событие и казалось, что нет ничего важнее, как хотя бы одним присутствием принимать в нем участие.

Осенью 1912 года, в Базеле, нас посетил Вячеслав Иванов. Он хотел вступить в Общество и просил устроить ему свидание с Штейнером, но Штейнер поручил нам отсоветовать Иванову это намерение. С тех пор мы Иванова не видели.

Зимой в Берлине, между поездками, Белый заканчивал «Петербург».

Весной, по дороге в Гельсингфорс, на курс лекций Штейнера, мы задержались на несколько дней в Петербурге, повидать старых друзей. Не забыть тихой радости, с которой встретил Бугаева Блок, но и глубокой грусти отклика на наши восторженные рассказы: он уже не способен был поверить новому, слишком много было пережито и потеряно в прошлом.

---

---

У Мережковских ощущалась неловкость, от чувства утери прошлой близости. Штейнер их не интересовал, в 1906 году они встретились с ним в Париже — к взаимному неудовольствию. Башня Вячеслава Иванова пустовала.

Русских на гельсингфорский цикл приехало человек сорок. Среди них выделялась фигура Бердяева, через посредство Бугаева получившего разрешение присутствовать на этом цикле. После лекций он долго еще бегал белыми ночами по взморью. В его взволнованных спорах в то время не было слышно ноты презрения, которая проскальзывает в его воспоминаниях. Но и тогда было ясно, что преграда, отделявшая его от антропософии, лежала не в ней.

На обратном пути мы заехали в танеевское имение и потом в Дедово под Москвой к Сереже Соловьеву, который незадолго перед тем женился на моей младшей сестре. Наше «штейнерианство» он встретил с фанатизмом церковника: Штейнер от антихриста. Бугаев тяжело переживал создавшееся отчуждение между двумя прежними друзьями. Должно сказать, что это не повлияло на их личные отношения по возвращении Бугаева в Россию. \*

В 1913 году работа в Германии шла еще более ускоренно, будто Штейнер хотел сказать все, что только можно, пока есть еще время. Его лекции переживались, как полет в иные пространства, открывающие новые дали.

Штейнер сам время от времени возвращал нас в действительность, напоминая, на пороге каких страданий стоит человечество. Но поток новых узнаваний не прекращался вплоть до войны 1914 года.

Самыми значительными были для нас переживания на цикле лекций осенью 1913 года в Христиании, — Штейнер вводил в события, происходившие на переломе истории, две тысячи лет тому назад.

Когда ехали из Христиании в Берген, произошел разговор с «сестрой» («Записки чудака»), привлечший большое внимание Мочуль-

---

\* Говоря о судьбе С. М. Соловьева — Сережи Соловьева, как в те времена его называли, — я могла передать в № 12 «Мостов» только дошедшие до нас очень неясные слухи. С тех пор были получены дополнительные, хотя и краткие, но достоверные сведения. С. М. Соловьев годами работал как переводчик: переводил греков, Гете, с польского. Считался одним из лучших переводчиков. В то же время продолжалась напряженная внутренняя жизнь. Метался — переходил из православия в католичество, снова в православие и кончил григорианством. В 1933 году был арестован, в тюрьме заболел и до конца жизни не покидал больше лечебницу, страдая приступами мании преследования. В больнице его навещали дочери, о которых он заботился, пока был здоров. Умер он в 1943 году во время эвакуации лечебницы из Москвы в Казань, простудившись при переезде на плотках. Это все, что можно здесь сказать об этой глубоко трагической судьбе, не касаясь чисто личных вопросов его жизни.

---

ского. \* Кто была эта «сестра», слова которой так взволновали Андрея Белого?

Желая немного успокоить его, — он все еще был в состоянии потрясения, после лекций, — к нам в вагон третьего класса пришла М. Я. Сиверс и долго беседовала с Белым об ибсеновском Бранде. Норвежские горы, среди которых шел поезд, придавали для Бугаева этому разговору особое значение. Мочульский тонко замечает, что надлом во внутренней жизни Белого произошел до переезда в Дорнах (и до пребывания в Берлине в 1922–23 годах, хотя многие относят его именно на этот период), но он ошибается, считая, что он связан с поездкой на могилу Ницше; навеянные этой поездкой эмоции носили более литературный характер. В «Записках чудака», еще не имея возможности осознать реальный характер своего состояния, Белый описал, что ощущал он на улицах Копенгагена, дня через три после разговора в поезде с «сестрой». 16 лет спустя Белый искал возможности хоть как-нибудь намекнуть на исключительность этого события для его последующей жизни, и сделал это так («На рубеже двух столетий», стр. 169): «Октябрь играет большую роль в моей жизни, я в нем родился (1880), сознал себя (1883) . . . позднее самые значительные переживания жизни падают на октябрь». Этому реальному переживанию единства «я» и вселенной на духовном пути в наше время должна предшествовать новая стадия развития, так как мы утратили то, чем обладали люди в прошлом. Штейнер характеризует ее простыми словами: это опытное узнавание того, что в мире более значительно, чем наше собственное «я». Без этого опыта отрешенности ищущему угрожает опасность смешения проекции эгоцентрически разросшегося внутреннего мира с действительностью, иной раз до разрушительного воздействия на нее этого мира.

С той поры образные переживания Бугаева становятся богаче и красочнее, но в них проскальзывало нечто от настроений, напоминавших мистику его симфоний «Кубка метелей». Ему становилось все труднее справляться с мелочами повседневной жизни.

Надежда, что деревенский воздух и физическая работа по возведению Гегеанума укрепят расшатанные нервы, оправдалась лишь отчасти. Белый глубоко радовался росту до того не существовавшей, идущей из будущего красоты этого здания, над которым мы работали по моделям и указаниям Рудольфа Штейнера, но сжиться с нашей работой не смог. Разразившаяся вскоре война заполнила атмосферу отравой шовинизма, страха и лжи. У Белого проснулась тоска по России, к тому же болезненно-хаотическое его восприятие окружения (по его словам, он все воспринимал порами) еще усугублялось трудностями, возникшими в его эмоциональной жизни.

---

\* К. Мочульский. «Андрей Белый», 1955, Париж.



---

---

И все же в эти тяжелые годы Андрей Белый написал «Котика Летаева», свое быть может самое поэтическое произведение; работу, сопоставляющую гетеанизм с кантианством (рукопись находится теперь в Московском музее рукописей) и книгу «Рудольф Штейнер и Гете в мировоззрении современности», как ответ на нападки Э. К. Медтнера (под псевдонимом Вольфинг), обвинявшего Штейнера в научном диллетантизме. Сам Бугаев от этого обвинения давно отошел; по этому поводу в своих записках он отметил: «Лишь серьезные встречи с научными трудами Гете дали мне понимание моих юношеских ошибок».

Эти работы опровергают обвинения, выдвигаемые против атропософии, что она будто бы оказывает вредное влияние на творческие силы.

Призванный на военную службу (от которой был освобожден), Бугаев уехал из Дорнаха летом 1916 года. Лишь в последние недели, прощаясь с прошлым, он вновь обрел спокойствие. Но вера в то, что самое значительное, что мы пережили, сохранится неприкосновенным, была надломлена. Он это знал. Будущее показало, что и сохраняя ему верность, уберечь его он не сумел.\*

Из-за условий его жизни, переписка с ним вскоре прекратилась. Лишь после почти семилетнего молчания из Ковно пришло известие, что он едет в Дорнах, посмотреть, как мы живем. «Бугаев болен, — сказал мне Рудольф Штейнер, по поводу этого письма. — Я рад был бы пригласить его сюда, но это не пойдет ему на пользу. Мы тут живем ведь на пороховой бочке (это было за несколько месяцев до пожара в Гетеануме, А. Т.). Постарайтесь отговорить его, я сделаю, что могу, чтобы облегчить ему въезд в Германию». По недоразумению, эти слова дошли до Бугаева, — в нервном его возбуждении, он нашел их оскорбительными. Штейнер, видя состояние, в котором он находился, отложил разговор с ним до встречи в Штуттгарте.

---

\* Большинство русских покинуло Дорнах и уехало в Россию в первые недели войны, когда еще был открыт путь через Германию. После Бугаева и А. М. Поццо, как и они кружным путем, поехали наши друзья Т. Г. Трапезников — в январе 1917 года, и к лету М. В. Волошина уже в одном из знаменитых «запломбированных вагонов», в организованной Людендорфом переправке русских через Германию. Закравшееся в заметку о возвращении Трапезникова в Россию недоразумение («Мосты № 12, стр. 359) основано на том, что они действительно выехали сначала из Дорнаха вместе, но из-за блокады Волошина из Парижа вернулась в Швейцарию и Трапезников дальше поехал один. К концу зимы, в 17 году, то есть больше чем за полгода до октябрьской революции, он был в России, — это опровергает предположение, что он, якобы под влиянием Штейнера, поехал в Россию, симпатизируя большевизму («Мосты» № 10, стр. 374).

---

---

В начале очерка я привела слова Бугаева по поводу этого разговора. Он был счастлив, что освободился от химер, заграждавших ему путь к никогда не прерывавшейся привязанности к «Доктору».

Сопоставление приведенных здесь сведений о жизни Бугаева за границей с выдержками из его биографических книг фактически опровергает характеристику Белого, данную Ф. Степуном. Он предполагает, что Белый, из-за изменчивости своей натуры, если и примирился с Штейнером, то мог опять от него отойти. Но надо помнить вот что: биография, вернее мемуары, занимают около семи лет жизни Белого; работа над ними шла от 29 года до смерти в 1934 году. В них он возвращался к событиям, происходившим в 1912-16 годах, то есть частью имевших уже более чем двадцатилетнюю давность и охватывали они такой же длительный период. Особая формулировка приведенных здесь выдержек, понятная лишь знавшим даты заграничной жизни Бугаева, спасла их от цензуры. Но надо было дожидаться, пока наши заграничные друзья расшифровали их, как призыв поверить, что его связь с антропософией оставалась неизменной.

В более ярких красках, чем это мог, под надзором цензуры, сделать сам Белый, пишет о его отношении к Штейнеру Н. Кошеватый («Грани» № 17, 1953 — «Встречи с Андреем Белым», — случайно на днях этот журнал попал в мои руки). Автор с большой любовью рассказывает, как они встретили Белого осенью 1923 года, по возвращении его из Германии, приехавшего читать лекции, надо думать, в Петербург. При встрече последовал многочасовой рассказ Белого о Штейнере, в небольшом кружке. Приведу несколько выдержек, бессистемно: «При постройке Гетеанума принимали участие представители восемнадцати европейских национальностей... художники, ремесленники, ученые и другие специалисты — и все они (и я в том числе) получали импульс и указания от доктора... Сам доктор лично работал над статуей Христа и над капителями и архитравами здания со стамеской и молотом в руках... Он пользуется необыкновенной любовью и уважением не только учеников, но и рабочих, принимавших участие в стройке... это уважение к его личности вытекает из самых глубин сердца тех, кто окружает его... Лично для меня он был как родной отец, а годы, проведенные мною в Дорнахе, были моим вторым университетом...»

Дальше Белый говорит об огромной работоспособности Штейнера и научной глубине и разнообразности его лекций; затем он перешел к теории познания, противопоставляя гетеанизм агностицизму, вырастающему из кантианства. Белый развивает тему о возможности познания, основанного на космических закономерностях, — шесть лет спустя, не имея возможности сослаться на источник, Бе-

---

---

лый намекает на это учение, пользуясь взятыми из него терминами и характеризуя ими основы символизма («На рубеже двух столетий», стр. 187, 188).

Из рассказов перебравшихся в те годы из России друзей мы знаем, что круг слушателей Белого в Москве и Петербурге постепенно расширился и что рассказы его о Штейнере сыграли значительную роль в их дальнейшей судьбе. Но в 1925 году, — в год смерти Рудольфа Штейнера, — Белый вынужден был прекратить эти частные свои занятия.

Прибавив, на основании этих показаний и рассказа Кошеватого, еще два года (1923-25) неизменного отношения Белого к Штейнеру, к годам его работы над автобиографией (1928-34), что подтверждают приведенные из них ранее выдержки, мы получим около девяти лет его жизни в России, прошедших под знаком антропософии.

Остаются невыясненными года три, — 1925-1928, — когда Белый, по словам Кошеватого, писал роман «Москва под ударом». И именно на эти промежуточные годы ложится тень созданного им «доктора Доннера», послужившего Ф. Степуна главным доказательством измены Белого Рудольфу Штейнеру.

Не касаясь побочных тем и не оспаривая мнения Степуна о художественной стороне характеристики доктора Доннера, подчеркнем важный факт, что Кошеватый застал Белого за работой над романом в июне 1925 года. А весть о смерти Штейнера не могла попасть в Россию раньше мая. Писал ли Белый в те месяцы первые страницы романа — не играет роли. Художник слова, как мы знаем, носит в себе своих будущих героев месяцы и годы, он живет с ними, хотя бы они еще не приняли определенных форм. Значит, мы опять имеем тут дело с внутренней двойственностью, проявляющейся одновременно, а не поочередно, как думал Степун. Рассказы о Штейнере, игравшие огромную роль для его слушателей, и формирование образа доктора Доннера, шли параллельно... Но можно ли допустить, чтобы Белый, всего через несколько недель и с такой любовью говоривший об умершем своем учителе, вдруг, по словам Степуна, «со злостью и ненавистью» создал в образе более чем сомнительного немецкого оккультиста доктора Доннера — его карикатуру? Белый «шелушился изменой», — объяснял Степун. Это была не «безнравственность, но неотделимая от его таланта оптика глаза». Но этот парадокс обвинения Степуна не умаляет. Он пишет: «Молчать о Штейнере, во всяком случае, Белому никто не запрещал».

Мы ничего не знаем о травле Белого в эти годы. В ней участвовали и Каменев, и Луначарский. Хотел ли Белый доктором Доннером отгородиться от обвинений в «мракобесии»? Доннера можно сопоставлять с Штейнером, лишь как его абсолютную противоположность. Это не карикатура, — она подчеркивает сходство, тут же нет

---

---

ни одной общей черты. Это и не «сатирический памфлет», как думал Степун. Что побудило Белого придать мешанской фигуре Доннера созданные им в болезненном состоянии берлинских лет химерические образы, ничего общего, как и вообще Доннер, с Штейнером не имевшие? Может быть с помощью этого несходства Белый хотел умиротворить вызванный им к жизни кошмарный мир, уделив ему угол в своем романе?

Ответ на эти вопросы, возможно, могли бы дать те, кто близко общался с ним в эти годы. Но тому, что этот роман вырос из ненависти, вспыхнувшей вдруг к человеку, которого он с первой встречи любил и которым глубоко, как художник, восхищался — этому не поверит никто из сколько-нибудь хорошо знавших Бориса Николаевича, с его «стихийной» сложностью исключительного душевно-го склада.

Если Степун, знавший Белого лично, не делает в своей характеристике такого вывода, о внезапной ненависти, его сделают и уже делают другие. И мы не вредим памяти Ф. А. Степуна, внося в ответ корректив из нашего опыта.

При всей многогранности его мировоззрения (обрисованного им в «Между двух революций»), Белый не терял строгой последовательности мышления, не считаясь с сыпавшимися на него обвинениями, — с одной стороны в «отсутствии трансцендентности», а с другой в приверженности к ней. В его душевном мире и при его темпераменте, со всей их «стихийной» сложностью, доходившей до хаоса бредовых наваждений, Белый где-то в тайниках души, не утрачивал спасительной ясности переживаний своей молодости. В этих тайниках и хранилась его верность.

Таким надо видеть трагический облик Андрея Белого, которого в эмиграции считают врагом и предателем Штейнера, а на родине — поклонником антропософского «мракобесия». Некоторые факты в этом очерке может быть помогут опровергнуть подобные суждения.

---

---

## ВЛАДИМИР ДУКЕЛЬСКИЙ

### Об одной прерванной дружбе

18 ноября 1916 года Сергей Прокофьев играл свой первый фортепианный концерт в Киевском отделении РМО. Дирижировал Р. М. Глиэр, неизменно благодушный, покладистый человек, в те дни директор Киевской консерватории. Мне было 13 лет, Прокофьеву двадцать пять. Глиэр, сын выходца из Бельгии, был расторопным и плодовитым композитором так называемой Белявской группы; несмотря на иностранное происхождение, он отличался своим демонстративно подчеркнутым руссизмом, за что ему попало даже от флегматичного толстяка Глазунова. В письме к Беляеву (1901) покойный А. К. отозвался о первой симфонии Глиэра так: «Главный ее недостаток — это несколько назойливый русский стиль (ведь Глиэр тоже «русский человек»), не изобилующий новыми подробностями, а скорее представляющий общее место». Тем не менее, Глиэр был щедро наделен мелодическим даром и превосходной композиторской техникой; учитель он был добросовестный, но не слишком «зажигающий».

В далекие уже времена прокофьевского дебюта в Киеве я учился у Глиэра в консерватории и даже считался вундеркиндом средней руки. Прокофьев же начал брать частные уроки у «русского бельгийца» еще в 1902 году, когда ему было 11 лет (а Глиэру 28). Через два года он поступил в Петербургскую консерваторию, занятия с Глиэром пошли ему впрок и подготовили к серьезной композиторской учебе.

О молодом Прокофьеве шли странные и тревожные слухи, несмотря на золотую медаль, которой он был награжден по окончании консерватории; говорили, что это редкостный нахал, заядлый футурист, при этом фат и франт, разгуливающий по Невскому в сверкающем цилиндре, вооруженный моноклем, — по наружности «белый негр». Это меня заранее настроило на неприязнь к молодому пианисту-композитору, особенно потому, что я ненавидел Вертинского (завываниями которого увлекались «взрослые») с его неправдоподобным «лиловым» негром.

---

«Воображаю, чего этот белый негр насочинял! — думал я не без злорадства. — И зачем Рейнольд Морицевич (Глиэр) его здесь лансирует?»

В ложе моей бабушки Копыловой сидели: моя мать, младший брат Алексей и сама величественная бабушка, учившаяся в молодости фортепианной игре у Антона Рубинштейна и в музыке разбавшаяся не плохо.

Помню очень приятную, разливанно-мелодическую 2-ю симфонию Глиэра (потом мы не раз ее играли в четыре руки с Прокофьевым, питавшим нежность к сентиментальной побочной теме начального «аллегро») в корректном исполнении автора, бритого и «эстетически» причесанного брюнета в пенсне, очень нравившегося дамам, в том числе моей матери. Аплодисментов было много — Глиэра в Киеве ценили и даже гордились пребыванием «столичной знаменитости» в провинциальном, как-никак, городе.

Аплодисменты смолкли и водворилась специфически-концертная, то есть относительная тишина; на смену парящим скрипкам и благому мату труб и тромбонов пришло щебетанье дам — любительниц музыки и реплики (шепотом) их кавалеров. Затем снова магическая, ни с чем не сравнимая фальшь одновременно настраиваемых инструментов, подъезжающих к гортанному «ля» жожака-гобая. Мало кто может устоять перед очарованием этого первобытного, столь многообещающего шума! Но и соблазнительный этот шум внезапно прекратился; на эстраду, из двери слева невероятно быстрым шагом почти выбежал молодой человек крайне странной, чтобы не сказать «антимузыкальной», наружности. Сергей Сергеевич был тогда очень худ, что делало его еще более высоким. Поразила меня его маленькая голова, коротко подстриженные бело-желтые, цыплячьего цвета волосы, толстые, как бы надутые губы (вот почему его окрестили белым негром!) и невероятной длины руки, неуклюже болтавшиеся — не в такт стремительной его походке. Одет новый композитор был подчеркнуто элегантно: невиданного лондонского покроя фрак, оглушительно белый жилет и лаковые туфли марки «будем, как солнце» — до того они сверкали! За Прокофьевым не без труда поспевал аккуратный, но вдруг поблекший Глиэр; только-только успел он подняться на подиум, как белый негр уже расположился поудобнее за роялем, подвинул сиденье и нетерпеливо на нем заерзал. Глиэр взмахнул палочкой — и начался музыкальный футбол, по тем временам верх мальчишеской дерзости: нечто вроде Ганоновых упражнений шиворот навыворот.

Первый фортепианный концерт Прокофьева не даром был прозван: «по черепу». Веселая, размашистая тема, которой концерт открывался, именно так и действовала на ошеломленного слушателя: бьют палкой по голове, хоть караул кричи. Не следует забывать, что Прокофьев принялся проказничать, заниматься своего рода музы-

---

---

кальным спортом в дни тепличного импрессионизма (Дебюсси и Равель), в эпоху эротико-религиозного экстаза (Скрябин); композиторы священнодействовали, приобщая замороженную публику к своим мистическим таинствам. И вдруг . . . футбольный разбег, атлетические гаммы и глиссандо, мускулистая, нехитрая ритмика, и иногда затейливые гармонические кунштштюки, рассованные куда и как попало.

Не забудем, что Скрябин, кумир юных музыкантов и апостол «модернизма», умер лишь за полтора года до этого концерта (апрель 1915). Сын его Юлиан, которому я слегка завидовал, так как ему было лишь 8 лет в те дни <sup>1</sup> и он вскоре превратил меня в достаточно великовозрастного вундеркинда, заняв первенствующее положение, появился в Киеве с матерью, молодой черноволосой женщиной в неизменном глубоком трауре; про Юлиана говорили, что он сочинял довольно «заумную» музыку, но, как-никак, это был Скрябин, наследник нашего музыкального вождя! Прокофьевское озорство показало почти глумлением над памятью покойного, для которого музыка была таинственным церемониалом, мистерией.

Немудрено, что бабушка, мать и мы с братом были возмущены и сказали, чуть ли не в унисон, что прокофьевский концерт безобразен и что в нем нет ни единой мелодии. К нашему удивлению и негодованию рукоплесканиям (правда, сопровождавшимся смехом) не было конца; не менее шести огромных цветочных корзин были преподнесены невозмутимому пианисту-композитору. Кланялся он тоже как-то не по-человечески, а скорее на манер механически заведенной куклы; кланяясь, он едва ли не касался колен своей маленькой лимонно-волосой головой и затем, стремглав, снова принимал вертикальное положение, внезапно выпрямляясь. После семи или восьми выходов Прокофьев положительно рысью выбежал в кулисы.

«Это не музыка, Дима (хоть я и Владимир, но родные и друзья иначе, как Димой, меня никогда не называли), — сказала мать с преувеличенной строгостью. — Ты только не вздумай подражать этому петербургскому чудаку. Не забывай, мой мальчик, мелодия — это начало и конец музыки».

Ее опасения были напрасны; все ученики Глиэра, и я в их числе, с упоением барахтались в импрессионистическом болоте. Глиэру не подражал никто (я подозреваю, что он был этим несколько обижен), Скрябину — большинство из нас, а иные усердно писали «под француз» — Дебюсси и Равеля.

Через несколько лет, очутившись в Константинополе (по беженскому трафарету), я, с племянником Н. К. Метнера пианистом Ни-

---

<sup>1</sup> Бедный Юлиан утонул, купаясь в Днепре, 21 июня 1919 года.

---

---

колаем Штембером, раздобыл две тетради романсов и десять фп. пьес ор. 12 Прокофьева. «Кока» Штембер знал С. С. по консерватории, но к композиторскому его таланту относился скептически, предпочитая музыку своего дяди. Вслушавшись как следует в угловатую, прямолинейную, местами лирически подкупающую музыку «Гадкого утенка» (одно из прозвищ Прокофьева; он написал чудесную вокальную версию сказки Андресена), я чуть-чуть не растаял, но вовремя удержался.

Окончательно растаял я уже в Нью-Йорке, куда, волею тех же беженских судеб, меня впервые занесло в 1921 году. Моя первая американская одиссея подробно описана в моей автобиографии,<sup>2</sup> к переводам из которой я буду изредка прибегать в настоящем очерке. В «Парижском паспорте» я рассказываю о встрече с покойной Ниной Кошиц, так много сделавшей для пропаганды отечественной музыки (в особенности Рахманинова и Прокофьева); талантливый и прилежный Штембер был в те дни ее аккомпаниатором. Нина Павловна повествовала о наглом, хоть и даровитом фате Прокофьеве, добровольно заточившем себя в заброшенном баварском замке (плод чьего-то воображения) и строчившем там свой уже третий фп. концерт и оперу на сюжет Достоевского («Игрок»). Кошиц затем села за рояль, закутавшись в ярко-красную испанскую шаль, и принялась петь прокофьевские романсы на слова Ахматовой (ор. 23, 1915) и волшебные его вокализы. До недоумения простая и «доходчивая», прозрачная эта музыка наполнила меня безудержным восторгом.

Прошел еще год, и я снова увидел Прокофьева, ставшего (к моей тщательно скрываемой досаде) «властелином» моих музыкальных дум; тут же убедился я в справедливости упорных слухов о невероятной резкости, чтобы не сказать природной грубости (воспитан он был хорошо и в этикете превосходно разбирался) этого человека. Я был приглашен на концерт светской композиторши, дочери знаменитого скрипача Венявского, леди Дин Поль, писавшей дебюссиобразную, но достаточно шармантную музыку под псевдонимом „Poldowski“.

Затаив дыхание, я увидел, что в следующем же ряду партера сидели недавние враги: А. И. Зилоти, последний ученик Листа, высокий, худой, еще красивый старик, и Прокофьев, мало изменившийся с глизеровских времен. Не помню, кто пел романсы Польдовской, изящной, по-парижски одетой дамы (она аккомпанировала певцу), да я и не особенно прислушивался к музыке, жадно разглядывая моего нового идола. Он слушал с презрительным выражением лица, нетерпеливо подергивая плечами, а Зилоти, большой любезник и ловелас, что-то нашептывал ему на ухо, плотоядно ухмыляясь. По окончании концерта многие, в том числе и Зилоти, подталкивавший

---

<sup>2</sup> "Passport to Paris" (1955, Little, Brown and Co, Нью-Йорк).



---

---

упиравшегося Прокофьева, а на почтительном от них расстоянии — моя дама и я, отправились в «артистическую». Дама (полячка) мгновенно бросилась в объятия композиторши, после чего Зилоти, держа Прокофьева за пуговицу, поцеловал руку Польдовской и сказал: «Вот, Lady Dean Paul, позвольте вам представить Сергея Сергеевича Прокофьева». Леди польщенно улыбнулась, но Прокофьев, заложив руки за спину и выпятив и без того толстые губы, буркнул на приличном французском языке: «Знакомиться нечего. Очень уж плохую музыку пишете».

Наше же знакомство, перешедшее в счастливейшую и плодотворнейшую для меня дружбу, началось 17 июня 1924 года в Париже, перед моим композиторским дебютом в балете С. П. Дягилева; вернувшись в Европу с целью завоевать себе у музыкантов признание, я попал если не «с корабля на бал», то, во всяком случае, «с корабля в балет». К Прокофьеву меня затащил неугомонный П. П. Сувчинский, тогда еще виднейший евразиец и страстный меломан. Тут необходима оговорка: я долго не решался опубликовать письма Прокофьева ко мне, боясь, что буду уличен в самохвальстве, самовозвеличении. Письма эти, однако, представляют исторический интерес, так как покойный композитор за словом в карман не лез и с убийственной меткостью отзывался о старших и младших современниках, о своей работе, о концертных путешествиях.<sup>3</sup> Не моя вина — нет, это большое мое счастье, — что, ознакомившись с моей музыкой, он ею серьезно заинтересовался и на протяжении тринадцати лет (1924–1937), делал героические и чрезвычайно редкие в музыкальном мире усилия помочь распространению и признанию моей работы. Что это удалось Сергею Сергеевичу лишь частично, в этом виноват не он, а я один; заработать на жизнь одной лишь «серьезной» музыкой я не мог, в чем скоро убедился. Ни дирижерского, ни концертно-виртуозного таланта у меня нет и не было, хотя с годами и выработался в добросовестного аккомпаниатора. Поэтому я и «разбросался», если не по мелочам, то по разным, иногда порядочно фривольным жанрам, за что Прокофьев разносил меня нещадно, пусть и не всегда справедливо.

Попал я к Сергею Сергеевичу по инициативе С. П. Дягилева; последний, со свойственным ему маккиавелизмом, желал заручиться «патентами на благопорядочность» моего творчества, только что заказав мне партитуру «Зефира и Флоры» на сюжет Бориса Кохно, которого я встречал еще в Константинополе. Аудиенция у «всемогущего» И. Ф. Стравинского прошла удовлетворительно, теперь очередь была за Прокофьевым. Беда была в том, что Дягилев с Прокофьевым поссорились из-за сравнительной неудачи «Шута» (1920),

---

<sup>3</sup> У С. С. был своеобразный писательский талант, о чем свидетельствуют хотя бы его незаконченные автобиографии — их несколько.

---

---

в которой они обвиняли друг друга. Дягилев даже предостерегал меня от чрезмерного увлечения «несовременной» музыкой С. С. (этот антагонизм продолжался недолго), но мощного таланта и оригинальности его, разумеется, не отрицал; мнение Прокофьева о моем «потенциале» Дягилев решил узнать окольными путями — весьма характерный для него прием.

Особых восторгов мой ранний и очень несамостоятельный (помесь Метнера и Прокофьева) фп. концерт у моего старшего слушателя не вызвал; С. С. однако одобрил мою композиторскую технику и «редкую в наши дни» мелодическую легкость. Тут же я познакомился с его первой женой Линой Ивановной, очень красивой «полуиспанкой» — ее девичья фамилия была Льюбера — певицей и нежной матерью двух прокофьевских сыновей; отношения супругов были малопонятны для посторонних, так как они постоянно ссорились, кричали друг на друга и хлопали дверьми. Однако скоро мирились и прилежно вместе музицировали. Помню, что С. С. и я поделились воспоминаниями о Глиэре и что, к большому удовлетворению хозяина, я был безжалостно им разбит в шахматы: я не подозревал, что Прокофьев считался одним из сильнейших шахматистов в Париже.

По-настоящему подружились мы уже после монтекарловской, довольно удачной премьеры моего балета (с декорациями Жоржа Брака, костюмами «Коко» Шанель и хореографией Леонида Мясина), в мае 1925 года, когда я вернулся в Париж. Это второе наше свидание началось малообещающе: Прокофьев жил по строгому, им самим установленному расписанию, уклонения от которого, вызванные забывчивыми или навязчивыми знакомыми, приводили композитора в бешенство.

Расписание было такое: утром от девяти до часу — сочинение музыки, завтрак, после завтрака один час для деловых встреч и занятий по хозяйству, два часа, посвященные оркестровке, затем (перед обедом) правка гранок и отделка написанного утром. Не имея понятия об этом, тщательно выработанном, расписании, я принялся телефонировать С. С. «не вовремя». «Что вам угодно?» — раздался ответный рык, не предвещающий ничего доброго. «Здесь Дукельский» . . . — «Знаю, что вы Дукельский, а я Прокофьев: последний очень занят, даже если Дукельский бьет баклуши». — «Но, Сергей Сергеевич, я хочу, чтобы вы прослушали моего «Зефира» . . . вы мне сказали» . . . — «Знаю, что сказал вам; возможно, даже назвал вас композитором — вероятно, по ошибке. Как вы смеете беспокоить меня утром?» — «Виноват, С. С., но по моим часам без десяти час». Молчание на предмет модуляции и более прохладный тон. — «Почему же вы так и не сказали? Ну, хорошо, приходите завтракать и тащить балет».

---

---

Лина Ивановна, с глазами, красными от недавних слез (супруги уже успели поругаться), была очень довольна моим вторжением, сулившим возвращение тишины и спокойствия. Атмосфера за завтраком оставалась, однако, довольно напряженной. Прокофьев к концу завтрака ухитрился чем-то снова обидеть жену, и она выбежала из столовой, хлопнув дверью. «Отлично, — буркнул С. С., — теперь займемся делом». С всегда поражающей молниеносной быстротой он вытолкнул меня в свой рабочий кабинет, схватил партитуру моего балета, опустился в спартанского вида кресло и потребовал немедленного исполнения музыки. В самой середине вариаций девяти муз он вскочил, надул щеки и (по-прокофьевски) подбоченился, выпятив живот; не успел я доиграть коды — апофеоза, как Прокофьев столь неожиданно поцеловал меня в губы и рывкнул: «Здорово! Музыка очень хороша, оркестровка посредственная (он был совершенно прав). Не говорите Сергею Павловичу (Дягилеву), что вы играли мне «Зефира» — это вам не поможет. Поди-ка сюда, Лина, довольно трагедий — Дима выдержал экзамен». Лина Ивановна выпорхнула из спальни, утирая глаза, но улыбаясь вымученной улыбкой невинной жертвы. «А, Лина, каков? — буквально взревел ее супруг, хлопнув меня по спине. — Певучую музыку пишет! <sup>4</sup> Я очень вами доволен, — а теперь пожалуйста в шахматы».

После выдержанного экзамена мы стали почти неразлучны. С. С. повел меня к своим верным парижским друзьям — Борису и Фатьме-Ханум Самойленко; Фатьма-Ханум, осетинка по происхождению, обладала талантом жить широко и богато, не будучи вовсе богатой. У нее был единственный в своем роде русский салон в Париже; лучшие наши художники — Сомов, Шухаев, Григорьев, Яковлев, — композиторы, дирижеры и кое-кто из писателей (Алданов, Зайцев, не помню, кто еще) постоянно бывали у Самойленок; почему-то отсутствовали поэты, даже Бальмонт, с которым Прокофьев одно время (ненадолго) сблизился и на чьи слова немало музыки написал.

---

<sup>4</sup> Уже через восемь лет после смерти Прокофьева (1953) я, с понятным волнением, прочел его отзыв о моем балете, впервые напечатанный в "De Musica", Временнике разряда истории и теории музыки Гос. Института истории искусств (Ленинград 1925) — отзыв, включенный составителями «Материалов, документов, воспоминаний» (С. Прокофьев) в этот увесистый сборник (Москва 1961). Отзыва этого, по непонятным для меня причинам, С. С. при жизни никогда мне не показывал и о нем не упоминал. Вот выдержки из статьи «Париж, весенний сезон 1925»: «Несомненно наиболее интересной вещью этого сезона был балет Владимира Дукельского «Зефир и Флора», данный Дягилевым... Балет с классическим оттенком, но без русского духа, богат превосходными темами и хорошо сделан, красив гармонически, при этом не чрезмерно «модерен». Самой замечательной частью его является превосходная тема с вариациями... Про «Зефир» можно сказать, что он останется надолго». — Прокофьев ошибся: балет мой продержался всего два сезона.

---

---

Фатьма-Ханум была некрасива, очень смугла, с резкими чертами лица, но это искупалось ее обаянием, душевной щедростью и нечастой у женщины словесной находчивостью; она умела унять разбушевавшихся спорщиков и «поставить на место» зазнавшихся оракулов, — а таких в парижской «артистической» среде было немало. Заезжали и разношерстные «знатные иностранцы». Однажды под вечер к ней заглянул совместно с Прокофьевым большого роста, но, несмотря на весьма внушительную внешность, несуразный, косолапый парень — именно «парень», а не молодой человек; он был наигранно развязен, одет с претензией на великосветский шик, но на голове его красовалась смятая, босяцкого вида кепка. Войдя в гостиную Фатьмы, он кепки не снял, зато вручил хозяйке большой букет роз, нарочито-карикатурно кланяясь; помнится, даже руку ей поцеловал. Фатьма-Ханум вспыхнула и бросила ему: «Маяковский, в храм муз в кепке не входят!» Маяковский оторопел, но вскоре нашелся, кепку снял и забубнил могучим своим басом — о чем, не помню.

Бывают люди, без особого труда всем импонирующие, завораживающие слушателя и приводящие его в состояние хронической экзальтации; такими людьми, при этом полнейшими антиподами, были Маяковский и Жан Кокто. Окружающие — в особенности молодежь — шли за ними по пятам, верили каждому их слову, следовали их (в большинстве случаев вздорным) советам и ежеминутно расписывались в верноподданничестве. Это было, конечно, и с Блоком (и с Андрэ Жидом, и с Сартром), но о блокомании я знаю только по наслышке, а магия Маяковского (и Кокто) меня оставляла до тупости безразличным. Лицо М. приковывало к себе внимание, но презрительно искривленный рот и «чугунный» подбородок упрямяца, одержимого мегаломанией, сразу заставляли — меня, по крайней мере — настораживаться. Маяковский — встречался я с ним раз шесть-семь в Париже — всем, кроме, конечно, таланта, напоминал мне перезрелого гимназиста-второгодника, лихо ломавшего казенную фуражку и герб на ней, с упоением издевавшегося над новичками — словом, как говорили в мои гимназические годы, «державшего фасон». Удивительное дело: с женщинами этот до безобразия самоуверенный человек был крайне неловок и мешковат, то, что французы называют „gauche“. В печатавшихся в «Новом русском слове» воспоминаниях (презанных) Валентина Катаева описывается, как М., ухаживая за девицей в каком-то сборище, бомбардировал ее письменными вопросами на клочках бумаги (вероятно, вроде Бессонова из «Хождения по мукам», карикатуры на Блока, который своей очередной пассии намарал: «Любите любовь») — прием, что и говорить, по-гимназически наивный. Особенно эта нескладность поэта сказывалась в его разговорах (кое-что мне удалось подслушать) с красавицей Таней Яковлевой, племянницей худож-

---

---

ника (теперь Татьяной Либерман), в которую он в парижские дни был безнадежно влюблен и которой посвятил несколько стихотворений. На старания Маяковского «покорить» женщину неприятно было смотреть: так плохо ему удавалось напускное, а может быть и искреннее донжуанство.

На меня он внимания не обращал, что было вполне понятно, а Прокофьев приводил его в состояние транса; слушая фортепианную игру С. С., Маяковский попросту млеял, и глаза его зажигались неожиданно теплым светом. В эти минуты я мирился с его нестерпимой заносчивостью и очевидной мечтой — закидать советскими кепками всех французишек и эмигрантишек. Свои оглушительные стихи Маяковский читал охотно и с огромным театральным пафосом; этому помогал и раскатистый, ораторски-актерский голос. С Прокофьевым Маяковский довольно часто игрывал на бильярде, любил гулять с ним по Парижу.

Мы же с Прокофьевым гуляли не только по Парижу, но и по всей Франции; усаживались в его допотопный, вечно страдающий автомобильными болезнями Ballot (эта марка больше, кажется, не существует) и отправлялись в длительные гастрономические путешествия, вооруженные справочниками, путеводителями и волчьим аппетитом. Лина Ивановна редко к нам присоединялась: этому мешали дети и заботы по хозяйству; в одном из путешествий принял участие советский пианист Софроницкий с очень приятной, кроткой женой — одной из дочерей Скрябина.

В это же время я нашел и третьего «покровителя» — первыми двумя были Дягилев и Прокофьев, всячески помогавшие моей музыкальной карьере; третий покровитель был Сергей Алексеевич Кусевицкий, уже прославленный дирижер и щедрый меценат, глава основанного им (и его богатой супругой Натальей Константиновной, дочерью московского купца-миллионера Ушкова) Российского музыкального издательства. В каталогах издательства, помимо «благонамеренных» Рахманинова и Метнера и «заядлых модернистов» Стравинского и Прокофьева, вскоре замелькали и новые имена, в том числе мое. Неудивительно, что моя молодость прошла под знаком трех Сергеев — Дягилева, Прокофьева и Кусевицкого; столь могущественная триада не могла не помочь мне обзавестись паспортом на блестящее музыкальное будущее. Паспорт я получил, но воспользовался им лишь частично.

Поселившись в Лондоне после премьеры «Зефира», — Ремизов прозвал этот балет «воздушной рапсодией», — понравившегося английской публике и превознесенного лондонскими критиками, я был вынужден заняться т. н. «коммерческой» музыкой; успех моего балета несколько не помог мне в материальном смысле, хотя я и продал клавирацуг Кусевицкому. На дельнейшую поддержку Дягилева нельзя было рассчитывать, он и сам проходил трудную фи-

---

нансовую полосу. Заказал мне все же новый балет («Три времени года», так названный, ибо четвертого — осени — С. П. не переносил), но аванса мне не дал и балета не поставил. Обожаемый мною Дягилев был чудовищно ревнив и подозрителен; всегда боялся, что опереточные короли (вроде Чарльза Кохрана, знаменитого лондонского импрессарио) перемянут его сотрудников — композиторов, художников и хореографов — в свой лагерь, посулив им золотые горы. Золотых гор мы, конечно, и не видывали, но подозрения С. П. на этот раз оправдались: и я, и Мясин прельстились фунтами стерлингов Кохрана, после тощих дягилевских франков, и подписали с англичанином контракт на работу в ревю и даже кабаре. Попав как-то ночью в лондонский Трокадеро, в программе которого стояли номера с моей музыкой в хореографии Мясина, Дягилев пришел в дикий раж и растоптал, к великому ужасу Сергея Лифаря, Бориса Кохно и самого преступника, то есть меня, мой новенький цилиндр, взвизгнув при этом: «Б . . . ь!».

Прокофьев отнесся к моей подозрительно фривольной новой деятельности несочувственно, но прозвал меня, несколько смягчив сильное выражение Дягилева, только «полукокоткой». Однако, дружба наша не прекращалась; мы встречались то в Париже, то в Лондоне, где я вел образ жизни молодого петиметра, салонного завсегдатая, зачастую пренебрегая музыкальной работой. Это бесило Прокофьева, так трогательно мне помогавшего стать на ноги; в раннюю, чересчур «светскую» эпоху моей жизни я стал непоправимо самоуверен и, прослушав последнюю, действительно очень уж «серебряльную» пятую сонату С. С., сказал ему: «Нет, не нравятся . . . Перемудрили, друг мой». «Друг мой» вспыхнул, хлопнул крышкой рояля, надул щеки: «Я и не мечтал о поощрении ленивой лондонской проститутки и бездарного шахматиста», — огрызнулся он.

На следующий же день мы помирились, забыл я и про растоптанный в Лондоне цилиндр и простил Дягилеву его выходку самодура, тем более, что чувствовал себя несколько виноватым в измене «общему делу». Вскоре я даже получил амплу (без всякого вознаграждения, разумеется) своего рода музыкального секретаря в Дягилевском балете — разбирался в кипах получаемых чуть ли не ежедневно балетных клавиров (непрошенных) и наиболее интересное проигрывал С. П., так как был наделен умением с легкостью читать «с листа». К этому времени Дягилеву успела надоесть развлекательная музыка, „*musiquette*“, которую, с легкой руки Кокто, стряпали молодые французы — Пуленк, Орик, Мийо и Согэ, итальянцы — Риети — и даже англичане, например, Констант Ламберт, которого я же и навязал (на свою голову) Дягилеву в Лондоне. Этот период русского балета многим казался «упадочническим»; действительно, после пышной, подчеркнутой русскости начальной эпохи

---

(четыре триумфа Стравинского — «Жар-Птица», «Петрушка», «Весна священная» и «Свадебка», не говоря уже о «Шехерезаде», «Половецких плясках» и прочих отечественных манифестациях), изломанное легкомыслие «Козочек» (Пуленк), «Кошки» (Соре), или «Голубого поезда» (Мийо), их намеренное музыкальное ребячество, с постоянным лесбийским или педерастическим душком, претило многим меломанам и балетоманам.

Попав на последнюю репетицию громоздкой, но широко развернутой второй симфонии Прокофьева, премьеру которой готовил Кузевитский (успеха симфония не имела), умнейший и на редкость чуткий ко всему музыкально значительному Валечка Нувель, главный дягилевский оруженосец, насаждавший прокофьевскую музыку еще в дореволюционное время в Петербурге, зажегся священным огнем и решил действовать. Злобно покашливая и покручивая седоватые усики, Валечка (это было при мне) стал ратовать за немедленное заключение мира с «гениальным Сережей». «Это тебе не французские штучки-брючки, кхе-кхе»... — съязвил Валечка, злобно ухмыляясь. — «Накрадут канканчиков из Оффенбаха или Леока, прицепят фальшивые ноты — вот тебе, кхе-кхе, и музыка... А Мийо в «Голубом поезде» даже о фальшивых нотах забыл — очевидно, поленился: сойдет и так!»... Хотя я и был в самых дружеских отношениях со всеми поставщиками «канканчиков» за исключением, разве, Мийо, я не преминул горячо поддержать Нувеля и выразить свой чистосердечный восторг от мужественной, свободной от модных ужимок музыки Сергея Сергеевича. Дягилев сначала надулся, пробормотал что-то о «косолапых скифах» и «талантливых дураках», но довольно скоро сдался, сделал вид, что он и сам думал заказать Прокофьеву новый балет. Была устроена (опять окольными путями — через меня) очная ставка в излюбленном Дягилевым „Cabaret“ (на avenue Victor Emmanuel, переименованной в avenue Fr. Roosevelt). Прокофьев пришел, изысканно вежливо поздоровался с Дягилевым, захлебывавшимся от счастья Нувелем и суховато с Кохно, которого недолюбливал. «Хозяева» и композитор тут же решили соорудить балет на советскую тему и выписать из Москвы художника Якулова, которого Прокофьев хорошо знал.

Следует сказать несколько слов о специальном, даже привилегированном положении Прокофьева в стране советов. Он поддерживал связь с музыкальными деятелями СССР Держановским и Асафьевым (Игорем Глебовым); подозреваю, что и тот и другой внушали С. С. идею возвращения «домой», тем более, что в описываемое время парижские рецензенты принялись поругивать композитора. По свидетельству Нестьева, автора пространной биографии Прокофьева, почти все критики единодушно бранили вторую симфонию, разочаровавшись в даровании П. (из 28 рецензий — 25 ругательных и только одна хвалебная). «От моей симфонии большин-

---

ство в ужасе, — писал Асафьеву 24 июня 1925 г. С. С., — хотя и насчитываются горячие поклонники, другие же поклонники оплачивают мою гибель».

Прокофьев, по свидетельству того же Нестьева, начал «серьезно задумываться о дальнейших перспективах». Перспективы, однако, были скорее блестящие, и в Европе, и в США; ангажементов было все больше и больше и только советский угодник (Нестьев) мог бесстыдно заявить, что «Сергею Прокофьеву угрожали нужда, тяжелое разочарование — участь низвергнутого кумира». <sup>5</sup>

Нельзя отрицать, тем не менее, что С. С. был «изумлен и обрадован московскими успехами» его музыки (письмо к В. Держановскому, январь 1926). В письме к Асафьеву он признавался, что его «очень потянуло в Россию». Понятно, что С. С. «воспринял идею (советского балета, предложенную Дягилевым, В. Д.) очень искренне, как путь к духовному сближению со своей Родиной» (Нестьев). «Я одним духом, закусив удила, накатал новый балет», — сообщил он Держановскому. К осени 1925 года клави́р балета был готов и озаглавлен (Дягилевым) «Стальной скок» („Le Pas d'acier“). Георг Якулов, художник-конструктивист, основой балета сделал «социалистическую стройку», воспевание «поэзии машин», которую Нестьев презрительно обозвал «урбанистическими кунштштюками».

Но чем был вызван внезапный интерес барина и космополита Дягилева к советским делам и его решение посвятить новый балет Прокофьева теме кипучего советского труда? Жак Эмиль Бланш, художник, друживший со всеми выдающимися деятелями искусства своей эпохи (1861-1942), писал:

«Ленин предложил Дягилеву пост Народного комиссара Советского Театра, но, несмотря на свое непреодолимое любопытство, которого Д. не отрицал, и возможность покорить артистическую Москву, он смертельно боялся, что жизнь под надзором «Красного царя» окажется невыносимой».

О предложении Ленина, переданном через Луначарского, в начале 20-х годов, Дягилев говорил мне и другим лицам.

Другой царь, — царь саморекламы, — Сергей Лифарь, объяснил выбор сюжета «Стального скока» так:

«... В аристократически-барской природе Дягилева где-то подспудно таилось и русско-бунтарское начало, русский анархизм, русский нигилизм, готовый взорвать всю вековую культуру».

Этому «анализу» под стать и очень характерное для фантазера Лифаря сообщение о том, что —

«С 1926 года у него (Дягилева) начинает меняться отношение к «со-

---

<sup>5</sup> Тут же сознавшись, что зимой 1925/26 года большое турне Прокофьева по США прошло с огромным успехом: «Американские буржуа, еще недавно запылавшие уши при звуках прокофьевской музыки, теперь считали за честь присутствовать на его концертах».



---

ветчине» — он к ней с интересом приглядывается. Большую роль сыграли при этом его друг Сережа Прокофьев, окончательно перекочевавший из салона мадам Цейтлиной в Москву и... Эренбург; они (т. е. Прокофьев и Эренбург! В. Д.) заинтересовали Дягилева своими рассказами о новой России и т. д.» (С. Лифарь, «Дягилев и с Дягилевым», Париж 1939).

Ума не приложу, зачем нужна была Лифарю эта серия выдумок: 1) «другом» Дягилева Прокофьев в 1926 году не был; 2) перекочевать «из салона мадам Цейтлиной» (в этом салоне я не бывал) в Москву Прокофьев не мог *физически* по той простой причине, что в Россию он впервые вернулся (временно) лишь в январе 1927 года! 3) Прокофьеву трудно было бы «рассказать» Дягилеву о «новой России», которую он покинул 7 мая 1918 года.

Но настоящая подоплека постановки «Стального скока» не имеет большого исторического значения; важно отметить, что музыка Прокофьева, по-молодому мускулистая и, действительно, как бы «наскокивающая» на слушателя, преодолела все препятствия, включая возможность скандальных выходов со стороны антисоветски настроенных эмигрантов, и, несомненно, произвела желанный эффект мощи и мужественности — в пику фривольным оффенбахиадам. Успех был шумный — бесчисленные вызовы с примесью свиста и шиканья, о чем свидетельствует дягилевский режиссер, прямой и неподкупный С. Л. Григорьев: «Стальной скок» произвел весьма сильное впечатление на премьере»,<sup>6</sup> — свидетелем чего был и я, так как сидел в дягилевской ложе с композитором балета. По словам того же Лифаря, Дягилев —

«Уверен был, что на премьере разразится огромный скандал, что русская эмиграция организовано выступит с протестом, и не только не боялся, а скорее даже хотел этого скандала. Боялся, по-настоящему боялся он другого — того, что при поднятии занавеса белые эмигранты начнут стрелять и убьют меня (Лифаря, В. Д.). Премьера прошла спокойно и скорее вяло».

Комментарии к этим бредням излишни.

Однако, без скандала не обошлось, но к русской эмиграции отношения он не имел; главными скандалистами оказались Жан Кокто и я. Своеобразный и несколько двусмысленный шарм Кокто, его поза мудреца, окруженного молодыми обожателями, его дар словесной импровизации, жонглирование скороспелыми эпиграммами, его тщательно завуалированное самообожание, отлично, хоть и очень зло, описаны Морисом Саксом, трагическим полишинелем Парижа эпохи «между двумя войнами», в его „Sabbath“. Кокто, как и все, что он делал, одевался «по-своему» — нарочито изысканно; пиджаки заказывал в Ницце, у измученного его выдумками портного.

<sup>6</sup> S. L. Grigoriev. "The Diaghilev Ballet" (1909-1929), London, Constable, 1931.

---

Фасоны коктовских одеяний менялись, но неизменны были рукава с как бы случайно расстегнутыми пуговицами над манжетами рубашки; причина — Жану требовалось всеобщее любование пунцовой шелковой подкладкой, которая обязательно была у всех его костюмов. В Кокто было что-то от расфранченного коршуна. Прибавьте к этому неприятно-красивое, часто избыточно подкрашенное лицо с тонкими на редкость губами (признак эгоизма и расчетливости), находившимися в постоянном движении, очень экспрессивные, по-обезьяньи проворные руки, которыми Кокто гордился, и несколько гнусавый, в кожу въедавшийся голос — вот покойный поэт, каким я его знал в двадцатых годах... Прокофьев видеть его не мог и часто издевался над моими «паломничествами» (главным образом по утрам, по заведенному обычаю) в богато-буржуазную, за исключением спальни хозяина, походившей на музей демонологии, квартиру Кокто на rue d'Anjou — в двух шагах от Российского музыкального издательства. Кокто почему-то очень хотел включить меня в свою свиту, но это ему не удавалось, что его злило: гипнотизер оказывается в глупом положении, когда старается усыпить человека, упрямо бодрствующего. Чтобы заманить в свои сети, Жан прозвал меня „Le Duc Exquis“ (Dukelsky) — это было лестно, но я продолжал упорствовать и противостоять магии его сеансов.

На премьере «Стального скока» Кокто услышал мой экстатический монолог, обращенный к Прокофьеву, вызванный не триумфально-советским сюжетом, а буйным размахом музыки балета, и уловил лишь одно слово, презрительно брошенное: „Musiquette Parisienne“. Жан сразу понял, в чем дело, лицо его искажилось и крикнув: „Dima, les Parisiens t'envoient de la merde!“ (лучше не переводить), ударил меня по лицу. Пощечина была слабоватая, но настолько неожиданная, что я растерялся и не успел ответить пощечиной же; Кокто немедленно исчез, а Дягилев, всерьез напуганный, схватил меня за лацкан фрака и прошипел: «Не смейте драться здесь, в моем театре; у меня и без этого достаточно неприятностей с властями... нас всех могут депортировать. Понятно?!» В коридоре я снова наткнулся на Кокто, сопровождаемого верными сподвижниками: „Rends-moi ma gifle, Dima, — ответь мне пощечиной!“ — истерически вопил он. Памятуя предостережение Дягилева, я вызвал Кокто на дуэль. Этот вызов он игнорировал, продолжая выкрикивать что-то мало вразумительное. Прокофьев был занят закулисными делами и при этой стычке не присутствовал; я нашел двух кандидатов в секунданты, обрадовавшихся такой перспективе бывших врангелевских офицеров, и через несколько минут вышел на улицу с повисшей у меня на руке добрейшей супругой главного управляющего РМИ Верой Васильевной Пайчадзе, намеревавшейся защитить меня от разъяренного Кокто и довольно уже внушительной толпы его сторонников (любителей музикетты?), собравшейся около

---

---

театра на тротуаре. «Берегись, Дима!» — заорал Жан, на что я ответил обещанием прислать секундантов на rue d'Anjou.

Лакей Кокто, однако, не принял ни моих секундантов, ни их визитных карточек, на следующее утро. Тогда я облачился в визитку и отправился к Жану, не в шутку оскорбленный, решив избить его. Дверь мне отворил сам поэт; я не дал ему сказать ни слова и яростно проревел: «Так ты хочешь, чтобы я тебе ответил пощечиной? Вот она!» — сопровождая свои слова делом. Каково было мое изумление, когда Кокто, только что «получивший по морде», заключил меня в особенно цепкие объятия, прогнувшись: „Embrasson vous, Dima . . . поцелуемся“. Неожиданный фортель Кокто меня возмутил, но этим наша «дуэль» и кончилась. Через несколько дней Дягилев получил письмо от Жана, в котором последний преподнес собственную версию инцидента, заявив, что я, придя к нему на квартиру, стал *молить его о прощении*. Само собой разумеется, я прекратил знакомство с этим человеком и — до конца его дней — не обменялся с ним больше ни единым словом.

Прокофьев особого интереса к несостоявшейся дуэли не проявил; презрительно пофыркнул и сказал, что драться нужно было там же, на премьере его балета, а не превращать «полезный скандал» в какие-то ходульные, никого не интересующие передраги. Вероятно, он был прав.

Сергей Сергеевич тут же помог мне оркестровать мою первую симфонию (очень короткую), которая была включена в программу парижского концерта Кусевицкого; готовились к исполнению в этом же концерте и отрывки из прокофьевского «Огненного ангела». К этому времени (1927) я окончательно перекочевал в Лондон и с Прокофьевым встречался, главным образом, во время его концертных поездок по Англии. Он насмешливо относился к рассказам о моих подвигах на музыкально-комедийном поприще, но продолжал по-братски заботиться о моей «серьезной» композиторской карьере.

Списавшись с Персимфансом и Ленинградской филармонией, в январе 1927 года Прокофьев отправился в СССР «гастролировать» — «возвращением на родину» эти гастроли, разумеется, не были. Прокофьев вернулся в Париж в начале апреля для репетиций уже описанного «Стального скока», прозванного эмигрантской газетой (какой, Прокофьев не сообщает) «колючим цветком служителей Пролеткульта». Перед первым русским турне некий нью-йоркский журналист спросил композитора — «что есть классика». «Классический композитор — это безумец, который сочиняет вещи, непонятные для своего поколения», — отвечивал С. С., вероятно, подмигивая. Его собственная «классическая» музыка становилась все более и более понятной слушателям, все чаще и чаще появлялась в концертах. В Москве «коллектив выражал свой энтузиазм», как уже совсем по-советски записал Прокофьев в одной из своих автобиографи-

---

---

ческих сводок («Годы пребывания за границей»), а прием в Ленинграде «оказался даже горячее, чем в Москве». На спектакле очаровательной «Любови к трем апельсинам» С. С. сидел рядом с Луначарским, «который говорил, что 'Скифская сюита' — это стихия, а 'Три апельсина' — бокал шампанского». У «коллектива» советского брызжащая весельем и здоровьем опера Прокофьева имела такой успех, что появились даже частушки:

На галерке я сижу  
и в ладоши хлопаю.  
Апельсина три гляжу,  
а четвертый лопаю.

Тем не менее, С. С. «окончательно переселился на Родину» (Нес-тьев) лишь в конце ноября 1932 года. В 1928 мы отправились в наше последнее гастрономическое путешествие по Франции, заехали и к Дягилеву в Монте-Карло (он тогда готовил «Аполлона» Стравинского и «Оду» Набокова); Сергей Павлович давно уже объявил (в европейской прессе) Прокофьева своим вторым сыном, меня третьим, Стравинский был, в историческом смысле, его первенцем. Передраги со «Стальным скоком» улеглись (балет не удержался в репертуаре), мои «Три времени года» были благополучно похоронены, и Дягилев принял своих блудных сыновей с подобающей случаю отеческой теплотой.

29 мая (1928) я потащил Прокофьева и Дягилева слушать фп. концерт Джорджа Гершвина в исполнении (малоудачном) Димитрия Темкина под управлением Владимира Гольшмана в парижской Орёга. Дягилев качал головой, менял монокль в глазу (всегдашняя привычка; у него их было четыре в жилете, по моноклю на карман) и пробормотал что-то о «хорошем джазе и плохом Листе». Прокофьев нашел, что в концерте Джорджа (главного моего ментора на поприще «легкой» музыки) много «приятных, жирных мелодий», но что по технике вещь беспомощна — «сплошь тридцати-двух-тактные рефрены песенок, коряво сплетенные». Приблизительно в эти же дни я познакомился с Игорем Глебовым (Асафьевым) на квартире Прокофьева, невзрачным человечком с волосами мышинного цвета — по наружности Акакием Акакиевичем советской формации. «Я слышал, что вы пишете стихи и говорите по-английски, — сказал Асафьев, предварительно погладив меня по головке за хорошую «серьезную» музыку. — Почему бы вам не перевести либретто и слова гершвинских оперетт — например, 'Лэди, будьте добры' и 'Смешной рожи' — и послать их мне в Москву? Я ничего не обещаю, но, если дело выйдет, вы окажетесь пионером в нашей опереточной деятельности». Прокофьев весело заржал — идея, видно, ему понравилась. Была не была — перевел две песни, и неплохо, кажется, перевел. Послал их в Москву Асафьеву; ответа не последовало.

---

Наконец, 14 июля того же года имело место знаменательное для меня событие: моя фамилия фигурировала на одной программе с прокофьевской! Это было настоящей, неоспоримой победой; я был бесконечно горд и счастлив. Впрочем, первая моя симфония длилась всего 16 минут и была написана под сильнейшим влиянием Прокофьева, представленного отрывками из «Огненного ангела» — оперы, лишь теперь, в шестидесятых годах, прогремевшей на всех европейских сценах; но такое опасное соседство меня не тревожило. Ведь я сидел в одной ложе с Прокофьевым и четой Пайчадзе и из той же, «прокофьевской» ложи кланялся парижской публике, которой моя симфония определенно понравилась. С. С. был по-братски доволен моим успехом, надувал щеки, выпячивал (заметно увеличившийся) живот и больно хлопал меня по спине — высший, по его разумению, комплимент.

Подошел 1929 год, и настала пора разлуки. Если в Россию Прокофьева усердно звали, то в Америку меня не звал никто, кроме матери и брата. Но в моем активе были три лондонских «мюзиклс» (так их теперь называют в России), из которых третья — «Желтая маска» на либретто Эдгара Уоллеса, предвосхитившего современный джеймсондизм, — пользовалась таким основательным успехом, что лондонские критики стали поговаривать о «ловких иностранцах», вырывающих хлеб из честных английских ртов.

Я был до такой степени занят хлопотами с путешествием в Америку, что ухитрился пропустить один из величайших триумфов Прокофьева в Париже — премьеру «Блудного сына» у Дягилева, состоявшуюся 21 мая 1929 года. «Подразнив парижан урбанизмом 'Стального скака', неиссякаемый на выдумки антрепренер (Дягилев) предложил Прокофьеву новый сюжет, на этот раз взятый из... Евангелия от Луки» (Нестьев). Скачек от «нового совета» к Новому Завету, что и говорить, неожиданный, но Прокофьев принял заказ и блестяще его выполнил. Разумеется, советский комментатор всячески стремился охаять «Блудного сына» и отозвался о нем, как о «смеси модернистского штукачества с претензиями на этические откровения», назвав музыку «эмоционально ослабленной». Да и сам Прокофьев (по возвращении в Россию) о своем лирическом чуде — именно, чуде! — отзывался с порядочной прохладцей, хотя и констатировал «большой успех у публики и прессы». Два месяца спустя Дягилев (наш самозванный отец), величайший вдохновитель балетного искусства, умер в Венеции. Солнце европейской культуры закатилось — для меня, по крайней мере.

Осенью 1929 года (в малоподходящий момент, после монументального биржевого краха) я вернулся в США, страну, которую я покинул за пять лет до этого и которая стала моей новой родиной; в 1936 году я принял американское подданство. С отъездом моим из Европы началась оживленная переписка с Прокофьевым. Среди его

---

---

писем много чисто деловых, вдобавок касающихся моих дел, которыми Прокофьев, с трогавшей всегда меня до слез энергией, неустанно занимался. Я поэтому отобрал лишь то, что может заинтересовать рядового читателя.

6 апреля 1930 года С. С. писал мне из Брюсселя:

«Мои фестивали тут протекают благополучно, было уже два симфонических, в которых Ansgmet продирижировал 3-ю симф., дивертисмент, Шута и 3-й (фп.) концерт. Принимают чудно. Остался recital. Обнимаю. Ваш С. П.»

27 ноября 1930 Прокофьев, со свойственным ему "pokerfaced" (как это перевести?) юмором сообщал мне из Парижа (5, rue Valentin Haüy), что:

«... забрав от Зейдлера-Винклера Вашу партитуру (2-й симфонии, В. Д.) в Варшаву, я всячески доказывал Фительбергу, что Вы лучший польский композитор. Он тоже обещал исполнить Вашу симфонию в Варшавской филармонии».

Обещание Ф., директор Филармонии, сдержал; все три упомянутые — дирижеры.

Этими хлопотами С. С. как бы облегчал боль, которую мне (намерено) причинил письмом от 9 ноября. Вот это письмо, с небольшими сокращениями:

5, rue Valentin Haüy  
Paris XV, France  
9 Ноября 1930.

Дорогой Дима,

Трогательная история о молодых девушках, занимающихся проституцией, чтобы прокормить свою мать, известна с давних пор. Во времена Карамзина над нею даже много плакали. Но постепенно сообразили, что если молодой девушке самой нравится ложиться на спинку, то она рада прикрыться благовидным предлогом; а если не нравится, то найдет и другой способ для прокормления мамы. Кстати, и последней, вероятно, не очень вкусен хлеб, добытый этим способом. Что бы Вы ни придумывали, Вам просто нравится Ваш полупоточенный хлеб и Вы не можете скрыть восторга, что Ваша паршивая пластинка<sup>7</sup> стоит на первом месте по продаже. А если я Вас спрошу, что Вы сделали за год в области настоящей музыки, то кроме двух суховатых ф. п. пьес Вы ничего предьявить не можете. То, что они суховаты, необычайно характерно для Вашего положения: когда после долгих перерывов Вы беретесь за «серьезную» музыку, Вы ужасно боитесь, чтобы не промелькнула опереточность, ставшая (Вы того не замечаете) Вашей плотью и кровью. Такой прецедент был уже в русской музыке, и, как ни странно, это в лице Рахманинова. Ведь в свое время от тоже был втрое талантливее многих, и хотя

---

<sup>7</sup> Пластинка одной моей песни из revue "Carrick Gaieties".

---

---

до канканов не опустился, но все же распоясался на слишком разливаемые романсы. Когда же со стороны музыкантов поднялся галдеж, он попытался сделать серьезное лицо, но стал городить такую сушь, что быстро в этой области сошел со сцены — и так и остался композитором «романсов для широкой публики».

Будем надеяться на 1931 год и на то, что Вам удастся реабилитировать свое полузабытое в Европе имя.

Романсы Ваши вышли уже довольно давно, но мне они нравятся гораздо меньше Богдановичевских. «Суховатые пьесы» сданы в печать и выйдут вот-вот. Пайчадзе взял Ваш адрес и пошлет по сему и романсы и пьесы. Душеньку<sup>8</sup> обещали играть в Лондоне. Ах да, Душенька вышла тоже, но без посвящения. Мерси.

Если Вы опять не освирепееете на меня, то пожалуйста напишите, как пройдет у Куси моя IV.<sup>9</sup> Я просил секретаршу последнего прислать мне прессу, но во-первых неизвестно, прийдет ли она, а во-вторых ведь самое интересное это общая атмосфера вокруг исполнения. Ваше мнение я тоже хочу знать.

Мои сочинения? После квартета написал балет, который пойдет в мае в Орега в постановке Лифаря, декорациях Ларионова и костюмах Гончаровой. Сейчас оркеструю и уже продвинулся до половины партитуры. Слышавшие музыку балета (Нувель, Сувчинский, Лифарь) хвалят его и находят дальнейшим шагом после Блудного Сына.<sup>10</sup>

Обнимаю Вас от себя и от семейства. У нас теперь постоянная квартира, которая постепенно обмелблировывается, что причиняет немало хлопот Лине Ивановне. Но ура, у меня теперь есть настоящий стол, настоящий шкаф типа extension и скоро будет настоящий диван!

Ваш С. Прокофьев.

Пишите по адресу, что наверху».

Следует заметить, что и я неоднократно честил С. С. за «суховатость» его последних вещей, отсутствие характерного для композитора разбега, «музыки-на-распашку» — это началось еще с 5-й сонаты. Прокофьев всегда внимательно прислушивался к моим оценкам всякой музыки, особенно его собственной, и очень раздражался такого рода «критикой», очевидно чувствуя, что я, быть может, не совсем неправ. Отсюда, отчасти, и резкость его «разноса», во многих отношениях заслуженного.

Помню, я ответил длинным и чрезвычайно драматическим (не без дostoевщины) письмом, которое, повидимому, несколько «устыдило» моего друга, с удвоенной энергией занявшегося «устройством» моей карьеры. 21 января 1931 года в Нью-Йорк пришла телеграмма:

---

<sup>8</sup> Дуэт для двух женских голосов и оркестра на отрывок из поэмы того же названия Богдановича.

<sup>9</sup> Симфония.

<sup>10</sup> Балет этот — увы! — провалился.

---

«Ваша вторая симфония принята интернациональном фестивале Кэмбридж. Прокофьев». Дирижировать был приглашен Фительберг, уже преподнесший мою вещь в Варшаве; одним из членов жюри был (конечно) Прокофьев — оба мне покровительствовали. Забавна описка моего благодетеля — фестиваль имел место в Оксфорде, а не в Кэмбридже!

23 марта (1931) Прокофьев, неустанно в те дни колесивший по Европе, послал мне открытку с венгерской маркой.

«Дорогой Дима, на обороте не Рио-Жанейро, а Будапешт. Поэтому — стакан доброго венгерского за ваше цветущее здоровье! Спасибо за ласковое письмо и за посвящение, но после того, как передернули с посвящением «Душеньки»,<sup>11</sup> не очень доверяю. Обнимаю вас; жаль, что застряли в Америке и мало вероятия на Европу. Постарайтесь все-таки. Ваш. С. Пркфв».

Ума не приложу, каким образом мы успели, после таких тостов и объятий, снова поругаться. Однако это случилось, о чем свидетельствует письмо от 25 июля того же года:

«Многоуважаемый Владимир Александрович,

Из Вашего письма заключаю, что наш развод состоялся и что мы вступаем в полосу отношений двух композиторов, имеющих лишь отдаленное понятие друг о друге, напр. Сибелиус и Метнер, или Глазунов и Соргэ.

Однако перед тем, как раскланяться на перекрестке двух перпендикулярных дорог, я постарался исполнить Ваши поручения: доложил Пайчадзе о Вашем непременном желании напечатать романсы, хотя бы с переводом на Ваш счет. Пайчадзе согласился взять два романса на Кузмина и я сам озаботился отправить их к верткому переводчику, работающему сейчас для меня, с поручением перевести на французский и английский.

Сообщаю Вам также, что молодой пианист Тагер, который осенью будет давать концерт из современной русской музыки, готовит Ваши две пьесы, так называемые «суховатые». Я ему показал Весну 1931,<sup>12</sup> но он отложил ее для дальнейшего.

С пожеланием счастливого пути по Вашей дороге. Ваш СПркфв».

По всегдашнему нашему обычаю и эта размолвка понемногу уладилась: 29 сентября я получил длинное и очень теплое письмо от Лины Ивановны (П.), первая половина которого посвящена тривиальным поручениям. Писала Л. И. из St. Jean de Luz:

«Наши последние новости такие — провели полтора месяца в этих чудных краях... Помните, мы были здесь с Вами, но Вы, кроме foie gras, кажется, ничем не интересовались. Плавали, отдыхали, работали — С. С.

---

<sup>11</sup> Виновато в отсутствии посвящения на титульном листе было издательство.

<sup>12</sup> Фп. пьеса, мною сочиненная.



---

---

окончил фп. концерт для безрукого пианиста.<sup>13</sup> Собрались тут и музыкальные знаменитости: Шаляпин, Тибо (скрипач), Эльман (ditto). У Шаляпина гостил Сорин,<sup>14</sup> который писал его портрет — мы с ним Вас вспоминали. Познакомились и с Чарли Чаплином, но он скорее нас разочаровал. Святослав наш (сын Прокофьевых) рано начинает свою карьеру; он тут получил первый приз на конкурсе: „le plus bel enfant de la plage“. 15-го октября, в Льеже, пою Ваш романс — «Много роз красивых в лете» (на Богдановича), его же спою в апреле в Лондоне в В.В.С. Я полюбила этот романс, как и тот, который Вы мне посвятили... Когда же Вы в Европу, чтобы засесть за душевно-субстанциальную работу?»

Увы, в Европе мы больше не встречались. К тому же наш общий издатель Г. Г. Пайчадзе сообщал: «Старушка Европа трещит по всем швам и того гляди рассыплется. Музыка никому не нужна, притока денег никакого, и нам приходится сократить свою деятельность до минимума».

По этим письмам сужу, что наши с Прокофьевым отношения осенью 1931 продолжали быть холодными. В том же письме (от 29 октября) Пайчадзе однако сообщил:

«Относительно Прокофьева Ваши сомнения совершенно излишни. Его отношение к Вам несомненно дружественное и Вы попрежнему находите под его патронажем здесь. Он человек на редкость верный и забота его о других композиторах, которым он симпатизирует, поистине умилительна. Я очень ценю в нем это редкое в наши дни качество».

Как бы то ни было, писем от моего «патрона» не было до 3 июня 1932 года, но зато на этот раз Прокофьев разрешился очень (для него) пространственным посланием. Писал он из Парижа:

«Дорогой Дима (слава Богу, не «многоуважаемый»! — подумал я, В. Д.).

Спасибо за пухлое письмо. Девятнадцать страниц — это все-таки рекорд! Но больше всего Вы меня тронули тем, на что вероятно сами меньше обратили внимание — это какой-то юношеской свежестью стиля, качеством, давно утерянными всякими Маркевичами и Набоковыми в парижской борьбе за существование; Вам же как-то удалось сохранить его, даже несмотря на постоянное хождение по подонкам нью-йоркской музыки.

Прежде чем приступить к ответу, я зашел к Пайчадзе и справился у него, что полезного можно сообщить Вам о Ваших издательских делах. Пайчадзе ответил, что самое важное — попросить Вас поскорее жениться на очень богатой американке, так как в этом случае Вы обещали процент издательству, который был бы кстати по плохим временам.

---

<sup>13</sup> Поль Витгенштейн, богатый человек, заказывавший и исполнявший такие концерты (для одной левой руки) Равелю, Рихарду Штраусу и другим. Исполнять прокофьевский он отказался из-за непонимания, но деньги заплатил.

<sup>14</sup> Савелий Сорин, художник-портретист.

---

---

Манускрипт Эпитафии<sup>15</sup> я мельком подержал в руках в издательстве несколько месяцев назад, когда Вы его прислали для расписки на голоса. Но, увидя, что сочинение написано на джазовой бумаге, я ощутил прилив брезгливости и отложил в сторону. Кусевицкий отзывается об Эпитафии с милой поощрительностью, а раз Вы придаете ей такое значение, то теперь я посмотрю более внимательно. Что за упадочническая идея писать монументальную вещь на умирающий Петербург!<sup>16</sup> Тут все-таки печать, которую накладывает на Вас общение с усыхающей эмиграцией, этой веткой, оторванной от ствола, которая в своем увядании мечтает о прошлых пышных веснах. Уж если писать, то «Ленинград» или «Днепрострой».<sup>17</sup>

Очень приятно было мне узнать, что Вам понравилась 3-ья симфония. Я тоже считаю, что в ней много настоящего материала, и мне непонятно было, почему она так медленно выбивается в люди. Сюита Блудного Сына была сделана из остатков, не вошедших в IV симфонию. Не удивительно поэтому, что лучшие номера, как напр. си-минорное Рондо или заключительное Анданте, в ней отсутствуют. Они составляют две средних части симфонии, которую так несправедливо похоронил в Бостоне наш драгоценный представитель племени кус-кус.<sup>18</sup> Я надеюсь, что после успеха 3-й симфонии кто-нибудь догадается реабилитировать и четвертую, несравненно более значительную, чем сюита, сыгранная Вальтером и сделанная мной лишь «на всякий случай», чтобы не пропадал остаточный материал балета. Я не предвидел, что Вальтер за нее так уцепится.

Из неведомых Вам моих новинок вышел из печати во-первых струнный квартет, затем шесть пьес для фортепиано, переделанных из разных оркестровых и камерных вещей; скоро выйдут также две сонатины, которые обещаю прислать Вам немедленно. Балет «На Днепре» уже второй сезон маринуется в парижской Grand Opera, пребывающей в маразмах и даже чуть не закрывшейся совсем; равно как маринуется и безрукий концерт, которого никак не может осмыслить заказавший его пианист. Зато я сочинил еще один концерт; он впрочем будет носить название «Музыка для фортепиано с оркестром, оп. 55»,<sup>19</sup> не потому, что эта вещь недостаточно концертна, но чтобы не ставить слишком много номеров. Его я буду исполнять в первый раз 30 Октября с Фуртвенглером в берлинской филармонии, а 30 декабря в Бостоне и затем в Нью-Йорке.

---

<sup>15</sup> Для голоса с оркестром, на слова Осипа Мандельштама.

<sup>16</sup> Я проектировал ораторию «Конец Санкт-Петербурга», которую и написал.

<sup>17</sup> Это — первое полупризнание Прокофьева в неожиданном (для меня) просоветизме.

<sup>18</sup> Кусевицкий.

<sup>19</sup> Прокофьев бросил эту идею; вещь была напечатана, как пятый фт. концерт.

---

Вообще всю осень, начиная со второй половины Октября, я буду ездить по центральной Европе с опусом 55, затем проеду в Москву, а во второй половине Декабря отправлюсь в Америку на Январь и Февраль. Август и Сентябрь мы вероятно проведем на юге Франции — или в Saint Jean de Luz, или около Канн.

Ну вот, на Ваше длинное письмо я ответил тоже размашисто. Крепко обнимаю Вас, Лина Ивановна приветствует Вас и собирается Вам писать. Она действительно пела Вас в лондонском Радио и на-днях будет петь в парижском. Если у Вас развелись Судейкины,<sup>20</sup> то у нас Сувчинские<sup>21</sup> и Тансманы<sup>22</sup> — и все исчезли с горизонта.

Ваш СПржфв

Дружба, как будто, зацвела опять, но я позволил себе резко раскритиковать новые фп. пьесы С. С., которые последний послал мне из . . . Чикаго (он на короткий срок снова заглянул в США, но в Нью-Йорк на этот раз не попал). В ответном письме этом — весь Прокофьев, от нескрываемого сарказма, презрительной, хоть и беззлой, насмешки неожиданно, как ни в чем не бывало, переходящего в дружелюбный тон и повествующего о непрерывных заботах о делах только что облаянного им корреспондента. Вот это письмо, которое привожу целиком:

Auditorium Hotel, Chicago

27 Ян 1933

Мой дрого мистр Хотинофф!

С пдающей почтитнстью прчел Вашу рцизо о моем скромнм опсе. С сожалием вижу, чт с тх пор кк Вc выгнали из N. Y. World'a Вы мало подвинулись впрд и не обрели острты восприятия.

Такова хрктерн черта всех Хотиновых — за втрстепенными и часто мнимыми недсттками не замчатъ бльших достоинств.

Дорогой Мистер Хтинофф! Знаю, что в свбд врем Вы тож пописываете ноты и паузы. Но, опустив зонд в Стка,<sup>23</sup> я смог понять, чт он относитс к Вм скрей хлднвато; по крйн мер на впрс о 2-й смф стал спрвлтсь, кто ткой Мрквч. Вы пнмаете, чт с обчнй моей горячнстью я пстрлс обснть ху-из-ху. Резльтт приятный: Стк хтел бы ознкмтсь с дрого Вашй прттрой, о чем мы и пгврм при встрече.

До свдн, доргй Мстр Хтнфф! Развивайтесь, дргй Мстр Хтнфф!

Ваш вери труйный СП».

Чтобы сделать прокофьевские «бутады» понятными, необходимо пояснить, что в Нью-Йорке жил и работал Самуил Шотцинов, музыкальный критик (в упомянутой П. газете "N. Y. World", давно не

---

<sup>20</sup> Сергей Судейкин, художник, переселился в Нью-Йорк.

<sup>21</sup> П. П. Сувчинский, евразиец и музыковед.

<sup>22</sup> Александр Тансман, польский композитор, сделавшийся парижанином.

<sup>23</sup> Фредерик Сток, дирижер Чикагского симфонического оркестра.

---

---

существующей) и ревностный помощник Тосканини, не признававший современной музыки, за исключением Гершвина. Прокофьев считал писания Ш. образцами нового Бекмессерства, переделав фамилию критика в "Hotenough" (достаточно горячий), что по-русски, в неподражаемой прокофьевской орфографии, выглядело «Хотинофф».

Почти два месяца спустя Прокофьев, вернувшись в Париж, писал мне 23 марта:

«Дорогой Дима,

Обещал написать Вам относительно календаря моих географических местонахождений на весну и лето, но пока не все еще выяснилось. 6-го я выезжаю в СССР, где пробуду повидимому до начала Июня. Лина Ивановна останется в Париже числа до 25 апреля, а затем тоже присоединится ко мне в Москве. В Июне, похоже, мы будем некоторое время в Париже, а о дальнейшем все еще неясно.

Л. И. поет Вас 2 апреля в Американском Клубе в Париже. Обнимаю Вас. Ваш СПркфв».

А 8 мая, уже из Москвы, Прокофьевы — Сергей и Лина — оповестили меня открыткой — по-английски, которую перевожу: «Ваша 2-я симфония была исполнена в Варшаве несколько дней тому назад, передана по радио и одобрена группой молодых московских композиторов».

Фамилии членов группы, однако, сообщены не были.

Неутомимый путешественник, Прокофьев, из своей парижской квартиры (5, rue Valentin Haüy), настроил ряд «деловых» писем, которые обхожу, но письмо от 14 августа заслуживает внимания; привожу отрывок из него:

«Мои ближайшие планы такие: отправив Лину Ивановну под Женеву на отдых, а детей к бабушке на Ривьеру, я остался недели на три в Париже, чтобы хорошенько поработать. В конце Августа выеду в автомобиле за Л. И. и мы спустимся с нею к Средиземному морю покататься. Числа 15-20 Сентября вернемся в Париж, а в начале Октября я уеду сначала в Ригу и Варшаву, а потом в СССР до Декабря, откуда прямо в Италию. Пишу Вам все это на случай Вы ввалитесь в Париж и будете рассчитывать на мое присутствие.

В СССР по обыкновению было очень интересно, не только в Москве и Ленинграде, но и в Закавказье, вплоть до горы Арарата, у подножия которой я дал концерт, в Эривани. В Октябре я хочу захватить некоторые из Ваших сочинений, дабы поместить их в библиотеку Союза Советских Композиторов в Москве.

Помните, в Нью-Йорке Вы мне говорили о Вашей связи с очень культурным обществом современной музыки в Мексике, а я Вам говорил о моих проектах устраивать обмены с советской музыкой. Скомбинировав оба эти факта, мне пришло в голову, что м. б. в Мексике пожелали бы получить какие-нибудь интересные ноты современных москвичей и ле-

---

---

нинградцев для исполнения в Мексике (оркестровые и камерные), а в ответ на это они прислали бы сочинения своих композиторов, исполнение которых я могу *garantiquement* гарантировать в Москве или Ленинграде. Мне удалось наладить такой «обмен веществ» между Москвой и многими большими городами Европы, и этот обмен вызвал много оживления. Может Мексика тоже заинтересуется, только не ляпайте это с плеча, а деловито и тактично войдите с ними в сношения.

Не помню, сообщал ли я Вам, что Фительберг писал мне: симфония Дукельского имела хороший успех и критику.

Жму Вашу руку, пишете мне по-русски: Вы не Маркевич, который на родном языке не может сказать двух слов, не запнувшись.

Ваш С Пркфв».

Из мексиканского нашего проекта ничего не вышло. Исключительно интересно письмо из Поленова, помеченное 29 сентября 1935 (наша переписка в 1934 касалась главным образом пропаганды моей музыки, затеянной С. С.). Это письмо я снова хочу воспроизвести с подлинной орфографией, т. е. в специфически прокофьевской манере, с курьезным урезыванием гласных.

«My dear Vernon,

Оч. бло приятн получить Вше псьм с суждениями красчими и меткми, и узнтъ о Вашй activite кк на музкльн попрще, тк и в смысл подрабатывния передком. Вшго "Jardin" <sup>24</sup> я к сожл не слжл, а «Псвщния» <sup>25</sup> мен оч интрсуют — замысел двольно необычнй.

Я собиралс этй зимой в Амрку, но, после того кк Брун Вальтр не пдписл своег кнтркта, у мен выпал Нью Йорк, кроме того четрхактн балет (Ромео и Джул по Шкспиру), ктрй я тольк чт сочинл и сейчс оркструю, пойдет зимой в Больш. Театре и в Мариинскм, а потому длительное отсутствие в ткой момнт не очень пело моему срдцу.

Лето я провжу в имении Б. Театра близ Серпхова, это чудный уголок, несколько шумный когда сюда на отдых приезжает  $\frac{3}{4}$  Бльш Театра, но это даже весело, тем бол, что у мен отдельный крошчнй домик с блютнером и с терасй на Оку, где тишина и где работаец отлчно. Л. Ив. и дети в Авг тож подъехали сюда; с мльчшкми все стршн носятс и избалвли их вдрызг. Тепрь опрные и балетные схлынули, и я по 8 ч. в день просижв за пртурой. Кром балта, нпсл 2-й скрип кзрт, две смф сюиты, два опу-са дл фп (один из них — "Thoughts") и альбом дл детей. Ганя <sup>26</sup> оч не торпливо, но печатает.

Черз месц рсчитаю бть в Прже на первм исплн Скр кцрта, а на декбрь отпрвлюсь в Африку.

---

<sup>24</sup> „Jardin Public“ — мой балет, написанный на сценарий Андре Жиды, был поставлен Мясиным для «Монтекарловского балета».

<sup>25</sup> «Посвящения» (Déliscases) — концерт для фп. с вокальным «эпиграфом» на текст Апполинэра.

<sup>26</sup> Г. Г. Пайчадзе.

---

Шостаквич глгтлив, но ккий-то бспринципный, и, кк иные наши дрзья, лишен мелдч дара; с ним здсь впрчм преувелич носятя. Кабалев(ский)<sup>27</sup> и Желбский (Желобинский)<sup>27</sup> sont des zero-virgule-zero. Я польщен, чт нектр мои соч Вы ншли «вне времени». М. б. это кк рз и есть одна из причин, по ктрой люди, нхдящиеся слишкм во времени, часто не понимают моего язка. Слушки о држке с Пулл (Francis Poulenc) и Игорем (Стравинским) сильн преувелчны, полу-Игоря<sup>28</sup> же я вообще переночу с трудом.

Обнм Вас, не збывте в бдщем Ваши щедротми, а есл чт-либо напеча-ете не из репертра тра-ля-ля, то пришлите.

Вш С. Пркфв».

Наконец пришел и трагический для меня 1937 год; в этом году умер 38-летний Гершвин (11 июля), последнюю работу которого (Goldwyn Follies) я закончил в Голливуде.

Автобиографические записи С. С. кончаются 1936 годом; последние его поездки в США имели место в 37 и 38 годах, когда произошли и последние наши встречи. Снова из Чикаго Прокофьев писал мне (24-го января):

«Чикаго встретило меня мило. Оркестр был внимателен и играл хорошо, и даже во время денного концерта старухи хлопали исправно, рискуя белыми перчатками. Во вторник переезжаю в St. Louis, куда не премините черкнуть о том, что хорошего творится в Нью-Йорке и о том, как справился Стравигорь<sup>29</sup> со второй программой. 1-го февраля буду в Нью-Йорке».

Но уже 28-го февраля Прокофьев вернулся в Париж, откуда и послал мне длинное письмо, кончавшееся так:

«Ну вот. Крепко обнимаю тебя (мы наконец перешли на ты, В. Д.) и иду складывать чемоданы. Можно писать мне в Москву заказным (Земляной вал, д. 14, кв. 14) по французски или по английски. Если будешь писать о моих делах, то можно назвать цифры, но не ставь против них «долларов» или \$, а так, неизвестно в какой валюте».

Однако, через несколько недель Прокофьев без всякого предупреждения ввалился ко мне в Нью-Йорк и, вместо обычных поцелуев и хлопанья по плечу, принялся выплясывать фокстрот, таинственно улыбаясь. «Сергей, ты что — спятил?» — сказал я, не на шутку взволнованный невиданным *pas seul* композитора. «Нисколько, — отвечивал С. С. — Я прекрасно себя чувствую, так как усердно изучал современные танцы в . . . Кисловодске, где отдыхал «на водах». — «Это какие же «современные» танцы в советской стране? Полька, мазурка, венский вальс, пад'эспань, что ли?» — спросил я недоверчиво. «Ну и дурак, — буркнул С. С. — Джаз покорило Россию; у нас в моде только фокстрот и вальс — да не венский, а бос-

---

<sup>27</sup> Сов. композиторы.

<sup>28</sup> Маркевича.

<sup>29</sup> Игорь Стравинский.

---

---

тонский». Это заявление было сопровождено красноречивой хореографической иллюстрацией; но танцующий Прокофьев не походил на белого негра, а скорее на развеселившегося шведского пастора.

Пошли к моей матери. «Сергей Сергеевич, неужели коммунисты вас так и выпустили из совдепии?» — спросила она, разглядывая его нерешительно; мать обожала Прокофьева, но почему-то его побавалась. «Как видите, так и выпустили, Анна Алексеевна, — ответил композитор, энергично хлопнув себя по ляжкам. — Да и Лина Ивановна ко мне присоединится в октябре — у меня много здесь ангажементов». Когда мать спросила его о сыновьях, учившихся в английской школе в Москве, он, однако, промолчал. Позавтракав, мы с Прокофьевым поехали к Кусевицким в Бостон, где С. С. играл свой третий концерт и был объектом невиданных в Новой Англии оваций.

Снова возвращение в Москву, снова возобновление переписки — теперь уже на французском языке. Перевожу: (10-го июня 1937):

«Спасибо за письмо от 20 апреля, которое доставило мне большое удовольствие. Жду ораторию («Конец Санкт-Петербурга». В. Д.). Здесь все в порядке и я только что закончил эскизы кантаты к двадцатилетию СССР — грузная машина для оркестра, двух хоров, военного оркестра, группы ударных, группы гармошек ("de garmochkis" в подлиннике, В. Д.). Когда я думаю о количестве нот, которыми мне придется заляпать бумагу, оркеструя все это, прихожу в ужас! Первая сюита из «Ромео» гравирована. Вторая, по моем возвращении из Америки, была сыграна и хорошо принята в обеих столицах. Приехал автомобиль и, с толковым шофером, это очень облегчает жизнь, в особенности, когда приходит весна и есть возможность выбраться „ins grüne" (по-немецки в подлиннике) . . . Вся наша мебель из Парижа прибыла . . . Прибыла и соната для флейты Хиндемита — очень хорошо, особенно конец "est bien ausgedacht" (так в подлиннике)».

В начале 1938 года пришло и последнее ко мне письмо Прокофьева из Парижа, но написанное почему-то по-английски:

«Прости, что не писал. Я получил твое необычайно интересное письмо в сентябре на Кавказе — и был несказанно обрадован твоим успехом, хотя и на протестуационном поприще. Сегодня мы с Линой Ивановной нагрянули в Париж. На два дня всего лишь, увы; после этого Прага и Лондон, затем, 29-го, на борту "Normandie" в США, где надеемся попасть в твои нежные объятия 3-го февраля. Твой «Ленинград» («советизированное» заглавие моего «Санкт-Петербурга», В. Д.) к сожалению, в СССР в данный момент неисполним; не т е в р е м е н а; играют только классиков, а единственные современники, стоящие в программах — советские композиторы. Мясковский видел партитуру и хвалил ее».

За несколько дней до нового прибытия С. С. в Америку я получил для него предложение (через своего калифорнийского агента)

---

---

писать кинематографическую музыку для одной из крупнейших голливудских фирм, с недельным жалованьем в \$ 2500 — сумма не маленькая. При встрече Прокофьев повертел голливудскую телеграмму в руках, что-то блеснуло в глазах его, но через секунду он надул губы и сказал недовольным тоном: «Приманка недурная, но я ее не проглочу. Вернусь в Москву к моей музыке, к моим детям. А теперь не хочешь ли прогуляться со мной к Мэси? <sup>30</sup> Мне нужна куча вещей, которых в России достать нельзя — один Линин список чего стоит!»

Список был, действительно, внушительных размеров, и мы отправились к Мэси. С. С. резвился, как ребенок, широко улыбаясь: он обожал всевозможные технические новинки и чудеса игрушечной механики. Внезапно он повернулся ко мне, исследовав великолепный детский самолет, и, моргнув предательски мокрыми ресницами, спросил нарочито-грубовато: «Ты знаешь, Дима, я только что сообразил, что в твои края я вернусь не скоро... Не думаешь ли, что тебе было бы неплохо съездить в Россию?» — «Нет, не думаю», — ответил я, храбро улыбаясь, чтобы замаскировать странное беспокойное предчувствие.

Прокофьева я больше не видел, а о смерти его узнал по радио на борту итальянского парохода 5 марта 1953 года.

Ноябрь 1967.

---

<sup>30</sup> Знаменитый универсальный магазин в Нью-Йорке.



---

---

Г. КРУГОВОЙ

## Богоборческие мотивы в былинном эпосе

### ОБРАЗ ВАСИЛИЯ БУСЛАЕВА

В русском былинном эпосе есть две былины о новгородском герое Василии Буслаеве: былина о его драке с новгородцами и избитии их, и былина о поездке Василия с товарищами в Иерусалим и его гибели. Время возникновения былин обычно относят к XIV-XV векам, незадолго до ликвидации новгородской независимости Москвой, но Д. Лихачев и В. Аникин считают, что они сложились в Новгороде еще в домонгольский период.

В советской фольклористике образ Василия Буслаева испытал типичную для многих героев русского эпоса трансформацию. С легкой руки Максима Горького бесчинствующий Васька Буслаев оказался прогрессивным вольнодумцем, борцом против социальной несправедливости, классового гнета и церковной реакции, а былина о нем, о драке с новгородцами, рассматривается, как эпический памятник борьбы в средневековом Новгороде.

Такой предвзятый подход не мог не извратить ясного понимания красочного и бурлящего необузданной силой образа Василия Буслаева, кроме того, он привел к столкновению с существующими былинными текстами. Советские исследователи выходят из создавшегося затруднения, пользуясь весьма сомнительными критическими средствами. Так, основываясь на том, что в этой былине есть варианты, в которых Василий со своей дружиной дерется с новгородскими богачами, и есть варианты, в которых он борется против всего Новгорода, В. Аникин делает в высшей степени спорные и неубедительные выводы. По его мнению, первая группа вариантов былин — искони новгородская и отображает она «классовую борьбу простых новгородцев» против «новгородского торгового посада»,

---

Из книги «Змееборческий миф в русском героическом эпосе», вышедшей в Италии. Здесь развиваются положения, изложенные в статье того же автора «Противоречия народного характера в былинном эпосе», Мосты, № 4, 1960.

---

---

предающего интересы Новгорода в пользу владими́ро-суздальских князей. И так как былина, с точки зрения Аникина, обладает яркой классовой направленностью, Василий Буслаев в ней — образ прогрессивного демократического героя.

Вторая группа вариантов представляет собой суздальскую переработку сюжета. Здесь Буслаев, борясь уже против всего Новгорода, выражает интересы Суздаля, стремившегося к политическому подчинению богатой независимой республики.

Чтобы доказать свою правоту, Аникин ссылается на те варианты былины, в которых победивший новгородцев Василий облагает их тяжелой данью-выкупом. От уплаты выкупа освобождаются только духовные лица, — а церковные власти в Новгороде, аргументирует Аникин, назначались по воле владими́ро-суздальских князей. Следовательно освобождение Буслаевым новгородской церкви от дани делает его выразителем политических интересов Суздаля.<sup>1</sup> Эти умозаключения должны, вероятно, доказать, что тема классовой борьбы в Новгороде составляет первоначальную и главную основу сюжета былины.

Аргументация Аникина однако не выдерживает критики. Освобождение духовенства от налогов — повсеместный (хотя отдельные исключения могли иметь место) факт правовых отношений средневековья. Эти отношения представлялись средневековому человеку, как неотъемлемая часть божественного правопорядка на земле, посягательство на который для религиозного сознания древнерусского слагателя первоначальной былины было немыслимо. И поступок Буслаева — только дань нерушимой традиции средневековой жизни. Таким образом эти варианты подтверждают лишь исторический факт из области древнерусских правовых отношений, а никак не возможность суздальской переделки былины.

Кроме того, если и новгородские церковные власти, и Василий Буслаев служат интересам суздальской политики, тогда непонятно, почему же разбушевавшийся Васька убивает Старичица-Пилигримища, символизирующего в былине просуздальскую церковную власть новгородского епископа? Могут возразить, что колокол на голове Пилигримища символизирует также ненавистное самовластным суздальским князьям новгородское вече. Но в таком случае предполагаемому суздальскому редактору былины незачем было ассоциировать колокол ни с новгородским собором св. Софии, ни с монастырем.

В. Пропп обходит Сциллу и Харибду текстуальных затруднений, бездоказательно объявляя противоречащий его схеме вариант Кирши Данилова «испорченным скоморошьей обработкой»<sup>2</sup> и замал-

---

<sup>1</sup> В. П. Аникин. Русский богатырский эпос. М. 1964, стр. 151-52.

<sup>2</sup> В. Я. Пропп. Русский героический эпос. 2-е изд. М. 1958, стр. 444.

---

---

чивая неподходящие ему места в других вариантах. Это однако не мешает Проппу ссылаться на вариант Кириши Данилова, когда он находит это для себя выгодным. При таком обращении с текстами можно, конечно, «доказать» все, что угодно.

Не подтверждается былинными текстами и попытка увидеть в Ваське Буслаеве выразителя интересов трудовых народных масс. Хотя против Василия Буслаева и его молодцов выступают «мужички новгородские» (с точки зрения советских исследователей — богатеи-эксплуататоры) на его стороне, кроме тридцати соратников, способных одним махом выпить ведро водки и выдержать тяжеловесный удар его «червленного вяза», мы никого не видим.

Мнение Проппа, что дружина Василия Буслаева состоит из ремесленников, что якобы подчеркивает классовый характер конфликта,<sup>3</sup> опровергается большинством вариантов былины. Это мнение — результат пристрастного отбора текстов и игнорирования невыгодных автору свидетельств, — есть ведь и варианты, из которых недвусмысленно следует, что дружина Буслаева состоит из таких же головорезов, как он сам: «из татей, разбойников, нерабочих людей» (Аст. 14). Обычные «черные» новгородские люди, интересы которых якобы представляет и защищает Василий Буслаев, никакого участия в смертельной драке на Волховском мосту на стороне Васьки не принимают.

Рассматривая тексты вариантов былины, позволительно задать вопрос: точно ли враги Васьки — одни богатеи? Не весь ли Господин Великий Новгород встал против своевольного анархичного Васьки, грозящего новгородскому люду истреблением? Практичный Васька во многих вариантах удовлетворяется богатым выкупом и оставляет, по внушению матери, новгородских мужиков «на семена». Есть также варианты, в которых Василий получает власть над всем Новгородом. Ни о каких благодеяниях Васьки простому народу в былинах с таким окончанием не говорится. По идеологическим соображениям, Пропп отрицает вероятность такого окончания и считает его поздним привнесением в текст.<sup>4</sup> Но и это мнение, как будет видно дальше, основательным считать не приходится.

Против социологического толкования можно выдвинуть веские аргументы и чисто формально-сюжетного порядка. Дело в том, что варианты, в которых Василий Буслаев борется с новгородскими богачами, сами по себе не дают права делать выводы в духе марксистской теории классовой борьбы. Былина — не документ партийно-идеологической журналистики, а прежде всего художественное произведение.

---

<sup>3</sup> Там же, стр. 450-52.

<sup>4</sup> Там же, стр. 465.

---

---

Жанр эпической песни подчиняется своим нерушимым, слагавшимся века правилам. И создатель былины точно следует правилам жанрового канона, который он не может изменить, не нарушая и не разрушая всего смысла эпического изображения.

Борьба против могущественного и часто богатого врага составляет одну из основных традиционных мотиваций эпического героя, независимо от того или иного возможного классового сознания. Победа над могучим врагом дает герою заслуженную, живущую в веках славу, эпическое бессмертие, к которому стремится герой. Победа над богатым врагом еще и вознаграждает победителя земными благами за его героический подвиг. Противник в героическом эпосе всегда должен обладать могуществом. Мировой эпос не знает ни одного сказания, где бы герой сознательно мерялся своими богатырскими силами с мирным или задиристым ремесленником или крестьянином, чтобы отобрать у них сапожные колодки или рабочую клячу. Подобная «борьба» лишила бы героя чести, была бы вопиющим абсурдом, издевательской пародией на героический подвиг.

Поэтому слагатель героической песни всегда находит для своего героя могущественного противника. В условиях торговой новгородской республики, в эпосе которой собственно героическая тема киевского цикла должна быть переосмыслена, символом могущества, которому бросает вызов герой, неизбежно должно было стать богатство. Богатство всего города или его именитых граждан.

И естественно, что ушкуйник Буслаев должен бороться против *богатого и сильного* Новгорода, как с *богатым и сильным* «Господином Великим Новгородом» состязается певец и купец Садко. Это богатство может персонифицироваться в коллективном образе новгородского купечества, как церковные и демократические институты Новгорода персонифицируются в образе Старичица-Пилигримица с «Софейным» или монастырским колоколом на плечах, против которых выступает удалой Васька «со товарищи». Для того, чтобы ввести эти образы и мотивы в былинку, ее составитель должен был быть просто талантливым, знающим эпический канон певцом. Классовое сознание здесь ни при чем.

Все это не отрицает наличия в былине эпического отражения исторических конфликтов, как, например, утверждал Брюкнер.<sup>5</sup> Речь здесь только о методологической неправомерности подчинения специфического для Новгорода исторического контекста былины, всего богатства личного характера героя и функциональных закономерностей сюжета, догматическим схемам марксистской критики.

В эпическом конфликте былины между Новгородом и Василием Буслаевым нашел свое отражение общественный конфликт. Но кон-

---

<sup>5</sup> A. Brueckner. Michailo Potyk und der wahre Sinn der Bylinen. Zeitschrift für slavische Philologie. Leipzig. 1927. Bd. IV, S. 328.

---

---

фликт, типичный для новгородского общества, не имеющий прямого отношения к борьбе классов в торговой республике. И в связи с природой этого конфликта его завязка, развитие, кульминационный пункт и сама развязка в бытине, как и позднейший конец героя, определяются не закономерностями классовой борьбы в условиях Новгорода XIV-XV вв., а целиком и полностью характером, психологическим складом самого героя бытины — Василия Буслаева.

Кто же такой Василий Буслаев? И в чем состоял этот внутриобщественный новгородский конфликт?

Василий Буслаев — молодой новгородский богач, член новгородской денежной аристократии. Однако источник его богатства, приобретенного отцом, не мирная торговля, а удалое и разбойное «ушкуйничество».

Ушкуйниками назывались в Новгороде молодые люди, которые, объединяясь в вооруженные отряды, отправлялись по рекам на легких лодках-«ушкуях» в северные колонии Новгорода собирать дань с покоренных финских племен и присоединять к «Господину Великому Новгороду» отдаленные богатые ценной пушینیной северо-восточные земли. Однако ушкуйники далеко не всегда удовлетворялись ролью конквистадоров и колонизаторов. Очень часто они спускались вниз по Волге, заходили в ее притоки, грабили русских, татарских и восточных купцов и даже захватывали неожиданными налетами и разоряли русские и татарские приволжские города.

Эта «деятельность» ушкуйников открывала перед ними возможность быстрого обогащения, если, разумеется, новгородский молодец не пропивал своего легко приобретенного богатства или не оканчивал свою богатую приключениями жизнь на виселице татарского хана, московского воеводы или шведского королевского чаместника в Выборге.

Ушкуйничество было очень популярно у новгородской молодежи всех сословий (нет ничего удивительного, что в дружине Василия Буслаева были и ремесленники), и новгородские летописи полны сообщениями о многочисленных походах отрядов *молодцов* на окраины новгородских земель. Но со временем подобное времяпрепровождение томящихся от избытка сил и удали молодцов стало дорогой роскошью, которую Господин Великий Новгород не мог себе больше позволять. Его окружали сильные и опасные соседи, а Новгород хирел и слабел. С востока неумолимо приближалась суровая Москва. Разделавшись со своими соперниками в борьбе за гегемонию в северо-восточной Руси, московские князья стремились к ликвидации независимости Новгорода. И поэтому в условиях XIV-XV вв., ушкуйничество превратилось в смертельно опасную игру с огнем.

---

---

Московские послы требовали от новгородской республики решительного обуздания и наказания пиратствующих на Волге «молодцов», грозя карательными мерами. Новгородское правительство шло навстречу этим требованиям. Но из новгородских летописей известно, как трудно было справиться с анархичными, не признающими ничьего контроля и никакого государственного авторитета «молодцами».

Былина о Василии Буслаеве и новгородцах и отражает в эпической форме этот конфликт между государственным порядком Новгорода и буйным, непокорным и безответственным ушкуйничеством. На то, что в былине отразился именно этот конфликт, указала уже дореволюционная русская фольклористика, в частности И. Жданов.

Конфликт этот типично новгородский, безусловно древнее XIV в., и подводить под него марксистское основание классовой борьбы нет никакой надобности. В сущности в былине конфликт этот — даже уже не просто конфликт между Новгородом и явлением ушкуйничества: он приобретает широкое эпическое обобщение, как отражение хаотического и бессмысленного бунта иррациональных сил индивидуального своеволия, направленного против объективных норм нравственного, общественного и государственного порядка и, в конечном счете, против высшего смысла и порядка бытия вообще. В этом смысле содержание былины выходит за пределы чисто новгородских исторических отношений и эпически разворачивает проблему глубокого и трагического общечеловеческого значения. Это и делает былину о Василии Буслаеве выдающимся памятником не только русского, но и мирового эпоса.

Этот бунт эстетически может импонировать размахом и удалью бесстрашного Васьки. Но в его бунте отсутствует какое-либо положительное осмысленное начало, в силу чего он не может не привести, рано или поздно, к гибели самого героя.<sup>6</sup> Сказители это прекрасно ощущали. Поэтому обе былины (о драке с новгородцами и о поездке в Иерусалим) дополняют друг друга и создают удивительно целостный образ Василия Буслаева.

Ушкуйником, собственно, был и отец Васьки — старый Буслай. С помощью собранной им удалой дружины (Рыбн. 148) Буслай создал свое богатство и благополучно прожил в Новгороде 90 лет. Но в жизни и действиях тесно связанного с родным городом Буслая отсутствует разрушительное бунтарское начало. Все былины, упоминающие о нем, подчеркивают общественно-положительную гражданственную сторону характера Буслая (в вариантах Москва и Псков могут выпадать):

---

<sup>7</sup> В какой-то мере и в другом смысле отрицательную оценку «бунтарства» Василия Буслаева дает В. Е. Гусев, книгу которого я прочитал после окончания рукописи, когда итальянский текст ее пошел в печать. См. В. Е. Гусев. Эстетика фольклора. Л. 1967, стр. 137.

---

---

«С Новым Городом не спаривал,  
Со Псковом не вздаривал,  
А со матушкой Москвой не перечился». (Рыбн. 150).

Василий Буслаев коренным образом отличается от своего отца. Внешне он — блестящий юноша высшего новгородского общества. Он получил великолепное по понятиям того времени образование. В некоторых вариантах (Григ. 39; Аст. 14) учителем Васьки называется его крестный отец Старичище-Пилигримище или Андронище. Василий — лучший певец в церковном хоре (К. Д.). Но за этим внешним фасадом, обманчивой маской, бушуют хаотические и анархические силы. Эти силы, вырвавшись на поверхность, грозят уничтожением всему Новгороду и в конце концов уничтожают самого Ваську.

Обычно принято подчеркивать «вольнодумство», а отсюда и «прогрессивность» Василия Буслаева. Но это вольнодумство особого рода. Правда, Василий не верит «ни в чох, ни сон», то есть лишен суеверий, против которых, между прочим, боролась и средневековая русская церковь.<sup>8</sup> Но у него есть свой неопровержимый объект веры: «А верую я в свой червленый вяз» (К. Д.), то есть в свою боевую дубину. Вольнодумство Василия Буслаева — не результат сомнений, рациональных исканий, переоценки ценностей: это следствие прорыва в сознание слепых иррациональных стихий, безудержного самоутверждения вышедшей из-под контроля сознания иррациональной воли. Эта воля не признает и не желает признавать никаких объективных норм и высшего авторитета, кроме авторитета грубой физической силы и норм победившей боевой дубины.

Свои подвиги Василий начинает тем, что калечит своих сверстников, вырывая им руки и ноги (сам по себе это международный эпический мотив, подчеркивающий необыкновенную силу мальчика-героя). Затем он вызывающе и самоуверенно противопоставляет себя всему Новгороду и, незванно явившись со своей дружиной на пир «мужиков новгородских» (иногда его, впрочем, принимают в состав «братчины»), провоцирует их на бой на Волховском мосту, традиционном месте новгородских кулачных состязаний, восходящих, вероятно, еще к языческим временам.<sup>9</sup>

Завязка былинного конфликта между Василием Буслаевым и новгородцами, как мы видим, определяется личным характером самого Буслаева, превратившего кулачный бой на мосту (фактически акт самозащиты «мужиков новгородских», решивших общими силами разделаться с бесчинствующим Васькой) в бессмысленное кровавое побоище и беспощадное избиение новгородцев. В одержимой ослепленности Василий не останавливается перед уничтожением да-

---

<sup>8</sup> И. Н. Жданов. Русский былевой эпос. СПб. 1895, стр. 384-85.

<sup>9</sup> Там же, стр. 261-62.

---

---

же церковных и вечевых институций родного Новгорода. С циничными и кощунственными замечаниями он безжалостно убивает своего крестного отца и учителя Старичища-Пилигримища, с древним церковно-вечевым колоколом на плечах.

Убийство старика и низвержение колокола — кульминационный пункт былины. Спротивление Новгорода сломлено, право своевольной дубины торжествует. В отдельных вариантах сама Богородица (Рыбн. 169) сходит к матери Буслаева, как бы подчеркивая этим демоническую одержимость Васьки, и посылает ее унять разбушевавшегося сына. Но обычно сами «мужики новгородские» отправляются к матери Василия с просьбой о мире.

Собственно только мать (подобно матерям Добрыни и Дюка — типичный эпический образ матери в русском эпосе) способна утихомирить Ваську. Она уводит его с поля сражения, и на этом, обычно, кончается былина.

Нужно обладать большой смелостью — и идеологической предвзятостью, — чтобы увидеть в образе Буслаева прогрессивного вольнодумца и борца за социальную справедливость и народные права. Ни один вариант былины его нигде таким не показывает.

Его мать, потрясенная убийством Васькой своего крестного отца, предрекает сыну близкую и неизбежную смерть (Гильф. 284). В сводных былинах, где первый эпизод соединяется с поездкой Василия в Иерусалим, он сам мотивирует решение о поездке необходимостью покаяться в убийстве «неповинных голов» (Сок. 136, 145; Аст. 14 и др.).

И сам Василий себя борцом за справедливость и народ не считает. Образ Василия — образ удалого и своевольного разбойника-«ушкуйника». Разбойником и признает себя Василий, в одном из вариантов объясняя поездку в Иерусалим тоже необходимостью покаяться:

«Смолоду бито много, граблено,  
Под старость надо душу спасти». (К. Д.).

И. Жданов предполагал существование древнего варианта былины, в котором поездка в Иерусалим сопровождалась искренним покаянием, прощением грехов и завершалась полным перерождением Васьки и превращением его (подобно отцу) в добропорядочного и уважающего законы гражданина и даже посадника Господина Великого Новгорода.<sup>10</sup> Завершение деятельности Васьки посадничеством, в древнем не дошедшем до нас варианте былины, не лишено известной доли вероятности. Летописный свод XVI в., так называемая Никоновская летопись, под 1171 годом сообщает: «Того же лета представися в Новгороде посадник Васька Буслаевич». Так как списки новгородских посадников не содержат этого имени, можно предпо-

---

<sup>10</sup> Там же, стр. 278.



---

---

ложить вместе с И. Ждановым,<sup>11</sup> что летописный посадник Васька Буслаев попал в летопись из былины, как это, по всей вероятности, произошло и с летописным Александром Поповичем.

Но если в древности и существовал такой вариант былины, то певцы его не сохранили и он до нас не дошел. Это делает честь художественному такту и психологическому чутью сказителей. И дело здесь не столько в том, что героический жанр часто предполагает вызов судьбе и последующую гибель героя, сколько в том, что Васька, каким он обрисован в былинах, внутренне не готов к спасению.

Поездка Василия была продиктована ему глубокой потребностью перерождения, которая оправдала бы благополучное окончание жизненного пути героя в рамках эпического сюжета. «А мое-то ведь гулянье неохотное» (К. Д.), — говорит о своем паломничестве Василий. У него отсутствует внутренняя духовная собранность, и его поездка по-прежнему сопровождается вспышками иррационального буйства и импульсивного разрушительного своеволия.

Не щадивший в первой былине живых людей, Василий не имеет и уважения к мертвым, во второй. По пути на своем разбойничьем корабле в Иерусалим он высаживается на горе Сорочинской и находит там череп погибшего когда-то богатыря. У него не возникают размышления Гамлета о временности и бренности всего земного. Он не чувствует метафизической связи между миром живых и мертвых, которую так ясно ощущало древнее русское религиозное сознание. Он презрительно толкает ногой череп, грубо насмехаясь над памятью умершего, и мертвая голова предрекает Буслаеву смерть.

В Иерусалиме, совершив все *внешние* обряды, но не имея к ним сознательного *внутреннего* отношения, он кощунственно купается нагим в Иордани, в которой крестился Христос, несмотря на предупреждение проходящих мимо женщин. Буслаев отвечает им циническими репликами, и они тоже предсказывают его гибель.

На обратном пути Василий вновь всходит на гору Сорочинскую и видит на ней высокую и длинную гробницу. Надпись на гробе предупреждает посетителей от прыжков через гроб в длину. Как всегда, своевольный Буслаев нарушает запрет и, разбиваясь, находит на горе свою гибель. Предсказание сбылось и рядом с черепом погибшего давно богатыря лежит мертвая голова удалого Василия Буслаева.

Неизбежность такого конца Василия раскрывается в символических образах былины. Психологически его поездка представляет попытку овладения хаотическими силами и энергией бессознательного и восстановления поврежденной целостности личности, по терминологии Юнга «Само» (das Selbst), божественным прообразом и психо-

---

<sup>11</sup> Там же, стр. 245-46.

---

---

логическим символом-архетипом которого является Христос.<sup>12</sup> Эта попытка кончается неудачей. Сила стихии в самом Василии оказывается слишком могущественной, чтобы с ней могло справиться слабое, не научившееся контролировать и направлять иррациональную энергию сознание героя. Хаос вновь и вновь прорывается и окончательно берет верх, затопляя сознание и уничтожая самого Василия.

Объекты, против которых направляется хаотический бунт Буслаева, меняются. Если в первой былине он был направлен против земного нравственного и общественного порядка вещей, то теперь Василий импульсивно бунтует против метафизического миропорядка и вместе с тем психологического космоса, в котором реализуется целостная личность. Но этот бунт так же бессмыслен, как и первый, однако, в отличие от первого — он мелок и слаб. Его слабость свидетельствует о захирении личности самого Василия, хотя он и производит могучее и устрашающее впечатление на таких же разбойников, как и он сам — на казачью разбойничью заставу на Каспийском море. Это могущество — обманчивая маска. Василий может только жалко кощунствовать в Иордани над памятью Христа (собственно последней надежды, религиозной и психологической, на возрождение и восстановление его личности) — и тем самым лишается исцеления в «источнике воды живой», который он кощунственно оскверняет. Он никого и ничего не ниспровегает. Он уничтожает самого себя.

Трагедия Буслаева заключается в том, что *он не нашел самого себя*, не сумел интегрировать доминирующий в нем хаос в сверхличный космос («Само», как архетип, — сверхлично) и с самого начала преградил себе все пути к формированию образа положительного героя.

По существу в образе Василия Буслаева в новгородском эпосе намечается мотив богоборчества. Но только намечается. Полностью эта тема развита в былине о гибели русских богатырей.

### БЫЛИНА О ГИБЕЛИ РУССКИХ БОГАТЫРЕЙ

В современной фольклористике былина о гибели богатырей известна также под названием «Камского» или «Мамаева побоища». По своей тематике она примыкает к группе былин о татарском нашествии (в число врагов может включаться и Литва), но в отличие от других былин этой группы ей свойствен, в большинстве вариантов, трагический конец.

Содержание былины сводится к следующему: бесчисленные полчища врага, во главе которых обычно стоит предводитель, носящий имя эпических Идолица или Калина, или исторического лица —

---

<sup>12</sup> C. G. Jung. Psychologie und Alchemie. 2. Aufl. Zürich. 1952. S. 35.

---

---

хана Мамая, подступают к Киеву. Владимир созывает разъехавшихся из Киева богатырей. Во главе с Ильей Муромцем богатыри выезжают против врага, оставляя в богатырском лагере для охраны двух-трех богатырей. Обычно это Алеша Попович и Гаврила Долгополов, два «долгополых поповича» или два «брата-суздальца».

Бой развивается успешно для русских богатырей. Илья Муромец пробивается к предводителю татар и убивает его, заявив:

«Я не дам тебе разорять-то города Киева,  
В полон взять князя Владимира,  
А церквей-то Божьих под конюшни взять,  
И не дам-то разорить монастыри спасенные». (Марк. 81).

Богатыри бросаются вслед за Ильей и поражают бесчисленное войско. В это время на поле сражения выезжают оставленные в лагере богатыри. Видя побитые несметные рати врага, они бросают хвастливый и горделивый вызов, который повторяется с незначительными вариациями во всех вариантах и сводится к следующей формуле:

«Кабы было во матушки во сырой земли золото кольцо,  
Повернули мать сыру землю,  
А была бы на небо лесница,  
Присекли силу всю небесную». (Аст. 12).

Есть вариант, в котором подобную похвальбу-вызов изрекает сам Илья (Рыбн. 22). Есть также вариант, где вызов исходит от всех богатырей, похваляющихся взять в плен самого Христа (Тих. и Милл. 70).

Узнав о безрассудной похвальбе богатырей, Илья опасается самых тяжелых последствий. Действительно, на утро богатыри видят все неприятельское войско воскресшим. Они снова бросаются против него, но из каждого разрубленного мечом татарина восстает двое живых и победить такое постоянно удваивающееся войско оказывается невозможным.

Сказители былины знают троякое разрешение ситуации:

1. Богатыри не могут справиться с чудесно оживающим и умножающимся врагом, отступают в горы или к городским стенам и окаменевают.

2. Богатыри каются в кощунственном вызове, молятся во главе с Ильей «Спасу Превышнему и Божьей Матушке да Богородице». Покаяние принимается Богом, вражья сила падает мертвой на землю. Богатыри одерживают таким образом победу, но уходят в монастыри, «пещеры киевские», где и умирают. В одном варианте (Гильф. 121) Илья после смерти становится святым, в киевских пещерах сохраняются его мощи.

3. Богатыри каются, побеждают врагов и разъезжаются после победы по домам. Гибнут только бахвальщики. Окаменевают Илья. Но это единственный и нетипичный вариант (Рыбн. 22). Накальва-

---

---

ются на копья или бесследно исчезают Алеша Попович с товарищами или двое «братьев-суздальцев».

Что касается исторического зерна и времени происхождения сюжета, то по мнению большинства русских фольклористов сказание о гибели богатырей могло быть приурочено к поражению русских на реке Калке в 1224 году, при первом столкновении с монголами. Это поражение, как и последующее порабощение Руси, религиозное сознание осмысливало, как суд и наказание Божье за грехи православного народа. Тверская летопись, повествующая о поражении на Калке, подтверждает это мнение: в ней в числе погибших на Калке 70 богатырей, указаны Александр Попович и Добрыня.

К преданию об этой катастрофе в эпической песне могло примешаться воспоминание о тяжелом поражении, нанесенном суздальским князьям на реке Липице коалицией новгородцев, смоленцев и ростовчан во главе с торопецким князем Мстиславом Удалым. В таком случае загадочные «братья Суздальцы»<sup>13</sup> могли оказаться былинным воспоминанием о безрассудно самоуверенных суздальских князьях, хвастливо обещавших на пиру накануне сражения жестоко расправиться со своими врагами.<sup>14</sup>

Таким образом былинный сюжет возник в первой половине XIII века и уже позже, в процессе циклизации русского эпоса, вошел в состав Киевского цикла.

Первоначальные составители былины, помимо исторических преданий, могли обработать и включить в былинку отдельные мотивы из других героических песен, а также книжные и эпические мотивы из византийских и болгарских источников. Но византийские и болгарские источники, с которыми сравнивает былинку А. Веселовский, не содержат богоборческого мотива, хотя есть мотив удвоения разрубленных турок и упоминание кощунственного въезда на конях в церковь и истребления 300 старух и 300 некрещенных младенцев в битве на Косовом поле в болгарской песне о падении г. Сталака, которую приводит М. Халанский.<sup>15</sup> Ярко выраженный богоборческий мотив составляет таким образом отличительную и характерную особенность русской былины.

С формальной точки зрения объяснение появления мотива богоборчества в героическом эпосе не представляет трудности. Главным героем эпоса является выделившийся из состава религиозного мифа и ритуала человек. Он может обладать сверхчеловеческой физической силой и тайным знанием, а также быть сыном божества. Но в конечном счете он все-таки смертный человек. И поэтому *эпи-*

---

<sup>13</sup> А. Веселовский. Южно-русские былины. Сборник Отделения Русского Языка и Литературы Имп. Акад. Наук. СПб. 1884, т. XXXVI, № 3, стр. 76.

<sup>14</sup> Вс. Миллер. Очерки русской народной словесности. М. 1910, т. II, стр. 74.

<sup>15</sup> М. Халанский. Великорусские былины Киевского цикла. Варшава, 1885, стр. 130.

---

---

ческий миф оказывается «мифом не о боге, а о человеке, который возводит себя в ранг бога». <sup>16</sup> Это обстоятельство включает в себе возможность «психологической инфляции» героя, возможность зарождения в нем «гордости» — *hybris*, переоценки своих сил, которая и понуждает его бросить горделивый вызов и самим богам, и установленному или объективному порядку бытия.

Собственно, «гордость» в этом смысле и есть одна из основных характеристик героя в международном героическом эпосе вообще. Герой абсолютизирует понятие свой личной чести и бросает вызов не только доводам здравого смысла, но и самим велениям судьбы. Пусть он не обладает бессмертием небожителей: своей героической гибелью «вопреки рассудку» он достигает в памяти потомства бессмертной славы. Эпический певец и его слушатели могут восхищаться и любоваться таким героем, — но они знают, что он осужден на неминуемую гибель. В этом акте горделивого, но в то же время безнадежного вызова и самоутверждения и заключается трагическое величие героя и вместе с тем секрет эстетического воздействия на аудиторию сказания о его подвигах. Через это эстетическое воздействие, через *внутреннее участие* в подвигах героя, осуществляется «катарзис» в душах слушателей, цель всякой подлинной трагедии.

Надо сказать, что мотив богоборчества отнюдь не является поздним художественным порождением героико-эпического жанра: богоборчество составляет неотъемлемую часть зрелой религиозной мифологии. Богоборцем был библейский Яков; еврейский национальный характер в известном смысле синтезируется в колоссальных религиозных образах Авраама и Якова. Для иранского религиозного мифологического сознания характерна «демоническая» трактовка мотива богоборчества, на что среди советских исследователей обратил внимание Е. М. Мелетинский. <sup>17</sup> С поразительной интуитивно-философской глубиной демонизм богоборчества передан и осмыслен в первых мифологических главах иранской «Шах-Намэ».

Богоборчество коренится в эмпирической природе человека. Его глубинные истоки таятся в противоречивости внутренней структуры психики, заключающей в себе одновременно и свет и тень, одинаковые способности и импульсы к добру и злу, к просветленной сознанием интеграции бессознательной психики в целостном «Само» личности и к разрушительным прорывам таящегося в глубине души иррационального хаоса.

«Вне переживания этой противоречивости не может быть опыта целостности и тем самым внутреннего доступа к священным образам и

---

<sup>16</sup> Jan de Vries. *Heldenlied und Heldensage*. Bern-München. 1961. S. 320.

<sup>17</sup> Е. М. Мелетинский. *Происхождение героического эпоса*. М. 1963, стр. 218-19.

---

---

формам. На этом основании христианство с правом настаивает на греховности и первородном грехе с очевидным намерением вскрыть, по крайней мере извне, ту бездну мировой противоречивости, которая таится в каждом отдельном человеке». <sup>18</sup>

В этом смысле образ Христа является прообразом, в котором интегрируется и восстанавливается целостность человеческой природы.

Вместе с тем русский богоборческий мотив в мировом героическом эпосе вовсе не стоит особняком. Ближайшая параллель мотиву нашей былины обнаруживается, как и в предыдущих примерах, в осетинском эпосе. Иными словами, мы снова оказываемся в пределах ирано-славянских культурных контактов. Подобно русским богатырям, нарты бросают вызов небожителям, вступают с ними в жестокий бой, также, в конце концов, отступают в горы, где, в глубоких ущельях, гордо погибают. <sup>19</sup>

Вс. Миллер приводит и другие более близкие параллели. Пересказав вариант осетинского сказания о нартском герое-богборце Батразе, Вс. Миллер сравнивает мотивы сказания со сходными мотивами в былине:

«В приведенном осетинском сказании находим два мотива, известные русскому эпосу. Первый — гибель Ильи и других богатырей за похвальбу справиться с силой небесной и неудачный бой с нею. Второй — мотив перенесения Ильи в пещеры киевские. Как в осетинском сказании, ангелы переносят Батраза, н е р о ж д е н н о г о сына бога, по его повелению, в какой-то Софийский склеп, так по словам одной былины —

Прилетала невидима сила ангельска,  
А вжимали-то его (Илью) да со добра коня  
И заносили его в пещеры-то киевские,  
И тут же ведь старый опочив держал». <sup>20</sup>

Русский эпос разрешает этот ирано-славянский богоборческий мотив по-своему. Мы видели, что богатыри, в ряде вариантов, не всегда погибают под напором воскресших и умножающихся врагов.

Соединившийся с первоначальной песней о падении русской земли под напором монгольской лавины, мотив о гибели всех богатырей, по-видимому — самый древний. Но поражение осмысливалось религиозно: оно было результатом греховности всей Руси. Вместе с тем христианская культура и русский народ не погибли окончательно, а потому оставались возможности их восстановления. Процесс культурно-исторической индивидуации был задержан, но не

---

<sup>18</sup> С. G. Jung. Psychologie und Alchemie. 2. Aufl. Zürich. 1957. S. 37.

<sup>19</sup> Нарты. Эпос осетинского народа. М. 1957, стр. 358-366.

<sup>20</sup> Вс. Миллер. Кавказско-русские параллели. Стр. 19. Приложение к «Эккурсам в область русского народного эпоса». М. 1892.

---

---

был прерван. Оставалась возможность спасения русской «души» и в психологическом и в культурном смысле.

Поэтому русский эпос знает разрешение богоборческой мифологемы не только в плане окончательной трагической гибели героев, восставших против божественного миропорядка, но и в плане их реинтеграции в этот миропорядок. Реинтеграция происходит при этом на более высоком, духовно и психологически, уровне, через покаяние и внутреннее преображение. В этом глубокий, специфически религиозно-христианский смысл русского разрешения богоборческой мифологемы, культурно-историческое значение которого не следует недооценивать. Земные подвиги богатырей завершаются подвигом духовным — уходом в «монастыри спасенные». Психологически это означает преодоление внутреннего хаоса через реинтеграцию целостной психики в религиозно-психологических архетипах «Спаса Превышнего» и «Божьей матушки да Богородицы».

Иными словами, былина психологически и эпически реализует процесс индивидуации и окончательной победы не только над внешним врагом, но и над собственным хаосом внутри души самого русского человека. Процесс, который не был еще завершен в образе бунтующего Ильи, который совсем не удался удалому Василию Буслаеву — и который был насильственно прерван уже в наше время, большевистской революцией в последние десятилетия русской истории.

Это последнее обстоятельство только лишний раз подчеркивает, что в образах богатырей, восставших против объективного (метафизического и психологического) порядка бытия, эпос с глубоким проникновением раскрывает трагическую двойственность русской коллективной психики. Неустойчивость границы между сознательным и бессознательным, которая раскрывается в русском змеборческом мифе, определяет полярность русского национального характера, его способность к колебаниям, размах которых таит возможности и блистательного творчески-созидательного восхождения, и катастрофического падения и распада русского культурного гения.

## Рождение социалистического реализма

Самое раннее встретившееся мне упоминание термина «социалистический реализм» содержится в речи И. Гронского, произнесенной на собрании актива литературных кружков Москвы 20 мая 1932 года. Критикуя мнение, что знание диалектического материализма является необходимым условием творческой деятельности писателя, Гронский сообщил своей аудитории:

«Основное требование, которое мы предъявляем к писателям, — пишите правду, правдиво отображайте нашу действительность, которая сама диалектична. Поэтому основным методом советской литературы является метод социалистического реализма».<sup>1</sup>

Из заявления Гронского явно следовало, что партия отвергла пропагандируемый до этого РАПП<sup>2</sup> «диалектико-материалистический метод» как непрактичный и неуместный и решила заменить его методом, название которого говорило бы о большей близости и к практической деятельности партии, и к литературе. Вероятнее всего, это решение было принято после 9 мая 1932 года, потому что передовая «Правды» за это число все еще советовала писателям овладевать «методом материалистической диалектики».

---

Настоящая статья представляет собой несколько переработанный отрывок из книги Г. Ермолаева "Soviet Literary Theories, 1917-1934. The Genesis of Socialist Realism", University of California Press, Berkeley and Los-Angeles, 1963. Перевод автора.

<sup>1</sup> «Литературная газета», 23 мая 1932 г. И. М. Гронский — в то время редактор «Известий» и председатель Организационного комитета Союза советских писателей — был самым важным лицом, посланным партией в литературу для осуществления основных положений постановления ЦК ВКП(б) от 23 апреля 1932 года о ликвидации пролетарских литературных организаций и создании единого Союза советских писателей.

<sup>2</sup> Российская Ассоциация Пролетарских Писателей. Играла главную роль в литературе с 1928 по 1932 год как «проводник линии партии», стремилась к созданию пролетарской литературы, ликвидирована постановлением ЦК ВКП(б) от 23 апреля 1932 года. Во главе РАПП стояли Л. Авербах, А. Фадеев, Ю. Либединский, В. Ермилов, В. Киршон и др.



---

Вопрос о том, как назвать новый литературный метод, обсуждался на заседаниях Центрального Комитета партии. На одном из них Гронский предложил название «коммунистический реализм». <sup>3</sup> Придумал ли он термин «социалистический реализм», или это сделал какой-нибудь другой высокий партийный сановник, установить невозможно. Сталин, вероятно, знал и одобрил определение социалистического реализма в таком виде, как его провозгласил Гронский. Три месяца спустя, на встрече с писателями на квартире у Горького, диктатор охарактеризовал новый метод в основном теми же словами. Если писатель, сказал он, «правдиво будет показывать нашу жизнь, то в ней он не может не заметить, не показать того, что ведет ее к социализму. Это и будет *«социалистический реализм»*. <sup>4</sup> Во всяком случае, важно то, что социалистический реализм был провозглашен представителем партии в мае 1932 года и что партия взяла на себя полный контроль при введении его.

Второе упоминание социалистического реализма представляет собой, в сущности, парафразу определения Гронского. Оно появилось в передовой «Литературной газеты» от 29 мая 1932 года, в связи с мнимыми желаниями «масс», которые якобы «требуют от художника *искренности, правдивости революционного социалистического реализма в изображении пролетарской революции*».

Третье печатное упоминание о социалистическом реализме содержится в сообщении А. Выпрямкина, что собрание писателей Ростова-на-Дону одобряет лозунг Гронского о социалистическом реализме как отвечающий задачам советской литературы и видит его сущность в «правдивом изображении действительности, познаваемой в классовой практике». <sup>5</sup>

После немедленного и должного отклика «Литературной газеты» и ростовских писателей введение термина «социалистический реализм», казалось бы, сомнений не вызывало. Однако распространение лозунга Гронского было вдруг отсрочено, и следующая ссылка на социалистический реализм в литературе была сделана почти три месяца спустя, как бы мимоходом, в статье критиков Н. Плиско и Ф. Левина «В плену у мелкобуржуазного литературоведения», в «Литературной газете» от 23 августа 1932 года.

Каковы же были причины внезапного трехмесячного перерыва во внедрении нового термина? По словам Гронского, дискуссия о новом методе была умышленно отложена Организационным комитетом до его первого пленума, чтобы избежать групповых раздоров, которые могли возникнуть после роспуска РАПП. Более правдопо-

---

<sup>3</sup> «Основы марксистско-ленинской эстетики», под ред. А. Сутягина, Москва, 1960, стр. 570.

<sup>4</sup> Там же.

<sup>5</sup> «Социалистический реализм. Библиографический указатель», под ред. Н. К. Пиксанова, Ленинград, 1934, стр. 9.

---

---

добная причина — сознание партией того, что литературная обстановка, созданная решением от 23 апреля, не особенно благоприятствовала немедленному введению социалистического реализма. Советские писатели, в частности пролетарские, были сбиты с толку и дезорганизованы. Кроме того, большинство писателей устало от прямого политического давления, проводимого РАПП в лихорадочное время 1928-31 годов. Теперь партия пыталась создать иллюзию, что, в противоположность РАПП, в разрешении литературных вопросов она всегда была против применения суровых административных мер. Эта осторожность заметно проявилась на первом пленуме Организационного комитета (29 октября-3 ноября 1932 года), где представители партии приложили немало стараний, чтобы убедить писателей, что партия не собирается ничего насильно навязывать им и что социалистический реализм не предписан «сверху». <sup>6</sup> К тому же, изобретение формулы «социалистический реализм» еще не было приписано Сталину.

Другая причина отсрочки дискуссии заключалась в том, что партии требовалось время для очистки литературной среды от остатков прежних теорий, чтобы добиться большего эффекта от введения социалистического реализма как единственно непогрешимого метода, как определенного и самодовлеющего целого.

Дискуссия возобновилась в сентябре 1932 года, когда горсточке писателей-коммунистов и критиков было предоставлено право высказывать свои взгляды. Первым признаком возобновления дискуссии была длинная статья критика В. Ермилова, разъяснявшая метод социалистического реализма и призывавшая писателей отвести ему центральное место в литературных дебатах. <sup>7</sup>

В. Кирпотин тоже говорил о социалистическом реализме в одной из своих статей, а 29 сентября 1932 года Организационный комитет объявил, что Кирпотин выступит с докладом о новом методе на первом пленуме комитета, назначенном на 10-20 октября 1932 года. <sup>8</sup> После этого оживлению диспута о социалистическом реализме способствовал выход новых частей статьи Фадеева «Старое и новое». Теперь уже стало ясно, что от нового метода не избавиться, особенно после того, как Сталин благосклонно отозвался о нем на встре-

---

<sup>6</sup> Заключительная речь Кирпотина — «Советская литература на новом этапе. Стенограмма первого пленума Оргкомитета Союза советских писателей (29 октября-3 ноября 1932 года)», Москва, 1933, стр. 254. В. Я. Кирпотин — в то время директор института литературы и языка Ленинградского отделения Коммунистической академии — был назначен секретарем Организационного комитета Союза советских писателей и являлся вторым по значению (после Гронского) представителем партии в литературе. Он выступал как главный теоретик социалистического реализма на первом пленуме Организационного комитета, на котором присутствовало около 500 писателей.

<sup>7</sup> В. Ермилов, «Довольно болтать!» (К развешиванию творческой дискуссии), «Красная новь», 1932, № 9, стр. 157.

---

---

че с писателями на квартире у Горького 26 октября, за три дня до открывшегося с опозданием первого пленума.

На первом пленуме Организационного комитета социалистический реализм был авторитарно навязан литературе Гронским и Кирпотиным, которые первыми дали обширную формулировку и интерпретацию его принципов. Они отождествили реализм с правдой и, поскольку реализм в современных советских условиях «выступает как . . . устремленный в сторону бесклассового общества», определили его как социалистический.<sup>9</sup>

Так как требование писать правду должно было стать стержневым положением социалистического реализма, представители партии дали точные указания, как надо понимать и изображать правду. Они прямо предупредили писателей, что нельзя открыто распространять «реакционные» идеи, оправдывающие исторически обреченную буржуазию.

В более тонких выражениях Кирпотин заявил, что принципы социалистического реализма нарушаются даже при правдивом изображении деталей, если художник не показывает классовую борьбу и перспективы развития мировой социалистической революции. Такое нарушение, сказал он, приводит к слепому и даже клеветническому виду реализма. Чтобы подчеркнуть, какой именно вид реализма ожидается от писателей, Кирпотин напомнил пленуму, что социалистический реализм должен воспитывать читателя в духе коммунизма и воодушевлять его на борьбу с капитализмом и частной собственностью.<sup>10</sup>

Говоря об источниках социалистического реализма, Кирпотин придерживался практики замалчивания роли партии как литературного законодателя. Социалистический реализм, по его утверждению, возник «из тенденций и процессов, развертывающихся в самой литературе».<sup>11</sup> В качестве доказательства он проанализировал несколько произведений как пролетарских, так и не пролетарских авторов, но заявил, что ведущая и решающая роль в развитии социалистического реализма принадлежит пролетарской литературе, которая следует горьковской традиции и оказывает благотворное влияние на попутчиков. Сам Горький был объявлен основоположником социалистического реализма, а его главные произведения удостоились высокой похвалы за их гражданский, политический, революционный и социалистический пафос. Мысль, что Горький в своих ранних рассказах преклонялся перед ницшеанским типом сверхче-

---

<sup>8</sup> В. Кирпотин, «Горький — великий художник пролетариата», «Правда», 25 сент. 1932 и «Новый мир», 1932, № 7/8, стр. 382; «В Оргкомитете», «Литгазета», 29 сент. 1932.

<sup>9</sup> Речь Гронского, «Советская литература . . .», стр. 9-10.

<sup>10</sup> Речь Кирпотина, там же, стр. 29, 254.

<sup>11</sup> Там же, стр. 254.

---

---

ловека, была с негодованием отвергнута на том основании, что эти рассказы содержат сильный политический протест. Особенно усердно превозносили роман «Мать» (1907). По мнению Кирпотина, он изображал революционную борьбу за социализм, раскрывал роль партии в этой борьбе, внушал ненависть к эксплуататорам и укреплял дух коллективизма.

В то же время представитель партии бесосновательно утверждал, что социальное содержание «Городка Окурова» (1909), «Детства» (1913) и «В людях» (1915) подтвердило правоту дела большевиков. Следовательно, заключил Кирпотин, «реализм Горького в этих вещах — подлинный, социалистический, революционный, перспективный реализм»;<sup>12</sup> он возбуждает ненависть к собственническому миру и вдохновляет на борьбу за социалистический строй.

Подобного рода заявления автоматически вызывали сомнения у тех, кто полагал, что социалистический реализм мог возникнуть лишь в советской литературе. Такую крайнюю позицию занял писатель Юрий Либединский, считавший, что социалистический реализм может быть присущ «только литературе нашей страны». <sup>13</sup> Сторонники этого взгляда, однако, оказались в безнадежном меньшинстве. Хотя в центре дискуссии о литературных источниках нового метода стояла советская литература, с произведениями Горького, дореволюционными и послереволюционными, обращались как с единым целым и считали их за высшее достижение социалистического реализма. Не кто иной, как долголетний соратник Либединского Фадеев, заявил, что идеал искусства социалистического реализма был достигнут в произведениях Горького слиянием «социалистического мировоззрения» с «истинной гениальностью» художника, что знаменует новый шаг «в развитии всего человечества». <sup>14</sup>

Несомненно, что большинство советских писателей искренне уважало Горького, тем не менее его ошломляющее восхождение на советский литературный трон было организовано партией искусственно. Официальное прославление Горького достигло апогея в связи с сорокалетием его литературной деятельности. «Правда» от 25 и 26 сентября 1932 года посвятила ему несколько страниц. Он был награжден орденом Ленина; его родной город — Нижний Новгород, Большой театр и Литературный институт, который должен был открыться в 1933 году, были названы его именем. По словам бывшего советского дипломата Александра Орлова, такой официальный интерес вытекал, главным образом, из честолюбивого желания Ста-

---

<sup>12</sup> Кирпотин, «Горький — великий...», «Правда», 25 сентября 1932; речь Кирпотина, «Советская литература...», стр. 14-15. Горький не присутствовал на первом пленуме Организационного комитета из-за поездки в Италию.

<sup>13</sup> Выступление Либединского, «Советская литература...», стр. 166.

<sup>14</sup> А. Фадеев, «Старое и новое», «Литгазета», 11 ноября 1932 г.

---

лина, чтобы Горький написал книгу о нем. Когда же Горький этого не сделал, их отношения охладели, особенно после того, как Горький возражал против задуманного диктатором истребления бывших оппозиционеров.<sup>15</sup>

Представляя Горького как своего союзника, партия, безусловно, старалась возвысить свой собственный претиж. По той же самой причине она обхаживала и больших иностранных писателей, таких как Ромен Роллан и Анри Барбюс, и позже канонизировала Маяковского. Неудобные биографические и литературные данные о Горьком едва затрагивались или опускались. Очень мало сообщалось о сомнениях Горького в 1917-1918 годах в способности пролетариата изменить дух крестьянства, которые он выразил в своей газете «Новая жизнь». Почти ничего не говорилось о закрытии этой газеты в июле 1918 года или о его натянутых отношениях с большевиками на протяжении нескольких лет после октябрьской революции.<sup>16</sup> Примечательно, что в 1923 году Горький заклеил как «духовный вампиризм» изъятие из крупнейших советских библиотек некоторых сочинений иностранных и русских философов, а также произведений Толстого и Лескова. В знак протеста он даже думал отказаться от советского гражданства.<sup>17</sup>

Не подлежит сомнению, что социализм как теория импонировал Горькому, но на сотрудничество с большевиками сильно повлияли личные черты его характера. Это было показано русским поэтом-эмигрантом Владиславом Ходасевичем, который жил с Горьким в Сорренто полтора года — до апреля 1925 года — и был тесно связан с ним в течение семи предыдущих лет. На взгляд Ходасевича, Горький принял свою официальную советскую биографию, которая изображала его как великого пролетарского писателя и революционера, потому что он чувствовал, что массы верили ей. Он думал, что стал для них надеждой, «частью того золотого сна», который он — мечтатель и создатель «возвышающего обмана» — не был уже в силах развезать.

Тот же социально-политический критерий, которым партийные критики пользовались при оценке вещей Горького, был применен для определения элементов социалистического реализма в произведениях других авторов, пролетарских и непролетарских. На первом пленуме эти произведения разбирал, главным образом, Кирпотин, с точки зрения которого верное отображение современной жизни

---

<sup>15</sup> Alexander Orlov, "The Secret History of Stalin's Crimes", New York, Random House, 1953, pp. 261-276.

<sup>16</sup> См. В. Ходасевич, «Горький», «Современные записки» (Париж), 1940, № 70, стр. 131-156, и не подписанную статью «М. Горький», «Руль» (Берлин), 19 ноября 1920 года. «Руль» — русская эмигрантская газета.

<sup>17</sup> «Письма Максима Горького к В. Ф. Ходасевичу», «Новый журнал» (Нью-Йорк), 1952, № 30, стр. 198.

---

---

ни и истории в свете побеждающих социалистических тенденций составляло сущность социалистического реализма. Он утверждал, что роман Фадеева «Разгром» дает ясное и логически мотивированное изображение психологических переживаний. Автор не обращается к человеческой психикой как с таинственной и иррациональной. Отдельные партизаны не идеализированы. Роль большевиков в организации сил красных справедливо выдвинута на передний план. Хотя роман кончается гибелью партизанского отряда, Фадеев умеет передать уверенность в конечном триумфе революции.

«Бруски» Панферова вызвали похвалу Кирпотина за смелое описание трудностей колхозного строительства. Книга рассказывает, как упорное стремление к частной собственности сталкивается с интересами советского государства. Панферов, думал Кирпотин, убедительно показал, что колхозное движение неудержимо развивается и что пережитки прошлого в психологии крестьянства преодолеваются. Чтобы подчеркнуть, какое разнообразие приемов доступно социалистическому реалисту, представитель партии указал, что Панферов, в отличие от Фадеева, не анализирует скрупулезно психологию отдельных лиц; его персонажи отражают умонастроения экономических групп.

«Поднятая целина» (книга I, 1932) и роман Ивана Шухова «Ненависть» удостоились лестного отзыва за изображение того, как крестьянские массы принимают участие в строительстве социализма. Достойным примером социалистического реализма Кирпотин нашел и первую книгу «Тихого Дона», ее несправедливо критиковали за «бытовизм» и «биологизм». По мнению Кирпотина в этой книге Шолохов доказал, что даже сугубо личные дела могут быть разрешены только тогда, когда будет насильно взорван социальный строй, основанный на собственническом укладе. «Незаконная» любовь Григория и Аксиньи иллюстрирует это положение.<sup>18</sup>

Из сочинений попутчиков фрагментарный роман Николая Тихонова «Война» получил положительную оценку за разоблачение империалистического характера первой мировой войны, за раскрытие подготовки капиталистами новой бойни и за внушение читателю ненависти к империализму.

«Скутаревский» Леонова, по мысли Кирпотина, продемонстрировал ту же веру в победу социализма, как и «Разгром». Несмотря на неудачу с важным научным опытом, герой романа профессор Скутаревский встречает сочувствие и поддержку со стороны рабочих завода и партийных работников. Таким образом, заявил Кирпотин, Леонов показал неограниченные возможности для научных исследований в Советском Союзе.

---

<sup>18</sup> Заключительная речь Кирпотина, «Советская литература...», стр. 255; см. анализ других произведений на стр. 23-24.

---

---

Кирпотин обнаружил черты социалистического реализма в нескольких других произведениях пролетарских и непролетарских писателей, но он ни словом не обмолвился о наличии его у Маяковского. Это показывало, что у партии в то время была какая-то причина воздерживаться от занятия твердой позиции по отношению к бывшему руководителю Лефа. О Маяковском — социалистическом реалисте — упомянули, однако, другие. Фадеев охарактеризовал его творческий путь как переход от революционного романтизма поэм «Мистерия-буфф» (1918) и «150 000 000» (1920) к поверхностному реализму «литературы факта» и затем к «подлинному социалистическому реализму» стихотворения «Сергею Есенину» (1926), последней части поэмы «Владимир Ильич Ленин» (1924), стихов «Во весь голос» (1930) и других вещей.<sup>19</sup>

Путь Маяковского к социалистическому реализму не был таким прямым, как может показаться из заявления Фадеева. Это видно по датам опубликованных произведений, упомянутых им. Даже за два-три года до своей смерти Маяковский ратовал за «литературу факта», которую отвергал и отвергает социалистический реализм. Помимо того, сомнительно, чтобы такого индивидуалиста и сатирика, как Маяковский, можно было выдать за образцового социалистического реалиста. Фадеев мог считать его таковым только в связи с его чисто агитационными стихами. В самом деле, в творении мифа о правоверном Маяковском советские критики всегда освещают лишь одну сторону его деятельности, цитируя его ультраревolutionные фразы в доказательство его верности коммунистической идеологии. Ему ставятся в заслугу призывы к своим лефовским сотрудникам преодолеть «футуристическое трюкачество». Вульгарный утилитаризм Лефа и отрицание художественной литературы возлагаются на его менее удачливых коллег.<sup>20</sup>

Пространный анализ социалистического реализма в литературе был предпринят Ермиловым, который использовал в качестве примера «Четыре рассказа» Евгения Габриловича о колхозных проблемах. Социалистический реализм, по утверждению критика, проявился здесь в слиянии личности с советской деятельностью и в признании примата объекта над субъектом. Ермилов похвалил рассказы за изображение «живых людей» и попытался воскресить рапповский лозунг «За живого человека», который «правильно ориентировал и ориентирует советскую литературу на путях социалистического реализма.»<sup>21</sup> Попытка, однако, оказалась тщетной.

---

<sup>19</sup> Фадеев, «Старое и новое», «Литгазета», 11 ноября 1932 г.

<sup>20</sup> О том, как советские критики стараются «очистить» Маяковского, см. В. Иванов, «О литературных группировках и течениях 20-х годов», «Знамя», 1958, № 5, стр. 205-208.

<sup>21</sup> Ермилов, «Довольно болтать!...», «Красная новь», 1932, № 9, стр. 181.

---

---

Кирпотин и другие советские писатели и критики не ограничи-ли свой анализ демонстрацией примеров настоящего социалистиче-ского реализма. Несколько произведений было разобрано, чтобы проиллюстрировать серьезные отклонения от него. Особенно силь-ной критике подвергся роман бывшего «перевальца»<sup>22</sup> Николая За-рудина «Тридцать ночей на винограднике» (1932), в котором автор намеревался показать некоторые черты своего поколения, воплощен-ные в символических персонажах. Темой романа является борьба нового человека с силами природы и с инстинктивными и анархи-ческими побуждениями личности. Действие происходит в виногра-дарском совхозе на черноморском побережье. Главные герои — мо-лодые люди, занимающиеся политическими и философскими дис-куссиями. Роман написан так называемой «динамической», «рубле-ной» (т. е. отрывистой, прерывающейся) прозой, с сильным налетом модернизма. Дикция эмоциональна и напряженна, язык цветист, об-разность ультраимпрессионистская.

На «Тридцать ночей на винограднике» обрушились как на серь-езное нарушение принципов социалистического реализма. Критики утверждали, что роман написан в перевальской традиции, с ее субъ-ективным романтизмом, идеализмом, буржуазным индивидуализ-мом и эстетизмом. Действующие лица были признаны носителями интеллигентской психологии, а отношение автора к социализму бы-ло названо чисто оппортунистическим. Роман был сурово осужден, потому что он якобы защищает обреченный мир и «не выкорчевы-вает буржуазно-индивидуалистические черты из человеческой пси-хологии».<sup>23</sup>

Резкая критика была направлена на «некоторые вещи» Пиль-няка. Кирпотин обвинил его в ложном и клеветническом воспроиз-ведении действительности, так как он не нарисовал широкой кар-тины октябрьской революции, а сосредоточил свое внимание на рас-паде верхних социальных слоев. Среди «некоторых вещей» Кирпо-тин, очевидно, имел в виду роман «Голый год» (1922), в котором изо-бражается вымирание старого княжеского рода и дается эпизодич-

---

<sup>22</sup> От слова «Перевал» — названия литературной группы «рабочих и кре-стьянских писателей», организованной в 1924 году по инициативе критика и издателя Александра Воронского вокруг журнала «Красная новь». Хотя боль-шинство перевальцев состояло в партии и комсомоле, программа группы от-личалась умеренностью. «Перевал» ожидал от своих членов продолжения тра-диций русского реализма и полной творческой искренности и честности. Груп-па неоднократно подвергалась яростным нападкам коммунистических крити-ков и печати и в 1932 году прекратила свое существование.

<sup>23</sup> Речь Кирпотина, «Советская литература . . .», стр. 29; Ермилов «Довольно болтать! . . .», стр. 161-168; Г. Лебедев, «В стороне от дороги (Перевальский сбор-ник «Ровесники» 8)», «Октябрь», 1932, № 8, стр. 186-191. Роман Зарудина был опубликован в сборнике «Ровесники» № 8, Москва, 1932, стр. 5-222,



---

---

ное, разрозненное описание революции, воспроизводимой как слепая, стихийная сила.

Чтобы завершить перечень прегрешений против социалистического реализма, Кирпотин ополчился на субъективистский, реакционный романтизм как на антипод революционного романтизма. Первый, по словам Кирпотина, ищет в идеалах прошлого опоры для критики настоящего и выдвигает ложные идеалы в противовес современной действительности, изображенной Леоновым в «Воре», в котором иллюзорная революция выгодно сопоставлена с настоящей революцией, происходящей в Советском Союзе. Это замечание относится, несомненно, к сочувствию Леонова своему герою, бывшему комиссару Митьке, чьи революционные идеалы потерпели крушение при НЭПе. В поэзии Багрицкого Кирпотин отметил романтическую идеализацию анархизма и отождествил это явление с неверным изображением жизни. Он объяснил, что анархический бунт отстаивает ложную свободу и социальную систему, основанную на частной собственности.

Нарушение принципов социалистического реализма в историческом жанре было показано на примере повести Юрия Тынянова «Восковая персона» (1931) о России времен Петра Великого. Автору, видному литературоведу и историческому романисту, был сделан упрек за высказывание реакционной мысли о бесплодности исторических переворотов. С другой стороны, Алексей Толстой, по мнению Кирпотина, раскрыл благотворную роль таких переворотов в романе «Петр Первый» (книга I, 1929; книга II, 1933).<sup>24</sup>

Доклад Кирпотина на первом пленуме Организационного комитета, а также статьи других критиков и писателей показали, что их утверждения относительно литературного происхождения социалистического реализма не лишены полностью оснований. Известные тенденции, классифицированные как социалистический реализм, существовали в литературе и до провозглашения этого метода. Суть же дела заключалась в том, что только партия имела полное право решать, какие тенденции следует санкционировать и развивать в качестве социалистического реализма. Более того, основные принципы социалистического реализма выводились не только из произведений Горького и других авторов, но также из высказываний Энгельса, Маркса, Ленина и позже — Сталина. Этот способ уже широко использовался на первом пленуме Организационного комитета, и его главным приверженцем был Кирпотин. Он настаивал на том, что высказывания Маркса, Энгельса и Ленина оказывают «чрезвычайную помощь» в понимании сущности социалистического реализма. Основным источником своих утверждений Кирпотин избрал частную переписку Маркса и Энгельса с авторами-социалистами. По-

---

<sup>24</sup> Речь Кирпотина, «Советская литература...», стр. 30.

---

---

нятие об идеальном искусстве, как о соединении идейной глубины с высоким мастерством, было взято из письма Энгельса к Фердинанду Лассалю:

«Полное слияние большой идейной глубины сознательного исторического содержания, которое вы справедливо приписываете немецкой драме, с шекспировской живостью и богатством действия будет, вероятно, достигнуто лишь в будущем и, может быть, даже вовсе не немцами. Правда, именно в этом слиянии я и вижу будущее драмы». <sup>25</sup>

Взгляд Энгельса, что «реализм подразумевает, помимо правдивости деталей, правдивость воспроизведения типичных характеров в типичных обстоятельствах», стал другим столпом социалистического реализма. «Типичные обстоятельства» Кирпотин истолковывал как историческую сущность данной эпохи, ее классовую природу и противоречия; под «типичными характерами» понимались представители соответствующих классов. Настояния Ленина на том, что участникам социал-демократического движения надо мечтать, <sup>26</sup> было использовано для доказательства необходимости революционного романтизма как составной части социалистического реализма. В задачу революционного романтизма должно входить изображение героизма строителей социализма и их мечты о золотом веке коммунизма.

Зависимость Кирпотина от марксистских классиков была настолько сильна, что даже элементарные трюизмы, оброненные Марксом и Энгельсом в частной переписке, воспринимались им как каноны социалистического реализма. Чтобы убедить писателей в необходимости индивидуализировать литературных героев он процитировал такие выдержки: «Каждое лицо — тип, но вместе с тем вполне определенная личность, — «этот», как говорил старик Гегель. Так оно и должно быть». <sup>27</sup> «Идейному содержанию вашей драмы не повредило бы, я думаю, если бы отдельные характеры были несколько резче разграничены и противопоставлены друг другу». <sup>28</sup>

Та же рабская зависимость от Энгельса проявилась в совете Кирпотина своим слушателям — развертывать сюжет в естественной,

---

<sup>25</sup> Цит. там же, стр. 22, и (неполностью) у Фадеева, «Старое и новое», «Литгазета», 29 октября 1932 г., из письма Энгельса к Фердинанду Лассалю от 18 мая 1859 г.

<sup>26</sup> Об этом Ленин писал в «Что делать?» (1902). Ссылаясь на Писарева, он утверждал, что способность воображать заранее результаты труда побуждает человека доводить до конца свои предприятия в области науки, искусства и практической жизни. Разлад между мечтой и действительностью не вреден, если мечта основывается на реальных возможностях и мечтатель добросовестно старается осуществить ее.

<sup>27</sup> Речь Кирпотина, стр. 28, из письма Энгельса к Минне Каутской от 26 ноября 1885 г.

<sup>28</sup> Речь Кирпотина, стр. 28, из письма Энгельса к Лассалю от 18 мая 1859 г.

---

---

логически оправданной последовательности, чтобы избежать поверхностной риторики и пояснительных отступлений. Приведенная по этому поводу цитата гласила:

«Однако желательный дальнейший шаг вперед должен был бы заключаться в том, чтобы эти мотивы были более живо, активно, так сказать, самородно выдвинуты на первый план ходом самого действия и чтобы аргументирующие речи становились все более излишними». <sup>29</sup>

Вершина абсурдности в цитировании марксистских авторитетов была достигнута, когда Кирпотин попытался внушить писателям, что социалистический реализм — это не единообразная «пропаганда схемы, обязательной для всех художников». Социалистический реализм обеспечивает «огромный простор для творческой индивидуальности художника», допускает неистощимое количество тем и представляет безграничную свободу в выборе и обработке сюжетов. Чтобы подкрепить свое заявление, Кирпотин процитировал замечание Энгельса о драме Лассаля «Франц фон Зикинген», говорящее о том, что литературные персонажи могут быть введены в произведение более, чем одним способом:

«Впрочем, все это только один из способов, как можно было ввести в драму крестьянское и плебейское движение, и существует по крайней мере еще десяток других, столь же или более подходящих». <sup>30</sup>

Ясно, что обстоятельства, при которых этот трюизм был высказан Энгельсом, а равно и его содержание, делают его совершенно непригодным для доказательства истинности кирпотинского панегирика о щедротах социалистического реализма.

Косный, поистине «цитатный» способ превращения непогрешимых изречений марксистских классиков в принцип социалистического реализма противоречит утверждениям о его литературном происхождении и опровергает их. Почему советские писатели должны учиться у Энгельса основам художественного творчества, да еще через посредство Кирпотина? Ответ нужно искать в крайнем догматизме партии, в ее языческом поклонении каждому печатному слову отцов марксизма, в отсутствии у нее независимого творческого мышления и боязни его. Что бы ни говорили Маркс и Энгельс о литературе, это принималось без рассуждений, как священный закон, и писатели должны были безоговорочно соблюдать его.

Конечно, Кирпотин не был первым, кто извлекал теоретические литературные рецепты из писаний основателей марксизма. Его наиболее видными предшественниками были руководители РАПП. Однако Кирпотин и Гронский подходили к марксизму несколько по иному, чем и объясняются некоторые теоретические различия между социалистическим реализмом и его предшественником — диалек-

---

<sup>29</sup> Там же, стр. 32.

<sup>30</sup> Там же, стр. 28.

---

---

тико-материалистическим методом. Хотя теоретики РАПП обильно черпали из суждений Маркса и Энгельса о литературе, они старались вывести свой художественный метод непосредственно из общих положений диалектического и исторического материализма. Такая практика, осужденная Гронским при его первом упоминании о социалистическом реализме, была решительно отвергнута на первом пленуме Организационного комитета. Разумеется, партия не отказывалась от желания выращивать добросовестных писателей-коммунистов. Знание марксизма-ленинизма расценивалось, как огромное преимущество писателя, и овладение марксистским учением настойчиво рекомендовалось Гронским и Кирпотиным.<sup>31</sup> Идеологическая компетентность признавалась необходимой для создания идеального искусства социалистического реализма, в соответствии с мнением Энгельса о драме будущего.

Не умаляя значения идеологического воспитания писателя, теоретики социалистического реализма считали, что личное знакомство с жизнью является главной предпосылкой правдивого отображения действительности. Следование этому принципу, думали они, приведет к раскрытию настоящей жизненной диалектики и устранил сложное книжное изучение диалектического материализма. Такой взгляд означал не только отказ от непрактического требования РАПП — изучать диалектику, но и давал удобное объяснение тому, как попутчики могли создавать произведения социалистического реализма, не будучи сведущими в марксизме. Прежде всего, утилитарно мыслящие представители партии знали, что настоящая причина создания произведения социалистического реализма коренится не в знании автором диалектики, а в угождении его директивам партии.

Отказ от диалектико-материалистического метода был встречен большинством писателей с чувством глубокого облегчения. Заметные оппозиционные голоса раздавались только со стороны бывших руководителей РАПП. Хотя они открыто заявляли, что доскональное знание действительности является ключем к ее изображению, и хотя они признали, что допустили некоторые ошибки в применении диалектики к искусству, им очень не хотелось расставаться со своим диалектико-материалистическим методом. Они упорно возражали против «стихийного», «интуитивного», «бессознательного», «механического» подхода к жизни<sup>32</sup> и проповедовали изучение марксизма с большим жаром, чем Гронский и Кирпотин. В некоторых своих заявлениях бывшие руководители РАПП фактически не

---

<sup>31</sup> Речи Гронского и Кирпотина, «Советская литература . . .», стр. 10, 26.

<sup>32</sup> Выступления Авербаха и Киршона, там же, стр. 120, 197-198; А. Селивановский, «Поиски новаторства (о творчестве Н. Тихонова)», «Красная новь», 1933, № 9, стр. 197.

---

---

делали различия между социалистическим реализмом и диалектико-материалистическим методом. Фадеев уверял, что диалектический материализм при правильном применении в искусстве открывает жизненную правду. Защищая важность марксистской идеологии, Фадеев доказывал, что противоречие между мировоззрением писателя и его художественным методом не может быть характерно для подлинного социалистического реалиста, ибо «субъективные чаяния и интересы пролетариата не противоречат объективным законам исторического развития». <sup>33</sup>

Значение мирозерцания было также акцентировано Селивановским и Ермиловым. Первый считал, что новаторство советской литературы заключается, прежде всего, не в оригинальности формы, а в социалистическом содержании и что новаторский характер этой литературы зависит от четырех «решающих условий». Этими условиями, начиная с более важных, являются: «пролетарское мировоззрение художника», «глубина этого мировоззрения», понимание художником специфики искусства, его мастерство. <sup>34</sup>

Ермилов определил искусство как социальную практику и средство познания действительности, к которой нужно подходить с точки зрения ленинской теории отражения. Специфика искусства проявляется в мышлении художника и образах, отражающих действительность. Степень соответствия образов объективной реальности является эстетическим критерием. Пролетарская социалистическая литература, думал Ермилов, превосходит по художественности любую литературу, ибо специфика искусства может полностью проявиться лишь в произведениях пролетарских писателей, вооруженных марксистской идеологией. Наоборот, мысль, не соответствующая жизненной правде, не может быть выражена в чувственных художественных образах. <sup>35</sup>

Серьезнее, чем разногласия о мастерстве и применении марксизма, были расхождения между руководителями РАПП и партией по поводу художественной правды и объективности. Расхождения обнаружилось в полемике о революционном романтизме, связь которого с социалистическим реализмом широко обсуждалась с двух противоположных точек зрения.

Апологеты романтизма указывали на его необходимость для утилитарных политических целей и ратовали за то, чтобы ему была отведена определенная и важная функция внутри социалистического реализма. На революционный романтизм, называемый также социалистическим и красным романтизмом, смотрели как на осуществи-

---

<sup>33</sup> Фадеев, «Старое и новое», «Литгазета», 29 октября 1932 г.

<sup>34</sup> Селивановский, «Поиски новаторства...», «Красная новь», 1933, № 9, стр. 197.

<sup>35</sup> Ермилов, «Довольно болтать!...», там же, 1932, № 9, стр. 172; см. также стр. 158.

---

мую мечту о будущем, как на стимул в борьбе с империализмом, как на помощника в построении социализма. Необходимость такого романтизма подкреплялась цитатами из Ленина и Писарева о мечтании и выдержкой из Маркса: «Социальная революция пролетариата не может черпать свою поэзию из прошлого, она должна черпать ее из будущего». <sup>36</sup> Революционному романтизму положено было отражать героизм и энтузиазм строителей социализма и подчеркивать, как желал Горький, все положительные явления советской жизни. В противоположность идеалистическому и реакционному буржуазному романтизму, который или приукрашивал действительность или бежал от нее, революционный романтизм, в соответствии со взглядом Горького, расценивался как орудие преобразования действительности. <sup>37</sup> С самой крайней точки зрения, романтизм и реализм считались равными по значению. Было предсказано, что слияние этих стилей, которое одобрял Горький, произойдет в социалистическом реализме. <sup>38</sup>

Противники романтизма несколько отвлеченно доказывали, что проповедь романтизма как осуществимой мечты о будущем излишня. Предвидение будущего, говорили они, уже включено в марксизм-ленинизм, в диалектико-материалистический подход к жизни, наконец — непосредственно в реализм. Советскую жизнь следует рассматривать как практически осуществляемую мечту о бесклассовом обществе. Поэтому реалистическое описание советской жизни уже включает в себе показ будущего. Что будущее можно реалистически изобразить, доказывалось цитатой из письма Энгельса к Маргарет Гаркнесс, где говорится, что способность Бальзака видеть настоящих людей будущего была одной из величайших побед реализма. Кроме того, некоторые критики полагали, что реализм более совместим с диалектическим материализмом, чем какой-нибудь другой художественный метод, хотя и считали неправильным отождествление их, как это делали руководители РАПП. В качестве допол-

---

<sup>36</sup> Выступление Gladkova, «Советская литература...», стр. 144; см. также П. Рожков, «Нужна ли нам романтика», «Известия», 12 августа 1932 г.

<sup>37</sup> «Советская литература...», стр. 144-145. Взгляды Gladkova основывались на мысли Горького о двух направлениях в романтизме: пассивном и активном. Первый старается или примирить человека с действительностью, или отвлечь его от нее, приводя его к самоанализу и бесплодной попытке разрешить «роковые загадки жизни»; второй усиливает волю человека к жизни, возбуждает в нем бунт против действительности и против любой формы угнетения. М. Горький, «О том, как я учился писать» (1928), «Собр. соч. в 30 томах», Москва, 1949-1955, т. 24, стр. 471.

<sup>38</sup> «Советская литература...», стр. 145. Gladkov имел в виду мнение Горького, что слияние реализма и романтизма характерно для всей большой литературы. См. Горький, цит. произв., стр. 471.

---

нительного аргумента использовалось то обстоятельство, что Горький отказался от своего раннего романтизма в пользу реализма.<sup>39</sup>

Явно отрицательную позицию по отношению к романтизму заняли бывшие руководители РАПП. Их сопротивление объяснялось двумя причинами: 1) односторонним представлением о романтизме как умышленном искажении и «лакировке» действительности идеологически незрелыми или враждебными писателями и 2) решимостью придерживаться художественной правды в большей степени, чем партия готова была допустить. По мнению Фадеева, самые лучшие писатели — Гомер, Данте, Шекспир, Гейне, Бальзак, Толстой — были великими реалистами и дали объективную картину истории. Романтики, наоборот, создали ложный и поверхностный образ мира. Даже революционный романтизм Шиллера не был лишен этого недостатка. Советская литература поэтому мало чему может научиться у этого писателя.<sup>40</sup> Идеализация действительности была энергично отвергнута Киршоном, выступавшим за романтизм «возвышающей действительности», а не «возвышающего обмана».<sup>41</sup> Предпочитаемый им тип романтизма был не идеализацией жизни, а реалистическим изображением ее трудностей и борьбы. На его взгляд, роман Фадеева «Разгром» был истинно героическим и романтическим, так как в нем не было лжи и преувеличений.

Аргументы Киршона представляли собой, несомненно, прозрачную полемику с делегатами партии в литературе, которые настаивали на идеализации советской действительности, считая такую идеализацию составной частью революционного романтизма. Ответ партии на вопрос, можно ли идеализировать героев, ведущих борьбу за будущее человечества, был: «И можно, и нужно, и должно».<sup>42</sup> Писателей призывали «возвеличивать» героизм, преданность революции и «осуществление нашей реалистической мечты» как основные черты советской эпохи.<sup>43</sup> Таким образом, Горький и другие проповедники изображения советской действительности в исправленном виде получили решительную поддержку партии.

Это не значит, что идеализация, проповедуемая Горьким и партией, вытекала из одних и тех же источников. Для партии идеализация означала пропаганду и прославление ее дела и деятельности. Корни же романтика Горького, хотя он и содействовал добровольно партийной пропаганде, следует искать в его личном характере. Он был вечным мечтателем и мастером создания «возвышающего об-

---

<sup>39</sup> В. Усиевич, «Нужен ли нам мелкобуржуазный романтизм?» «Литгазета», 17 августа 1932 г.; Н. Плиско и Ф. Левин, «В плену у мелкобуржуазного литературоведения», там же, 23 августа 1932 г.

<sup>40</sup> Фадеев, «Старое и новое», там же, 11 ноября 1932 г.

<sup>41</sup> Выступление Киршона, «Советская литература...», стр. 198.

<sup>42</sup> Речь Гронского, там же, стр. 10.

<sup>43</sup> Речь Кирпотина, там же, стр. 33.

---

---

мана». По свидетельству Ходасевича, дар мечты приводил Горького в трепет. Его тяга к романтической идеализации и героическому, в противовес скуке и пустоте повседневной жизни, восходит к недовольству своим окружением в детстве, к возбуждению воображения сказками бабушки, к чтению иностранных романов «о людях сильной воли, резко очерченного характера». <sup>44</sup> Горький защищал право автора приукрашивать и перехваливать своих героев, чтобы пробудить в читателе сознание его внутренней красоты и воодушевить его на создание лучшей жизни. <sup>45</sup> Он культивировал в людях возвышенное мнение о самих себе и никогда не разрушал их надежд. Он особенно ценил творческую энергию, которая для него была «немыслима без непрестанного преодоления действительности — надеждой». <sup>46</sup> Желание идеализировать действительность сосуществовало в Горьком с тягой к сугубо реалистическому воспроизведению ее, которое он отстаивал в своих ранних рассказах «О беспокойной жизни» (1900) и «Публика» (1905), в романах и в некоторых более поздних статьях.

Решение о революционном романтизме, оглашенное Гронским и Кирпотиным, служит примером того, как принципы социалистического реализма формулировались и насаждались представителями партии. Хотя они и отрицали, что партия действует как литературный диктатор, они раскрыли свои карты, сделав следующие заявления: партия предъявляет литературе определенные требования; от писателей ожидается, что они сделают все возможное, чтобы выполнить их; оценивать литературные произведения будет партия; с писателями следует обращаться так же, как с представителями других профессий. Все эти пункты можно найти в речи Гронского, которая содержит показательное различие между «мы» (конечно, партия) и «вы» (писатели). На своеобразном партийном языке Гронский заявил:

«Мы от инженера требуем, чтобы он нам хорошо строил... , чтобы он свою работу показал нам как инженер. Вот и к писателю мы предъявляем такие требования: если ты — писатель, то ты дай нам художественное произведение, а не декларации, не резолюции, не склоку. Этого нам не надо. Мы сами прекрасно умеем болтать, писать резолюции, писать декларации, а вот литературно-художественные произведения не умеем писать — это вы пишете; так вот потрудитесь, товарищи писатели, писать литературно-художественные произведения, и мы будем судить о том, насколько писатель помогает делу революции по тому, какие произведения, какого качества он написал». <sup>47</sup>

---

<sup>44</sup> Горький, цит. произв., стр. 479.

<sup>45</sup> Там же, стр. 473, и рассказ «Варенька Олесова» (1897).

<sup>46</sup> В. Ходасевич, «Горький (Воспоминания)», «Современные записки» (Париж), 1937, № 63, стр. 278.

<sup>47</sup> «Советская литература...», стр. 10.



---

Поскольку в руках партии была и судебная и законодательная власть, вполне понятно, что принципы социалистического реализма выработывались под ее прямым контролем. Таким образом, социалистический реализм возник как комплект постулированных партией требований с целью превращения литературы в действенное оружие для практической реализации марксистской доктрины в соответствии с тем, как она интерпретируется вождями партии в данный момент. Социалистический реализм — скорее свод политических предписаний, чем литературный метод и движение. Насколько беспочвенны заявления, что социалистический реализм возник естественно в самой литературе, можно видеть из того, что партия годами понуждала писателей изображать определенные стороны советской жизни и делать это под определенным идеологическим углом. Так как выполнение указаний партии равнозначно пользованию методом социалистического реализма, то можно справедливо предположить, что число произведений, написанных в духе социалистического реализма, было бы гораздо меньше, если бы партия не оказывала давления на писателей.

Главными причинами введения социалистического реализма были решения XVII партийной конференции (30 января-4 февраля 1932 года) и радикальная организационная реформа от 23 апреля 1932 года. На XVII конференции, впервые в истории, партия установила определенный срок построения социализма. Это означало, что в течение следующих пяти лет каждый аспект советской жизни должен стать социалистическим, что все усилия должны быть направлены на выполнение этой высшей цели. Быстрая «социализация» литературы, как действенного средства пропаганды, была одним из первых логических шагов. Указания относительно должного содержания и задач литературы были с предельной сжатостью выражены в изобретенном партией термине «социалистический реализм». Господствующую роль тут играло прилагательное, которое означало полную мобилизацию литературы не только для достижения непосредственных целей второй пятилетки, но и для служения делу социализма впредь до образования коммунистического общества. Слово «реализм» как по теоретическим, так и по практическим причинам было, несомненно, самым подходящим для соединения со словом «социалистический». С философской точки зрения, реализм все еще считался наиболее верным выражением диалектического материализма в искусстве. Полагали, что и в прошлом и в настоящем реализм раскрыл больше объективной правды о социальных и политических аспектах жизни, чем любое другое литературное течение. Родство между реализмом и правдой выделялось всеми представителями партии, включая Сталина, чтобы поднять престиж нового литературного метода путем отождествления его с правдивым изображением жизни, путем приравнивания партийного толкования

---

---

правды к неподкупной художественной верности, подразумеваемой в понятии реализма. Реализм предпочли другим направлениям еще и потому, что относительная простота стиля делала его наиболее удобным орудием пропаганды среди огромного числа новых и неопытных читателей.

Вторая главная причина возникновения социалистического реализма заключалась в том, что после реформы 1932 года диалектико-материалистический метод необходимо было заменить другим. Партия видела, что дальнейшее развитие этого метода было бесполезной тратой времени не только потому, что трудно было применять общие политические положения к конкретным литературным явлениям, но и потому, что новую литературную организацию нужно было объединить на основе такого творческого метода, который могли бы понимать и применять и коммунисты, и бывшие попутчики. Иными словами, простой приказ, переданный в форме социалистического реализма, должен был привести к большим результатам, чем можно было ожидать от сомнительных теоретических экскурсов в дебри диалектического материализма. Все, что требовалось от писателя, — это клятва верности социалистическому реализму при вступлении в новый и единый Союз советских писателей. Вместе с тем, введение термина «реализм» предполагало конгениальность нового метода искусству, устраняя, таким образом, привкус догматизма и неуместности, которыми отдавало выражение «диалектико-материалистический творческий метод». Политическое давление теперь можно было оказывать внешне более приличным способом.

---

---

В. ЖАБИНСКИЙ

## «ЗАРУБКА НА ВЕКА»

### ЛИТЕРАТУРА О ЛАГЕРЯХ

Литература о терроре в СССР, о тюрьмах и лагерях обширна, на эту тему написаны десятки книг советских граждан — бывших заключенных, бежавших на Запад еще до второй мировой войны и после нее; есть книги бывших заключенных-иностранцев, наконец, появились произведения и советских авторов, вышедшие в СССР или за границей.

Но несмотря на столь богатую литературу вопрос этот, — один из самых трагических вопросов современности, — достаточным вниманием со стороны мирового общественного мнения никогда не пользовался. И это видно уже из того, что многие значительные книги о лагерях — свидетельства бывших заключенных — вышли в свет в Западной Европе и Америке только на русском языке и лишь некоторые из них были переведены на иностранные языки. Даже такая, например, умная и потрясающая книга, как «Путешествие в страну зека» Юлия Марголина, живущего в Израиле, вышедшая на русском языке в Нью-Йорке в 1952 году, не была принята ни одним иностранным издательством (только недавно, через 15 лет после выхода книги, ее решило выпустить одно немецкое издательство, в Западной Германии).

Первой книгой бежавшего на Запад советского заключенного была, насколько мне известно, книга «Двадцать шесть тюрем и побег с Соловков» Ю. Д. Бессонова, она вышла в Париже в 1928 году. В 30-е годы появилась книга Ивана Солоневича «Россия в концлагере», которой повезло: она была переведена на несколько языков. Много произведений на русском языке появилось после второй мировой войны: «Соловецкие острова» (1950 г.) и «Трудные дороги» (1955) Геннадия Андреева, «Завоеватели белых пятен» (1951) Михаила Розанова, «Тигроловы» Ив. Багряного (1951 — на украинском языке), «По тюрьмам и ссылкам» (1953) В. Иванова-Разумника, «Узники коммунизма» (1953) К. Петруся, «Тайга» (1954) С. Максимова, «Незабываемое» (1957) Н. Краснова, два тома воспоминаний Николая Бойко,

---

---

вышедшие в Аргентине (1958) и другие. Несколько книг эмигрантов вышли на иностранных языках: «Бежавшие от ГПУ» Татьяны Чернавиной (Париж 1933), «Советское золото» Вл. Петрова (Нью-Йорк 1949), «Лицо жертвы» Елизаветы Лермоло (Нью-Йорк 1955), «Один из пятнадцати миллионов» Николая Приходько (Бостон 1952) и другие.

После войны, особенно после смерти Сталина, с каторги стали возвращаться иностранцы. Появились книги иностранных авторов: «11 лет в советских лагерях» Элионоры Липпер (1950), «Забытые миром» Густава Герлинга (1951), «Жестокая земля» Иосифа Чапского (1958), «Под двумя диктаторами» Маргариты Бубер-Нойман (1958), «Воспоминания» Джона Нобэл (1955), «Кошмар безвинных» Отто Маркуса Ларсен (1957), «Сады Берия» Унто Парвилати (1960), «Политизолятор» Жан-Поля Сарбе (1961), «Оставь слезы в Москве» Барбары Армонас (1961), «Жертвам красной юстиции» Леонарда Киршена (1963), «Каторга» Бернарда Редера, «Жизнь и смерть в советской России» Эль Кампесино и другие.

После смерти Сталина и XX съезда КПСС, на котором Хрущев выступил со своей знаменитой речью о «культе личности», появилась «лагерная» литература и в Советском Союзе; некоторые произведения о лагерях были переведены и опубликованы за границей.

При наличии такой обширной информации нельзя сказать, что в мире не знали и не знают о чудовищной трагедии миллионов людей. Почему же на Западе практически остаются равнодушны к ней? Причин тому много. Одна из них — нежелание «среднего» человека Запада знать о страданиях, в особенности о таких, как, скажем, смерть от голода и нечеловеческих условий. Читать о том, что такие же люди, как ты, умирают в лагерях, скажем, от дизинтерии и тут же садиться за стол, на котором сливочное масло, сахар, фрукты, соки не считаются даже за еду, — это действительно трудно совместить. Читать о том, как люди должны питаться гнилой рыбой — и выбрасывать каждый день в помойку хлеб, жир, мясо! Лучше уж не знать и не думать.

Так называемая либеральная, или «передовая» западная интеллигенция, задающая тон в мировом общественном мнении, громче всех протестующая против малейших нарушений или ущемлений демократических принципов в западных странах, тоже молчит, как в рот воды набрав, о величайшем преступлении, творимом коммунистической властью. Одни из «либералов» молчат из-за явных или тайных своих симпатий к коммунизму; другие до речи Хрущева не особенно верили в существование «страны зека», а после этой речи стали считать, что теперь с лагерями покончено. Большинство же западных либералов не хочет касаться темы о лагерях, так как если она станет широко известна, значительная часть активности либеральной интеллигенции потеряет свою остроту, а то и свое значение:

---

---

на фоне страданий миллионов советских заключенных несправедливости западной жизни неизбежно потускнели бы. «Все познается сравнением» — сравнение было бы не в пользу многих теоретических построений либеральной западной интеллигенции.

Западная литература дала интересную книгу о сталинском терроре — «Затмение в полдень» Артура Кестлера. Как художественное произведение эта книга заслуживает внимания, но показанное в ней имеет очень мало общего с реальностью. В этом не трудно убедиться по книгам-воспоминаниям бывших заключенных. А. Кестлер дал очень модное в сороковых годах «психологическое» объяснение, почему арестованные большевистские вожди сознавались в несовершенных ими претуплениях: на них, мол, действовало сознание их соучастия в создании террористической системы. Но вот как объясняет методы НКВД, в книге Е. С. Гинзбург, заключенная, испытывавшая эти методы на своем опыте:

«— Это они нарочно меня вот уже три недели не вызывали. Это, чтобы человек осатанел от тюрьмы и начал с отчаяния подписывать всякую галиматью».

Другая заключенная, в той же книге, после долгого пребывания в тюремной камере мечтает:

«— И отправят нас, наверно, в дальние лагеря на тяжелые работы... И это отлично! Ведь это значит: путешествие в новые края, пусть суровые края, но ведь там воздух, ветер, а иногда даже солнце, пусть холодное... Да, попросту говоря, лагерь — это жизнь. Ужасная, чудовищная, но все-таки жизнь, а не этот склеп».

Сама Гинзбург пишет словами Б. Пастернака: «Каторга! Какая благодать!»

Хрущев рассказал и о еще более сильном «средстве», чем только пребывание в тюремной камере, каким следственные органы НКВД добивались признания вины у арестованных. Сталин приказал: «Бить, бить и еще раз бить!» Психология террора всегда примитивна.

## ЛАГЕРНАЯ ТЕМА В СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

При Сталине заключенным или бывшим заключенным вход в литературу был строжайше запрещан. В 30-е годы появилась пьеса Н. Погодина «Аристократы» — о «перековке» уголовников, а во время войны бывший зека попал в герои пьесы Л. Леонова «Нашествие» и одного из рассказов А. Толстого.

После доклада Хрущева на XX съезде тема о заключенных, о терроре, хотя тоже не без труда, пробилась в советскую литературу.

Вначале советским писателям разрешили писать на лагерную тему в плане «по эту сторону» — вне тюрьмы и лагеря: через показ семьи арестованного или заключенного, вернувшегося из лагеря.

---

А. Твардовский в 1956 году опубликовал в альманахе «Литературная Москва» стихотворение о встрече на железнодорожной станции с другом детства, возвращавшимся после многолетнего заключения. Поэт робко, но все-таки пишет о чувстве своей вины перед другом. В символическом рассказе Анны Вальцевой «Квартира № 13» (1955) к бедной, замученной женщине возвращается после семнадцати лет заключения муж:

«Зоя Ивановна сидела рядом с мужем, и меня поразило, что он выглядел моложе ее. Он седой, но лицо у него загорелое, а самое главное — он живой, несломленный. Руки у него грубые, рабочие». Жена говорит: «Мой муж отдыхать не собирается. Нам отдыхать рано. Еще не сделаны все дела».

Таков же и герой романа «Не хлебом единым» В. Дудинцева (1956) — Лопаткин, после его возвращения из лагеря: «На месте его сидел каменно-твердый исполнитель долга, глядящий сквозь пальцы и на смерть и на жизнь». Иным показан бывший зека у В. Каверина в романе «Поиски и надежды»:

«Он был оскорблен болезненно, остро, хотя никто не услышал от него ни жалобы, ни упрека, — я знала, что он оскорблен и что ему мешает жить это чувство».

Писатели по-разному описывали трагедию арестованных, как она была видна с «этой стороны» — с воли. В том же романе «Поиски и надежды»:

«Никто не говорит о нем. Его нет, он вычеркнут из мира действующих, думающих, живущих. Он — никто, человек без имени, личность, которую обходят молчанием». Жена арестованного: «Точно надо мной возник невидимый знак, заставляющий одних обходить меня на почтительном расстоянии, а других — относиться ко мне с необъяснимым предубеждением и даже страхом». Она думает о сыне: «Как я скажу ему, что арестован отец!.. Я вернулась в свою комнату. И не ради себя, нет, ради сына я вдруг потребовала — сама не знаю у кого — у судьбы, у доли, у счастья: — чтобы дверь распахнулась и вошел Андрей (Муж — В. Ю.). Пусть он войдет, если есть на свете справедливость и честь. Пусть он войдет, или дайте мне умереть, потому что я не хочу жить, обманываясь и теряясь и трепеща от страха, что может победить подлость — подлость и ложь».

В рассказе С. Антонова «Анкета» (1956):

«Вспомнился случай с женщиной, которую долго не принимали на работу, потому что муж ее... был арестован. Женщина написала о своих мытарствах куда следует и бросилась в реку».

Работники «органов» показывались только в душераздирающих сценах арестов, например, в романе А. Югова «На большой реке» или во время бесед между следователями и членами семей арестованных, как, например, в романе Галины Николаевой «Битва в пути» (1957). Более подробно об арестованных и работниках оператив-

---

ных и следственных органов написал П. Нилин в повести «Жестокость» (1959), но для этого писателю пришлось прибегнуть к «исторической параллели»: повесть эта не о сталинских временах, а из времен гражданской войны.

Писатели с самого начала были обязаны изображать разгул террора как следствие «культы личности» Сталина и произвола отдельных злодеев и шкурников — больших и малых берия, и всегда оговаривать, что партия тут не причем. Поэтесса Ольга Берггольц, чей муж, поэт Борис Корнилов, погиб в застенках НКВД, в 1955 году писала:

«И я всю жизнь свою припоминала,  
и все припоминала жизнь моя —  
в тот год, когда со дна морей, с каналов  
вдруг возвращаться начали друзья.  
Зачем скрывать — их возвращалось мало  
Семнадцать лет — всегда семнадцать лет.  
Но те, кто возвращался, шли сначала,  
чтоб получить свой старый партбилет».

Маргарита Алигер в стихотворении «Правота» (1956) писала о друге, который просидел в лагерях, оклеветанный друзьями, в том числе и ею, семнадцать лет. Потом был реабилитирован. Алигер пишет: «Спасибо тебе, партия, за это!»

Успех в стране первых произведений, робко касавшихся темы террора, был огромным, — таким, что наследники Сталина всполошились и усилили цензуру, почему с 1958 по 1961 год тема лагерей почти исчезла из советской литературы. Но потом, в связи с XXII съездом КПСС, на котором Хрущев для обеления себя лично и партии от преступлений сталинского времени, в разоблачении их решил пойти еще дальше, лагерная тематика снова вышла в первый ряд. Появились произведения, уже полностью посвященные жизни в лагерях, принадлежащие к тому же перу не «вольных» писателей, а бывших заключенных, — например, повесть «Барельеф на скале» А. Алдан-Семенова; появилась и мемуарная литература, воспоминания о лагерном прошлом, — например, «Годы и войны» генерала армии А. В. Горбатова. Писатели стали показывать звериное лицо работников оперативных и следственных органов и ВОХРа, методы их работы, — мы видим их в романах «Тишина» и «Двое» Ю. Бондарева или в потрясающей повести о войне Василия Быкова «Мертвым не больно».

Вершиной этого периода стала повесть бывшего заключенного Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича», появившаяся благодаря стараниям редактора «Нового мира» А. Твардов-

---

---

ского и самого Хрущева, который дважды возбуждал вопрос о напечатании повести в Президиуме ЦК КПСС.

Повесть А. Солженицына буквально потрясла читателей. «Лагерная» литература обернулась обвинительным актом не только против Сталина и его «органов», но против самого режима партийной диктатуры.

Тогда партруководство попыталось «оседлать» лагерную тему, поставить ее себе на службу. Писателей обязали сделать героем произведений о лагерях некоего «хорошего» коммуниста, который, несмотря на арест, гибель семьи, издевательства, пытки и годы ужасной жизни в заключении, остается преданным коммунистическому режиму, верным членом компартии.

О несостоятельности такого изображения я буду писать дальше, а пока хочу заметить вот что: опыт тысяч и тысяч заключенных, как и мой собственный лагерный опыт, неизбежно приводит к тому выводу, что труднее всего приходилось в лагерях людям, принадлежавшим на воле к какой-либо массовой организации — к партии, армии или даже к церкви (речь идет не обязательно о религиозных людях). Попадая в лагерные джунгли, где надежду надо возлагать лишь на свои силы и на помощь отдельных людей, но никак не организаций, такие люди часто терялись и гибли.

Действительным героем лагерей был великий индивидуалист — крестьянин. Дальше шел бандит, затем некоторые интеллигенты, специалисты, если они обладали цепкой хваткой или крепким кулаком.

Это целиком подтверждается изображением лагерников А. Солженицыным в «Одном дне Ивана Денисовича» — Шухова, Буйновского, Фетюкова, Цезаря, бригадира Тюрина. И прав был А. Твардовский, когда, в предисловии к этой повести, писал о «необычной живости, верности и правде человеческих характеров» в ней.

В отношении же попыток преподнести читателю, в качестве зека, «хорошего», «верного» коммуниста, то типичными тут надо считать воспоминания генерала Горбатова, который постарался доказать, что именно он и был таким коммунистом в лагерях. Он так и написал:

«Цель моего рассказа — поведать молодому поколению о людях, не потерявших даже в этих условиях веру в справедливость, в нашу великую ленинскую партию и родную советскую власть».

Но если внимательно вчитаться в генеральские воспоминания, то не трудно заметить, что в лагерных условиях в действительности таких «не потерявших веры» не было и не могло быть.

Другая неправда большинства произведений советских писателей о терроре и лагерях — это попытка показать, что главной жертвой террора были члены партии. В этих произведениях практически ничего не говорится о страшной коллективизации, о терроре, направленном против старой технической интеллигенции (Шахтинское де-



---

---

ло, Промпартия и другие) и других слоев населения, ни о чистке после убийства Кирова, ни о поголовной высылке народностей Северного Кавказа, немцев Поволжья, крымских татар, ни о послевоенной «чистке героев» и чистках территорий, которые были заняты во время войны гитлеровцами, ни о расправах с репатриированными и вернувшимися из плена, ни о чистках, связанных с ждановщиной и жертв других «кампаний».

Произведения о терроре, даже написанные в дозволенных рамках, всколыхнули народную память. На молодежь они произвели ужасное впечатление. Prestижу партийной власти был нанесен глубокий удар. Новое партруководство во главе с Брежневым явно решило совсем прикрыть лагерную тему в литературе. Один из видных партийных идеологов, вице-президент Академии наук СССР Федосеев, не так давно заявил:

«На вопрос о том, почему Горлит стал вычеркивать термин 'культ личности', могу сказать, что в связи с тем, что под предлогом критики культа личности стали пачкать наш строй, нашу историю. С культом личности давно покончено и незачем к нему возвращаться».

Многие приготовленные к печати рукописи бывших заключенных, несмотря на прославление в них партии и наличие героических, «хороших» коммунистов, так и не увидели света. Но некоторым из этих рукописей повезло, они различными путями попали за границу и были там напечатаны: «Крутой маршрут» Е. С. Гинзбург и «Смерч» Галины Серебряковой.

Сравнивая книги бывших заключенных-эмигрантов и иностранцев с советской «лагерной литературой», не трудно заметить: первые выгодно отличаются тем, что в них рассказывается обо всех репрессированных во все периоды партийной власти, обо всех жертвах партийного террора, тогда как советские авторы могли писать в основном о чистке 1937 года и главным образом о репрессированных членах партии, при этом выдумывая не существовавшего в жизни лагерного героя — «хорошего» коммуниста. В книгах эмигрантов и иностранцев верно определен и виновник террора — партийный режим, система; у советских авторов в качестве виновника подразумевается лишь Сталин, Берия и их большие и малые подручные.

### **«КРУТОЙ МАРШРУТ»**

По правдивости описания тюремной и лагерной жизни, судеб арестованных, зверств работников следственных органов, тюремной и лагерной администрации и охраны ближе всех к книгам-свидетельствам эмигрантов и иностранцев стоит книга воспоминаний реабилитированной Е. С. Гинзбург «Крутой маршрут». опубликованная впервые в Италии в январе 1967 года.

---

---

Написана она была с расчетом публикации в СССР: рядом с правдой в книге видны явные «партустановки». Появлению таких книг бывших заключенных помог Н. Хрущев: роль сыграло его желание оправдаться в глазах партии и населения СССР за соучастие в терро-ре сталинского периода. Кто-то, но советские писатели, да еще те из них, кто прошел школу лагерей, научились «понимать момент», который к тому же давал возможность рассказать если не всю, то хотя бы часть правды о лагерях. В книге Е. С. Гинзбург дана даже прямая «творческая взятка» Хрущеву и другим партийным руководителям из числа соратников Сталина. Автор рассказывает о Тане Станковской, дочери потомственного донбассовского шахтера, вступившей в партию в 1922 году. Поручителем Станковской был знатный шахтер Иван Лукич. Когда Станковскую, уже инструктора обкома партии, арестовали, Иван Лукич — тогда секретарь райкома — подписал заявление рабочих шахты в ее защиту: «Как в 22-ом ручался, так и теперь ручаюсь». Всех подписавших заявление арестовали. Незадолго до своей смерти Станковская у автора говорит об Иване Лукиче:

«Напрасно он это сделал. Нерационально . . . Верю я, что таких Иванов Лукичей много в нашей партии есть из тех, кто остался на воле. Но сделать они пока ничего не могут . . . Если они сейчас выступят против Сталина, то от этого кроме еще нескольких тысяч покойников, ничего не будет, а вред большой. Ведь настанет время, когда они смогут поднять свой голос. И надо, чтобы они сохранились до тех времен».

Это оправдание Хрущева.

Но Хрущева сняли, новым вождям — Брежневу, Косыгину и более молодым — оправдываться за сталинские чистки не требовалось, и книга Гинзбург в СССР выйти не успела. Несмотря на всю ее «партийность», жуткие подробности тюремной и лагерной жизни неизбежно ужаснули бы советских граждан, особенно молодежь: в «хорошего» коммуниста в роли «лагерного героя» никто не поверил бы — советские граждане хорошо разбираются, где правда, а что от лукавого из Управления пропаганды ЦК, да и миллионы бывших зека живут в стране. И еще одна причина: «Крутой маршрут», как, отчасти, и «Смерч» Г. Серебряковой, мог произвести в СССР даже более сильное впечатление, чем высокохудожественная повесть Солженицына «Один день Ивана Денисовича», — потому что в них рассказывается о нечеловеческих страданиях женщины, об издевательствах режима над матерью, женой, бабушкой.

«Партийные» достоинства книги однако побудили определенные партийные органы переслать рукопись за границу: на иностранцев описания ужасов террора мало подействуют, большинство примет их за литературные «усиления», — а в «хорошего» коммуниста в роли лагерного героя неопытные иностранцы могут поверить, особенно иностранные коммунисты. Для последних в «Крутом маршруте» да-

---

---

на целая психологическая программа, учитывая сложившиеся ныне отношения между руководством КПСС и зарубежными компартиями. Есть в книге и прямой упрек по адресу иностранных компартий: уж очень вы, дескать, обидчивы! Нашим, советским коммунистам, хуже приходилось, а они из партии не выходили, не протестовали, веры в партию не теряли, ради партии все терпели. Надзиратель политизолятора прямо говорит Е. С. Гинзбург, посаженной в карцер:

«— Кишка у них больно тонка, у зарубежных этих! Вовсе никакого терпения нет. Ведь только-только посадили, а как разоряется. Наши-то, русские, — небось, все молчком».

Предположение о том, что рукопись «Крутого маршрута» попала за границу с ведома партийных органов, подтверждается фактом, что автор ее не подвергался никакой критике, никакому преследованию, как это имело место с другими советскими писателями, чьи произведения были напечатаны за границей без разрешения властей; наоборот, Е. С. Гинзбург продолжает печататься в «Литературной газете», в «Юности».

После выхода «Крутого маршрута» в Рим приезжал редактор «Нового мира» А. Твардовский, он говорил, что рукопись книги Гинзбург была в «Новом мире», но редколлегия журнала решила, мол, не печатать ее «из-за невысоких художественных качеств». Это вряд ли верно: в мемуарном плане книга написана на хорошем уровне, куда лучше, чем воспоминания генерала Горбатова «Годы и войны», которые «Новый мир» напечатал. Твардовский, конечно, не мог сказать, что ему запретили печатать «Крутой маршрут», как запретили недавно печатать «Раковый корпус» Солженицына.

После появления «Крутого маршрута» прошло больше года, — за это время руководство КПСС явно взяло курс на восстановление престижа и усиление роли своих органов насилия, на забвение преступлений периода «культы личности». Думаю, что сегодня рукопись книги Гинзбург не была бы переслана за границу, а если бы попала туда, то пришлось бы автору выступить в печати с протестами против ее опубличования, как сделала это Галина Серебрякова.

«Крутой маршрут» — явно не вся книга воспоминаний Е. С. Гинзбург: на первых 400 страницах рассказывается об аресте, следствии, заключении в политизоляторе и этапе, и только на последних 75 страницах — о начале жизни в лагерях, тогда как в лагерях автор прожила больше 18 лет! Такая пропорция позволила Гинзбург более убедительно утверждать, что заключенные продолжали чувствовать себя членами партии: в следственных тюрьмах и в политизоляторе она была среди таких же, как сама, членов партии. В тюремных камерах у представителей советской элиты продолжала действовать их «партийность». Психологически это оправдано. Но сов-

---

---

сем другое дело, когда Гинзбург, в предисловии к книге, написанном после многолетнего лагерного опыта, пишет:

«В нашей партии, в нашей стране снова царит великая ленинская правда. Уже сегодня можно рассказать людям о том, что было, чего больше никогда не будет. И вот они — воспоминания рядовой коммунистки. Хроника времени культа личности».

Но уже сам факт, что эта «хроника культа личности» не была напечатана в СССР, неопровержимо показывает заблуждение автора, что в СССР «можно рассказать людям о том, что было, чего больше никогда не будет».

Рассмотрим несколько подробнее книгу «Крутой маршрут», более документальную, чем «автобиографический роман» Галины Себряковой.

Евгения Семеновна Гинзбург — журналистка, литератор, преподавательница Казанского университета, была женой члена бюро Татарского обкома партии и члена ЦИК СССР Павла Аксенова. Была она тогда — по ее словам — «неподкупная, гордая, чистая». И, видимо, привлекательная внешне. Через несколько месяцев после ее ареста, в феврале 1937 года, за «связь» с оппозиционерами, следователь НКВД издевался над ней: «Ха-ха-ха! Что стало из бывшей университетской красотки... Не узнал бы Аксенов свою кралию». Вскоре после ареста Е. Гинзбург арестовали и ее мужа. Остались дети: подросток-дочь Аксенова от другого брака и двое сыновей; старший Алеша умер, а младший Василий Аксенов — известный теперь писатель.

О своей верности партии автор пишет:

«Если бы мне приказали... умереть за партию не один раз, а трижды, я сделала бы это без малейших колебаний. Ни тени сомнений в правильности партийной линии у меня не было». Когда свекровь предлагала ей уехать в глубокую провинцию, автор отвечала: «Что ты, бабушка! Разве коммунист может бежать от партии» Она пишет: «Ведь я так горячо и искренне поддерживала и индустриализацию страны, и коллективизацию... А это и было ведь основой партии...» «И даже сегодня, после всего, что уже было с нами, разве мы проголосовали бы за какой-нибудь другой строй, кроме советского, с которым мы срослись, как с собственным сердцем, который для нас так же естественен, как дыхание».

О терроре автор в тюрьме думает: «Я, как коммунистка, несу ответственность». А несколько позже: «И когда только я перестану стыдиться и чувствовать себя ответственной за все это?»

Но тут же она признается в своей прежней наивности: когда знакомый предупреждал ее о возможном аресте за знакомство с оппозиционерами и о том, что она «не понимает момента», она думала: «Что за чушь! Но он правильно увидел за моими словами не трусость, не лицемерие, а беспробудную политическую наивность». Она признается в своем «недомыслии», в «навыках, привитых догматическим воспитанием».

---

Немало у автора встречается и невольных «антипартийных» признаний: «Только Сталина не могла боготворить»; «Я без всякого обожания рассматривала тогда его лицо, поразившее меня своей некрасивостью и несходством с тем царственным ликом, который благосклонно взирал на нас с миллионов портретов. Даже больше, чем 'обожания'. Правильнее будет сказать, — с затаенной враждебностью». Встречаются и общие «не-согласные» замечания: «Я столкнулась с тем нарушением логики и здравого смысла, которому я не уставала удивляться в течение всех последующих двадцати с лишним лет, до самого 20-го съезда партии».

Еще резче высказывания автора против органов насилия партийной диктатуры и их работников: «Нечеловеки», «система травли, инквизиции, палачества», «Все они были садистами», «они не люди, те, кто все это делает», «орудия пыток безусловно вывезены из гитлеровской Германии», и т. п.

Все высказывания автора для времени, к которому они относятся, плохо вяжутся с понятием о преданном партии коммунисте, — в этом и заключалась «вина» автора. Но это перестало быть «виной» во времена Хрущева, а после Хрущева все больше и больше снова становится признаком «непартийности». В альманахе «Сибирские огни» № 4 за 1965 год (после падения Хрущева) появилась статья С. Щеглова, в ней говорится о романе Дм. Петрова (Бирюка), часть которого — о тюрьме во время «ежовщины». Щеглов пишет:

«Марксистская наука о путях развития общества, как известно, утверждает, что любое крупное явление общественной жизни не может диктоваться волей героя или деспота, а вырастает из неизбежных социально-экономических предпосылок. Однако они-то как раз и не исследуются такими писателями, а лишь рисуются портреты садистов в форме ГПУ и возводятся на пьедестал этикие сусальные страстотерпцы, пишутся новые варианты житий святых. Этих невинных мучеников ни с того, ни с сего хватают, бросают в тюрьму и требуют «раскалываться». Требуют «писать на себя». А им писать нечего, все они чисты как стеклышко, и мысли их полны веры в то, что зло будет наказано, и истина восторжествует. Работников НКВД они в глаза обзывают фашистами, словом, ведут себя так, как будто они только пришли с 22-го съезда партии!

Нет, не так все это было. В тысячу раз сложнее. Главное в том, что невинных арестов — с точки зрения того времени — не было. Арестовывали людей, так или иначе борющихся с существовавшими тогда политическими нормами и «порядками» . . .

Каждому, кого арестовывали, предъявлялось более или менее серьезное обвинение. И оно не просто «высасывалось из пальца», а на чем-то было основано. К примеру, на высказывании мыслей, не совпадавших с установленным официальным курсом, а то и на более активном противодействии ему».

---

Все это не в бровь, а в глаз и Гинзбург, автору «Крутого маршрута». Ее двойственность в роли «хорошего» коммуниста проходит через всю книгу. Сильно заметна она и в окружавших автора в тюрьмах и лагерях других заключенных коммунистах.

Кто были эти люди? «Преобладали ортодоксальные коммунисты, работники партийных аппаратов, партийная интеллигенция, не состоявшая в оппозиции», «Все партийные и с высшим образованием...» Софья Межлаук — жена заместителя Молотова, директор Казанского университета Векслин — герой Перекопа, Софья Лотте — историк, Таня Станковская — член горкома и инструктор обкома партии, Лина Холодова — пулеметчица Щорса, известная парашютистка Клава Шахт, преподавательницы марксизма в вузах Женя Качуринери, Лена Кручинина, Феня Ольшевская — член партии с 17-го года, сестра жены Берута, знатная председательница колхоза Гаджихог Шадиева, родственница Любченко, Галина Серебрякова, Угланова, Мина Мальская — «огромный партийный стаж», секретари райкомов, горкомов, обкомов... Иностранки — члены компартий Италии, Германии, Китая... Автор пишет: «Всех-то нас история запишет под общей рубрикой 'и др.' Ну, скажем, 'Бухарин, Рыков и др.»

С самого начала бросается в глаза их принадлежность к «новому классу» — кастовость, отчужденность от остальных людей.

«Каждая старалась услужить другой, поделиться последним куском... Не у чужой берешь. Ну, конечно, не у чужой»... «За этими дверями люди. Коммунисты, товарищи мои»... «Огромный мужской этап... В основном коммунисты. НАШИ мужчины». Если в камеру или в этапный вагон попадался человек не их круга, это сдерживало даже обычные ссоры: «Замолчи!.. Не теряй лица! Здесь есть беспартийные...» Одна заключенная рассказывает о себе: «Я никогда не была беспартийной... Тш-ш-ш-ш, Женя..., чтобы не слышали беспартийные. Не ругай следователя. Нина может услышать, беспартийная работница». Заключенный Саша — секретарь пригородного райкома, «даже сидя на нарах рядом с двумя беспартийными инженерами и выливая по очереди с ними парашу, не мог отделаться от покровительственного тона в отношении этих людей». Однажды автор вернулась с допроса в камеру, где находилась простая, религиозная женщина: «Я упала на руки этой чужой женщины из неизвестного мне мира и разрыдалась».

Но ведут себя коммунисты-зека по-разному:

«Немало людей, странно сочетавших здоровую оценку происходящего в стране с чисто религиозным культом Сталина». «Двадцать с упорством маньяков твердят, что Сталин ничего не знает о творящихся беззакониях». «Здесь-то, в седьмом кругу Дантова ада, кем надо быть, чтобы продолжать молиться на отца, вождя, творца? Или идиотом круглым, или ханжой, притворой». «Сколько я видела заключенных, ведущих в повышенном тоне ультрапатриотические разговоры в наивном расчете на то, что надзиратель услышит и доложит где надо». Тут же кто-то раз-

---

глагольствует «об обострении классовых противоречий по мере продвижения к социализму, об объективном и субъективном пособничестве врагу», другие высмеивают эту сталинскую теорию, оправдывающую расправы, но кто-то тут же кричит: «Когда слушаешь вашу антисоветчину, просто не верится, что вы в партаппарате работали». Ортодоксальная сталинка Юлия Анненкова — бывший редактор немецкого журнала, издаваемого в Москве, защищает безжалостного надзирателя: «Вы не смейте издеваться над ним. Он здесь представляет советскую власть. Он исполняет свои обязанности». Другие ругали НКВД: «Ведь вот слетел же Ежов! И на других вредителей придет срок». Были и общие черты: «Организованные протесты случались не часто среди привычных к дисциплине заключенных — бывших коммунистов».

Так было в тюрьме, но когда настал черед лагеря:

«У некоторых даже появилась уже страшная нищенская привычка выставлять свои трофические язвы и лохмотья напоказ». «Партийность» исчезает: «Это были как бы деревянные куклы-марионетки, без привязанностей, без душевной жизни, а главное, без памяти». Более цепкие лезут в «лагерные придурки»: «Аня Понизовская, став членом медицинской комиссии, сразу перестала горбиться, а в голосе ее зазвенели металлические нотки», «Тамара до ареста была очень хорошей девочкой, активной комсомолкой, правдивой и доброжелательной к людям», — в лагере, несмотря на 58 статью, она сделала карьеру и стала «начальницей колонны» — «возник друтой человек, и этот человек был страшен». Но друтой ли? Ведь «когда Евгению Подольскую вызвали впервые в НКВД, она не испугалась. Так и подумала, что ей, старой коммунистке, хотят дать какое-нибудь серьезное поручение», — а «поручение» заключалось в оговоре товарищей-коммунистов, что она и сделала, тем самым послав всех, в том числе и себя, на смерть!

Автор подчеркивает метаморфозу коммуниста в лагере: в тюрьме —

«Наши сердца еще не были тронуты разъедающим волчьим законом лагерей, который в последующие годы — что скрывать! — разложил не одну человеческую душу». «Много духовно мертвых людей я встречала на своем лагерном пути. В тюрьме таких не было».

Рядом с коммунистами в воспоминаниях Гинзбург встречаются «чужие» им, непартийные, простые люди. Кто они? Какие они?

После ареста автора и ее мужа знакомые боялись пустить к себе ее старых родителей переночевать: «Только прачка Клавдия оказалась добрее всех».

Гинзбург перед арестом собирается в Москву — «бороться», а старушка-свекровь говорит ей:

«Эх, Евгения, голубчик! Ума в тебе палата, а глупости — Саратовская степь!»

---

---

Мой муж покровительственно усмехнулся, когда я рассказала про бабушкино предложение (переждать в глуши, В. Ж.). Еще бы! ведь мы владели истиной в ее конечной форме, а она была всего-навсего 'баба рызанская'... Да, бабушка была права».

В других тюремных камерах —

«Много совсем простых женщин: работниц, колхозниц, мелких служащих. Это по большей части 'болтуны', т. е. обладатели 10-го пункта 58-й статьи. Антисоветские анекдоты. Почти все получили по пять-восемь лет лагерей». «Аня была первым встретившимся мне представителем мощного племени 'анекдотистов', выгодно отличавшихся своей беспартийностью от нас... Оказалась милейшим человеком, легким, уступчивым». В другой камере автору встретилась Ляма: «Она была простой машинисткой... Я старалась утешить себя мыслями о Ляме, о ее настоящем бесстрашии, великодушии, размахе». Нина — работница фабрики «Спартак» — в камере среди партийных, спорящих о Сталине, НКВД, «обострении классовых противоречий», тревожится за любимого парня: «Пусть уж лучше он на Лельке женится! Только был бы цел. Пусть уж лучше одна Нинка пропадает, так уж ей на роду написано».

Солдат охраны утешает в «черном вороне» бьющуюся в истерике после вынесения приговора Гинзбург:

«Эй, девка! Что разошлась-то, а? Так реветь станешь, личность у тебя распухнет, отекает... Парни-то и глядеть не станут!..

Я физически ощущаю его доброту, его немудрящее, но такое человеческое сердце. Я рыдаю еще громче, еще отчаянее.

— Я не девка вовсе. Я — мать. Дети у меня. Ты пойми, товарищ, ведь я ничего, ну, ровно ничего плохого не сделала... А они... Ты веришь мне?

— А как же? Да ты не реви, ну! Я, слышь, дверку-то оставлю открыту. Дыши, давай!.. Дыши, дыши сколь хоть... Знамо дело, не виновата. Ни в жисть десять лет не просидишь. Год-два от силы, а там какое ни на есть изобретение сделаешь. И отпустят. Домой, стало быть, к ребятушкам...»

Хотела или нет автор, но носителем извечного добра, человечности в ее воспоминаниях вышла не партия, не «хороший», преданный партии коммунист, а простой русский человек.

Когда поезд с этапом заключенных останавливается на маленькой железнодорожной станции, какие-то бабы заглядывают в щель вагона:

«— А, батюшки! Никак арестантский.

— Да-к надо милостьнюку им.

— Яйца-то, яйца давай сюда!

— Пить, вишь, просят... Молока неси, Манька!

Обветренные, заскорузлые руки стали просовываться в щель вагона с солеными огурцами, с кусками хлеба, ватрушками, с яйцами. Из-под



---

спущенных до бровей платков смотрели вековечные крестьянские бабы глаза. Жалостливые. Налитые благородными слезами . . .

— Дома-то, поди, ребяташки остались. Ребят-то сколько осиротили . . .»

И в лагере, куда привезли полумертвых этапников, нашелся добрый простой человек — заключенная Мария Сергеевна:

«Как вьюн, скользила она по бараку, каждого оделяла своим опытом, своим трудом, своим требовательным и доброжелательным материнским словом . . . И как-то сама она вроде и не заключенная (хоть статью имеет — антисоветская агитация), настолько хозяйственные у нее взгляды и движения, каждое из которых направлено на то, чтобы кому-то сделать легче, переносимее».

Что же спасло Е. С. Гинзбург? Что помогло ей выйти живой из лагеря, пережить 18-летнее заключение?

Прежде всего то, что она была женщиной здоровой и привлекательной:

«И желудок, и сердце, и все другие органы работают у меня отлично», «Я так и не научилась курить в тюрьме», «Поверила голосу своего измученного, но в основе своей неистребимо здорового и молодого тела». А в лагере: «Бабы в Магадане — товар дефицитный». «Проблема женщин стояла очень остро для хорошо упитанных, сытых и наглых 'придурков'».

У автора по прибытии в лагерь появляются самоотверженные защитники: освободившийся латыш Рудольф Крумныш («Милый Рудольф! . . . Я даже с нетерпением ждала развода»), который защищал ее, помогал ей едой, деньгами; потом немец-католик спасал ее от «ухаживаний» завстоловой Ахмета; на этапном пароходе ее спасает доктор Кривицкий, в тайге от смерти на лесоповале доктор Петухов . . .

Помогло выжить автору и то, о чем она пишет: «Ведь 'я и сам теперь не тот, что прежде: неподкупный, гордый, чистый, злой'». Она научилась — иначе было невозможно — давать взятки лагерной службе, лгать, выкручиваться: прошла всю науку лагерного приспособления.

Но в самые страшные минуты, когда подходила смерть или безумие, кого и что она звала на помощь? По установке Управления агитации и пропаганды ЦК лагерный герой-коммунист должен черпать силы в верности партии, в вере в конечную победу коммунизма. Но это — по установке. В действительности Гинзбург, прощаясь в первый раз с жизнью думала:

«Была девочка, Женя, Женечка. И мама заплетала ей коски. Была девушка. Влюблялась. Искала смысла в жизни. И были расцветные годы — двадцать семь-двадцать восемь. И были Алеша и Вася. Сыновья».

О партии тут и мысли нет.

---

---

В политизоляторе заключенным выдавали книги из библиотеки. Что читала автор? Маркса, Энгельса, Ленина? Нет, только Л. Толстого, Блока, Стендала и Бальзака. Некрасова и Сельвинского, ранние стихи Маяковского: «вновь открыла для себя Достоевского, Тютчева, Пастернака . . . Читала Пушкина, «Горе от ума», «Русских женщин» — «стихи объединяют всех», — вспоминает она.

И сама писала стихи. О том, что — «никогда, никогда коммунисты не будут рабами»? Нет — о Блоке, о Гаэтане, о тюрьме и воле.

Однажды в камере к ней подошла девушка, почти девочка и спросила:

«Вы — член партии, товарищ? Ответьте — мне это очень важно . . . Да? Ну, вот, а я комсомолка. Мне 18 лет. Я не знаю, как себя вести. Посоветуйте».

Что же советует Е. С. Гинзбург?

«Знаете что, Катя . . . Поскольку мы голые сейчас, и в буквальном, и в переносном смысле слова, то, я думаю, лучше всего будет руководствоваться в поступках тем подсознательным, что условно называется совестью».

И еще — как это ни неожиданно — Бог! Когда автор в трюме парохода на шестой день этапа, смертельно больная дизентерией, с температурой в 40°, падает, теряя сознание, она в предсмертной муке говорит:

«Господи, ну подожди до Магадана! Пожалуйста, Господи, молю Тебя . . . Я хочу лежать в земле, а не в воде. Я человек. А Ты ведь Сам сказал: 'Из земли взят и в землю . . .'».

И, как вывод из всех нечеловеческих страданий, выпавших ей на долю, Е. С. Гинзбург пишет:

«Каждый раз — все тот же леденящий ужас и судорожные поиски выхода . . . И каждый раз возникало какое-то спасительное стечение обстоятельств, на первый взгляд абсолютно случайное, а по сути — закономерное проявление того Великого Добра, которое, несмотря ни на что, правит миром».

## СМЫСЛ ТЕРРОРА

Были ли виновны жертвы сталинского террора? Как я уже упоминал, партийный критик С. Щеглов считает:

«Главное в том, что невинных арестов — с точки зрения того времени — не было. Арестовывали людей, так или иначе борющихся с существовавшими тогда политическими нормами и 'порядками'».

К этой партийной диалектике напомним о нечеловеческих, драконовских наказаниях за такую вину, которая в действительности

---

---

выражалась не в «борьбе с существовавшими тогда политическими нормами», а в самом обыкновённом — не активном, чаще поверхностном — несогласии с некоторыми из них.

В свете общечеловеческой морали и исторически сложившегося права, это не могло быть виной. С точки зрения меняющихся «партийных норм», это было то виной, то переставало быть виной — осуждённых освобождали и реабилитировали, часть посмертно, — потом, в связи с очередным изменением «норм», снова могло стать виной. Этим и объясняются периодические аресты людей, отбывших когда-то сроки наказания: «Давно кончился срок, а человек все время чувствует себя свободным только 'до поры до времени'». («Год жизни» А. Чаковского, 1956). Категория виновности в партийном государстве определяется не законом, а текущими интересами партийной власти.

Каков же смысл партийного террора? В воспоминаниях Е. С. Гинзбург есть такое место: автор глядит в щель этапного вагона на бедных колхозниц и думает:

«Господи, сотвори чудо! Пусть я вдруг стану последней, самой бедной и невзрачной из этих баб, сидящих на корточках вдоль платформы со своими ведерками и горшками в ожидании пассажирского. Я никогда не пожаловалась бы на судьбу, никогда, до самой смерти».

В этом и есть смысл партийного террора: довести людей до состояния полного подчинения и согласия жить в самых примитивных условиях, до отказа от обычных человеческих желаний и потребностей, которые могут мешать партийному политическому курсу, — только была бы оставлена возможность как-то существовать. Для такого «расчеловечивания человека», низведения его на самый низкий уровень, и была создана ужасающая система террора, нанесшая народу, его психике, как писал А. Твардовский в поэме «Теркин на том свете» — «зарубку на века».

В последнее время «партийные нормы» снова меняются, опять становятся более жесткими: усиливается роль карательных органов, идут разговоры о «необходимости законодательного ужесточения». Процессы над А. Синявским, Ю. Даниэлем, В. Буковским, В. Галансковым и А. Гинзбургом и другими в Москве, Ленинграде, Киеве, Львове — тому доказательство. В лагерях усиливается режим. Применяется и новая форма террора: заключение в психиатрическую больницу. Перед празднованием 50-летия Октябрьской революции, 5 октября 1967 года, в Ленинграде, в Доме печати, главный редактор центрального органа ЦК КПСС газеты «Правда» М. В. Зимянин выступил против писателя А. Солженицына:

«Это психически ненормальный человек, шизофреник . . . Лагерная тема — единственная в его творчестве, и он не может выйти за ее пределы. Она, эта тема, его навязчивая идея».

---

---

Это в то время, когда даже лучшие писатели считают Солженицына крупным писателем, «на редкость талантливым, растущей надеждой нашей реалистической литературы, наследником гуманистических традиций Гоголя, Льва Толстого, А. М. Горького» (П. Антокольский). Кроме того, общеизвестны высокохудожественные произведения А. Солженицына не на лагерную тему: «Матренин двор», «Случай на станции Кречетовка», «Иван Калита».

Среди нынешнего партруководства усиливается мнение о вреде хрущевского курса против террора периода «культы личности», который, мол, «распустил» народ, нарушил так называемую общественную дисциплину, столь удобную для управления чудовищно централизованным государством.

С другой стороны, среди ученых, писателей, педагогов, психологов, социологов, медиков, даже среди правящей партийной верхушки крепнет понимание катастрофического вреда для общества и государства, который принес террор: в стране угрожающе растут самых различных форм фобии, преступность, особенно среди молодежи, хулиганство, пьянство, во всех слоях общества наблюдается падение нравов, рост жестокости, эгоизма, лицемерия. Крепнет сознание, что страх и жестокость разлагают человека и общество. А. Шаров писал в «Новом мире»:

«Поколение, которое на себе испытало преступления прошлого, постепенно уходит из жизни. Но время это оставило след не только на тех, кто был репрессирован, но и на детях их и на внуках... Созерцая палачество и воспитываясь на нем, человек сам может стать палачем».

Стали вспоминать и такое высказывание К. Маркса:

«История и такая наука, как статистика, с исчерпывающей очевидностью доказывают, что со времени Каина мир никогда не удавалось ни исправить, ни утратить наказанием. Как раз наоборот!»

Советское общество стало иным, чем было во времена Сталина: появилась многомиллионная интеллигенция, новый мощный рабочий класс, выросла гигантская промышленность, необыкновенно развилась наука, установились связи с внешним миром, страна превратилась в могучую державу, для здорового развития которой террор стал противоестественным. Выросло новое поколение молодых образованных, не знающих сталинщины людей. Выкристаллизовалась молодежь, открыто несогласная со многими сторонами советской действительности, открыто требующая свободы мысли, мнений, отмены партийной цензуры над художественным творчеством и, главное, законности. Эта молодежь отдает себе ясный отчет в том, что — «где кончается закон, там начинается тирания», как сказал Уильям Питт еще в 1770 году. Усиливающиеся репрессии против этой молодежи неожиданно для власти вызвали повсеместно откры-

---

---

тые протесты, при этом люди часто не боятся обращаться за помощью к мировому общественному мнению.

Возникло еще одно явление, которое можно назвать «мужеством старости»: выступления Б. Пастернака, И. Эренбурга, К. Паустовского, К. Чуковского и многих других старых писателей, деятелей культуры, ученых. Смысл этого явления — в освобождении от страха человека в старости: десятилетия боялся, был пригнут к земле, — так хотя бы перед лицом близкой смерти разогнуться и сказать то, что надо сказать, чтобы помочь нарождающимся здоровым, добрым силам, чтобы оставить добрую память о себе. Б. Пастернак во время травли его за публикацию романа «Доктор Живаго» за границей сказал одному иностранному журналисту: «Что 'они' могут мне сделать? Убить? Я уже старый человек».

По-видимому, террор имеет свои психологические и исторические пределы. Как говорит герой романа В. Дудинцева «Не хлебом единым» Лопаткин, после возвращения из лагеря: «Кто научился думать — того полностью лишить свободы нельзя».

---

Эта статья была написана, когда из СССР пришел текст выступления в конце 1967 года писателя Г. Свирского, который сказал: «Я остановился на лагерной теме потому, что она преследуется ныне с особой жестокостью». О книге Е. Гинзбург «Крутой маршрут», вышедшей за границей, Г. Свирский говорил так: «Коммунисты западных компартий говорят сейчас много о том, что книга Аксеновой-Гинзбург оказалась самым действенным оружием против книги ренегата Светланы Аллилуевой. Светлана Аллилуева, пытаясь выгородить отца, твердит, что не отец виноват, а система. Советская коммунистическая система... Образ большевички Аксеновой-Гинзбург, которая даже в лагере, как пишет газета «Унита», 'сохранила веру в силу ленинской правды...' Английская коммунистическая газета «Морнинг стар» посвящает ей статью... В статье прямо сказано: 'Эту книгу должен прочесть каждый коммунист'».

Все это подтверждает мысли моей статьи.

---

---

Н. ОТРАДИН

## ЗАТЯНУВШЕЕСЯ ИСПЫТАНИЕ

### ПОСЛЕЮБИЛЕЙНЫЕ ЗАМЕТКИ

Прошло уже пятнадцать лет, как умер Сталин, — за этот срок коммунистическое движение претерпело немалые изменения, породившие о нем самые противоречивые мнения. Так, одни говорят, что движение это, потрясаемое разногласиями и расколами, стало теперь значительно слабее, чем при Сталине, когда оно было единым и казалось монолитным. Другие в то же время утверждают, что несмотря на расколы и разброд, мощи своей оно не утратило и попрежнему представляет собой смертельную угрозу для всех народов. И оба эти мнения, исключаящие друг друга, могут подкрепляться вескими данными, так что получается вроде загадки: какое же из них более основательно?

Правда, двойственность в оценке коммунистических сил и возможностей была правомерна всегда, с первых дней захвата ленинской партией власти в России, когда коммунизм обрел под ногами более или менее твердую почву. И его «победное шествие» давно могло прекратиться, условия для этого возникали не раз. Но маловерие и сомнение в «грядущем торжестве» при Сталине были немыслимы: они считались тяжким преступлением. Теперь же дух сомнения явно витает над грешной коммунистической землей, сея неуверенность и расшатывая идеологические и организационные подпорки.

В прошлом году состоялось празднование 50-летия именно обретения под ногами тверди. Долго готовившееся «юбилейное мероприятие» должно было воздействовать на зрителей уже своей яркостью и грандиозностью. Но ни того, ни другого не получилось: было показано довольно заурядное трафаретное представление, в порядке выполнения необходимого, но наскучившего и выхолощенного ритуала. Да и верхам партии было не до того: их усилия до-

---

---

биться осуждения китайских коммунистов-маоистов и в прошлом году к успеху не привели, от румын тоже не удалось добиться даже только большей сговорчивости. И единство компартий, хотя бы лишь внешнее, формальное, остается не восстановленным, — а без него коммунистическое движение, стремящееся объединить под собой все народы, теряет свой главный смысл.

Нынешний год тоже начался юбилеями: отметили 150 лет со дня рождения Маркса, на очередной годовщине решили готовиться к сотому дню рождения Ленина. По тому и по другому поводу опять много говорили о «непобедимом шестивии марксизма-ленинизма», — мед этих речей был однако сильно попорчен большими дозами дегтя. Одна из них — в начале года состоялся суд над несколькими оппозиционно настроенными литераторами, перенесенный с прошлого года вероятно с целью не омрачать юбилейное торжество.\* Суд вызвал волну протестов: индивидуально и коллективно сотни лиц (может быть и тысячи: огласку получили несомненно не все письма и заявления) обращались в высшие партийно-государственные инстанции с протестами против шемякина суда и несоблюдения «социалистической законности», записанной в конституции и кодексах законов. Суд и протесты получили такой резонанс, что снова пришлось подкручивать пресс: опять усилились гонения и притеснения, вплоть до негласных арестов; подогрели и «идеологическую работу», до того, что люди вновь стали избегать всякого общения с иностранцами.

И в отношениях с другими компартиями случился новый срыв: неожиданно взбунтовалась одна из самых послушных партий, чехословацкая, бунт которой вызвал большое волнение во всем движении.\*\*

Есть и еще факты, говорящие о больших затруднениях в коммунистическом лагере, снижающих его мощь. Но надо помнить и о другой стороне медали: о том, что несмотря на эти факты, заметного ослабления напряженности в мире не произошло и обстановка остается «горячей», так, что возможность всеобщей катастрофы исключенной считать никак нельзя.

В значительной мере это объясняется тем, что некоторый спад коммунистической активности тотчас же вызывает и ослабление сопротивления ей со стороны Запада: последний как бы помогает коммунистическому движению сохранять свои позиции и возможности. Но более важно, конечно, то, что возглавление КПСС от основ своей наступательной политики не отказывается и попрежнему

---

\* Этот факт сам по себе показателен: ведь оппозиционеры, казалось бы — ничтожные карлики, на фоне огромной военной и полицейской мощи коммунистического государства.

\*\* Когда писались эти заметки, бунт был еще в начальной стадии.

---

---

старается использовать каждое «слабое звено». чтобы потеснить противника. Оно может вступать с ним в частичные соглашения, — вместе с тем, устраняя неясность, возглавление КПСС продолжает недвусмысленно заявлять, что на «идеологическое сосуществование» ни при каких условиях не пойдет. И пока переживаемые в коммунистическом стане разлады и кризисы, как и постоянно возникающие там «обычные» трудности, изменить эту «основу основ» активности коммунизма не могли.

Уместно вспомнить вот о чем: и теперь еще встречается представление, что КПСС, утвердившись у власти, дальше действовала более или менее беспрепятственно. Но это одно из типичных по отношению к коммунизму заблуждений: КПСС не знала ни одного сколько-нибудь длительного периода, когда ее не осаждали бы новые и новые трудности, требовавшие для их преодоления применения сверхусилий. И это понятно: режим, не органически выросший, а созданный искусственно насильем и применительно не к реальным потребностям страны, а к умозрительным теориям, неминуемо должен наткнуться на препятствия, многие из которых к тому же он сам городит себе, в дополнение к воздвигаемым сопротивлением «материала», втискиваемого в тесные клетки схем. И преодоление сопротивления, постоянная скачка с препятствиями, но никак не планомерное развитие — это как бы природная стихия коммунизма. Отсюда и характерная коммунистическая фразеология, военного склада, отравляющая души: всюду «фронты», «битвы», за выполнение плана или за урожай, «борьба» за каждую мелочь и на каждом шагу «победы», — слова должны подхлестывать, не давать «успокаиваться на успехах», и не только подбадривать, но и пугать, внушать страх, что уменьшение активности сулит компартии гибель. Постоянная, неутихающая борьба — необходимое условие «дела коммунизма»; для такой борьбы, разумеется, нужен непримиримый противник, помня о котором коммунист должен неустанно проявлять «боевитость», — отвратительное это словцо-урод разительно характеризует ненормальность и самого явления, и тех, кто придумал и пустил его в оборот.

В середине 20-х годов Бухарин говорил: мы, социалисты, можем строить только социализм и ничего больше, — о «построении коммунизма» думать тогда еще не приходилось. Нынешние вожди КПСС могут говорить точно так же: ничего кроме коммунизма добиваться мы не можем, — преодолевая постоянно возникающие препятствия, барахтаясь в лужах кризисов, расколов, измен, это они и делают, не очень заботясь, какой получится у них коммунизм, образца которого никто никому не предписывал. И сколько бы ни говорили, что строители коммунизма искажают марксизм и изменяют Марксу и что построили они не социализм, а нечто совсем другое, совершенно не похожее на бывшие мечты о царстве справедли-



---

---

ности и материального благоденствия, стенания эти не имеют решительно никакого практического значения: ни остановить, ни изменить «построение коммунизма» они не могут.

В свободном от власти компартий мире надеются, что «построение» не затянется еще на длительное время, что оно выдохнется и что правящему коммунистическому слою придется так или иначе демократизировать свой режим. Причем признаки демократизации часто видят в мерах, с помощью которых руководство компартий, в меняющихся условиях, старается подкрепить свою власть, придать ей большую устойчивость. Однако за 15 лет все такие меры изменений в сторону действительной демократизации тоталитарного коммунистического режима не произвели. И даже в Югославии, либерализация в которой была охотно поддержана США и обошлась им во много миллионов долларов, компартия попрежнему командует страной, сажает в тюрьмы критикующих ее и почти одинаково с КПСС своим врагом № 1, необходимым главным противником, считает — «американских империалистов».

Но иначе и не может быть. Ведь нельзя забывать, что коммунизм и его «построение» это не только выражение определенных чувств и настроений, в том числе возможной веры в определенную систему идей и основанный на ней порядок, но еще и профессия обеспечивающая служителям «построения» власть и привилегии. Что могло бы побудить этих профессионалов отказаться от «особых прав и преимуществ»? Что могло бы заставить их изменить самим себе?

Не имеют значения и ссылки на утопичность идеи устройства коммунистического общества, связываемые с надеждой, что разоблачение утопии побудит руководителей КПСС относиться к действительности более реалистически. Но чувство реальности у них вовсе не атрофировано и действует совсем неплохо, когда им надо отстаивать свои интересы, подсчитывать силы и возможности. Да и верно ли, что утопия? Полвека назад мало кто не считал вздором мысль, что большевики удержатся десятилетия, потом вздором считали «построение социализма» и многое другое. Кто мог поверить, что на переломе столетия одна треть населения земли будет под властью коммунизма и что его географические границы пройдут по Эльбе и Китайскому морю? Почему же профессионалы коммунизма должны прислушиваться к унылой песне: утопия, нереально, несбыточно? И верить, что в самом деле несбыточно, если уже столько сбылось, столько им удалось? А что не совсем так, как думали «основоположники», то это ведь интересует одних лишь теоретиков, желающих, чтобы жизнь обязательно втискивалась в придуманные ими рамки.

Кстати о теоретиках и теориях: в мерах, которые проводят верхи КПСС для укрепления режима, в их поисках обновленных и в

---

новых условиях более эффективных организационных форм, как и в некоторых требованиях интеллигенции, иногда проскальзывают признаки желания перевести «построение» на рельсы в сущности меньшевизма и «демократического социализма». Невыявленное идейное содержание этого стремления, может быть, допустимо охарактеризовать так: какая-то часть нынешнего партактива, технократов и просто интеллигенции обнаруживает склонность перейти от идей Маркса-революционера, времен «Коммунистического манифеста», к идеям Маркса-эволюциониста, в последний период его жизни, — тем самым эти люди, ища путей преодоления сталинизма, влекутся к преодолению в какой-то мере и ленинизма. Разумеется, в стране «строющегося коммунизма», после всего пережитого, бывшие социал-демократические установки могут казаться пределом либеральных мечтаний, но основательны ли эти мечты? Даже и при условии, что развитие в нашем веке проходит под знаком главным образом социалистических воззрений, к счастью далеко не всегда ленинско-сталинского противочеловеческого образца?

На юбилее, как и полагается, много говорилось о достижениях. Но не о главном, которое сводится к доказательству, что большевики все же сумели править огромной страной и руководить всей ее деятельностью. Для этого, правда, им пришлось истребить прежний правящий слой, деловых людей, интеллигенцию, духовенство, миллионы простых тружеников, а уцелевших терроризовать до степени, когда люди теряют человеческий образ и начинают повиноваться лишь инстинкту самосохранения, заставляющему их превращаться в виртуозов приспособленчества, ловкачества, беспринципности. Надо было создать непрерывно действующую машину слежки, сыска, доносов, арестов, расстрелов, концлагерей, оглушающий и оглупляющий пропагандный потоп и прочие атрибуты современного тоталитаризма, — таков рецепт коммунистического властвования, позволяющий КПСС быть «руководящей силой» созданного ею чудовищного «социалистического общества».

Может быть подсознательно не мирясь с тем, что полувековое большевистское сумасшествие было совсем напрасно, совсем бесцельно и ища ему хоть подобие оправдания, во время юбилея некоторые опять говорили, что за эти годы все же много было сделано и хорошего, только цену пришлось уплатить непомерную. Но это явное недоразумение. Да, за полвека Россия продвинулась вперед, — но она продвинулась бы в любом случае и может быть даже дальше, чем теперь. Безусловно и то, что из всего положительного, что было сделано за полвека, беря не только материально-техническую сторону, нет буквально ничего, начало чему не было бы положено еще до революции или перед «октябрем». Что же тогда создал большевизм, что не могло бы появиться без него? А цена — она не сводится «лишь» к истреблению миллионов жизней, к морям слез и

---

---

крови: в нее надо включить еще и глубочайшие травмы, никогда не проходящие бесследно, нанесенные народной душе зверским обращением с людьми, нечеловеческими условиями существования и неслыханно наплевательским отношением к моральным нормам, позволяющим человеку не опускаться на четвереньки.

Черт, говорят, платит черепками. Под господством КПСС в самом деле много было построено, многое достигнуто. Но не достигнуто одно: чтобы построенное действовало нормально. В том и беда партийного «творчества», что сделанное под рукой КПСС опять-таки требует сверхусилий, чтобы оно было хоть сколько-то продуктивным. А это в свою очередь наносит урон и народному хозяйству, и народной психике.

Есть люди, которые отказываются видеть секрет долголетия коммунистического режима в его тоталитаризме; считая это объяснение слишком упрощенным и отклоняя его, они обращаются к объяснениям историческим, социально-экономическим, философским. К сожалению, делается это часто не ради более глубокого изучения болезни: многие ищут доказательств якобы неизбежности и закономерности эпидемии, что освобождает от чувства ответственности за нее и необходимости ей противостоять.

Особенно это проявляется в иностранном мире, где и теперь, через полвека, о коммунизме можно слышать самые невероятные высказывания, причем не только от простых смертных, но и от казавшихся бы искушенных в политике людей. Из этой среды идут требования «договориться с русскими о мире», пойти на «разумные уступки», установить «честное мирное сосуществование», в котором будто бы искренне заинтересована и коммунистическая сторона. Требуя, например, прекратить войну во Вьетнаме и уйти оттуда, эти люди не хотят признавать, что то и другое было бы капитуляцией и сдачей коммунизму еще миллионов людей и новым его поощрением. Не хотят они признавать и того, что если у Запада нет больше воли к экспансии, то спасение и его и других народов может заключаться лишь в наиболее энергичной активной обороне и надо во что бы то ни стало найти силы для нее. Но не всегда находится воля и к пассивной обороне. Да и откуда ей взяться, если на Западе даже отпрыски миллиардеров могут воспламеняться желанием сыграть роль Керенского, на этот раз, в сложившихся условиях, не только для своей страны, но и для всего мира?

В устойчивости коммунистической диктатуры поддержка ее извне играет первостепенную роль, — включая поддержку законными правительствами незаконного «правительства» КПСС. Последнее так и не обладает легитимностью: формально его составляет Верховный Совет, подбираемый с помощью фальшивых выборов, фактически оно назначается высшим руководством партии из своей же среды. Отсутствующую легитимацию «правительству» КПСС заме-

---

---

няет юридическое признание и фактическая поддержка его другими, законно формируемыми правительствами. Можно сказать так: с какого-то момента (после того, как подавлено наиболее сильное сопротивление внутри страны) решающую роль в опоре коммунистического режима начинает играть признание и поддержка его правительствами демократических стран, что рождает у подневольного населения чувство изолированности и даже обреченности. Физический и духовный (тотальная пропаганда плюс всеобъемлющая цензура) террор внутри, поддержка извне — эта формула почти исчерпывающе объясняет сохранность режима КПСС.

«Мюнхенские настроения» по отношению к коммунизму, которыми, во множестве разновидностей, Запад стойко заражен практически с первых лет господства ленинской партии в России, многое объясняют в сохранности коммунистического властвования. Главным образом они обусловили и необычайное послевоенное расширение власти компартий; они же подогревают и надежды коммунистических верхов на «конечное торжество». Позволяют эти настроения верхам КПСС и питать презрение к Западу, сохранять мнение о гниении и разложении «мира капитализма», сколько бы ни приходилось с ним считаться и даже нередко ему завидовать.

Могут сказать, что многое из приведенного здесь, вспомнившегося и повторенного по случаю недавнего юбилея, относится к давно известному и изжитому и что мощь разьединенного теперь коммунистического мира сильно поколеблена и угроза с его стороны уменьшилась, почему пессимистический оттенок этих замечок вряд ли оправдан. И разве не видим мы, что и в нашей стране уже поднимаются силы, сознательно и открыто стремящиеся к демократизации режима? И что силы эти, здраво и по современному, без догматических оглядок оценивая сложившееся положение и не питая атавистической ненависти к некоммунистическому миру, уверенные в себе и в прочности своего места под солнцем, неминуемо размоют, подточат губительный режим «диктатуры пролетариата» и найдут необходимый путь к общемировому сотрудничеству?

Со всем этим хотелось бы согласиться без раздумий. В самом деле, как было бы хорошо, если бы угрюмое бесчеловечие, раскрашенное в бодрые тона, так долго царящее на родине, поскорее ушло в прошлое. Можно было бы не обращать внимания и на то, как будет называться сменяющий его порядок, — которого еще не видно. Есть ли в таком случае основания для оптимизма? В партии и интеллигенции распри идут лишь по линии «сталинизм — несталинизм»: от полного зажима до некоторого «либерализма», тоже остающегося под контролем партии. А голоса, возражающие против и этого контроля, то есть против партии, это те «ласточки», которые еще не делают весны.

---

И в стране у нас, и во всем коммунистическом движении необратимых изменений нет, идет лишь перестройка, приспособление и перегруппировка сил. В части же распада, разъединения — оно происходит и на демократическом Западе, что как бы уравнивает условия борьбы. Своего рода пат и бессельность гонки ядерного вооружения побуждают КПСС видоизменять свою политику, но не отказываться от ленинской стратегической установки: «кто кого?» О возможности сотрудничества тут нет и речи. А размыв режима — он совершается постоянно, но постоянно идет и его укрепление, — и можно ли категорически утверждать, что на этот раз верхам КПСС не удастся снова укрепить его на какой-то срок?

Несомненно пока, к сожалению, только одно: против бедствия, прокламированного свыше ста лет тому назад Марксом и осуществленного Лениным в России, оружия никем найдено не было. Очевидно, в мире скопилось слишком много сил распада, разложения, слишком много яда, отравляющего общественные организмы народов и не позволяющие им ощутить свою общность, единство судьбы, чтобы можно было найти более здоровые, отвечающие новым условиям основы совместного существования, устраняющие угрозу полной деградациии или взаимоистребления. И сейчас, когда процесс индустриализации и связанное с ним «восстание масс» продолжают расширяться, принимая все более сложные и критические формы, трудно надеяться, что с бедствием коммунизма удастся справиться не в долгий срок, после чего у народов появится полная возможность совершенствовать общественный порядок и свою жизнь.

В то же время в мире действительно все больше и больше чувствуется изжитость, ненужность, несостоятельность многих идей и представлений, на которые опирались деды, отцы, а отчасти и мы, поддерживая общественный порядок или стремясь создать новый, якобы идеальный. Мы ведь тоже, не так давно обвинявшие предшествующих нам во множестве ошибок, для родившихся в войну или после нее попадаем в категорию «промотавшихся отцов». И хотя крылатая эта фраза, при всей ее эффектности, по существу пуста и несостоятельна не меньше, чем очень многое другое из «наследства предков», помнить о ней стоит, — в том смысле, что задача преодоления бедствия, по неумолимому закону природы, должна все больше перекладываться на плечи помоложе. Как и полагается, молодежь, повторяя пример отцов, тоже «наломает дров», — но ломка эта будет уже несколько другого образца, при которой, надо надеяться, нынешняя отравленная атмосфера очистится, почему и наметятся иные, более приемлемые пути.

Но и тут сказывается одна из аномалий времени: старшее поколение, натворившее бед уже тем, что не могло справиться с пагубным во многом развитием событий в последние полвека (часто оно просто не замечало этой пагубности и потворствовало ей), вовсе не

---

желает уступать свое место молодым. Напротив, цепляясь за власть, оно само объявляет себя молодым — и нередко соответствующе «резво» себя ведет. Так, иные политические деятели, перевалившие за 60, а то и за 70 лет, пытаются играть роль сразу и умеренных либералов, и отчаянных революционеров, — ныне стало модным записываться в революционеры даже в весьма преклонном возрасте, не обращая внимания на то, что это превращает драму в фарс.

И это явление просится в бездонный архив истории, как и многое, подлежащее пересмотру и замене. Но пересмотру не в огне войн, тоже ставших бессмысленными, а скорее за круглым столом конференции, за который должны были бы собраться ученые, специалисты, политические и общественные деятели — без выцветших ярлыков в петлицах пиджаков: «коммунист», «демократ», «интернационалист», «националист», «капиталист», «социалист». Это должна быть конференция внутренне беспартийных людей, духовно свободных и подвижных лишь сознанием необходимости найти новые формы мировой организации жизни народов, отвечающей современному уровню развития и нашим нынешним представлениям о справедливости и человечности.

Но мысль о созыве такой конференции — это, пожалуй, еще бóльшая утопия, чем идея подчинения всего мира коммунистическому господству.

---

---

П. БЕРЛИН

## МОЗЕС ГЕСС

Тридцатые и сороковые годы XIX века в жизни немецкой и еврейской интеллигенции Германии были годами блестящего расцвета. Что касается евреев, то достаточно указать, что в эти годы на их духовном небосклоне горели такие звезды первой величины, как Маркс и Лассаль с одной стороны, Берне и Гейне с другой, не говоря о менее значительных величинах.

Германия находилась тогда еще в жалком политическом и экономическом состоянии, разбитая на множество мелких княжеств, таких мелких, что, по насмешливому замечанию Гейне, в дождливую погоду их можно было унести на подошвах сапог. Крошечные размеры владений не мешали однако проявлению мании величия и каждый немецкий князек по своему самодурствовал над населением, а над бесправным еврейским в особенности. И лишь в рейнских провинциях, освобожденных революционной французской армией, евреям дышалось свободнее. Там еще не остыло горячее дыхание Французской революции, которая принесла немецким евреям не только великие идеи свободы, равенства и братства, но и благовест провозглашения во Франции прав евреев и уравнивания их в правах со всем населением. И совпадение в этой революции провозглашения прав человека и гражданина вообще с провозглашением прав и евреев воспринималось, как яркое доказательство, что человечество вступило в светлую эру, когда всякие национальные, расовые и религиозные перегородки исчезнут, на земле воцарится свободный человек и вместо всех существующих и разделяющих людей религий будет провозглашена единая религия человечества, обожествляющая свободного человека, который станет полноправным хозяином на земле. Так мечтались тогда лучшим представителям еврейской интеллигенции. И потому надо было поскорее и основательнее сбросить с себя все религиозные путы,

---

Эта статья покойного социал-демократического публициста П. Берлина на русском языке никогда в печати не появлялась, между тем она интересна как свидетельство об одном из пионеров современного сионизма. Статья была передана нам, из его архива, Д. Шубом, за что приносим ему благодарность. (Ред.)

---

---

это главное препятствие для превращения людей разных религий и наций в единое человечество.

Властителем дум и немецкой, и еврейской молодежи стал Людвиг Фейербах. Он проповедовал религию человека и человечности и заложил основы гуманистического социализма; в центре всей его философии стоит живой человек со всеми его чувствами, нуждами и идеалами.

«Бог был моей первой мыслью, — писал Фейербах, — разум второй, а человек третьей и последней». В «Критике гегелевской философии» (1839) он сводит гегелевский «всемирный дух» с небес философских абстракций на грешную землю. Фейербах писал:

«Если прежняя философия учила: лишь существующее разумно и истинно, то новая философия учит: лишь человеческое разумно и истинно, ибо разумно только истинно человеческое, человек есть мера вещей и разума».

Гегелевская философия, которой увлекалось предыдущее поколение, совершенно лишенное возможности участвовать в живой политической деятельности, для нового поколения, воспитанного на идеях Французской революции и воодушевленного еще и второй революцией 1830 года, была уже слишком отвлеченной. Это поколение жаждало другой философии, потребной живому человеку, дающей ему благословение на борьбу за лучшую жизнь здесь, на земле. И такое благословение давала философия Фейербаха.

Гуманистически настроенная немецкая интеллигенция приветствовала Фейербаха, как своего пророка. Энгельс рассказывал, что после выхода знаменитого его сочинения «Сущность христианства» — «энтузиазм был всеобщим, мы все моментально стали последователями Фейербаха».

Другой горячий сторонник Фейербаха, Науверк, говорил, что только благодаря ему «мы открыли человека». Раньше знали королей, герцогов, рыцарей, священников, монахов, горожан и крепостных, — говорил он, — но не знали человека просто. И только философия Фейербаха выделила из разных людей их человеческую сущность и сделала человека владыкой и мерилем всех вещей.

Но чтобы стать «общечеловеком», прежде всего надо избавиться от религиозных предрассудков и провозгласить единственно достойную религию — религию человека. И Д. Штраус пишет книгу «Жизнь Иисуса Христа», в которой разоблачает «предрассудки христианства»; в то же время «Сущность христианства» Фейербаха становится для немецкой и еврейской молодежи евангелием гуманистической религии социализма.

Бауер, во имя свободы человеческой личности, потребовал и от немцев и от евреев, чтобы они покончили со всякой религией. Энгельс обещал не оставить камня на камне от христианства, а Маркс провозгласил религию «опиумом для народа» и написал статью «О



---

---

еврейском вопросе», заставившую многих говорить о его антисемитизме (мне уже приходилось писать, что это был не антисемитизм, а только дань времени). Среди передовой части еврейского населения начался массовый переход в христианство: крестилась семья Маркса, переменив фамилию Мордохая на Маркса; крестился Берне, переменив имя и фамилию, крестился Гейне, переменив свое имя.

В среде радикальных немецких социалистов, группировавшихся вокруг Маркса, сохранил свое еврейство Мозес Гесс, которому суждено было впоследствии занять в еврейском вопросе особую позицию. Но в то время и он всецело увлекся интернациональным социалистическим движением, оказывая сильное влияние на Маркса и Энгельса; как отмечал в своем письме Энгельс, Мозес Гесс был первым, кто привлек внимание Маркса к социализму, или, как тогда предпочитали говорить, к коммунизму.

Мозес Гесс получил серьезное религиозное воспитание и образование, но увлеченный социалистическим движением, он перестал уделять внимание еврейскому вопросу и с головой ушел в проповедь гуманистического социализма, твердо веря, что на пути к нему будут разрешены, или вернее упразднены, все национальные и религиозные различия. Он сотрудничал в немецких и эмигрантских социалистических журналах, принимал участие в революционном восстании, за что немецкий суд заочно приговорил его к смертной казни. Гесс бежал во Францию, там кипел в котле эмигрантской жизни и только после амнистии, в 1862 году, вернулся в Германию.

Такова внешняя биография Гесса, мало чем отличающаяся от биографии Маркса, Энгельса и других деятелей революционной Германии сороковых и пятидесятых годов. Но в ней, как его личная особенность, проступало его необычное в то время отношение к еврейству. Он полностью разделял социалистические идеи и горячо верил в религию, обожествляющую человека. Но не в пример другим, он упорно отказывался от крещения и Арнольд Руге, известный радикальный деятель той эпохи, насмешливо называл его «коммунистическим раввином».

Сначала еврейство свое он держал под спудом и оно долгое время никак не проявлялось ни в его выступлениях, ни в статьях и книгах. Первые его книги, если они затрагивали еврейский вопрос, при всем его глубоком уважении к еврейской религии, были полны проповеди ассимиляции, смешанных браков и растворения еврейства в том гуманном обществе, к которому идет весь мир. Однако и в этих первых произведениях внимательный читатель мог нащупать пульс живого интереса к еврейской мысли и жизни. При этом хотя и мелкой, но характерной чертой было то, что он не только не крестился и не изменил на немецкий лад свою фамилию: напротив, он неизменно выставлял на первый план свое еврейское имя «Мозес»,

---

---

а потом, когда вернулся домой, к еврейству, даже высказывал сожаление, что его не зовут «Ицик», — тогда всякий мог бы видеть, что он не скрывает свое еврейство, как было в моде тогда среди передовых еврейских писателей, а усиленно его подчеркивает. И если вспомнить, что такой человек исключительной идейности и политического мужества, как Берне, не только крестился, но и изменил на немецкий лад свое имя и фамилию и первое время даже заявлял, что он не еврей и никакого отношения к ним не имеет и лишь потом заговорил, что он не отказывается от своего еврейства и гордится им, можно понять всю необычность поведения Мозеса Гесса. Участвуя во всем движении молодой Германии, он продолжал чувствовать себя евреем и называл себя им.

Надо сказать, что Мозес Гесс не только для его современников, но и для всей последующей истории еврейской интеллигенции, еще и в наше время, представляет собой весьма интересную личность, как знаменосец идеи, что социализм должен строиться в нерасторжимой связи с широко понимаемым гуманистическим национализмом.

Сначала мелкие, потом большие и все более злые уроки жизни заставили Гесса убедиться, что человечество находится еще очень далеко от того состояния, чтобы оно могло слиться в одну семью, не знающую никаких национальных, расовых и религиозных различий и что еврейская нация не может и не должна, путем ассимиляции, раствориться в общечеловеческом море.

Великая французская революция принесла в Германию новые социальные и политические освободительные идеи на конце штыков своих солдат. Это вызвало в Германии бурное патриотическое движение. Немецкие спортсмены и поэты, гимназисты и профессора распевали патриотические песни и звали к борьбе за «немецкий Рейн».

Мозес Гесс был смущен. Всею душой сочувствовал он идеям французской революции; как еврей, он был особенно горячим и благодарным ее поклонником. Но обладая большой и чуткой совестью, в то же время он не мог забыть, что Франция воюет с Пруссией и что хотя немецкое отечество для него, как еврея, было злой мачехой, он все же оставался немецким гражданином, который не должен стоять в стороне от охватившего Германию патриотического подъема. Тогда он сочинил нечто вроде патриотической немецкой Марсельезы и послал ее одному известному немецкому патриоту — и получил ее обратно с грубой надписью: «Ты — жид». Это был ушат холодной воды на разгоряченную патриотизмом голову Гесса. И таких ушатов было вылито на него много.

Движимый лучшими чувствами, он раскрывал немцам свои объятия, высказывая готовность братски слиться с ними и идти вместе к гуманному человеческому будущему, — они однако брезгливо

---

---

отворачивались и презрительно напоминали ему, что он жид и им не брат.

Еще более горький урок пришел из далекого Дамаска. Он наложил яркий отпечаток на весь интеллектуальный облик Гесса и был сильнейшим толчком, заставившим его спуститься с заманчивого, но оказавшегося нереальным общечеловеческого неба на грешную землю.

5 февраля 1840 года в Сирии, в Дамаске, пропал без вести настоятель капуцинского монастыря Томас. Темные силы подняли голову и обвинили местных евреев в убийстве монаха с ритуальными целями. Арестовали парикмахера-еврея и под мучительными пытками заставили его оговорить видных представителей еврейского общества, как убийц. Был арестован и подвергнут пыткам ряд еврейских деятелей, четверо из них умерли во время пыток.

Можно было утешаться тем, что происходило это в диком фанатичном Дамаске. Но утешение оказалось несостоятельным: режиссером всего дела был французский консул в Дамаске, его поддерживали и некоторые другие консулы европейских стран. Все попытки французских и других евреев добиться нелицеприятного суда по этому поводу встречали упорное сопротивление со стороны не только французского консула, но и главы тогдашнего правительства Франции, Тьера. И только используя противоречие между французскими и английскими интересами в Сирии, удалось добиться вмешательства Англии, благодаря чему состоялся суд из консулов ряда государств, оправдавший ни в чем невиновных евреев. Они были освобождены, — но многие из них не дождались освобождения и умерли в тюрьме.

Дамасское дело и травля евреев, вызванная им, чрезвычайно взволновали Гесса и заставили его пересмотреть свое мирозерцание и взгляды на человека вообще и на судьбы евреев в частности. Дело это показало Гессу, что в людях скрыты целые залежи самых диких национальных и расовых предрассудков и чувств и что при малейшем толчке еврейство может навлекать на себя темные человеконенавистнические страсти.

Но Гесс, горячо верующий социалист, еще долго подавлял в себе эти горькие чувства. Он утешал себя мыслью, что человеконенавистническими страстями отравлена только чернь, а интеллигенция и пролетариат им чужды и грядущий социализм положит конец этим позорящим человека страстям. Поэтому и для разрешения еврейского вопроса надо добиваться приближения торжества социализма. И Гесс долгие годы, находясь в тяжелом положении несправедливого политического эмигранта, безраздельно отдавался делу революционной борьбы за социализм. Его выслали из одной страны в другую, но это не охлаждало его пыла революционера.

---

---

Но вот, в 1862 году, в силу амнистии Гесс получил право вернуться в родную Германию — в ней он в том же году выпустил свою книгу «Рим и Иерусалим». Она сразу привлекла к себе внимание всей еврейской интеллигенции свежестью и смелостью подхода к еврейскому вопросу.

Мозес Гесс вернулся на родину не тем человеком, каким он ее покинул. Он не терял веру в гуманистический социализм и в его грядущую победу, но он уже больше не надеялся, что горячим словом убеждения можно будет более или менее в близком будущем переделать человека, добиться того, чтобы человек человеку был не волк, а товарищ. За годы эмигрантских скитаний он насмотрелся во всех странах, сколько в людях разных религий, наций, классов вражды и злобы и его вера в то, что торжество человеческого социализма не за горами, погасла.

В связи с этим коренным образом изменились его взгляды на еврейский вопрос. Опыт его жизни показал ему, что ненависть к евреям и травля их известными кругами населения вызывается не только религиозными и национальными мотивами, но и расовыми. Поэтому и ассимиляция, в целебное действие которой он так горячо когда-то верил, вопроса не разрешит.

Мозес Гесс не остановился на этом, он пошел дальше. Ассимиляция и крещение не решают дела. Ассимилированный и крещенный еврей, хочет он этого или не хочет, не только внешне, но и в силу глубоко и неустранимо заложенных в нем черт характера, миропонимания и отношения к Богу остается евреем, как бы он ни подделывался под христианина. И в этом отношении реакционеры и антисемиты оказываются более правы, чем иные просвещенные либералы, думающие, что крестившись или забыв о своем еврействе, еврей перестает им быть,

Но и вообще желательно ли, чтобы евреи, как нация, растворились в другой нации и исчезли как особая и неповторимая часть человеческого общества? Прежде Гесс думал, что великая историческая миссия еврейства состоит в том, чтобы стать бродильным началом, дрожжами для образования нового общества, построенного на гуманных основах, — выполнив эту миссию, сами евреи должны раствориться в обществе, исчезнуть. Теперь он считал это и невыполнимым, так как ничто не может уничтожить у еврея его глубоких национальных черт и особенностей, и нежелательным. Евреи представляют собой не только бродильное начало,двигающее вперед другие народы и нации: они сами по себе имеют чрезвычайно большое и ценное, самодовлеющее значение. И в интересах всех, не одной еврейской нации, а и всей человеческой истории, евреи не должны раствориться в других народах: они должны сохраниться со всеми своими особенностями, выработанными необыкновенной их, не похожей на другие, долгой историей.

---

Таковы были новые настроения, с которыми Гесс вернулся домой в Германию. Вместе с тем это было и возвращением в дом еврейства.

Его книга «Рим и Иерусалим» отразила новые настроения и мысли Гесса, сыграв большую роль и в его биографии, и в истории еврейской мысли в Германии и в других странах.

\*\*  
\*

Гесс начал свою книгу, указывая на всю тщетность попыток немецких евреев добиться полного морального и политического равенства с немцами. Последние однако, даже в лице своих выдающихся мыслителей, проникнуты расовым шовинизмом и ненавидят евреев не по религиозным или национальным мотивам, а только расовым. Но любопытно, говорил Гесс, что многие даже далеко не рядовые немецкие евреи тоже возмущаются, когда евреи называют себя особой нацией, видя в этом грубый предрассудок. Известный немецкий писатель-еврей Бертольд Ауэрбах, личный друг Гесса, был возмущен его новыми взглядами и называл его реакционером. И Гесс заметил по этому поводу, что немецкий еврей, встречая со стороны немцев насмешки и преследования, думает, что если он спрячет свое национальное лицо и будет во всем подражать немцам, то этим путем он избежит от антисемитизма.

Немецкий естествоиспытатель Молешотт рассказывал, что один крестившийся еврей, стремившийся ничем не отличаться от немцев, усердно, днем и ночью приглаживал свои курчавые «еврейские» волосы, чтобы они стали гладкими, на немецкий лад. Но упрямые волосы не слушались гребенки и, к полному отчаянию новообращенного немца, вновь принимали прежний вид. Эта история с курчавыми волосами служит символом тех упорных еврейских черт, которые ни за что не исчезают, — говорил Гесс.

Он не только подчеркивал это заявление, — он его благословлял, считая, что еврейский тип должен быть сохранен в интересах духовного богатства и многообразия всей человеческой культуры, в которую он внес столько ценного.

Гесс доказывал, что народы, среди которых приходится жить евреям, больше уважают и признают тех евреев, которые хранят и не прячут свои национальность, религию, обычаи, свои особые черты, чем евреев, которые лезут из кожи вон, чтобы ничем не отличаться от немцев и французов. Все равно не достигая этого, они вызывают к себе только еще больше насмешек и неприязни. Еврею Мейерберу не помогло, что в своей музыке он тщательно избегал всего еврейского, — немецкое ухо все же его улавливало и не пропускало случая напомнить, что Мейербер еврей и по настоящему его зовут Мейер Липман Бер. И если бы Мейербер дал волю своему

---

---

национальному еврейскому гению, то музыка в его произведениях наверное зазвучала бы сильнее, ярче, оригинальнее, чем тогда, когда он все время себя сдерживал, не давал полета своей фантазии, чтобы как-нибудь, Боже сохрани, не прозвучали у него национальные мотивы.

Берне крестился, изменил имя, фамилию, — указывал дальше Гесс. Писал на немецкие темы и совсем уже был уверен, что немцы принимают его за немца и он ничем от них не отличается. Одно время он даже сам говорил о себе, как о немце. Но увы, немецкое ухо улавливало в его произведениях еврейские ноты и немцы не упускали случая напомнить, что креститься-то он крестился, но евреем остался и что фамилия его не Берне, а Барух. И благородный Берне, покаявшись в своем временном малодушии, должен был открыть свое лицо — и тогда из-под его пера вышли строки, полные огня, проповедничества, гуманизма, по своему темпераменту и тону неразрывно связанные с его неистребимым еврейским духом.

Еврейству незачем скрывать свою национальность. Оно может только гордиться тем, что дало истории. Все развитие современной религиозной философии, этической мысли восходит к истокам иудаизма, — говорил Мозес Гесс. В книге «Рим и Иерусалим» он писал:

«Благодаря иудаизму история человечества стала священной историей, то есть единым органическим процессом развития, который, начав с семьи и раздвигаясь все шире, не остановится и не завершится, пока все человечество не сольется в единую семью, члены которой будут связаны друг с другом священным духом, творческим гением истории... Антинациональные гуманистические движения так же бесплодны, как антигуманистические движения средневековой реакции... Как природа не создает цветы и фрукты вообще, животных и растений вообще, а лишь определенные типы и виды их, так и Творец создал не людей вообще, а определенные их типы...»

Такими рассуждениями, резко противоречащими тому, во что он так твердо верил и о чем так пламенно мечтал на заре своего увлечения идеалистическим социализмом, полна его книга.

Против Гесса, с резкими обвинениями его в реакционности, выступили видные еврейские деятели. Но это не испугало Гесса и он не только продолжал отстаивать свою идею необходимости существования отдельной еврейской нации, что в тогдашней еврейской литературе было большой ересью, но и провозгласил, что евреи должны устроить в Палестине свое самостоятельное государство. Таким образом он явился одним из самых ранних провозвестников сионизма.

Мозес Гесс всегда был горячим увлекающимся человеком. И у него хватало мужества и искренности признавать свои заблуждения, брать уроки у самой жизни. Это и вело к тому, что он увлекался

---

ся то коммунизмом, то анархизмом, то проповедью ассимиляции, а закончил свою бурную жизнь сионистом. На этом пути он разошелся с Марксом. Маркс посмеивался над его идеализмом, над утопическим, по мнению Маркса, социализмом, которым был увлечен Гесс, но резче всего они разошлись по национальному вопросу вообще и по еврейскому в особенности. Маркс, хотя он и происходил из патриархальной еврейской семьи Мордохаев, насчитывавших длинный ряд раввинов, известных своей ученостью, написав крайне неудачную статью по еврейскому вопросу, навлекшую на него несправедливые обвинения в антисемитизме, больше никогда к этому вопросу не возвращался. Он не затрагивал его больше ни в статьях, ни в переписке. Только в одном письме к А. Руге, датированном мартом 1843 года, Маркс сообщал, что к нему обратился представитель еврейской общины и просил составить петицию к ландтагу о расширении прав евреев. Маркс выразил готовность исполнить эту просьбу — «как ни противна мне еврейская религия», добавил он в письме.

Мне неизвестно, составил ли Маркс эту петицию, в его сочинениях и письмах следа ее не видно. Во всяком случае во всей своей дальнейшей деятельности Маркс никогда еврейского вопроса не касался и на преследования и варварство по отношению к евреям не отзывался. Совершенно другой дорогой шел Гесс, сначала разделявший взгляды Маркса на то, что приближающееся торжество гуманного социализма упразднит все вопросы национального и религиозного характера. Разочаровавшись в вере в это, Гесс с прежней силой поверил в предстоящее национальное возрождение еврейского народа и в его великую историческую роль.

Целый век прошел с тех пор, когда Мозес Гесс совместно и солидарно с Марксом и Энгельсом, в одних и тех же журналах, под знаменем гуманистического социализма вел борьбу против человеческого невежества, корысти, жестокости и несправедливости. Дороги их потом разошлись. Конечно, нельзя равнять величину и роль Маркса с величиной и ролью Мозеса Гесса, — последний оставался лишь одним из талантливых и умных представителей социализма. Но при всем огромном превосходстве Маркса как мыслителя и стратега социализма, у Гесса были свои преимущества перед ним. Прежде всего, Гесс всю жизнь оставался верен тем началам гуманизма, которыми был согрет и освещен социализм сороковых годов и у Маркса, и у Гесса. Но Маркс по натуре своей был человеком суровым, весьма скептически относящимся к человеческим добродетелям. Требования классовой борьбы заглушили у него мотивы гуманизма в социализме, заставив перенести ударение на жестокость классовой борьбы. Гесс же навсегда оставался сторонником гуманистического социализма, верящим, что в основе своей человек суще-

---

---

ство доброе, оно лишь изуродовано и озлоблено условиями капиталистического строя.

Этот прочный налет гуманизма смягчал у Гесса взгляды на суровость классовой борьбы. Но основное его преимущество перед Марксом состоит в том, что он одним из первых социалистов понял и оценил роль в истории национального начала и необходимость добиваться социализма, учитывая национальные особенности. И Гесс, как уже говорилось, не остановился на полдороге: поняв роль национального начала, он прежде всего пересмотрел отношение к своему родному народу и после «интернациональных странствий», оставаясь социалистом, вернулся в «свой еврейский дом», став одним из первых сионистов. А это — сионизм — в социалистических кругах казалось тогда уже совершенной дикостью и Марксу представлялось просто бредом. Теперь же и для тех, кто не разделяет идей сионизма, он вовсе не является бредом, — в этом отношении смешный идеалист Гесс оказался большим реалистом, чем зло высмеивавший его материалист Маркс. И реализм Гесса оказался всего сильнее и плодотворнее в том, что он признал и показал значение национального элемента в социалистическом движении вообще и в судьбах еврейского народа в особенности.

Горячий и увлекающийся, он порой перегибал палку; из интернационалиста, не желавшего знать национальных различий, он мог превратиться в сиониста, односторонне превозносящего национальное начало. Но это не умаляет его большой исторической заслуги перед еврейством. Он одним из первых еврейских социалистов сосредоточил внимание на необходимости для евреев, не забывая об общечеловеческих идеалах и гуманистическом социализме, не скрывать, а выявлять свое национальное лицо, помнить о своих национальных задачах.

Теперь, когда вопросы соотношения национального и интернационального в еврейском движении получили новое освещение, понятно и оживление интереса к Мозесу Гессу, с такой горячностью поставившему вопрос об этом еще в 1862 году.



ТАТЬЯНА АЛЕКСИНСКАЯ

## Из записок русской социал-демократки

### НА КАПРИ У ГОРЬКОГО

*Май, 1909 года.* Путешествие из Женевы в Неаполь показалось мне бесконечным и утомительным. Моему сыну скоро девять месяцев. Он крепкий и тяжелый, и его очень трудно держать на руках. От усталости я даже потеряла охоту любоваться живописными итальянскими пейзажами, которые мелькали за окном. В Неаполе я не нашла на вокзале мужа. Что делать? Остаться в Неаполе или сразу ехать на Капри? После минутного колебания решила ехать на пароходе на Капри.

Сын, убаюканный морским воздухом, сладко спит в каюте. Я выхожу на палубу и любуюсь красотами Неаполитанского залива. Капри начинает вырисовываться темной массой на лазурной поверхности волн. Вуаль утреннего тумана закутывает его, как саван огромную гробницу.

Лодки рыбаков перевозят пассажиров с парохода на берег. На набережной, полной народу, мужа тоже нет. Я держу ребенка на руках и не знаю, куда идти. Меня окружают мальчишки и оглушают криком, из которого я ничего не понимаю. Наконец, обращаюсь к носильщику и говорю:

— *Où habite monsieur Gorki?*

— *Gorki? Signore Gorki? Si! Si!* — кричит он мне в ответ, хватая чемодан и бросается вперед.

Я послушно следую за ним. Фуникулер поднимает нас над отвесной скалой, и перед нами — красивая пиацца. По извилистой

---

См. 12-ю книгу «Мостов». Так как наш альманах выходит редко, рукопись Т. Алексинской мы передали «Новому журналу», в котором, также с сокращениями, она продолжает печататься с № 90. (Ред.)

---

---

уличке мы приходим к большим воротам. Провожатый стучит кольцом, вделанным в середине двери. Ожидая, пока нам отворят, он говорит с искренним восхищением:

— Signore Gorki molte ricco, molte ricco!

Я поняла, что для него Горький — «очень богатый господин».

Лакей отворил дверь — и я в обширной передней старинного здания. Широкая лестница ведет прямо от входа. Лакей исчезает. Несколько минут спустя красивая дама спускается по лестнице, другая ее сопровождает.

— Вы госпожа Алексинская? — спрашивает меня дама по-русски. — Я — жена Горького. Это — моя подруга, госпожа Боткина, художница.

Я прошу извинить за беспокойство и дать мне адрес мужа. Дама объясняет, что мой муж уехал в Неаполь нас встречать и ему немедленно пошлют телеграмму, чтобы предупредить, что я уже на Капри.

— Что касается вашей квартиры, я не могу вам дать адреса. Вы остановитесь у меня, отдохните и потом можете пойти к себе. Теперь вы — моя пленница, — говорит дама с очаровательной улыбкой.

После нескольких часов отдыха я попадаю в огромную столовую, очень светлую. Вокруг стола сидят Максим Горький, Андреева (подруга Горького), приемный сын Горького, дочь и сын Андреевой и много других лиц. Горький носит желтую кожаную куртку. Его впалые щеки еще больше подчеркивают резкое очертание подбородка. Жесткие усы, опущенные книзу, и неправильной формы нос делают его похожим на денщика, как их обычно изображают у нас в комических пьесах. Но его умные глаза и глубокие борозды на лбу свидетельствуют о большой духовной работе.

Горький редко вмешивается в разговор и изредка только делает краткие замечания. Но время от времени он говорит больше, и тогда сказывается сейчас же самоучка. Он злоупотребляет цитатами и учеными терминами. Когда он называет автора, он употребляет слишком много прилагательных. «Хорошо известный немецкий философ Вильгельм Освальд говорит . . .» или «знаменитый физик, англичанин Виллиам Рамзай . . .» Вместо того, чтобы сказать «Кант» он говорит: «гениальный философ Эммануил Кант».

После обеда Андреева мне показала свою виллу. Прежде это был, кажется, монастырь. Теперь это — обширный дом, прекрасно устроенный для жизни в тишине и роскоши. Самая лучшая комната — это рабочий кабинет Горького: в огромное окно — целая стена из стекла — видно скалы, которые спускаются обрывом к морю. Вдалеке — Везувий с дымящимися облаками. Слева — горы Анакапри, совсем красные от заходящего солнца. Терраса с колоннадой, и большой сад с прекрасными растениями.

---

---

— Посмотрите, эти попугаи — любимцы Алексея Максимовича. Ему их привезли из Бразилии, чтобы он забавлялся ими. Они умеют говорить, но только по-португальски.

— Па-ра-ра, па-па-ра, па-ра, — трещат бразильские попугаи. Ночь наступает. Все расходятся. Андреева говорит мне:

— Утренний кофе мы пьем в кухне. Приходите туда, когда встанете.

Я встаю около девяти часов, иду в кухню. Андреева уже там. Она показывает мне на толстяка с черными волосами и говорит:

— Это — наш повар, Катальди. Вы можете ему подать руку, потому что он испанский дворянин.

Это «потому что» приводит меня в веселое настроение. Но я не хочу объяснять подруге великого пролетарского писателя, что мне не раз доводилось пожимать рабочие руки.

\*\*  
\*

Муж возвращается из Неаполя на другой день после моего приезда. Он немедленно увозит меня и сына на Пикколя Марина (Малую Марину), где нашел для нас квартиру.

Мы живем в рыбацком домике, построенном на скале, на самом берегу моря. Нижний этаж служит складом принадлежностей для рыбной ловли. В верхнем обитаем мы. У нас большая светлая комната с двумя окнами и балконом и маленькая передняя, по бокам которой еще по комнатке — одна служит кухней, другая столовой. Мы живем так близко к морю, что во время бури волны ударяют о стену нашего домика, заливают балкон, и нужно закрывать окна, чтобы море не вошло в комнату. Целый день волны поют у наших ног. Порой мне кажется, что мы живем на маяке. Я в восторге от нашего домика. Справа мы видим Монте-Сальяре, слева Фаральоны: две скалы, выходящие из моря, наподобие гигантских чудовищ.

Я выношу моего сына на улицу. Со светлыми волосами, с голубыми глазами, одетый в белое, в голубой шапочке, он очень нравится итальянкам.

— Белло бамбине! — говорят они (красивый мальчик).

— Покко бачиаре? — (можно поцеловать?)

Но мальчик боится их смуглых лиц, черных сверкающих глаз, и не позволяет себя целовать.

\*\*  
\*

Организация Рабочей школы почти окончена. Технический организатор ее — рабочий с Урала, Михаил Вилонов \* — еще молодой

---

\* Михаил Вилонов умер от туберкулеза в Давосе 1 мая 1910 г.

---

---

человек, очень талантливый. У него большие способности к философскому мышлению. К сожалению, говорят, что он недолго проживет — у него чахотка, одно легкое уничтожено, другое тоже затронуты. Несмотря на болезнь и риск быть арестованным, он поехал в Россию под чужим именем, чтобы войти в сношения с рабочими кружками и выбрать там кандидатов для Каприйской школы. Все ученики школы имеют квартиру и стол от имени комитета школы, который им гарантирует шестимесячное пребывание за границей и покрывает все издержки путешествия. Идея школы имеет огромный успех среди рабочих, потому что в России, преследуемые полицией, они не имеют возможности свободно заниматься социальными науками.

Ученики школы — молодые рабочие из Петербурга, Москвы и других промышленных центров, всего 12 человек. Большинство из них имеет многолетний стаж в партийной организации. Некоторые участвовали в движении 1905 года. Кроме них, еще сильная и сплоченная группа — это уральцы.

Богданов читает лекции по экономике и истории экономических наук. Луначарский — об искусстве. Максим Горький — о русской литературе. Г. А. Алексинский — о политических партиях в России и рабочем движении за границей. Старый социал-демократ Лядов излагает историю рабочего движения в России. Хотя я и знакома с нею, я слушаю его лекции с интересом.

Я узнаю из них подробности раскола партии и возникновения фракций большинства и меньшинства. В 1903 году на съезде партии сторонники Ленина были в большинстве. Отсюда и возникновение термина большевики, меньшевики — меньшинство. Вначале расхождение большевиков и меньшевиков не носило политического характера: оно относилось только к внутренней организации партии. Большевики настаивали на полной централизации управления партией. Они особенно настаивали, чтобы редакцию центрального органа партии выбирал Центральный Комитет. Меньшевики и Плеханов, наоборот, предпочитали административный дуализм: они настаивали, чтобы редакция особо выбиралась на съезде партии. Постепенно расхождение перешло на тактику — большевики подчеркивали значение вооруженной борьбы, между тем как меньшевики предпочитали легальные методы. Еще один пункт, на котором большевики и меньшевики расходились, — это общий характер русской революции: меньшевики не верили в возможность немедленной социальной революции в России из-за ее отсталого экономического состояния и социальной и умственной слабости промышленного пролетариата. По мнению меньшевиков, пролетариат должен поддерживать демократическое движение буржуазии, чтобы заменить самодержавие парламентским и республиканским режимом. Большевики считали, что рабочие, вместе с крестьянами, должны взять

---

---

власть и стараться толкать революционное движение возможно дальше, хотя тоже не верили, что оно может выйти за рамки буржуазно-демократической республики.

Лядов — типичный революционный профессионал. Уже много лет из года в год он занимается конспиративной работой и дискуссия о маленьких параграфах устава партии его интересует больше, чем все мировые проблемы, вместе взятые. Его жена, вовлеченная им в революционную жизнь, делит с ним все перипетии этой жизни.

Один любопытный случай мне показал, что, несмотря на все потраченное время и столько усилий на пользу партии, Лядов все же не удовлетворялся своей жизнью, отданной исключительно революции. Он познакомился у нас с одной красивой дамой — аргентинкой, замужем за итальянцем. Она интеллигентна, хорошая спортсменка, хорошо знает литературу. Узнав, что русские революционеры создали на Капри школу для рабочих, она часто приходила к нам. Мы говорили о вещах, для нас самых обыкновенных, но ей они кажутся новым миром. С истинной страстью новообращенной она воспылала всем своим существом сочувствием к социал-демократическим идеям. Нам она говорит, что искренне сожалеет, что ее жизнь не позволяет ей посвятить себя этим идеям.

Я познакомила ее с Лядовым, представила его как мученика революции, у которого в прошлом много лет ссылки в Сибири. Они много разговаривали и Лядов влюбился в нее.

В один из благоуханных золотистых вечеров, когда солнце умирало в голубых волнах, старый революционер пришел к нам, в наш маленький домик на Пикколя Марина, и стал горько жаловаться на свою судьбу и особенно на то, что не знал до сих пор истинной любви.

— Но вы женаты, Михаил Миронович, — сказала я, — и вы так дружны и хороши со своей женой!

— Но ведь все это лишь партийное дело, — отвечал он мне.

— То есть?

Он рассказал мне, что как-то ему пришлось жить по чужому паспорту в одной квартире с одной девицей, товарищем по работе. Е паспортe они значились как муж и жена, работали в нелегальной типографии. А затем остались навеки мужем и женою уже в обывательской жизни.

\*\*

\*

Лекции Горького скучны. Как случается часто с хорошими писателями, он говорит плохо. Когда читает стихи, плачет, хотя бы они и не содержали в себе ничего трогательного. В Горьком есть что-то болезненное. Может быть, это последствие морального кризиса, которому он подвергся, пройдя жизнь от босячества до боль-

---

---

шой литературной славы и, наконец, до роскошного существования, которое он ведет теперь. В его доме обилие служанок и слуг. Кроме двух бразильских попугаев, которых мне представила Андреева, его окружают и другими игрушками. Не так давно он получил в подарок двух восхитительных римских овчарок с длинной белой шерстью. Чудесные собаки!

Порой мне кажется, что вся эта пролетарская школа тоже не что иное, как средство для его развлечения. Замешанный в одном политическом деле, Горький не может вернуться в Россию и, чтобы не потерять «связь с народом», он ухватился с большой радостью за этот случай, который дал ему возможность побывать в среде настоящих рабочих.

Что же касается Марии Федоровны (Андреевой), она не любит рабочих, но, как хорошая актриса, прячет свои чувства и напрягает все свои усилия, чтобы быть любезной с ними. Однако ученики школы ей не симпатизируют.

\*\*

\*

Луначарский читает и по истории немецкой социал-демократии. С острой бородкой, худощавый, что-то от Дон-Кихота. Таким я впервые в 1906 году увидела Анатолия Васильевича Луначарского.

Не только внешность от Дон-Кихота, но и его увлечение Махом и Авенариусом в поисках «правды» и «Бога» делали его порой наивным и вызывали не раз улыбки даже у его друзей и единомышленников. Он мечтал создать новую религию — пролетарскую и марксистскую. Мечтает осуществить эту религию в жизни, зажечь у пролетариата внутренний огонь, чтобы он и вдохновил на борьбу с противником. Он утверждает, что Карл Маркс — последователь великих пророков, на что Г. А. Алексинский ему шутливо говорит, что нужно иметь большое искусство, чтобы изобразить Карла Маркса в Интернационале подобно пророку Даниилу во рву львов, так как скорее Маркс пожирает своих противников.

Но Луначарский идет дальше: он переделал «Отче наш», заменив Господа Бога пролетариатом:

О, святой рабочий класс, который на земле,

Да будет благословенно имя твое,

Да будет воля твоя, да придет царствие твое... и т. д.

В своем «искании правды» Луначарский как-то не сознает или не отдает себе отчета, что подобные выдумки одинаково оскорбительны как для христианства, так и для социалистического атеизма.

Не знаю, было ли в нем это «искание правды» искренним, — или это лишь желание быть оригинальным?! Плеханов и Ленин называют Луначарского не иначе, как «преподобным отцом Анатолием» и «Анатолием блаженным».

---

---

Несмотря на все эти чудачества — иначе я не могу назвать его «искание правды» под видом изобретения «пролетарской религии» — Луначарский мне казался симпатичным, особенно когда я узнала его ближе на Капри.

Луначарский за основу своих лекций берет большой труд Меринга. Что касается его лекций по истории искусства, они очень интересны и содержательны. Он говорит легко и его манера излагать — приятная. Его лекции всегда собирают полную аудиторию, я часто тоже прихожу. Бываю я и на его практических занятиях, хотя практические занятия ведутся в узкой среде, где Луначарский поучает молодых рабочих ораторскому искусству и раскрывает тайну этого искусства.

Сам прекрасный оратор, он объясняет слушателям, как нужно строить речь — выдвинуть сущность темы и, когда нужно, облечь ее в цветистую форму:

— Кончать речь вы должны, как певец свою арию: высокой нотой! — и он обычно брал «до» и замирал. — После этого успех вашей речи будет обеспечен, — говорил он.

Луначарский увлечен этой школой и отдает себя целиком: водил учеников по музеям в Неаполе, затем в Риме, устраивает экскурсии. Они видели развалины Помпеи и катакомбы Рима.

Дворянин по происхождению, Луначарский воспитан и деликатен. Его мягкий, незлобный и тонкий юмор располагает к нему.

\*\*

Мой муж условился с Богдановым и Луначарским, что они не будут выдавать в школе свои философские и религиозные теории, как официальную доктрину школы. Но так как Богданов и Луначарский обязательно хотят познакомиться с ними рабочих, то было решено устроить специальные дискуссии вне школьных часов.

\*\*

Каприйские ночи очаровательны. В такие ночи нельзя сидеть дома. Мы гуляем по дороге, которая идет спирально по Пикколоя Марина к городу. На площади играет музыка, нарядная толпа наполняет все кафе. Капри — это летняя резиденция иностранцев со всех концов мира.

Форестиери (иностранцы) в большинстве случаев богаты. Любопытно сравнивать их с нашими молодыми русскими рабочими, приехавшими сюда, чтобы познать истину социализма и изучить средства для разрушения этого самого буржуазного общества, представители которого так умело бездельничают на Капри.

Мы возвращаемся к себе по виа Крупп, построенной пресловутым немецким продавцом пушек. К несчастью, герр Крупп оставил

---

---

здесь после себя и другие воспоминания. Громадное дело о нарушении морали, которое закончилось его самоубийством, возникло на Капри, где и теперь еще встречаются молодые люди, бывшие его «друзьями». На берегу им была построена вилла. В скале, на которой она возвышается, Крупп велел выбить грот. Устланный внутри коврами, этот грот служил ему для оргий; он подражал более знаменитому обитателю Капри — Тиберию.

\*\*  
\*

Михаил Вилонов приходит к моему мужу, жалуется на М. Ф. Андрееву. Он живет у Горького, потому что у него нет денег. Горький содержит его и покупает все, что нужно, вплоть до медикаментов. Андреева довольно часто и очень неделикатно дает ему чувствовать эту зависимость. Если он не разделяет в чем-либо ее мнения, она немедленно подчеркивает свое недовольство.

Доктор прописал ему оставаться в лодке два или три часа под лучами солнца. С больными легкими он не может ходить пешком до пляжа и обычно едет на фуникулере, который стоит ему каждый раз 50 сантимов. Если накануне он противоречил жене Горького, она забывает дать ему деньги и он вынужден либо просить ее — «как нищий», говорит он, — либо оставаться без лечения.

Он долго рассказывает эти жалкие и унижительные истории и вдруг начинает плакать. Его костлявые плечи, высушенные туберкулезом, содрогаются от рыданий.

\*\*  
\*

Учение в школе идет успешно, но моральная сторона жизни учеников оставляет желать лучшего. Они сбиты с толку. Роскошь, в которой живут на Капри «форестиери», и богатство, которым Горький себя окружает, должны возбуждать в их сердцах озлобление. Этим, повидимому, хотя и воспользоваться для своей пропаганды против школы сторонники Ленина.

Чужое влияние начинает чувствоваться среди наших слушателей: два ученика держатся несколько в стороне и ведут скрытую пропаганду среди учеников, настаивая, чтобы Ленин и его друзья были приглашены на Капри для чтения лекций. Они, вероятно, состоят в тайном соглашении с группой Ленина и получили от них инструкции дезорганизовать школу. Но эта «скрытая» пропаганда совершенно излишня: делами школы ведает Совет школы, состоящий из лекторов и слушателей; последние в совете — в большинстве. Слушатели послали приглашения прочитать ряд лекций всем главным лидерам социал-демократической партии, в том числе и Ленину.



---

Привожу ответ Ленина:

18 августа 1909 г.

Уважаемые Товарищи!

Получил на днях Ваше приглашение. Программы школы, о которой (программе) Вы пишете, что прилагается, еще не получил.

Мое отношение к школе на острове Капри выражено в резолюции расширенной редакции «Пролетария» (приложение к № 44 и 46 Пролет.). Если Вы не видели «Пролетария» и приложений к нему, а также особого письма о школе, разосланного членам партии большевикам в виде печатного листка, то редакции с удовольствием пошлет Вам все эти материалы. По существу дела я должен Вам ответить, что, разумеется, мой взгляд на Каприйскую школу, как на предприятие новой фракции в нашей партии, фракции, которой я не сочувствую, что этот взгляд несколько не вызывает отказа читать лекции товарищам, присланным из России местными организациями. Каких бы взглядов эти товарищи не держались, я всегда охотно соглашусь прочесть им ряд лекций по вопросам, интересующим социал-демократию. На Капри читать лекции я, конечно, не поеду, но в Париже прочту их охотно. Приехать в Париж девяти посланным из России товарищам (я беру цифру, о которой сообщал известный Вам товарищ Лева), это предприятие даже в финансовом отношении стоило бы меньше, чем поездка трех лекторов (мне известно Ваше обращение к Лева и Иннокентию) из Парижа на Капри. А помимо финансовых соображений есть еще целый ряд других, несравненно более важных и несомненно вполне для Вас понятных соображений в пользу Парижа, как места действительно партийной школы за границей. Во всяком случае могу поручиться, что редакция «Пролетария» сделала бы все, от нея зависящее, для организации желаемых Вами лекций в Париже.

С соц.-дем. приветом

Н. Ленин.

П. С. Вы забыли сообщить официальный адрес Школы.

А в «приложениях» к «Пролетарию» Ленин заявлял, что рабочая школа на Капри — «буржуазное предприятие», имеющее своей целью наполнить черепа слушателей антимарксистскими и антипролетарскими идеями и т. д.

Ученики школы ответили Ленину письмом, в котором заявили, что они довольны своим пребыванием на Капри, лекторами, интересными лекциями, практическими занятиями; что же касается «фракционной подкладки» школы, то это чистейшая выдумка и ничья гегемония над школой немислима, ибо большинство Совета — это мы!

В ответ на это письмо Ленин прислал послание на 15 страницах, где повторил многое, что было в «Пролетарии».

Это второе письмо так характерно для Ленина, что я целиком

---

---

переписала его и сохранию для себя на память. Мне вспомнились слова Владимира Ильича о «документиках», когда он учил меня, что противника нужно бить его собственными документами.

Ленин отлично понимал, какое значение для рабочих имеет эта школа и, конечно, как честолюбивый человек досадовал в душе, что инициатором является не он, а его противники. Поэтому он решил создать такую же школу в Париже и упорно приглашал слушателей приехать в Париж, подробно снова вычисляя стоимость проезда.

Кроме этих писем, Ленин прислал ученикам школы свою новую книгу «Материализм и эмпириокритицизм (критические замечания об одной реакционной философии)», над которой он так упорно работал. Эта книга появилась в мае 1909 года за подписью «Ильин». Мне вспомнилось, когда весной прошлого года он говорил мне и Надежде Константиновне, что в этой книге он хочет «высечь» Богданова и других махистов.

\*\*  
\*

После бесконечных конфликтов и не очень-то дружелюбных дискуссий между слушателями школы, четыре «ленинца» покинули Капри и уехали в Париж, где ленинская группа встретила их как мучеников. Они напечатали в ленинском органе вздорную и нелепую декларацию, где заявляли, что их привезли на Капри против их воли и что там хотели их обратить в антимарксистов. В числе уехавших был Михаил Вилонов, технический организатор школы; он тоже откликнулся на приглашение Ленина. Мне кажется, что тут более сказалась его личная неприязнь к Марии Федоровне Андреевой за обиды или, как он говорил, «унижения», которые ему приходилось переносить от нее. Что же касается других, в действительности дело оказалось гораздо проще: прожив несколько месяцев на Капри, и хорошо зная, что им скоро придется вернуться в Россию и там снова начать партийную работу, они предпочли продлить свое пребывание за границей и совершить под политическим предлогом путешествие в Париж.

Когда они уезжали, ученики и лекторы вздохнули свободно, и восемь слушателей-учеников написали заявление «В защиту школы».

\*\*  
\*

Начались дожди. Это начало каприйской зимы. Пришлось покинуть наш милый домик на берегу моря и перебраться выше, на одну из дорог, ведущую на Гранде Марина, против виллы Чертоза — бывшего, а ныне заброшенного монастыря. Зимой здесь суше и главное, ближе к городу, куда моему мужу приходится ходить для чтения лекций.

---

---

Наша новая вилла состоит из двух огромных комнат, кухни и террасы. Крыша дома плоская, окруженная решеткой. В хорошую погоду я выношу туда моего сына и он играет там на ковре.

\*\*  
\*

Наши материальные дела в печальном состоянии. Чтобы ехать на Капри и читать лекции, мой муж покинул свою работу в Женеве. Он не хотел материально зависеть ни от партии, ни от Горького и мы жили на личные средства, очень сократив наши расходы. Наши траты скромны: полторы лиры в день за квартиру, две лиры на рыбу и макароны. Но несмотря на экономию, наш скудный запас пришел к концу. Мы вошли в долги. Сумма, которую мы задолжали лавочнику, нам кажется ужасной: 560 лир! Мы не знали, как выйти из этого положения: мы принесли себя в «жертву пролетариату», представленному несколькими молодыми рабочими, приехавшими из России, чтобы изучать социалистическую доктрину в Каприйской школе.

Нас выручила моя свекровь. Она приехала на Капри отдохнуть и полечиться. Узнав о нашем печальном положении, она сейчас же уплатила наши долги. Тем не менее, у нас нет никаких перспектив. Проект издания «Пролетарской энциклопедии», о чем мечтал Горький, за отсутствием средств остался мечтой невыполнимой. Нужно было принять радикальное решение и я решила вернуться с ребенком в Москву к родителям, где я буду кончать медицинские курсы. Муж поедет в Париж и там найдет себе литературную работу.

На другой день после принятия этого решения я осталась со свекровью одна. Она мне сказала:

— Теперь вы видите, что я была права, когда говорила, что брак и семья погубят моего сына. Он талантлив и его жизнь не должна принадлежать семье... Он вошел в долги... Вы молчите, потому что вам нечего ответить...

— Да, вы правы, мне нечего ответить. Но я нашла исход из того положения, в которое поставлен мой муж. Я уеду в Россию с ребенком к моим родителям.

Признаться, раньше я боялась произнести это вслух. Теперь, когда я громко сказала это свекрови, я почувствовала, что так и будет: я поеду в Россию и буду кончать курсы.

— А Григорий?

— Поедет в Париж. Пока вы ему поможете, а там будет видно.

— Это вы серьезно?

— Что?

— Поедете в Россию?

— Да. Поеду!

---

---

\*\*  
\*

Свекровь уже уехала в Россию. Через несколько дней и я с сыном тоже покидаю Капри.

Прощай, Капри! Чувствую, что никогда его больше не увижу! Разлетятся и остальные пришельцы, останется лишь один Максим Горький.

Вспоминаются несколько случайных русских эмигрантов, чьей судьба забросила сюда. Русская колония на Капри, за исключением Горького, в общем, ужасно бедная. У двух эмигрантов, живших недалеко от нас, был общий гардероб. Этот гардероб несложен и немногочислен: одни панталоны на двоих. Они вынуждены проводить целый день на пляже в купальных костюмах. Это отсутствие туалета стало роковым для одного из них. Купаясь, он познакомился с молодой американкой, очень богатой. Она занималась живописью и еще больше бездельем. После бесконечных свиданий под жгучими лучами солнца и романтическим светом луны (всегда в купальных костюмах) молодая американка влюбилась в русского «революционера», который поразил ее воображение. Она вызвала своих родителей из Рима, чтобы представить им своего кавалера и вероятно, чтобы просить разрешения выйти за него замуж.

Но увы, в тот день, когда она пригласила его на чашку чая в великолепную виллу к своей семье, у него не оказалось панталон: их надел его друг, поехавший в Неаполь.

Так потерял он знакомство, а, может быть, и будущее супружеское счастье.

---

---

## НАТАЛЬЯ РЕЗНИКОВА

# Из воспоминаний о А.М. Ремизове

### К 10-ЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ

Алексей Михайлович любил океан. Он часто писал об этом и вспоминал, как, очутившись в первый раз на океане, он почувствовал, что здесь он — у себя.

В свои последние годы А. М. плохо видел и жил почти затворником. Когда я летом уезжала к морю, он говорил: «Посмотрите за меня на океан, вашими глазами».

Именно на океане, на острове Долерон, где мы жили во время войны, в мае 1943 года мы получили известие о смерти Серафимы Павловны Ремизовой. Всегда бережный, боясь неожиданно испугать нас (мою мать, сестер и меня), Алексей Михайлович послал письмо на имя моего шурина:

«13-V-1943 ночь. Дорогие Ольга Елисеевна, Оля, Наташа, Аука, Вадим. Сегодня вечером померла Серафима Павловна в больнице против нас. Вчера ее отвезли. Она так ждала вас, что приедете и если б были, ей было б не страшно. И не дождалась. А. Ремизов».

На следующий день по смерти С. П. мой муж, Даниил Георгиевич, был у Алексея Михайловича на квартире и потом на отпевании в церкви. Алексей Михайлович казался спокойным, был тих и точен в словах и движениях, несмотря на крайнее изнеможение и усталость.

«30-V-1943. Дорогая Наташа. Спасибо. А вчера был Д. Г. и только вышел, принесли посылку. Сегодня я поднялся рано, сегодня панихида в нашей церкви по соседству, с объявлением в газете. Было такое блестящее утро, как в день похорон. Я сидел на кухне за вашим кофеем, в глазах еще не погасла мертвецкая, я полуслепой, но моя память (зрительная) неизгладима. Пошел дождь и глазам стало спокойней. И в церковь я вышел рано, все боялся опоздать. Потом стоял во дворе: пение слышно — еще ведь Пасха. И за панихидой, по моей просьбе, пели пасхальное «Ангел вопияше Благодатный». Все собираю и порядок делаю, мно-

---

го приходится ходить, и в мэрию и в префектуру. Может, на этой неделе кончу.

Д. Г. спрашивал, как было на кладбище.

Что-то было — совсем без всякой тьмы и могила не яма — Оболенский бросил русскую землю: из Таврического сада, а я последнюю розу и опять «Христос воскрес». А вернулись домой — Нина Григорьевна, Оболенский, Костанов — блины мне прислал Ростик, его жена блинчики умеет печь. Помянули.

Ольга Елисеевна, Оля, Аука, Вадим, Бронислав!

Алексей Ремизов».

Зиму и весну 1943 года Ремизовы прожили в страшных условиях Парижа в немецкую оккупацию. Есть было нечего, дома не отапливались, зимой замерзали трубы, часто гасло электричество. Серафима Павловна стала тяжело болеть. Она была очень полная, ухаживать за ней было трудно. Алексей Михайлович выбивался из сил.

За три месяца до смерти Серафимы Павловны, Даниил Георгиевич посетил их:

«В воскресенье я был у Ремизовых. Я не представлял себе, в какой бедноте они живут. С беднотой и болезнью С. П., которая почти не встает, а когда встает то передвигается с трудом, все пришло в запустение. Убирать некому. Ал. М. делает больше чем может. В комнате С. П., как в комнате старьевщика: хлам, пыль, грязь, запах мочи.

Я принес им чаю и А. М. тотчас же пошел на кухню готовить чай; он принес грязный чайник и совсем грязные чашки, которые по всей видимости он давно уже не мыл — горячей воды нет — а только полоскал в холодной, да и то не всегда. Он не пил чаю уже много месяцев (пил тизан). От чаю и папиросы у него закружилась голова. Он почти ничего не пишет, из-за недостатка времени и холода. Но вопреки беде, в которой они живут, Ал. М. и С. П. были очень рады мне и может быть изо всех визитов моих к ним, этот был самым близким и человеческим.

У Ал. М. на стене я увидел поразивший меня рисунок его — голова карлика Ивашки, жившего при царе Алексее Михайловиче, при дворе. Во время моровой язвы в 1659 г. Палаты были оставлены, все уехали и в них остался Ивашка один, с приказом кормить четырех царских попугаев. Попугаям был выдан корм, а про Ивашку забыли и он двадцать недель питался вместе с попугаями, их снедью. Рисунок изображает Ивашку (лицо), который смотрит в окно. В лице его и глазах — тоска одинокого зверя, тоска по людям, предельное одиночество, грусть и примиренность с судьбой — все это поразительно. В этом рисунке Ал. М. удалось то, что удается в самых лучших коротких и пронзительных его вещах. Ал. М. попросил меня продать кому-нибудь этот рисунок, так же как и другие, и я конечно взял его себе. Он, узнав, что я хочу для себя, стал отказываться от денег. Я заплатил и сказал ему в утешение: карлик

---

---

Ваш, Ал. М., пойдет жить ко мне. — Ну и хорошо, ответил он, у Вас ему будет не плохо.

Если у вас есть лук, пошлите им. Да, С. П. просит прислать ей карточки детей. Вообще пиши ей чаще, т. к. из-за болезни она особенно рада письмам. Их сейчас почти никто не посещает, кроме старых и измученных женщин. В Париже очень холодно . . .»

До смерти Серафимы Павловны, А. М. писал главным образом по делу, вся переписка и все отношения с людьми шли через С. П. С этой весны наша переписка не прекращалась. Отвечая на каждое письмо, А. М. писал нам короткие записки на бумаге с черной каймой. Часто речь шла о чем-то бытовом, но вся жизнь А. М. в опустевшей квартире отражалась в этих строчках. Полуголодный, он не мог согреться, но, преодолевая постоянную дремоту, теперь он лихорадочно работал. Много месяцев, ухаживая за больной женой днем и ночью, А. М. почти вовсе не спал и не мог писать. Теперь он писал — воспоминания о Вологде, о своей встрече с С. П. и о ее последних днях (*В «Розовом блеске» — Сквозь огонь скорбей, Мышкина дудочка*) Его занятия прерывались частыми «алертами» (сигналами воздушной тревоги).

«2. II. 1944. Дорогая Наташа! Спасибо, сыр получил. Вчера достал яблоков — это мой сегодняшний корм. Совсем простужен. С вечера трясет и до ночи. Радиатор — мало и только в кукушкиной и не все время. Вот почему. Отдельваю «Чаромутие». Сегодня помешал алерт. Мешает и то, что нет спичек, приходится ходить на кухню, от газа беру огонь. А на воле первые весенние дни. Алексей Ремизов».

Каждая строчка пронзительна, в жизни А. М. так говорил. Голос его был тихий и ровный и звучный, ни одного потерянного смазанного слова или слога. Сказанные слова жили и произнесенная фраза в своей простоте и сжатости звучала крепко. Впоследствии мне пришлось видеть Алексея Михайловича во все часы дня и ночи, во время бодрствования и сна, болезни и здоровья, оживления и покоя, волнения и упадка сил; А. М. никогда не изменил себе — голос всегда был ровен, точные слова выговаривались тихо и крепко. Так он думал и переживал.

В месяцы после смерти Серафимы Павловны, А. М. раздаривал друзьям, любившим ее, все, что осталось от нее, осколки их прежней жизни. Коллекцию бисерных изделий, ожерелья, чарку гетмана, маленькие вещицы, лиловую тальму «любимой бабушки», старинную шаль, кусочки парчи, «заветное», — предметы, имевшие особенное значение или хранимые с детства, иконы — все, что когда-то составляло особенный ремизовский мир.

В те годы, до войны, в квартире Ремизовых поражала торжественность и особенная тишина, ритм установленного быта и приема гостей. На полках были расставлены книги, обернутые цветной бумагой, стены украшены какими-то удивительными вещами, разве-

---

---

шенными с большим декоративным чувством. А. М. говорил, что он унаследовал это умение представлять и оживлять предметы от своего отца, московского купца второй гильдии, торговавшего галантереей. Везде были порядок и чистота.

Снаружи к входной двери был прикреплен кнопкой голубой или зеленый кусочек бумаги с надписью, тщательно выведенной рукой А. М.: «висит зеленое и поет», и на свитой зеленой шерстинке никелевая монетка с дырочкой. Бывало дети срывали монетку, — А. М. деловито и терпеливо подвешивал новую.

Гости приходили вечером. Иногда дверь открывала Серафима Павловна, величественная, нарядная в цветном платье. Встречала с улыбкой и лаской. После долгих поцелуев и приветствий вводила по коридору в «кукушкину» комнату, где за письменным столом занимался Алексей Михайлович. Продолжая возиться и перебирать бумаги, А. М. здоровался так, точно он только что расстался с вами. — Ну, рассказывайте! — Или сам сообщал что-то или о ком-то, так, как будто вам все известно и он продолжает прерванный разговор. А. М. смотрел на вошедшего через круглые очки, улыбался с ласковой внимательностью вглядываясь в лицо посетителя и создавая впечатление, что именно этот гость ему интересен и важен. Усаживал гостя против себя. А. М. сидел в своем кресле за письменным столом из простого дерева, раскрашенного красной и черной тушью, и обычно рисовал. На столе в определенном порядке стояли нужные и привычные вещи — чернильница, календарь, коробка с папиросами, большой коробок спичек, ручки, перья, карандаши, пресс-папье. Под лампой — Фейерменнхен, матерчатый человечек, гном или клоун (очень старая дама скажет: «паяс»), в черном колпачке с грустным и ласковым взглядом. Фейерменнхен — дух огня, от него свет и тепло. Одна или две книги с вложенными бумажками — закладками, папки с бумагой, рукопись, тетрадь. В последние годы жизни для работы Алексей Михайлович пользовался исключительно тетрадями, на правой странице он писал текст и вносил поправки на левой.

На стене над изголовьем узкого дивана, на котором спал Алексей Михайлович, тикали часы: деревянная кукушка выходила из домика и куковала, отсчитывая свое, кукушкино время. Возле нее на фоне золотой бумаги — Эспри. Это сухая веточка, напоминающая фигурку человека с привязанной на шнурке гладкой шишкой. Эспри был найден в ящике с дровами. По комнате между столом и потолком протянуты две бечевки, идущие к углу. Когда-то, в Петербурге, в углу помещался паук (потом уже паука не было и о нем не вспоминали), к нему шли игрушки, подвешенные на нитках, паук ел их. Разные звери, пражские пестрые человечки, деревянное красное сердце из Германии, носатая птица, клешня, корешки, символическое и колдовское: прозрачные рыбы скелеты, при их



---

---

помощи шаманы вызывали бурю. Тибетское ожерелье, подарок Рехи, тонкие косточки — «паук наел».

В 1926 году разразилась драма: игрушки были сняты под напором гнева Серафимы Павловны. Иностранный гость, восхитившись Алексеем Михайловичем и его обстановкой, описал все и внес в свой роман. Описание очень не понравилось С. П.: «Налетчик обокрал нищего бесправного русского писателя». Несколько лет место игрушек пустовало. Все же, мало-помалу, появились новые игрушки и незаметно заняли место на нитках.

После приветствий, короткой беседы и обмена новостями А. М. проходил на кухню, ставил чайник. Сам заваривал крепкий, душистый чай и укутывал чайник красно-рыжим колпаком. Все делалось чинно, по правилам, не спеша. С царственной улыбкой С. П. приглашала к столу, уставленному чашками, печеньем и сладостями. Она любила угощать. Нам, девочкам, давалась «конурка» — коробочка, куда складывались конфеты, орехи, миндаль, пастила. После чаю, «своих» гостей С. П. приглашала к себе, в «Серафимы Павловнину комнату». Перед иконами горела лампадка, освещающая розовым светом бисер, развешанный на стене. Большая часть бисера вывезена из родного дома Серафимы Павловны Ремизовой, урожденной Довгелло (литовский дворянский род). Мать ее урожденная Самойлович — они потомки гетманов. Бисерные изделия — работа бабушек, теток и крепостных девушек, тончайшая работа иглой или крючком: кошельки («бисерные кошельки» в сказке из книги «Посолонь»), картинки, шкатулка, чубук. На полке книги, русские классики и пособия для палеографии (Тихонравов, Срезневский). На кресле — рукоделие: цветные одеяла связаны Серафимой Павловной. С. П. садится в кресло и начинается задушевный разговор. Потом переходили в кукушкину.

А. М. занимается, но следит за разговором, выглядывает из-за бумаг и смотрит сквозь круглые очки, вставляет свое слово. Иногда берет книгу и читает вслух. А. М. любит читать вслух и читает он необыкновенно, выделяя нужное слово и фраза приобретает неожиданную силу. Читая, А. М. дает жизнь, вскрывает внутренний ритм и смысл прочитанного. Он маленького роста, согбенный, на вид слабый, но у него большая крепость в руках и крепость голоса как будто негромкого, но всегда отчетливого и твердого. На публичном чтении он наполняет голосом большую залу (Лютетция). Друзья и «враги» (т. е. те, кому искусство Ремизова не только непонятно и чуждо, но враждебно. Таких, в первые годы эмиграции, было много среди писателей, средней интеллигенции и большой публики — «русских шоферов» в Париже) слушают с одинаковым восхищением, чтение Ремизова завораживает всех без исключения. Известные отрывки из русских классиков звучат по новому, как будто их слышишь в первый раз. С эстрады А. М. читает свое: из книги «Оля»

---

или из «Взвихрённой Руси» — Шумы города, Крестовая барышня, Белое сердце; из «Посолони» — Монашек, Петька и бабушка, Эспри. Во втором отделении любимые страницы из русских писателей: «Живые мощи» Тургенева, сцена из «Полунощников» Лескова, «Питомка» Слепцова, «Лефортовская маковница» Вельмана, и самое проникновенное: поклон матери из «Подростка», «Три старца» Толстого, «Рыбака и рыбку» Пушкина. И Гоголя — «Ночь перед Рождеством», полет ведьмы из «Вия» (те, кто слышал, никогда не забудут). В свое последнее выступление — зал русской Консерватории, летом 1949 года, — А. М., уже слабый и больной, читал наизусть «Рыбака и рыбку». Я должна была подсказывать, но не пришлось: А. М. прекрасно помнил сказку.

А. М. всегда чем-то занят: или клеит обложки и обрамления из цветной бумаги — данная ему для прочтения книга возвращается в разноцветной обложке — будущие „collages“, для них он сохраняет серебро от шоколада, яркие бумажки. Чаще всего А. М. рисует. В общей его одаренности (слово, музыка, способность к рисованию) поражает своей оригинальностью и мастерством графический дар. Почерк у него легендарный. В те годы А. М. рисовал тончайшим пером, вплетая в узоры лица, фигурки, зверей.

Прежде чем начать писать, А. М. должен был увидеть, то есть нарисовать персонажей своего повествования. Ремизовы постоянно перечитывали русских писателей, одного за другим, часто в присутствии зашедших гостей. А. М. читал вслух, подчеркивая карандашом на страницах книги то, что останавливало его внимание. Затем он рисовал, изображая лица и сцены. Из таких иллюстраций к классикам или собственным произведениям составлялись альбомы. Их продавали ценителям, — среди состоятельных людей таких было немного, — за очень небольшую цену. Друзья Ремизовых обходили по списку богатых любителей искусства или просто желающих помочь писателю. Марсель Арлан однажды сообщил мне, что Пикассо, заинтересовавшись графическим искусством Ремизова, приобрел его рисунок.

Утро и начало дня были посвящены работе: А. М. писал, С. П. или ходила в „Ecole des Langues Orientales“ (Школу восточных языков), где она читала лекции по русской палеографии или занималась, подготавливая лекции. Она начинала утро чтением Евангелия.

Гости «допускались» только с пяти часов вечера.

По вечерам А. М. выходил из дома очень редко. Иногда Дягилев, Прокофьев, Кусевицкий присылали билеты в Оперу. Серафима Павловна ходила ко всеобщей, в гости или по делам. В ее отсутствие А. М. сам открывал дверь гостям, усаживал возле себя, разговаривал и шутил, внимательно о чем-нибудь расспрашивал. Такие беседы, в ожидании Серафимы Павловны, назывались: «вечера к пришествию». Потом приходила С. П., делилась впечатлениями,

---

говорила горячо и часто волновалась. «Злая жизнь, с ее мятежным жаром» — врывалась и к ним. А. М. успокаивал Серафиму Павловну как умел. Вопрос материального существования стоял остро, денег всегда не хватало.

Писателей и поэтов в эмиграции было много — страниц для печатанья очень мало. Между писателями возникало чувство ревности, обиды, обойденности. Писателей таких, какими были Ремизов или Цветаева, печатали не часто и неохотно. Редакторы сознавали их величину и значение, но должны были учитывать вкус средних читателей.

С. П. успокаивалась, беседа входила в мирное русло. А. М. всегда отмечал смешное: смешная сторона жизни его привлекала. «Веселость духа» — говорил он о Чехове, причисляя и себя к тем, кому свойствен бескорыстный смех — отклик на непосредственно смешное. И Гоголь — постоянная тема Ремизова. О гоголевском смехе он написал проникновенные страницы в одной из своих последних книг — «Огонь вещей».

За беседой А. М. рисовал и подписывал «Обезьяньи грамоты», которые даровались новым кавалерам «обезьяньего знака» Обезьяней Великой и Вольной Палаты (Обезвелволпал).

Первый обезьяньий знак я увидела еще в 1917 году у моего дяди В. М. Чернова, знавшего Ремизова по ссылке в Вологде. Это был небольшой картонный билет с рисунком очень «модерн», как и все графическое искусство Ремизова: рожица, вписанная в треугольник, раскрашенная зеленым. В. М. сказал мне, что это знак тайного «обезьяньего» ордена. Дядя возбудил во мне большое любопытство, но ничего не объяснил.

В 1923 году, когда я покидала Берлин, где состоялось мое первое знакомство и первый период дружбы с Ремизовым, А. М. подарил мне на прощанье книжку и надписал: «Хранить обезьяньи заветы накрепко». Книжка эта — написанная А. М. еще в 1908 году «Трагедия о Иуде, принце Искаротском», в которой ее герой, обезьяньий царь Асыка, награждал другие персонажи трагедии обезьяньими знаками.

Обезьянья палата — это символ прежде всего выхода из трехмерности, неприятия обязательной для человека «нормальной нормы». В этом сказывалось основное свойство душевного склада Алексея Михайловича Ремизова: непокорность и протест против навязанной реальности, общих истин, установленной шкалы ценностей. Обезьянья палата, конечно, не имела никакого отношения к настоящим обезьянам, да А. М. их и не любил: они были для него только символом свободы, своеволия и неподчиненности человеческим законам и нормам. Обезьянья палата была открыта для людей, способных глубоко и бескорыстно интересоваться и творчески любить что-то, выходящее из строя повседневных интересов и дел, нормаль-

---

---

ных занятий, приводящих к нормальной цели. Люди становились друзьями Ремизовых и принимались в Обезьянью палату по тому же самому признаку: влечению к чему-то необычайному, оригинальному, хотя бы и бесполезному. В Обезьянью палату входили не только художники, писатели, поэты, музыканты, но вообще люди, способные увлекаться и любить до забвения себя и своих интересов все равно что: музыку, литературу, театр, какую-нибудь иную деятельность, или даже такое, что в глазах других выглядело лишь чудачеством.

Обезвельволпал возглавлялся обезьяньим царем Асыкой. Царь невидимый, но его портрет известен и обезьяньи грамоты он подписывал «собственнохвостно». Сам Алексей Михайлович занимал в палате место «канцеляриуса». Новопринятому кавалеру вручалась грамота с каким-нибудь знаком: «кукушкиным яйцом», «кунными лапками». Старейшие князья обезьяньи — А. Блок, А. Белый, П. Е. Щеголев, Р. И. Иванов-Разумник, Л. Шестов, М. Пришвин, Е. И. Замятин (Замутий). Горький был в восторге при получении грамоты и громко смеялся: Пешковы стали князьями! Существовали зауряд-князья, кавалеры. Обезьянья палата была открыта довольно широко. Иногда поговаривали о том, что не худо бы произвести чистку, так как уже забывалось первоначальное назначение палаты. Грамота тщательно выписывалась, выглядела красиво. Указано было имя и звание кавалера, плата за расходы; плата вносилась кто чем мог: рисовальная бумага, альбомы, цветные бумажки, редкая книга, семга, помешение рассказа в каком-нибудь журнале или газете. Обезьянья печать большая, с тонким графическим рисунком, обыкновенно изображала кавалера и канцеляриста, скрепившего грамоту печатью. Затем подписи князей и кавалеров, с обозначением их чина и звания: куафер и музыкант обезьяний, стрекоза, она же Нонн (монахиня), князь-епископ (Б. Зайцев), эмир обезьяний, монада, полпред баский, великий муфтий (И. Бунин) — и росчерк: «собственнохвостно царь обезьяний Асыка».

«Обезвельволпал, в который Ремизов, полвека, с открытия палаты держится в должности обезьяньего канцеляриста . . .» (26. III. 1957. — Юбилейная книга писем).

«На Иван Купала, 24 июня 1957, исполняется 80 лет А. Ремизову. Обезьянья Великая и Вольная Палата, «канцеляристом» которой палаты Ремизов держится полвека, со дня основания, по этому случаю выпускает книгу Ремизова — в издании Оплешника: две поэмы в прозе — Тристан и Исольда (XII век) и Бова Королевич (XIV век) в количестве 300 экземпляров» (74-я книга писем).

В кукушкиной разговор шел тихо. При жизни Серафимы Павловны во всем существовал особенный чин. Ремизовы обращались друг к другу на «вы» и называли по имени и отчеству. Но сохранилась и бытовая записочка, оставленная Серафиме Павловне: «разо-

---

грей картошку . . .» — на «ты». В приеме гостей соблюдался некоторый ритуал. Существовали запреты: не курить возле икон, не вести разговор на несколько тем сразу, не приходиться стаями. Этот своеобразный этикет отталкивал некоторых друзей; другие охотно поддавали под тон, воспринимая порядки кукушкиной как игру, имевшую смысл и значение. В квартире тишина, нарядно убрано, все подчинено принятому порядку, во всем особенный ритм, горят лампы, комнаты сильно нагреты. А. М. все же накидывает плед, жалуясь на холод. Беседа должна вестись чинно, не снижаясь до сплетен и пересудов. С. П. ученая женщина, преподает русскую палеографию в Школе восточных языков. Она не только глубоко знает, но и глубоко любит свой предмет и охотно им занимается дома с желающими. Знания и память у нее необыкновенны. Она помнит наизусть «Демона», «Евгения Онегина» (в последние годы своей жизни С. П. выучила наизусть всего Блока). Из древней русской письменности она читает по памяти старинные, мало кому известные апокрифы. Змий, искусивший Еву — не змея, лицо его было прекрасно, а голос такой, что райские птицы заслушивались его. К Серафиме Павловне Ремизовой обращаются ученые из разных стран для расшифровки древних рукописей и их определения. С. П. больше всего любит Россию, и знает ее прошлое. Русская история для нее — свое, как предания и память ее родного дома (помещичий дом в Черниговской губернии). Она любит рассказывать про свою семью и дом с его твердым укладом и бытом. Рассказывает она удивительно, плавно и звучно, говорит с увлечением. Воспоминания ее яркие и живы. Книга «Оля» написана по рассказам С. П. В детстве она мечтала иметь подругу, во всем похожую на нее, но чтобы ее звали Оля.

Чаще всего Серафима Павловна ясная, ласковая. Но бывают дни, что-нибудь ее огорчит или расстроит и она мрачнеет, как туча. Тогда кровь гетманов сказывается в ней. Алексей Михайлович старается уговорить, отвратить бурю. Иногда это удается, у С. П. в характере много детского, ее легко чем-нибудь обрадовать, отвлечь от того, что ее сердит и печалит. С. П. не терпит несправдливости, но ее может вывести из себя и пустяк. Душевные движения у нее сильно проявляются, она горячая и прямая, с большим темпераментом, властная и часто несправедливая. Она очень требовательна к людям и в дружбе тиранична. Но друзья ей многое прощают за улыбку и ясный взгляд светлых серых глаз, отражение детской части ее души. Она отзывчива к людям, к их беде.

Серафима Павловна глубоко религиозна. Церковные праздники, именины — для нее настоящие праздники. Пасху она переживает как событие. В ее горячей вере она нетерпима и у нее нет смирения и кротости, даже иногда желая понять другого человека.

В эмиграции жизнь не легкая, но когда, во время немецкой ок-

---

купации, настали испытания — голод, холод, болезнь, Серафима Павловна все сносила без ропота, стоически. «Вы бы не узнали Серафиму Павловну, такая она стала кроткая . . .» — писал мне А. М. В последние годы она много молилась, сочиняла молитвы и записывала их. Читала Евангелие. С особенным чувством и особенным голосом (стихи она читала замечательно, с интонацией, взятой у Блока) она говорила стихотворение Сологуба:

Подыши еще немного  
Тяжким воздухом земным,  
Бедный слабый воин Бога,  
Весь истаявший как дым.  
Что Творцу твои страданья,  
Капля жизни в море лет?  
Вот, — одно воспоминанье,  
Вот, — и памяти уж нет.  
Но, как прежде, ясны зори,  
И, как прежде, ярок свет.  
Плещет море на просторе,  
Лишь тебя на свете нет.  
Подыши еще немного  
Сладким воздухом земным,  
Бедный, слабый воин Бога,  
А потом уйди как дым.

И было понятно, что этот воин Бога — она.

Серафима Павловна очень любила детей, делала им подарки, и не терпела насилия над детьми. Идеалы и каноны Ремизовых соответствовали идеалам русской интеллигенции — уважение к человеку, свобода, человечность. В те 1920-30 годы почти повсеместно наблюдалось преклонение перед силой — сильными личностями. В Европе — фашизм, в некоторой части эмиграции — отражение этого увлечения. «И с каких это пор интеллигент стало бранным словом?» — говорил Алексей Михайлович.

А. М. всегда старался оберегать С. П. от всякого огорчения и волнения и со всем упорством своего сильного характера делал все возможное, чтобы доставить ей известный комфорт — «человеческую жизнь». Но возможностей было очень мало в условиях эмиграции. Печатали редко и платили мало. Французская элита очень высоко оценивала творчество Ремизова, отмечая оригинальность его «мира» и в особенности поэтическую сторону его произведений. Рассказы Ремизова появлялись во французских журналах, но это почти не приносило денег. Материальная необеспеченность преследовала А. М. всю жизнь, еще в России, до революции, они постоянно нуждались. С этим было связано не покидавшее А. М. чувство вины перед С. П.

---

Были особенно трудные дни, вот письмо Серафимы Павловны от 10. XI. 1932 года:

«Дорогие Наташа и Оля, получила Ваше письмо, очень рада, что вы уехали, но куда? А мы не уезжали, у нас закрыли газ и электричество, а Ал. Мих. был болен очень сильно, и мы переехали к моей старухе и прожили у нее 10 дней пока не открыли газа. Я очень измучена. Все сами делали, ни души не было. Ал. Мих. теперь лучше гораздо, мы просили комнатку и она нам на эти дни помогла. А Оля думала, что мы в деревне. Обнимаю вас и моих милых детей».

«Моя старуха», которая помогала Ремизовым в тяжелую минуту, — их давнишний друг, очень старая женщина. «Она была сногсшибательная красавица, — рассказывает С. П. — Дальняя родственница и невеста Владимира Соловьева...» — «То-то и дело, что невеста! — возмущенно перебивает А. М. — Покориться! Жить по чужой воле!.. Родители не захотели...» Он этого не принимает.

В кукушкиной бывали и просветы: откуда-то приходили деньги, на время можно отдохнуть от забот. Покупали книги, подарки, на столе появлялись вкусные вещи. Гости засиживались поздно: обстановка кукушкиной завораживала.

После смерти С. П. долгие годы А. М. жил один и сам провожал посетителей по длинному коридору. Потом ему уже было трудно вставать и ходить. Тогда он провожал улыбкой, со своего кресла, и говорил с суеверным волнением: «Идите тихо, идите спокойно...»

---

---

**СЕРГЕЙ КОРВИН**

## **Записки архитектора**

### **В РАЗНЫХ МИРАХ**

Моя жизнь оказалась поделенной на совсем несхожие половины. И вид из окон комнаты последней половины здесь, на изнанке земного шара, решительно не похож на тот, привычный с юношеских времен, из моего «тамошнего» окна, в одном из тишайших переулков московского Остожья или Остоженки, как она стала называться в более поздние времена.

И начала жизни, противоречия между ними, борьба за существование здесь и там совершенно различны. Здесь — борьба за равные социальные права и преимущества, выливающаяся порой в подобие восстаний, со стрельбой и пожарами; борьба за лишние доллары, часто путем непривычных прежде мне забастовок, чтобы заставить богатейшие предприятия страны эти доллары платить. Короче говоря, здесь борьба не за необходимое, без чего нельзя жить, а за то, чтобы поднялся и без того необычайно высокий жизненный уровень: за лучший дом, за лишний автомобиль, холодильник или телевизор.

А там, на родине — жестокая борьба двух миров, с физическим уничтожением победителем побежденных, двух мировоззрений: маложизненной доктрины против живого быения жизни, с ее традициями, укладом, искусством, религией.

Там — под окном старый клен, с узорчатой тенью от него на побеленной стене древнего монастыря, ограничивающей небольшой садик, в котором моя няня любила распивать чай с знакомыми монашками, матушками Серафимой и Александрой, ведя с ними чинные разговоры.

За стеной крыши домиков монашеских келий, монастырский собор с позднейшей, XVIII века, башней-звонницей чудесного рисунка зодчего Матвея Казакова. Еще дальше, налево — резной, нарышкинского барокко силуэт старинной надвратной церкви с белокаменными орнаментами-украшениями.



---

---

Когда было «изъятие церковных ценностей», монастырские архивы, из нелепого озорства, разбросали по двору. Мать Серафима подобрала несколько рисунков и чертежей и принесла мне показать, — это были подлинники самого Казакова. Часть их, как драгоценность, я отдал в библиотеку Академии архитектуры, а часть обрамил и они висели у меня на стене по соседству с полотном Гвидо Рени, изображавшим Венеру с пухлым амуром: барокко итальянское прекрасно сочеталось с барокко русским.

Церковные службы в монастыре давно не совершались, в соборе устроили склад, и только в маленькой надвратной церкви иногда служил старичок-священник. Когда умерла няня, ее ночью, почти крадучись, перенесли туда для отпевания, — пожалуй, ни одна служба не произвела на меня более сильное впечатление, чем это ночное отпевание.

Борьба власти против нас внешне не нарушала тишины прилежавших в монастырю кривеньких улочек и ожесточение этой борьбы сказывалось разве только в напряженном ожидании жителями беды. Кто может понять здесь, на этом краю мира, ужас в глазах моей матери, когда ночью мимо дома проезжал автомобиль, в особенности если он почему-нибудь замедлял ход: «Неужели к нам?! Неужели за тобой?»

И какие чувства вызывает у нас, россиян, побывавших в узилищах НКВД, когда читаем мы здесь в газетах, что вот, в такой-то тюрьме произошли беспорядки, кончившиеся избиением двух надзирателей: восстали заключенные, они требовали, чтобы им в обед на десерт давали сладкое не два раза в неделю, а каждый день! Что бы сказали эти голубчики, если бы побывали на Лубянке? . .

И все же, несмотря ни на что, оставалась и родная неуничтожимая краса. Раз зимой приехал проститься с нами перед отъездом в Литву Мстислав Валерианович Добужинский. Пили чай, беседовали; говорили и о том, увидимся ли в жизни еще. Пришло время расставаться. Я пошел проводить гостя до угла нашего пустынного переулка. Стоял сильный мороз; снег, с резкими на нем тенями, был ослепительно бел. Мгла висела в воздухе и вокруг луны светился круг, как нимб. Он вырисовывался как раз позади купола надвратной церкви, выделяя острые профили ее белокаменных орнаментов.

Добужинский несколько мгновений стоял, любясь этой удивительной картиной. «Как счастливы вы, Сергей, что тут живете!» — Мы простились и больше никогда друг друга не видели. Уже здесь, в Америке, переписывались, собирались встретиться, да так и не собрались. Я жил и живу в Калифорнии, а Добужинский последние годы своей жизни провел в Нью-Йорке, где и умер в 1958 году.

И вот окно комнаты второй половины моей жизни. Прямо впереди «одноэтажная Америка» — домики, в них, без исключения, по вечерам мерцает синеватый свет телевизоров (я еще держусь, у ме-

---

---

ня телевизора нет, но кажется, скоро сдамся). Фронт домов заставлен автомобилями, не влезающими в гаражи: у каждой семьи по две, три машины. Дальше невысокие горы, вернее холмы, заросшие кустарником holly — откуда и название: Hollywood. А если посмотреть налево, открывается панорама центра города — или «нижний город», как его тут называют. И в конце, на горизонте, блестящая полоска Тихого океана.

Лос-Анджелес — город ангелов — не типичен для больших городов Америки: он необычайно широко раскинулся, многие его жители имеют дома, окруженные садами, — как усадьбы в какой-то громадной деревне. Небоскребы начали возникать на главных улицах нижнего города уже на моей эмигрантской памяти и выглядят они, как одинокие зубы в стариковском рту.

На нашем холме жизнь замирает рано: благонамеренные отцы и матери семейств, народ трудовой, ложатся спать спозаранку, и только иногда молодежь, совсем как когда-то в наших деревнях, собравшись кучкой, покричит, потопчется на улице; голоса ее звонко раздаются в ночной тишине.

Зато в нижнем городе, фантастически освещенном, жизнь кипит. И каждый раз, посматривая из окна, я невольно спрашиваю себя: что там, за этой сверкающей иллюминацией, какие страсти горят там в это время, когда я сижу в моей тихой комнате, с мирно похрапывающим на диванной подушке мопсом Тарасом? И во что выльется это бушевание богатства и хотя бы относительной бедности, любви и ненависти, верности и измен, законности и беззакония?

И мне вспоминаются, из «Царской невесты», слова Вани Лыкова, вернувшегося в Москву из поездки в неметчину: «Иное все у них — и небо, и земля!»

## ДЕТСТВО, ТЕАТР, БЛИЗКИЕ

Почти все мои первые театральные впечатления связаны с Петербургом и с семьей одной из самых моих любимых теток — Дарьи Васильевны фон-Рюдман. Она была родной кузиной моей матери, дочерью брата ее отца, генерала Василия Васильевича Корвин-Круковского.

Супруг Дарьи Васильевны, Николай Эдуардович фон-Рюдман, занимал в Петербурге сравнительно высокий пост в бюрократической иерархии того времени: он был сперва помощником, а затем и управляющим так называемого «Кабинета Его Величества», причем непосредственно в его ведении находилось управление Императорскими театрами. Его жена была этим чрезвычайно довольна: она была страстная театралка, вся в своего брата Юрия Васильевича Корвина. Он, окончив Морской корпус, вышел в Гвардейский эки-

---

---

паж, рано подал в отставку и стал, к ужасу дедов, актером Александринского театра. В семье разыгралась трагедия: деды рвали и металы, но дядюшка был тверд и неумолим — и несмотря на грозивший ему разрыв с семьей в театре остался.

Рюдманы занимали огромную, в целый этаж квартиру-резиденцию на Воскресенской набережной в доме Дворцового ведомства, выходящем окнами на Неву. В этом же доме в первом этаже, под Рюдманами, жил, в такой же квартире, высокий величественный старик — министр Двора граф Фредерикс, фигура колоритная для Петербурга.

Традиционно, почти каждое Рождество, мама со мной и моей сестрой приезжала на полторы-две недели к Рюдманам. У них я и был покорен чарами нашего театра, и не только как зритель, издали смотрящий на сцену: на мою долю выпало счастье лично узнать многих людей, этот театр создавших.

Дом Рюдманов, особенно в праздники, был полон актерами, певцами, музыкантами, художниками. Сама Дарья Васильевна была женщиной примечательной: с крупными, энергичными чертами умного лица, она imponировала своим большим ростом, при котором даже не очень бросалась в глаза ее могучая толщина, хотя перчатки выше локтя, из-за полноты рук, ей приходилось заказывать специально. Говорила она громким, властным голосом и была полной хозяйкой в доме. «Как хочешь, Дарьянька», — был всегдашний ответ супруга.

Хорошо помню свое волнение, когда тетка представляла меня, как мальчика, «подающего надежды», таким актерам и художникам, как Давыдов, Фигнеры, Бенуа, Головин, Добужинский. Особенно близка была Дарья Васильевна с обоими Фигнерами (больше всего, конечно, с Медеей Ивановной) и с Алчевскими, которые приходили к ней запросто; Дарья Васильевна, очень неплохая пианистка, часто садилась за рояль и аккомпанировала Медее Ивановне, или ей с мужем, или Алчевскому, певцу, обладавшему необыкновенно высоким голосом.

Иногда приходил брат Дарьи Васильевны, Юрий Васильевич, приводевший с собой корифеев своего, Александринского, театра: Варламова, Давыдова, молодого тогда Юрьева, и они громкими, поактерски «поставленными» голосами обсуждали новые театральные постановки.

Никогда не забуду вечера, когда по просьбе взрослых Давыдов читал нам, детям, басни Крылова. Я, в памяти, по сей день вижу этого толстого человека, сидящего в кресле, с лицом, обрамленным «тройным» подбородком и с раздвинутыми, из-за невмещавшегося между ними брюха, ногами. Но когда Владимир Николаевич читал слова, скажем, за лису — лицо его преображалось и вдруг, неожиданно, вытягивалось «в трубочку» и действительно становилось по-

---

---

хожим на узкую лисью мордочку. А как изменял он свой голос, когда произносил льстивые слова лисы, завораживающие ворону! Мы, дети, от этих чтений бывали в полном упоении, но подозреваю, что взрослые были в упоении еще больше.

В распоряжении Николая Эдуардовича почти всегда была ложа Императорского двора. Если она оказывалась свободной, — а занята она была редко, — то нам, детям (у Рюдманов было двое мальчиков, наших сверстников) объявляли: «Сегодня едем в театр!» Обедали в такие дни наспех, да и есть от волнения не хотелось. Потом взрослые и мы, дети, шли переодеваться. Дамский туалет в те времена занимал много времени, и я помню возглас отца, иногда вместе с нами ездившего в Петербург: «Ермаков! (его лакей) Когда барыню причешут и она станет надевать перчатки, подавай мне бриться!» — и отец был готов вовремя.

Наконец докладывают, что карета подана, — одна из тех Дворцового ведомства карет, которые развозили учеников императорских театральных или балетных школ.

И странное дело: наряду с блистательными, немеркнувшими в моей памяти впечатлениями от первых виденных балетов или слышанных опер, да и вообще театров с их убранством и публикой, я запомнил на всю жизнь, с совершенной явственностью, целую гамму запахов, связанных с поездкой и приездом в театр. \*

На Рождество и особенно под Крещение в Петербурге стоят морозы, да еще с пронизывающим ветром с Невы. Мы, дети, стоим в передней, уже готовые к отъезду — в шубах, башлыках — дожидаясь взрослых.

Выходит наша мать — красивая, по вечернему одетая, сильнее, чем обычно, надушенная ее любимым шипром. Голова у нее покрыта тонким оренбургским платком, на плечи ей накидывают ротонду.

Старик швейцар, в медалях, открывает двери. Резкий, сразу хватающий за нос ледящий ветер с Невы. Нас вталкивают в темноту кареты. От старого сукна обивки несет чем-то кисловато-затхлым, с примесью легкого душка дегтя от лошадиных сбруй, которые обильно смазаны, чтобы на холоду не замерзали колом. Мы рассаживаемся, мама прикрывает меня, вечно простуживающегося, полый своей ротонды, подбитой чернубурой лисой. Опять новый запах: шипра и невыветренного из меха вконец нафталина. Все разместились, карета трогается после зычного окрика швейцара: «По-

---

\*Между прочим, как-то я об этом написал Добужинскому, который незадолго до смерти ездил в Париж. Перед отъездом он попросил разрешения прочитать мои строки к нему, описание этих поездок в театр, старому Бенуа. По его словам, Бенуа очень расчувствовался и, припомнив меня, через Добужинского передал мне привет и благодарность за прочитанное ему.

---

---

шел!» Улиц не видно — окна замерзли, и только мутно светлеют, когда проезжаем мимо уличных фонарей.

Оклик кучеров; карета осветилась более сильным светом театрального подъезда. Старик капельдинер, из отставных гвардейцев, почтительно открывает дверь аванложи. С его помощью (капельдинера все звали по имени и отчеству) нас раздевают. Переходим в ложу, в ослепительно-блистательную голубизну Мариинского театра, садимся: дети на передние места, взрослые сзади. Тут встречаются новые запахи, характерные для зрительного зала и нарядной толпы: из соседних лож, партера — запах духов, от стен — чем-то домашним, чем пропитаны старые дома: невыветриваемым запахом пыли, забившейся десятилетиями в драпировки, мебель, люстры, в лепные украшения барьеров ярусов.

В партере неторопливое движение. Военные стоят спиной к сцене, лицом к пустой, в центре театра, главной царской ложе. Свет постепенно гаснет; прекращаются приглушенные нестройные звуки в оркестре, шорохи в публике. Появляется дирижер. Взмах его рук в белых перчатках — начинается увертюра. Поднимается занавес — и тут со сцены в зрительный зал потянулся сквознячок-холодок, неся новую и окончательную волну запахов: пудры и грима артистов, клея от декораций. Спектакль начался.

Не стану рассказывать о своих первых впечатлениях от виденных и слышанных в те времена балетов и опер: память могла недостаточно их сохранить. Скажу лишь, что некоторые детали запомнились надолго, на всю жизнь. Императорские театры щедро трагились на постановки спектаклей, механики сцены изошрялись в выдумке эффектов — вроде высоченных журчащих фонтанов настоящей воды в садах Дульцинеи Тобозской в балете «Дон-Кихот» или «настоящего» пожара дома в «Дубровском».

Спектакль кончился. Снова начинается процедура нашего одевания; затем толкучка у выходных дверей, пока вызывают кучеров карет или саней. По приезде домой взрослых ожидал накрытый стол. Когда мы стали постарше, нам тоже разрешали иногда присоединяться к взрослым.

Дарья Васильевна, плотоядно облизывая губы, большим ножом резала холодную дичь, либо окорок ветчины, от которого после ужина мало что оставалось. В те времена мужчины, да и дамы, себя в еде не ограничивали.

На другой день после оперы мы с сестрой и нашими кузенами Рюдманами старались воспроизвести сцены из виденного и слышанного накануне, причем буквально переворачивали все вверх дном в большой «игральной» комнате кузенов, стараясь устроить некое подобие декораций. Иногда нам в этом помогал Добужинский. На святках у Рюдманов устраивались танцевальные вечера. Вызывались плотники из декорационных мастерских, в большом танце-

---

вальном зале возводилась эстрада-сцена с занавесом. Выступали «настоящие» актеры и певцы, но должны были участвовать и мы, дети; однажды для нас, детей, придумали «живые картины», которые мы и должны были изображать. Успех картин был шумный, все громко аплодировали, но особо был выделен я — я был горд ужасно.

Сергей Львович Бертенсон, написавший книгу «Вокруг искусства», начал свою служебную карьеру в императорских театрах под руководством дядюшки моего Николая Эдуардовича — много вечеров провели мы вместе, уже здесь, в Америке, вспоминая эти незабываемые для нас обоих времена.

Конец Рюдманов был более чем печальный: Николай Эдуардович умер от голодного истощения в начале 20-х годов. Дарья Васильевна, пережив его, благополучно работала заведующей библиотекской Политехнического института. После убийства Кирова ее арестовали, долго мучили в НКВД и услали в один из далеких лагерей. Там умерла она от гангрены, беспомощная и одинокая.

Мои кузены погибли еще раньше, при жизни родителей. Оба они были молодыми офицерами гвардейских полков — этого было достаточно, чтобы их уничтожили «на всякий случай» только что учрежденные «чрезвычайные» органы.

## В ДВАДЦАТЫЕ ГОДЫ

Познакомил и ввел меня в дом Луначарских мой большой друг, премьер Камерного театра Николай Михайлович Церетелли (один из последних отпрысков эмиров бухарских). Николай Михайлович, исключительно привлекательный своим мужественным худощавым лицом, носом с горбинкой, которые он унаследовал от бабушки-грузинки, и великолепной, как у джигита, фигурой, широкой в плечах и узкой в бедрах, пользовался у москвичек успехом совершенно необыкновенным. И он был не только даровитейшим актером, но еще и чрезвычайно веселым и остроумным собеседником. Церетелли встретил Наталью Александровну Розенталь, жену Луначарского, на кинематографических съемках, очень подружился с ней и стал частым гостем в их доме. Он попросил разрешения привести к ним меня.

Анатолий Васильевич Луначарский встретил приветливо и сразу же спросил, не из семьи ли я (он назвал мою фамилию), в которой бывала его племянница Таня. Дело в том, что моя кузина училась в гимназии в одном классе с некоей Таней Луначарской. Кузина у нас бывала часто, она и привела к нам Таню, славную, одинокую девушку. Родители ее жили в небольшом имении где-то на юге России; рассказывала она и о том, что у нее есть дядюшка Ана-

---

---

толь, большой чудак, живущий за границей: он не может вернуться на родину по причинам политическим . . .

Повторяю, Анатолий Васильевич встретил меня исключительно приветливо, сказав: «Таня в своих письмах ко мне всегда тепло о вашей семье отзывалась!»

У Луначарских бывать было интересно: хозяин дома не был ученым, его скорее можно было назвать очень образованным журналистом, что и было его профессией в эмиграции. Скитания по Западу дали возможность Анатолию Васильевичу, человеку от природы любознательному, многое повидать; необыкновенная память удерживала в голове его все, что он прочитал в свое время или осматривал. Обладая, к тому же, блестящим даром слова, Луначарский мог почти без подготовки говорить на любую тему, будь это музыка, театр, литература или живопись.

Дома Анатолий Васильевич всегда затевал разговор на доступные понимаю и эрудиции собравшихся темы. Не стесненный в домашней обстановке «пролетаризацией» своей внешности, нарочито неряшливой, он выглядел, как и часто бывавший у них Свидаерский, интеллигентом «чеховского» типа: оба с брьюшом, оба в усах и с бородками, песне на носу, оба в удобных просторных пиджаках. Луначарский был радушнейшим хозяином, любил сам хорошо покушать, угостить собравшихся гостей, распить бутылку доброго вина.

Все, кто в 20-25 годах приезжал с Запада в Москву — я имею в виду писателей, художников, актеров, музыкантов — приглашались в Денежный переулок, где в верхнем этаже шестизэтажного дома (рядом, между прочим, с особняком, где был убит граф Мирбах) находилась во весь этаж, да еще с мансардой, квартира Луначарских.

Не знаю в силу чего, но Луначарские приглашали меня к себе сравнительно часто, когда у них бывали гости с Запада. Может быть просто потому, что я был молодым человеком, говорившим на главных европейских языках. Кого только не перевидел я в Денежном переулке! Особенно мне запомнились встречи с актером Янигсеном, режиссером Пискатором, с музыкантом Тибо, Корто и многими другими.

У Луначарских бывали многие актеры, но главным образом — московского Малого и ленинградского Александринского театров: Остужев, Ленин, Садовский, Блюменталь-Тамарин (мать и сын «Вовка»), Юрьев (который звал меня «племянником»). Луначарский эти два театра ценил и любил больше других.

Когда приехал приглашенный властями архитектор Корбюзье, я был одним из переводчиков его доклада, в котором он излагал свои новые принципы в области архитектуры и градостроительства.

Луначарский на докладе не был, но после него позвонил по телефону и попросил, чтобы я к нему привел Корбюзье: разговор был

---

---

исключительно интересный и оживленный (Анатолий Васильевич хорошо говорил по-французски).

Анатолий Васильевич куда-то торопился. Уже прощаясь, он спросил Корбюзье, удовлетворен ли он гостиницей и не нужно ли ему что-нибудь. Тот ответил, что гостиницей он удовлетворен, но что ему исключительно неудобно работать (он уже начал делать эскизы заказанного ему здания Центросоюза) на маленьком, скользком от полировки столике в его номере.

Луначарский взглянул на меня и сказал по-русски: «Может быть, он мог бы работать у вас, Сергей?» Я, тоже по-русски: «А последствий никаких не будет?» — «Я берусь это устроить», — ответил Луначарский.

Надобно сказать, что после выхода и появления у нас в России первой книги Корбюзье об архитектуре („Une maison — une machine“), примерно в 23-м году, имя его стало для нас, русских архитекторов, самым передовым, интересным, значительным. Его идеи обсуждались на профессиональных собраниях, в обществах, группах; наша группа, во главе с архитекторами братьями Весниными, считала его уже тогда необыкновенно даровитым человеком, — недаром после смерти его называли «Архитектором мира номер первый».

И вот такого человека мне выпала честь «приютить» в моей комнате, дать ему возможность работать за моим рабочим столом! Благодаря Луначарскому, я получил пропуска в Кремль, тогда герметически закупоренный, вместе с Корбюзье мы бродили по пустым его площадям; для нас отпирали церкви. В Благовещенском соборе тогда впервые установили, после реставрации, весь «Деисусов чин», писанный Андреем Рублевым. При виде его Корбюзье, пораженный красотой красок и композиций громадных досок икон, мог только выдать из себя: „Pas possible!“ — «Это невероятно!» За нами все время ходило «лицо», державшееся на некотором расстоянии, но вряд ли оно что понимало из наших разговоров, профессиональных и, к тому же, по-французски.

Корбюзье, в бытность в Москве, был человеком лет около 35, среднего роста, скорее плотный, в больших роговых очках и в странном для Москвы «котелке» на голове (шляпа все еще оставалась синонимом буржуазности). Он часто оставался у нас обедать — и когда матушка моя к нему попривыкла, она спросила, женат ли он. Ответ был элегантно и чисто французским: „Non, Madame, mais je suis soigné“ (перевести это невозможно: «Нет, мадам, но я обеспечен уходом», — или что-то вроде того).

Корбюзье подарил мне тогда целую кучу своих великолепных набросков и рисунков — я так жалею теперь, что их у меня нет. Лишь портрет его, снятый тогда в моей комнате, у меня сохранился и поныне.



---

Позже мне еще раз пришлось встретиться с Корбюзье в Париже; о смерти его в 1964 году я узнал здесь, в Америке...

Анатолий Васильевич любил молодежь, любил, и очень даже, поухаживать за молоденькими девушками; сестра Натальи Александровны Луначарской, Таня Сац, была танцовщицей кардебалета в Большом театре и приводила, по просьбе и к удовольствию Анатолия Васильевича, целый выводок своих балетных приятельниц, когда у Луначарских собирался «народ».

Вообще атмосфера в доме в Денежном переулке была самая непринужденная, несколько богемного порядка. Сам хозяин никак не проявлял себя важным сановником и тем более принадлежащим к привилегированной касте большевиков. Добавлю, что Луначарский был далек от участия в жестоких репрессиях, наоборот, знаю, скольким людям он помог сохранить жизнь. Спасал от репрессий людей и впоследствии сам погибший Авель Енукидзе, секретарь ВЦИК. О нем мне много рассказывала Мария Федоровна Андреева, Луначарский и Енукидзе были в близких дружеских отношениях.

Как случай, характерный для отзывчивости Анатолия Васильевича, приведу эпизод со мной. За дипломный проект я получил золотую медаль. Это значило, по старой традиции и правилам, что сверх того я имею право, для совершенствования своих знаний, на заграничную командировку. Кстати, медали я фактически не получил, а только «справку», на ужасающей по качеству бумаге — желтовато-серой и ломкой, сухо удостоверявшую факт моей награды и привилегии, связанные с нею.

Я немедленно подал заявление в «соответствующие инстанции», т. е. в НКВД, о выдаче мне заграничного паспорта, приложив копию справки о своих на то правах. Случилось это в 1925 году. Прошел год, второй, третий — ответа никакого. «Паспорта на ваше имя нет», — холодно отвечало мне «окошко» заграничных паспортов.

Как-то у Луначарских я с нескрываемым раздражением стал говорить об отмалчивании НКВД: «Или уж просто бы отказали, или, наконец, ответили бы, на каком основании и почему я не получаю паспорта; или я на особом подозрении?» При разговоре присутствовал часто у Луначарских бывавший барон Штейгер (тоже потом «уничтоженный»). Анатолий Васильевич незаметно отвел меня в сторону и прошептал на ухо: «Будьте осторожны при нем, Сергей. Он, — кивнув в сторону барона, — дружеское ушко в моем доме», — и уже громким голосом: «А вы лучше приходите ко мне завтра в бюро (то есть в Наркомпрос), там мы с вами поговорим».

На другой же день я отправился в Наркомпрос; после некоторого ожидания меня провели к наркому. Анатолий Васильевич выслушал, записал дату моего заявления в НКВД, сказал, что ничего обещать не может, но постарается, при удобном случае, поговорить «кое с кем» по моему делу.

---

---

Дня через три после этого пришлось проходить по Лубянской площади. Кто-то меня окликнул. Оборачиваюсь и узнаю бывшего комиссара и начальника строительства первой Сельскохозяйственной выставки в Москве (1923 г.) — Исаака Ефимовича Корасташевского.

Об участии моем в этой работе я напишу в особом очерке, связанном с деятельностью замечательнейшего человека и зодчего-мудреца академика И. В. Жолтовского.

Корасташевский по двум причинам был назначен на высокий пост руководителя первой в Москве крупнейшей постройки, после гражданской войны, голода, холода и общей разрухи: во-первых, он был техник (зубной, правда!); во-вторых, что самое главное, он был членом коллегии МЧК.

Маленького роста, худенький, Корасташевский всегда одевался в полукавказский наряд. Надо сказать, что к нам, молодежи, работавшей в его управлении, в общем он относился не плохо, называя всех по именам. «Что подельваете сейчас, товарищ Сергей?» — спросил Корасташевский, когда мы с ним поравнялись. Я коротко рассказал о моей текущей работе, а также и о моем желании ехать на Запад, за границу, учиться дальше и о моих бесплодных попытках получить заграничный паспорт, на который, как медалист, я имею право.

Корасташевский ничего не ответил, но недели через две или три после этого разговора я красную книжку, то есть заграничный паспорт, воспетый Маяковским, неожиданно получил. Кто помог мне? Луначарский? Корасташевский? Этого я так и не узнал, но думаю, что скорее последний. Случилось это в начале декабря 1928 года.

Я пошел к Луначарским сказать о радостной новости и, на всякий случай, поблагодарить наркома.

Мы с ним сидели в его кабинете, одни. Анатолий Васильевич спросил о маршруте, кое-что посоветовал посмотреть обязательно и вдруг спросил: «Сергей, а у вас есть деньги в валюте?» (На «паспорт» давали гроши — всего 300 германских марок; Луначарский отлично знал, что это было ничтожно мало для путешествия по нескольким странам). И дальше: «Если у вас валюта есть, то как вы собираетесь ее провезти через границу?»

Анатолий Васильевич спрашивал потому, что знал о соглашении академика Жолтовского с правительством о том, что за работу над проектом Сельскохозяйственной выставки ему и его помощникам уплатят в иностранной валюте. Я признался, что у меня есть порядочная сумма в долларах и английских фунтах, заработанных у Жолтовского еще в 1923 году. Однако, как их провезти, я не имел никакого понятия.

«Не советую вам, товарищ Сергей, запрятывать куда-нибудь на себе, а тем более заделывать в крышку чемодана!» — вдруг офици-

---

---

альным тоном сказал Луначарский. Я похолодел: все же я говорил с одним из наркомов правительства!

После некоторой довольно неловкой паузы Анатолий Васильевич, как бы о чем-то подумав, опять спросил: «А когда вы, Сергей, думаете ехать?» Я сказал, что надеюсь получить все необходимые визы недели через две-три, значит, смогу тронуться в путь перед самым Рождеством. «Ну, вот что, — сказал Анатолий Васильевич, — я с женой выезжаю в Берлин через неделю; принесите мне ваши деньги — в Берлине, в отеле Бристоль, увидимся по вашему туда приезде» . . .

На другой день я принес Луначарскому все свое состояние в незапечатанном конверте, который он, не взглянув на содержимое, положил во внутренний карман пиджака.

Луначарские уехали. За два дня до Рождества выехал и я. Рождественские дни 1928 года я провел в сумрачном, официально холодном, неприветливом Берлине. На другой день по приезде, из гостиницы, где остановился, я пешком дошел по Унтер ден Линден до великолепного отеля Бристоль. Надобно сказать, что перед отъездом из Москвы я тщательно отобрал одежду, в которую облекусь и, по приезде за границу, после покупки всего нового, выброшу вон. Поэтому наряд мой состоял из серенького, потрепанного костюма, когда-то бывшего коричневым пальто и на голове — рыжей, в черную клетку кепки. В таком виде я предстал перед величественным портье Бристоля. Когда я у него спросил, здесь ли Луначарский, он, вздев на нос пенсне и критически меня оглядев, ответил, что Exzellenz из Берлина уехал и только Frau Exzellenz у себя в номере (этот номер, как оказалось, состоял из трех больших комнат). По моей просьбе он позвонил по-телефону, доложил обо мне и был, видимо, удивлен приказанием Frau Exzellenz, чтобы меня к ней немедленно проводили.

Мальчишка-подросток в куртке с сотней пуговиц и в обезьяньей шапочке, сидевшей на боку его макушки, поднял меня на второй этаж в громадном, в зеркалах, лифте. Я постучал в указанную дверь. Наталья Александровна открыла, мы расцеловались. «Как приятно видеть своего человека из Москвы», — сказала она и тут же приказала подать кофе, пирожное и коньяк. Кофе — настоящий, душистый, был подан с возможным только в воображении москвича пирожным и граненым графином с коньяком.

Наталья Александровна расспрашивала, что нового в Москве, за две недели ее отсутствия, кто из друзей меня провожал, как мне понравился Берлин, где я остановился и все в том же роде. Я отвечал, что еще не огляделся, что Берлин на меня произвел, на первых порах, неприветливое, холодное впечатление, но что магазины тут удивительные и выглядят роскошно. Наталья Александровна тут же наставительно сказала, чтобы я не «бросался» на покупки,

---

---

так как и здесь продается много «барахла», посоветовала поглядеть на витрины на Курфюрстендамм, где я еще не был. Незаметно, в разговорах прошло часа два; кофе выпили, пирожных я съел, сколько нашел приличным; выпили «за встречу». «А когда вернется Анатолий Васильевич?» — «Он придет дней через десять», — ответила Наталья Александровна.

Про себя я подумал: «Ну, а что будет, если он не вернется, а вышлет куда-нибудь к себе жену?!»

«Ну, а теперь, к сожалению, мне надо вас выпроводить, Сергей. Надо начинать переодеваться — сегодня я приглашена» . . .

Я встал, простился, и Наталья Александровна пошла меня проводить до дверей. По дороге она спросила, как долго еще останусь в Берлине. «Заходите, пожалуйста, я без Анатолия очень скучаю!» И вдруг, театрально хлопнув себя рукой по лбу, она воскликнула: «Погодите минуту! Я совсем забыла: Анатолий просил меня, если вы без него придете, передать вам какой-то пакет!» . . Из незапертого маленького столика она извлекла мой незапечатанный конверт и протянула мне.

«Наталья Александровна, вы знаете, что в этом конверте?» — «Нет». «Доллары», — ответил я. «Ну, верно?! В таком случае вы меня приглашаете, мы с вами отправимся куда-нибудь кутить!» На другой же день мы отправились в театр Пискатора, где ставили «Бравого солдата Швейка» в декорациях Гросса; солдата играл знаменитый Палленберг; потом пошли в какое-то модное кафе — Наталья Александровна любила потанцевать.

В Берлине мне пришлось посетить еще одну известную даму — киноактрису Ольгу Чехову, для которой я привез из Москвы письма от ее тетки Ольги Леонардовны Книппер-Чеховой и ее брата, композитора Льва Книппер (Ольга Чехова, кстати, была в Берлине весьма знаменита не только как актриса и обладательница несравненных по форме ног, но и по ее положению в тамошнем «свете», с ее знакомствами и связями, порою весьма «громкими»). Чехова расспрашивала про свою, бывавшую у нас, знаменитую тетку, о брате, о его успехах на музыкальном поприще (это он аранжировал прославленное «Полюшко, поле»), про новые постановки в московских театрах.

Я виделся с Луначарскими в Берлине еще раза два перед тем, как отправился в Лейпциг и Дессау, где находится Баухауз с его знаменитой Школой архитектуры, в которой я предполагал провести некоторое время, после чего путь мой лежал в Италию.

В заключение скажу, что конец Луначарского, к счастью, был естественным. В разгар ежовской чистки, когда ему угрожал арест, Анатолий Васильевич, благодаря некоторым из его друзей, получил назначение послом в Испанию. Он уехал и заболел в Париже, где и

---

---

умер, по дороге в Мадрид. Тело его было привезено в Москву и похоронено, правда, без всякой помпы, у Кремлевской стены.

Не могу не добавить о той характерной разнице, существовавшей между наркомками ленинского правительства и настоящими представителями власти в Советском Союзе. Сейчас это замкнутая каста людей, редко с кем, со стороны, общающаяся. И это должны быть «в доску свои ребята».

Мне же лично приходилось встречаться не только с Луначарским, но и с Чичериным, позже с Литвиновым, — и во всех этих случаях наши отношения были, как равный к равному.

От моей кузины племянница Луначарского, Таня, не могла не знать, что мы были достаточно обеспеченной семьей, что у нас были именья в центре России, что после окончания военного училища я вышел молодым офицером в один из гвардейских полков, что я буквально чудом уцелел во Вхутемасе при чистке высших учебных заведений от «социально-чуждых элементов».

И несмотря на все это, Анатолий Васильевич не только тепло и дружески ко мне относился, но и сделал для меня одолжение, которое повлияло на всю мою последующую жизнь и профессиональную карьеру: не переправь он на себе мои деньги в Берлин, я не только не мог бы остаться на некоторое время в Баухаузе, но и не посмотрел все те страны, в которых побывал во время командировки на Запад в 1928-29 годах. Кстати, после выдачи паспорта, меня по-телефону вызвали в НКВД, где заставили подписать бумагу о том, что за залогом моего возвращения назад в Советский Союз остаются моя мать и сестра.

### ШАЛЯПИН И РЕЙЗЕН

Однажды зимой, особенно холодной в нетопленной и голодной Москве 20-го года, рано утром я пришел за распоряжениями к архитектору Василию Сергеевичу Кузнецову, у которого служил техником в комиссии «по ремонту и восстановлению воинских зданий». — Кузнецов ее возглавлял. Я был в те времена студентом второго курса Вхутемаса. Кузнецов жил на Трубной площади.

Дверь мне открыл сам Василий Сергеевич, полностью уже одетый, но с лицом странным, с воспаленными глазами, как от бессонной ночи. Из его кабинета-мастерской слышалось треньканье гитары и голос, что-то напевавший. «Хочешь водки?» — не здороваясь, спросил Кузнецов. Я сперва просто обалдел от такого вопроса, но не протестовал. Кузнецов повел меня, как я был, в валенках и коротком кавалерийском полушубке, к себе в мастерскую.

Печи за ночь там поостыли, было зябко. На широчайшей оттоманке среди подушек сидел с гитарой в руках — Федор Иванович Шалапин. Он-то и пел вполголоса. Перед ним, в накинутой на плечи знаменитой своей на собольем меху шубе, стоял художник Констан-

---

---

тин Коровин; в уголке на стуле, с козлиной бородкой, сидел ежившийся от холода Аладжалов, тоже художник, а по обе стороны от Шалапина, кутаясь в шубки и поджимая под них ноги, сидели две «дивы с Трубы».

Войдя, я буквально остолбенел, увидев Федора Ивановича; Шалапин же мне, прервав пение: «Здравствуй, садись, что ты на девушек оставился?» Кузнецов забулькал водкой, наливая в винный стаканчик. «Пей», — протянул он мне его. На столе на тарелках лежали куски разломанного хлеба, колбасы, уже пустые коробки из-под сардинок и грязная сковородка со следами яичницы, съеденной должно быть ночью. Такое по тем временам царское угощение мог принести только сам Шалапин. Я выпил и закусил кусочком хлеба, стесняясь взять колбасы, хоть я ее давно не видел, а голодны мы были в те времена в Москве всегда. Шалапин, весело мне подмигнув, продолжал петь.

Так, первый раз в жизни, я услышал поющего Федора Ивановича — не на сцене, а в каких-нибудь двух, трех шагах. Ему, повидимому, хотелось петь — и я проклял потом себя за то, что после второго стаканчика водки, с голодухи, я осовел и даже задремал.

Когда Василий Сергеевич меня растолкал, в мастерской никого уже не было, все разошлись и виденное и слышанное было, как сон. «Ну, Сергей, пора тебе и на постройку!» Я вышел опять на морозные засугробленные улицы Москвы. Идти было далеко, за вокзальную площадь.

Последний раз я слышал Шалапина, в большом зале Консерватории, незадолго перед его отъездом за границу. Он пел под аккомпанемент Кенемана. Зал был нетоплен, все сидели в шубах, валенках и даже в шапках. Кенеман был хотя и во фраке, но в полуваленках. Один Шалапин был великолепен, в полном параде, словно холод его не касался. Он дал три таких концерта, на двух я был.

Известие о его смерти вызвало в Москве не совсем обычную реакцию, о которой и хочу упомянуть. В «Известиях» однажды на последней странице мелким шрифтом было сообщено: «В Париже, тогда-то, умер певец Шалапин». И никаких комментариев: умер — и все.

На другой день в тех же «Известиях» появилась статья за подписью певца Большого театра, баса, народного артиста Рейзена. Статья эта была настолько цинична, нелепа и по существу неверна, что вызвала у многих москвичей взрыв негодования. Ее содержание сводилось к тому, что значение Шалапина, как певца и артиста, сильно преувеличено и, самое главное, что он показал свою буржуазную сущность тем, что вместо благодарности советскому правительству, сделавшему его Народным артистом СССР, покинул Советский Союз, стал эмигрантом и продавал свое искусство, польстившись на доллары — все в этом дуже.

---

---

Мои друзья из Большого театра говорили, что у Рейзена не прекращались телефонные звонки, — москвичи выражали свое негодование ему в самых разных формах, включая простую площадную ругань. Вечером в тот же день спектакль с участием Рейзена был отменен, — явление чрезвычайно редкое в истории Большого театра. Боялись откровенной обструкции и свистков — публичного оскорбления народного артиста республики. На следующий день в «Известиях» появилась заметка: редакция газеты доводила до сведения читателей, что ее корреспондент, посланный к Рейзену, неверно интерпретировал его слова о значении покойного Шаляпина в русском оперном искусстве и как не справившийся с данным ему поручением с работы уволен. Так ли это было — знала только редакция «Известий». Рейзен после этого срочно «заболел» и уехал куда-то отдыхать.

### ВСТРЕЧА С УЛАНОВОЙ

В 30-х годах мне часто приходилось бывать в Ленинграде: меня нередко назначали членом экзаменационной комиссии, а также преподавателем в «Институт повышения квалификации», созданный при нашем Союзе архитекторов для его членов, окончивших в большинстве своем высшие учебные заведения в годы всяческих экспериментов. В конце концов правительство само увидело «плоды просвещения» в результате этой своей деятельности, когда из высших школ страны стали выходить подчас даже малограмотные «специалисты» — и начался обратный процесс, вплоть до учреждения Академии архитектуры СССР, как самого главного по части архитектуры органа в стране.

Мои поездки в северную столицу приходились на конец мая и начало июня, то есть время сессий государственных экзаменов в высшей школе. Академия архитектуры и наш Союз архитекторов обставляли эти путешествия сравнительно комфортабельно и я обычно останавливался в одной из лучших гостиниц — в Астории. Окна ее выходят на площадь Исаакиевского собора, творение французца Монферана; видно и здание Государственного совета с конным памятником Николаю первому перед ним, — памятник, из-за его художественной ценности, революция пощадила.

Занятия со студентами в Институте были обычно днем и почти все вечера у меня оставались свободными. Кто не бывал в Петербурге-Ленинграде в мае-июне, в период его белых ночей, тому не легко понять все их очарование, несмотря на многочисленные описания этой необычной трансформации дня в ночь-день.

Петербург — город-красавец вообще, но во время белых ночей он необыкновенен. На меня, в каждый приезд туда в эти месяцы, находила иступленная влюбленность в город Петра, в его набереж-

---

---

ные, площади, перспективы его широких прямых улиц, ансамбли изумительных по своей архитектуре зданий. Где еще, в каком городе, к тому же при этом необычайном освещении, в белые ночи с их странной томящей таинственностью, можно увидеть такое? . .

Знакомых в городе, несмотря на все изменения, у меня было много: художники, архитекторы, театральный народ — певцы и танцовщики Мариинского театра, ставшего театром Кирова, актеры драмы (был еще жив мой дядя, актер Александринского театра), музыканты (Шостакович, Софроницкий и другие).

Опишу некоторые особенно запомнившиеся встречи в Ленинграде. Надо однако сделать небольшое отступление: с Галиной Улановой я познакомился в Москве, куда она нередко приезжала на гастроли, так как все еще считалась «коренной» балериной Мариинской сцены. Потом ее окончательно перевели в Москву, в Большой театр, к неудовольствию ревнивой к своей славе Марины Семеновы. И долго потом среди москвичей-балетоманов не утихали споры: кто лучше — красивая, темпераментная, блестящая Семенова, или не столь красивая, но не менее блестящая молодая танцовщица-актриса Уланова?

Был в Москве исключительно приятный дом, где собирались регулярно, почти каждую субботу, потолковать и затем поужинать — дом художника Н. Э. Радлова. Я там бывал часто, постоянными же посетителями были Уланова, когда она приезжала в Москву, и композитор Сергей Сергеевич Прокофьев. Я умышленно поставил их имена рядом: сразу по приходе они садились за шахматную доску, не обращая внимания ни на кого, и хозяйке дома всегда стоило большого труда от доски их оторвать. Вид балерины, сосредоточенной над шахматами, был не совсем обычен! Уланова особой красотой не отличалась, но когда она вставала, обнаруживалась вся прелесть ее фигуры: стройное, тренированное тело, необычайно легко двигающееся на ногах с расставленными, как у всех балерин, носками.

Прокофьев в обществе Радловых, как, впрочем, всегда и везде, был сдержан, неразговорчив, холодноват. Он в это время работал над музыкой балета «Ромео и Джульетта». Однажды, когда сели за ужин, хозяйка дома спросила, как подвигается его работа, — Прокофьев что-то буркнул и разговора не поддержал.

Случилось так, что мне после этого пришлось рассказать о впечатлениях от поездки в Италию, посещении Падуи и ее университета, одного из старейших в мире, с его знаменитым анатомическим театром. Мельком упомянул я и о посещении Вероны. Присутствующие слушали внимательно: заграничные поездки тогда были очень редки. Перед уходом я разговорился с Улановой, она, узнав, что я скоро еду в Ленинград, попросила позвонить ей там: ей хотелось подробнее расспросить меня о Вероне.



---

Приехав в Ленинград, я ей позвонил. Условились о встрече после спектакля; я спросил, не найдет ли она возможным пойти со мной поужинать, скажем, в Асторию? По своему московскому опыту я знал, что балерины после выступлений всегда очень голодны, как волчата. Уланова согласилась, со свойственной ей простотой.

Встретились. Было время белых ночей. Мы шли по светлым улицам. Уланова уже «задумывала» Джульетту. И она тут же, потом и за ужином, тщательно распаршивала меня о Вероне, обнаруживая недюжинные для балерины знания и общую начитанность.

За ужином выпили и водки, и вина, настроение у меня было приподнятое. «Пойдемте потанцуем?» — несколько неуверенно предложил я. «Что же, пойдемте, с удовольствием» — и рука моя почувствовала желобок между разработанной мускулатурой ее спины.

Опять пришлось удивиться: не в пример другим балеринам, Уланова танцевала очень легко, ее было совсем не трудно «водить». В публике Уланову узнали, нам уступали место и мы кончили танцевать почти на пустой площадке ресторана, отведенной для танцев.

В Москве мне посчастливилось быть на первых представлениях балета «Ромео и Джульетта»: на финальной генеральной репетиции (то, что в московских театрах называли «для пап и мам»), а также на премьере. Уланова, балерина с необыкновенной техникой, была и первоклассной драматической актрисой. Как жаль, что на Западе ее увидели уже на склоне лет, перед самым уходом со сцены, когда стало стираться обаяние ее молодости, — но она мудро поступила, уйдя в преподавание вовремя, после ее блестящих успехов и на родине, и за рубежом.

Я запомнил встречу с Улановой в Ленинграде белой ночью и иногда думаю, что, может быть, крупница моих взволнованных рассказов о Вероне, об Италии, в которую я на всю жизнь свою остался влюбленным, о Возрождении, в какой-то мере помогли ее воображению создать образ Джульетты.

Когда Большой театр приехал в Америку и сюда к нам, в Лос-Анджелес, несколько лет тому назад, я позвонил Улановой по телефону; на звонок подошел теперешний ее муж, художник Рындин. «Галля, тебя кто-то спрашивает», — услышал я. Подошла Уланова. Я назвал ее и спросил, встречается ли она еще Радловых. Ответ был холоден: «Нет и, вообще, это ведь так давно было»... Я поздно сообразил, что неудачно начал разговор с Радловых, они, наверно, не в «фаворе» (брат художника, режиссер Радлов, после второй мировой войны стал эмигрантом, потом вернулся в СССР) и что ей, народной артистке СССР, к тому же члену партии, не пристало предаваться воспоминаниям о лицах с подмоченной репутацией. Встретиться с ней, после нашего разговора, я и не пытался.

---

---

ГЛЕБ СТРУВЕ

## Из моей переписки с писателями

ПИСЬМА Г. В. ИВАНОВА, М. И. ЦВЕТАЕВОЙ И  
М. А. АЛДАНОВА

Печатаемые ниже письма трех писателей, извлеченные из моего архива, представляют — в разной степени — и биографический и литературный интерес. С одним из них — Георгием Ивановым — я не был лично знаком и мы с ним обменялись, если не ошибаюсь, всего двумя короткими письмами (оба эти письма печатаются ниже).

С Мариной Цветаевой я познакомился в Берлине вскоре после ее приезда из России. Ее первые письма мне были написаны из Праги в Берлин. Возможно, что не все они уцелели: мне пришлось оставить большую часть моих бумаг в Берлине, когда я переселялся в Париж в 1924 году, и они потом погибли. После переезда Цветаевой в Париж мы, по разным причинам, встречались довольно редко. Я был по крайней мере на одном чтении ее стихов, но ни разу не был у нее ни в Медоне, ни в Кламаре, хотя она меня и звала. В отличие от пражско-берлинской «Русской Мысли», в парижских изданиях моего отца она не сотрудничала. Переписки между нами после 1925 года не было.

Когда я познакомился с М. А. Алдановым, я не помню. Знакомство это во всяком случае никогда не было близким. Видал его, конечно, часто на разных литературных и общественных собраниях в Париже между 1924 и 1932 гг. (он бывал, например, регулярно на беседах, организованных газетой «Россия и Славянство» и собиравших людей самых различных взглядов — от «белых» генералов и людей «правых» убеждений до эсеров и социал-демократов). Переписка моя с М. А. Алдановым относится главным образом к последним годам. Возможно, что не все письма были мною разысканы.

Георгий Иванов, Марина Цветаева и М. А. Алданов не нуждаются в том, чтобы «представлять» их читателю, и в комментариях к письмам я ограничиваюсь пояснениями, которые могут представить историко-литературный интерес.

---

---

## ПИСЬМА ГЕОРГИЯ ИВАНОВА

1

[Без даты. Почт. штемпель: 16. XII. 1931].

Многоуважаемый

Глеб Петрович!

Только сейчас я прочел Вашу рецензию о моей книге Розы. Очень благодарю Вас за лестный отзыв, особенно мне дорогой тем, что он подписан Вашим именем. Пользуюсь случаем добавить, что я всегда жалел и жалею, что мы с Вами до сих пор незнакомы.

Преданный Вам

Георгий Иванов

2

1 марта 1958

Многоуважаемый

Глеб Петрович,

Сейчас получил изданный Вами «Лебединый стан». Благодарю Вас за внимание и за ценный подарок.

Искренне Ваш

Георгий Иванов

P. S.

Могу подтвердить правильность указания г-жи Еленевой. При первом же знакомстве с Цветаевой (в квартире Каннегиссеров, Саперный 10 СПб) я в разговоре с ней „à bâtons rompus“ за чайным столом вместе с тем, что «только петербуржец не может оценить гениальности Эдмонда Ростана» и что клюква в сахаре вкуснейшая из «конфет», выяснил что мы родились оба в 1894 году.

Эти два письма — единственные когда-либо полученные от Георгия Иванова. Как это ни странно, лично мы с ним никогда не были знакомы, хотя жили одновременно и в Берлине в начале двадцатых годов и позже, до начала тридцатых, в Париже, и я видал его на разных литературных собраниях, на писательских балах и т. д. Первое письмо было откликом на мою рецензию на «Розы» (1931), напечатанную в парижской еженедельной газете «Россия и славянство», в состав редакции которой я тогда входил и в которой постоянно сотрудничал. Рецензия была напечатана в № от 17 октября 1931 г. Позднее Г. В. Иванов не мог быть доволен тем, что я написал о нем в своей книге «Русская литература в изгнании» (Нью-Йорк, 1956), и, как мне известно, в некоторых письмах отзывался обо мне довольно резко. Второе письмо, как видно из содержания, явилось откликом на посылку мною ему изданного мной сборника стихотворений Марины Цветаевой «Лебединый стан» (Мюнхен, 1957). В предисловии к этому сборнику я отмечал, что по словам хорошо знавшей

---

---

Цветаеву Е. А. Еленевой обычно даваемый год рождения Цветаевой — 1892 — неправилен и что она родилась в 1894 году. Хотя Г. В. Иванов и подтвердил указанную Е. А. Еленевой дату (на которой она, кажется, продолжает настаивать) и хотя та же дата была дана во вступительной статье покойного Ф. А. Степуна к заграничному изданию прозы Цветаевой (Нью-Йорк, 1953) и в Большой Советской Энциклопедии (1957), в советском издании «Избранного» (1961) и в более позднем одномомнике в большой серии «Библиотеки поэта» (1965) восстановлена прежняя дата: 1892. Оба эти советские издания вышли при участии дочери М. И. Цветаевой, А. С. Эфрон. Вопросу об этой «спорной» дате посвящено длинное примечание в единственной пока имеющейся монографии о Цветаевой — в книге проф. С. Карлинского: *Marina Cvetaeva: Her Life and Art* (1966). Но в тексте своей книги проф. Карлинский прямо пишет, что дочь М. А. и И. В. Цветаевых Марина родилась 26 сентября (9 октября) 1892 года (см. стр. 17; там же, на стр. 17-18, и примечание относительно этой даты).

## ПИСЬМА МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ

### 1

Мокропсы, 30-го июня 1923 г.

Милая Юлия,

Я Вас не забыла, а просто выбилась из колеи писанья писем. — Тронула, что окликнули.

Живу все там же, все так же, созерцаю дожди, изредка размышляю о влиянии на Чехию (!!!) — извергающейся Этны и продвигающихся полярных льдов.

Огонь + лед дает дождь, т. е. слезы. Но я не плачу, меня после Сов. России ничем не возьмешь, даже безысходной скукой Чехии.

Закончила переписку своих московских записей (1917 г.-1918 г.), получила основательная книга. Пишу стихи, читаю Диккенса, собираю — до потери сознания! — чернику, мечтаю о новом платье, но глубже задумавшись, понимаю, что оно бессмысленно, потому что тоже станет старым.

Бываю в Праге редко, на каждом собрании журналисты сбрасывают старого председателя и голосуют нового. Я неизменно сажусь около Маковского и обезьяню с него все жесты. Он подымет руку — и я поднимая, он забудет — а я в глупом положении. Он мил, я его люблю. Он глубоко искренен в своих слабостях, в его устах — они очарованье. Кроме того, он по-настоящему глубоко-культурен. С ним не попадаешь каждоминутно в безвоздушные пространства неведения, младенческого изумления. Это пристало Вашей Марине, да и то — до году, правда? Сколько ей сейчас месяцев? Обозначилось ли уже сходство со мной? Если будет дикая, — знайте, что в меня. А я пошла в кормилицу. А кормилица была цыганка. У Вашей дочери сомнительная родословная! А родина ее (исходя из меня и цыганки) не то Индия, не то Египет. (Цыган в старину звали «египтяне», у Мольера, напр.).

---

---

А «незнакомка», занесшая ей «Ремесло» — некто Катерина Исааковна Еленева, дочка известного врача Альтшуллера, — существо милое, красивое и обаятельное. Она жена одного из здешних студентов.

Спасибо Глебу за прекрасный отзыв о «Ремесле» и «Психее». Но напишу ему об этом отдельно. Как здоровье Льва Струве? Как Нина Александровна? П. Б. вижу редко и бегло, мне кажется, что он меня не любит, а это не располагает. («Не любит» здесь, как: не дохожу).

Целую нежно Вас и Марину. Аля увлекается сокольской гимнастикой и окончательно перестала отзываться на арифметику. И она и Сережа шлют привет.

МЦ.

2

30-го июня 1923 г.

Милый Глеб,

Ваше гаданье правильно: мало люблю «Евгения Онегина» и очень люблю Державина. А из Пушкина больше всего, вечнее всего люблю «К морю», — с девяти лет по нынешние тридцать. И «версты полосаты», и там, где про кибитку: Пушкина в просторах. Там он счастливее всего, там он не должен быть злым. Эренбурга из призраков галереи вычеркиваю, я его мало читала, со стихами его, по-настоящему, познакомилась только в Берлине. (Не потому вычеркиваю, что поссорилась, — честное слово!).

Ах, у Вас во втором столбце (4-ая строчка до первой цитаты) генеральная опечатка: «в цветаевской Л А Г Г Е Р Е Е», — от лагеря, — чудесно!

Любопытно было бы узнать, какие стихи в «Ремесле» Вы считаете плохими, спрашиваю вне самолюбия (самолюбие ведь сродни вкусу, и из-за безмерности моей во мне отсутствует!). Любопытно, чтобы понять чужое мерило, попытаться, почему не дошло.

Согласна, что «Психея» для читателя приемлемее и приятнее «Ремесла». Это — мой откуп читателю, ею я покупаю право на «Ремесло», а «Ремеслом» — на дальнейшее. Следующую книгу будете зубами грызть. Но это еще не скоро.

Шлю Вам привет и благодарность.

МЦ.

3

[29-XI-1925]

Милый Глеб,

Посылаю сборник. К сожалению, «Поэмы конца» прочесть не успела, — м. б. есть опечатки.

Когда едет Петр Бернгардович? И не взял ли бы он ма-аленькой посыпочки для Сережи? Все сторожу окказию.

Привет Вам, Юлии, сонной девочке и бессонному мальчику. Будет время, напишите и приходите.

МЦ.

Рильке необычаен. Уже нездешние слова!

29-го ноября 1925 г.

Я познакомился с Мариной Ивановной Цветаевой и ее дочерью Алей вскоре после их приезда из России в Берлин, где я тогда заведовал отделением редакции журнала «Русская Мысль», редактировавшимся моим отцом в Праге, и наблюдал за его печатанием в одной из берлинских типографий.

Первые два письма представляют собой одно двойное письмо, написанное на трех страницах одного листа почтовой бумаги. Первое письмо обращено к моей тогдашней жене, Юлии Юльевне Андре. Наша старшая дочь Марина, названная так, отчасти во всяком случае, в честь Марины Цветаевой, родилась в Берлине 5 февраля 1923 г. Я не помню, чтобы я тогда познакомился с «незнакомкой», занесшей «Ремесло», т. е. Екатериной Исааковной Еленевой, о которой речь в примечании к письмам Г. В. Иванова — вероятно, она заходила в мое отсутствие. Цветаева прислала мне только что вышедшее «Ремесло» с надписью моей дочери, которая гласила:

*Мой крестнице в мирах иных*

*-- Марине --*

*на первую Пасху ее земной жизни,—  
без обязательства читать.*

*Марина Цветаева*

*Прага, Вербная неделя 1923 г.*

Лев Струве — один из моих младших братьев, который жил и учился в Берлине и незадолго до того заболел туберкулезом.

Нина Александровна — моя мать.

Аля — дочь М. И. Цветаевой. Сережа — ее муж, Сергей Яковлевич Эфрон.

Во втором письме, мне, М. И. отзывается на мою напечатанную в берлинской газете «Руль» статью о двух книгах ее стихов: «Психея» и «Ремесло», статью, о которой она упоминает в предыдущем письме. Слова об опечатке и весь конец письма весьма характерны для Цветаевой.

Последнее письмо написано уже после переезда Цветаевой во Францию (она в то время жила, кажется, в Bellevue).

Сборник — вышедший в Праге «Ковчег», в котором была напечатана «Поэма конца» Цветаевой. Следующая книга стихов Цветаевой после «Ремесла», под названием «После России», вышла только в 1928 году.

Вопрос о поездке П. Б. Струве, вероятно, относится к его очередной поездке в Прагу, где оставался муж М. И. Цветаевой; П. Б. тогда переселился в Париж, чтобы редактировать «Возрождение», но часто ездил в Прагу.

«Бессонный мальчик» — мой сын Андрей, родившийся в Париже в сентябре 1924 года.

После этого переписки с Цветаевой у меня, кажется, больше не было, и встречались мы с ней во время моей жизни во Франции довольно редко. Она жила в Медоне, я сначала в Bourg-la-Reine, потом в St. Germain-Laye, а в промежутке, живя в самом Париже, был очень занят редакционной работой в «Возрождении». И у нее, и у меня были свои семейные и финансовые трудности. Я был на ее первом чтении стихов в Париже и даже помогал ей устраивать его. Помню также встречу на организованных В. В. Фохтом франко-русских собеседованиях в Studio Franco-Russe. Разделила нас и политическая позиция, занятая мужем М. И., его сближение с евразийцами, а позже и определенное советофильство. Оба они враждебно относились к редактировав-

---

---

шимся моим отцом газетам, в которых я сотрудничал до своего переезда в Англию в 1932 году.

Но в 1923-24 гг. должны были быть еще другие письма, которые, очевидно, погибли среди бумаг, оставленных мною в Берлине при переезде в Париж весной 1924 г. Пропала у меня там и цветаевская «Психея» — вероятно, с ее надписью. Зато сохранились автографы стихотворений, которые она прислала в «Русскую Мысль» и которые были там напечатаны. Таких автографов у меня три листка: три стихотворения из «Лебединого стана» и три из цикла «Проводы». Все они написаны лиловыми чернилами и чуть не печатными буквами на почтовой линованой бумаге пражской «Имки» (УМСА). Бумагой этой, еще военного времени, «Имка» снабжала американских солдат и матросов в Первую мировую войну. На одном из листков надписано рукой моего отца «Принято Струве», а рядом моя инструкция по-немецки насчет шрифта для типографии и штампель типографии с датой поступления рукописи: «16. XI. 1923»

## ПИСЬМА М. А. АЛДАНОВА

### 1

156 Avenue de Versailles XVI<sup>e</sup>  
1. III. 31

Многоуважаемый Глеб Петрович,

Искренно Вас благодарю за Ваше письмо и за любезное внимание, которое чрезвычайно ценю. Прошу Вас принять от меня «10 симфонию» в подлиннике (сегодня Вам высылаю). Книга переводится на иностранные языки, но издателей еще нет, и я не уверен в том, выйдет ли. Французский перевод только начат — и послать его Вам следовательно нельзя. Впрочем «Азеф», составляющий часть «10 симфонии», появился по-французски в ноябрьской книге „Oeuvres libres“. Если хотите, я ее Вам пошлю, но предполагаю, что «Азеф»-то Вам вряд ли нужен?

Еще раз очень Вас благодарю и прошу верить моему истинному уважению и преданности.

М. Алданов

Когда Ваши статьи появятся, пожалуйста сообщите мне. Жду их с большим интересом.

Не могу сейчас припомнить, о чем я писал М. А. Алданову и за что он меня благодарил. Возможно, что я собирался или должен был написать статью о «Десятой симфонии» для французского журнала Le Mois, в котором я тогда сотрудничал (в этом журнале сотрудничали также К. В. Мочульский, В. В. Вейдле, С. С. Ольденбург и некоторые другие русские парижане). Следа такой статьи у меня не сохранилось. Все статьи в журнале, кроме специально заказываемых «знаменитостям» в разных областях, печатались анонимно. Мною, помимо мелких статей и заметок, были напечатаны в журнале большие статьи о И. Бунине и о В. Сирине (Набокове), а также о нескольких английских писателях.

27. III. 32

Многоуважаемый Глеб Петрович,

С большим удовольствием исполняю Ваше желание и сегодня пишу Пэрсу по указанному Вами адресу. Я с ним незнаком, но обменялся с ним письмами, когда меня избрали „corresponding member“ его школы (тогда — в 1928 г. — она однако, помнится, была на Malet Str.).

Буду искренно рад, если Вы будете избраны лектором, — это, разумеется, и в интересах русской культуры, и в интересах эмиграции в частности.

Шлю Вам самый искренний привет.

Преданный Вам

М. Алданов

Пожалуйста, извините *carte-lettre*.

Пэрс (Sir Bernard Pares, 1867-1949) — основатель и директор School of Slavonic and East European Studies при Лондонском университете. После ухода Д. П. Святополка-Мирского из этой Школы перед его возвращением в Россию освободилась лектура по русской литературе, и я выставил на нее свою кандидатуру. В числе других я обратился за рекомендациями к нескольким русским писателям, которые были хорошо известны Пэрсу и даже, как Алданов, были членами-корреспондентами Школы, а именно к И. А. Бунину, М. А. Алданову и К. Д. Бальмонту. Письма третье и четвертое относятся к этому же делу.

4. IV. 32

Многоуважаемый Глеб Петрович,

Я получил ответ от Pares'a, очень любезный и приятный по характеру: он сообщает, что решил предложить Вашу кандидатуру, но просит держать это в большом секрете. Я все-таки довожу это до Вашего сведения — в твердой уверенности, что Вы этого никому не скажете.

Надеюсь, что дело удастся, и шлю Вам самый искренний привет, — поздравлять все-таки еще рано.

Преданный Вам

М. Алданов

1. VI. 32

Многоуважаемый Глеб Петрович,

Сердечно рад Вашему назначению. Рад и тому, что мое письмо оказалось полезным.

Завтра буду в редакции «Посл[едних] Новостей» и попрошу поместить сообщение о Вашем назначении.



---

---

Желаю Вам большого прочного успеха в новой Вашей деятельности и шлю искренний привет.

Преданный Вам  
М. Алданов

5

Written in Russian

109 West 84 Street, New York 24, N. Y.  
20 мая 1945

Многоуважаемый Глеб Петрович!

Большое Вам спасибо за письмо, за присылку рецензии и за Ваши любезные слова об «Истоках». Я увлечен этой вещью больше, чем был какой бы то ни было другой своей книгой. Каков будет результат, — не знаю. Роман очень длинный, что повредит ему у читателей (Скрибнер его давно приобрел).

Не знал, что Макмиллан Вас запрашивал о «Начале конца» («Фифс Сил»). Очень Вас благодарю, что дали тогда добрый отзыв, но он (Макмиллан) ко мне не обращался, и я не могу понять, кто ему предложил эту книгу. «Начало конца» еще не было готово, когда я приехал в Америку. Я естественно предложил эту книгу Кнопфу, который издал «9-ое Термидора», «Чортов Мост» и «Святую Елену». Он дал рукопись своим «ридерам», и мне известно по случайности, что один из них дал весьма благоприятный отзыв. Тем не менее недели через три после моего предложения я получил от Кнопфа любезный отказ, с обычной в таких случаях ссылкой на то, что книга не может рассчитывать на успех в Америке. Вероятно, второй ридер дал неблагоприятный отзыв. После отказа Кнопфа я обратился к Скрибнеру, он тотчас книгу принял. Забавно (это «конфиденциально»), что после ее успеха (продано 315.000 экземпляров) Кнопф мне написал поздравительное письмо, в котором говорил: «Не могу понять, почему я не взял Вашей книги».

Никак не предполагаю, чтобы «Фифс Сил» могла иметь успех в Англии. Кэп условился со мной, что издаст ее после окончания войны, и издал раньше, не известил меня и даже не прислал британского издания. Кроме присланной Вами рецензии мне прислали еще анонимную рецензию («Таймс» Literary Suppl[ement]; я не записан в английском бюро вырезок). Больше я ничего не видел. Буду Вам очень признателен, если сообщите, очень ли враждебно приняли книгу. Скрибнер иностранными изданиями совершенно не интересуется ни с какой точки зрения: по американским масштабам, европейские тиражи незначительны. Вдобавок, в Англии нет бумаги, так что, если бы моя книга и могла иметь успех, то продажа была бы весьма невелика. Я продал также шведское издание, испанское (в Южной Америке), норвежское (в Швеции). Все другие мои «рынки» были прежде отняты у меня Гитлером, а теперь — дру-

---

---

гим господином. Мой переводчик Вреден работает чрезвычайно медленно и еще не окончил ничего. Все же осенью Скрибнер выпустит мой небольшой роман из жизни Байрона «Могила воина». Простите, что пишу о себе, но это ответ.

Художественный отдел «Нового Журнала» скоро улучшится. Мы уже получили рассказ Бунина, надеемся получить вещи Бор. Зайцева. Кстати о Бунине. Все мои попытки устроить американское издание его последнего сборника «Темные аллеи» ничего не дали. Отказался и Кнопф, который всегда его издавал. Мотивировка: сборники рассказов в Америке не идут! Не нашелся ли бы издатель в Англии? Вы, конечно, знаете эту книгу. Мне удалось только устроить в Фишеровскую антологию один рассказ из этого сборника, «Натали». От Ивана Алексеевича я имею письма, но все короткие. Ему лучше писать по адресу Б. К. Зайцева: 110 rue Thiers, Boulogne s/Seine.

Я тоже видел несколько номеров «Русского Патриота». Вполне с Вами согласен.

В 10-ой и 11-ой книгах «Нового Журнала» будет напечатана большая статья Николаевского о Вашем отце. В ней много интересного (я впрочем читал только первую половину). Отчего Вы нам ничего больше не даете? Теперь редакторы Карпович и Цетлин, я им всячески помогаю. Вы почти обещали статью о письмах Давыдовых к Вальтер Скотту.

Еще раз очень благодарю и шлю самый сердечный привет.

Ваш

М. Алданов

Поместил ли "Observer" Ваше письмо?

После большого перерыва переписка моя с Алдановым возобновилась после Второй мировой войны. Он к тому времени уже давно перебрался в Нью-Йорк, а я был в Англии, где прожил и всю войну.

Помета в левом углу письма — "Written in Russian" — для существовавшей еще тогда военной почтовой цензуры.

Рецензия, за которую благодарил меня М. А., была, очевидно, какая-то рецензия, появившаяся в Англии, на роман «Начало конца», названный по-английски «Пятая печать». В Англии этот роман был выпущен издательством Jonathan Cape.

В 1939 г. изд-во Макмиллан и Ко. в Лондоне просило меня дать отзыв о первом томе «Начала конца». Я писал об этом М. А. в письме, на которое он отвечает. «Ридер» (англ. reader) — «читатель», которому издатель поручает прочтение того или иного произведения и отзыв о нем.

«Другой господин» — разумеется, Сталин.

«Темные аллеи» Бунина вышли в Англии только в 1949 году. Я к этому изданию отношения не имел.

Статью о письмах Дениса Давыдова и его племянника к Вальтер Скотту, найденных мною в Шотландской Национальной Библиотеке, я напечатал несколько лет спустя в журнале *Comparative Literature*. По-русски у меня ее тогда запросило московское «Литературное Наследство» для готовившегося и так и не осуществившегося англо-русского тома.

26 января 1946

Многоуважаемый Глеб Петрович!

Вчера получил Ваше письмо от 31 декабря. Очевидно, Вы его отправили не по воздушной почте, — я забыл, какой был конверт. Посылки Вашему брату были тогда же отправлены. Иными словами, Н. С. Долгополову Зензинов написал письмо о том, что Ваш брат, живущий там-то, включается в список нашего фонда. К несчастью (не боюсь слов «к несчастью», — так это меня волнует и раздражает), Президиум Фонда, вопреки всем моим стараниям, предпочитает этот способ отправки продовольствия во Францию: идет общий груз по одному адресу Долгополова, а он эти посылки распределяет согласно письмам Зензинова. Я предлагал и предлагаю посылать индивидуальные почтовые посылки по частным адресам получателей. Правда, они стоят каждая на три доллара дороже, но зато они идут шесть недель, а общий груз Долгополову идет до полугода! Поэтому Вы еще не имеете от брата известия. Но, по последним нашим сведениям, Долгополов груз, наконец, получает. Не справится ли у него Ваш брат?

Искренне Вас благодарю за вырезку из «Трибюн». Я не получаю от «Клиппинг сервис» английских рецензий и читал только то, что мне присылали Вы, Коновалов, Гаскелль. Огорчен тем, что Вы в магазинах моей книги не видели. Очевидно, такое у меня в Англии невезение с издателями. Никак не думаю, чтобы вся книга разошлась. Если бы это было так, то Кэп, при всем его невнимании, вероятно известил бы об этом Скрибнера или меня. Сам же Скрибнер европейскими «рынками», в том числе и английским, совершенно не интересуется, считая их ничтожными.

Роман Орвелля я не читал. Постараюсь достать и прочесть.

Визит Бунина меня весьма огорчил, — я этого от него не скрыл. Но он стар, болен, и я очень, очень его люблю. Поэтому стараюсь не слишком его упрекать. Здесь им многие возмущаются чрезмерно. Я тоже слышал, что он уже «жалеет».

Почему Вы отказались написать для «Нового Журнала» о стихах покойного Михаила Осиповича? Мы обратились к Б. К. Зайцеву, но боюсь, что и он уклонится.

Я все занят «Истоками». Надеюсь кончить, если не к лету, то к Рождеству. Работаю над этим длинным романом уже более трех лет. Мой маленький роман о Байроне принят критикой очень лестно, — слишком лестно, — но «бестселлером» он не стал, да и не мог стать.

От Нового года я не ждал и не жду больших радостей. Ограничусь поэтому личными пожеланиями Вам всего лучшего. Шлю сердечный привет.

Ваш

М. Алданов

---

Вы, вероятно, знаете, что главным редактором «Нового Журнала» согласился, к большому моему облегчению, стать М. М. Карпович. Мне редакторская работа смертельно надоела, — я вдобавок всегда ее терпеть не мог.

В начале этого письма речь идет о продовольственных посылках, которые я через М. А. Алданова просил посылать моему жившему тогда в Париже и очень нуждавшемуся младшему брату Аркадию. Распределением этих посылок в Париже ведал видный земский деятель Земско-Городского Союза Н. С. Долгополов, а из Нью-Йорка их отправлял, если не ошибаюсь, Литературный Фонд.

«Вырезка из Трибюн» — еще одна рецензия на «Начало конца». Tribune — английский левый, но тогда открыто антикоммунистический еженедельник, видным сотрудником которого был Джордж Орвелл, напечатавший в нем статью о романе Замятина «Мы», о котором он узнал от меня. По поводу этого романа и проектировавшегося английского издания его у меня с Орвеллом была целая переписка. Подлинники писем Орвелла ко мне были переданы мною несколько лет тому назад в его архив в лондонском University College. «Роман Орвелла» — его Animal Farm.

Визит Бунина, о котором пишет Алданов — его визит в советское посольство в Париже. Об этом визите сам И. А. Бунин рассказывал мне позже, ранним летом того же года, когда я в первый раз после войны побывал в Париже и обедал с И. А. и В. Н. Буниными у моего брата Алексея. Рассказывал Бунин об этом визите к Богомолу со свойственным ему злым юмором и говорил, что единственное хорошее в этом визите была настоящая русская водка, которой Богомолов угощал его и других визитеров.

«Михаил Осипович» — М. О. Цетлин (1882-1946), основатель и соредактор «Нового Журнала». Почему я «отказался» писать о его стихах, я не помню. В эти годы у меня была и оживленная переписка с М. О. в связи с начавшимся моим сотрудничеством в их журнале. У меня сохранилось шесть писем М. О. Цетлина за годы 1943-1945, а также и более ранние.

7

16, avenue Georges Clemenceau, Nice.  
30 марта 1950

Многоуважаемый Глеб Петрович!

Сегодня получил через «Н. Р. Слово» объявление о Вашей книге и буду весьма благодарен, если Вы мне ее пришлете сюда в Ниццу (чек на один доллар при сем прилагаю). Тем более интересуюсь Вашей работой, что мне о Козловском мало известно. Кое-что попадалось в неисчерпаемой сокровищнице «Русской Старины», и упоминаю о К. покойный А. Д. Нессельроде, лично знавший многих современников Пушкина, а других знавший по рассказам своего отца. В частности, он рассказывал мне и о несостоявшейся дуэли П. с Соллогубом, — какие-то незначительные подробности. Вся семья Козловских (если это одна семья) интересная. Софья Козловская была очень «дружна» с Бальзаком, который, кажется, что-то ей посвятил.

Желаю успеха Вашей книге и шлю Вам искренний привет.

Ваш

М. Алданов

---

---

Моя книга, о которой пишет здесь М. А., — «Русский Европейец. Материалы для биографии кн. П. Б. Козловского» (Сан-Франциско, 1950). О дружбе дочери Козловского с Бальзаком я вскоре после того напечатал статью в парижской «Русской Мысли» (10 мая 1950).

8

Многоуважаемый Глеб Петрович!

Еще раз желаю большого успеха Вашей книге о Козловском. Но, значит, Вы надеетесь найти о нем еще новые материалы? Тогда не лучше ли отложить и выход книги? Ведь едва ли в наших эмигрантских условиях можно рассчитывать на второе издание.

Из двух тем, о которых Вы пишете, меня гораздо больше интересует вторая. Не сомневаюсь, что и о де Мэстре можно найти новое, но все же о нем ведь много написано (у меня и большой симпатии к нему никогда не было). А Сем. Р. Воронцов — ведь тут почти все будет ново и так интересно! У меня в моем очень давнем романе «Девятое Термидора» С. Р. Воронцов появляется в одной сцене. Это я написал почти тридцать лет тому назад, все мои записные книжки и черновики пропали в 1940 году, но, насколько я помню, кроме Рябинина, Брикнера и, разумеется, сумбурно изданного Воронцовского Архива, у меня ничего не было. Между тем он был необыкновенно привлекательный и интересный человек. И я тогда еще испытывал такое чувство: чего не коснешся в его жизни, все будет ново и интересно. Я думаю, что и его роль в деле Радищева была по существу не меньше роли его брата Александра Романовича, — помнится, на это есть намек в переписке А. Р-ча с братом Радищева Моисеем. Было бы очень хорошо, если б Вы могли написать большую биографию С. Р. Воронцова. Кроме Вас я не вижу сейчас никого, кто мог бы это сделать. Но как найти издателя? Ведь едва ли предварительная подписка дает Вам возможность издавать такие книги без большого убытка? Или Ваш университет мог бы это оплатить?

Искренно Вас благодарю за столь добрые слова об «Истоках». Автор не может судить о своих книгах, но мне кажется, что этот роман лучший или наименее плохой из всего, что я написал. Я его кончил в 1945 году. С той поры написал еще современный роман. Очень медленно, в течение ряда лет, пишу очень длинную, тяжелую и вероятно, скучную философскую книгу. По необходимости пишу ее по-французски, так как русского издателя для такой книги не найти. Художественной книги я никогда на иностранном языке писать не стал бы, но философскую можно. Называется она „La Nuit d'Ulm" (название из биографии Декарта). Не беда, если она выйдет и посмертным изданием, — лишь бы не пропал даром этот долголетний труд.

В этом году приедем в Нью Йорк с женой. Вдруг увидимся. Довольны ли Вы Калифорнией? Если видите В. А. Ледницкого, пожалуйста передайте ему наш сердечный привет.

---

---

В Ницце хорошо. Я не скучаю, хотя знакомых тут у меня очень мало. Шлю Вам сердечный привет и лучшие пожелания.

Преданный Вам

М. Алданов

В этом письме М. А. откликнулся на мое сообщение о том, что я собираюсь когда-нибудь написать биографию гр. С. Р. Воронцова, многолетнего русского посла в Лондоне и большого англофила (этого намерения я не оставил и сейчас и продолжал с тех пор собирать материалы для такой биографии). Другая «тема», о которой я писал Алданову, если не ошибаюсь — русские отношения Жозефа де Мэстра.

«Ульмская ночь», о работе над которой пишет здесь Алданов, была выпущена издательством имени Чехова в Нью-Йорке в 1953 г. Автор дал ей подзаголовок «Философия случая».

В. А. Ледницкий (1891—1967) — известный польский руссист, мой коллега по Калифорнийскому университету в Беркли.

9

16, av. G. Clemenceau, Nice.  
27 ноября 1950

Многоуважаемый Глеб Петрович.

Последнее письмо было мое к Вам, и с тех пор я от Вас известий не получал (но получил интересную работу, за которую очень благодарю). Пишу сегодня, чтобы уведомить Вас о следующем. Я три дня тому назад получил от Фонда Гуттенгейма длинное досье-формуляры с сообщением о том, что Вы на меня сослались в Вашем заявлении Фонду о субсидии. Они меня поэтому просят сообщить им «вполне конфиденциально» то, что я о Вас думаю и знаю. Я немедленно написал самый лестный отзыв и послал его с их досье по воздушной почте им.

Желаю полного успеха в этом деле.

Мы с женой 20-го января будем в Нью Йорке. В Америке теперь книги русских авторов, даже таких антибольшевиков, как я, продаются много хуже, чем прежде. А европейских переводов моих романов, т. е. дохода от них, не хватает и для жизни во Франции. Придется в С. Штатах искать дополнительных заработков.

Шлю Вам искренний привет и лучшие пожелания.

Преданный Вам

М. Алданов

Мне приходилось в последнее время немало заниматься Бальзаком, хотя он лишь эпизодическое лицо в книге, над которой я работаю (это книга о смерти). Так вот я недавно в огромной литературе предмета наткнулся на книгу (сомнительной ценности) Ch. Léger. Balzac mis à nu. Paris 1928. Там много рассказывается о Козловском.

Досье — формуляры от Гуттенгейма — я обратился тогда в Фонд Гуттенгейма с просьбой о субсидии для научной работы во время предстоявшего мне

---

---

«субботнего» отпуска из университета и просил М. А. Алданова быть одним из моих «референтов». Просимой субсидии я не получил.

Книга, над которой в то время работал М. А. — «Повесть о смерти». Отдельные главы этого произведения печатались в нью-йоркском «Новом Русском Слове», а в 1952 г. эта вещь начала появляться в «Новом Журнале».

10

15 декабря 1950

Многоуважаемый Глеб Петрович.

Искренно поздравляю Вас с женитьбой и шлю Вам и Вашей невесте лучшие пожелания.

Спасибо за присылку интересной статьи, — я ее не читал до того. Так я и думал, что книга Лежэ должна быть Вам известна, написал на всякий случай. Заранее благодарю за работу о Д. Давыдове, которой еще не получил.

В Нью Йорке я буду (если мир до того не взорвется) около 20 января. Буду очень рад Вас увидеть. Адрес: 109 Уэст 84 стрит.

От Гуггенгеймовского Фонда пришло подтверждение, что они мой отзыв получили.

Еще раз желаю успеха и шлю искренний привет.

Преданный Вам

М. Алданов

Упомянутая М. А. Алдановым моя статья — упомянутая выше статья о Бальзаке и Софье Козловской. В этой статье я ссылаюсь на книгу Леже, о которой Алданов писал в предыдущем письме.

Вскоре после этого письма я виделся с Алдановыми в Нью-Йорке.

## О Г Л А В Л Е Н И Е

### ПОЭЗИЯ — ПРОЗА

БОРИС ЗАЙЦЕВ: Повесть о Вере . . . . .	3
Д. КЛЕНОВСКИЙ: Стихи . . . . .	22
Л. РЖЕВСКИЙ: Спутница (роман) . . . . .	26
ИРИНА ОДОЕВЦЕВА: Стихи . . . . .	68
ИГОРЬ ЧИННОВ: Стихи . . . . .	69
ИВАН ЕЛАГИН: Стихи . . . . .	73
АНАТОЛИЙ ДАРОВ: Приблудные сыны (главы из романа)	80
СОФИЯ ПРЕГЕЛЬ: Стихи . . . . .	100
ЛИДИЯ АЛЕКСЕЕВА: Стихи . . . . .	104
ВЛАДИМИР ЮРАСОВ: Домой (главы из романа) . . . . .	106
ИРАИДА ЛЕГКАЯ: Стихи . . . . .	136
НОННА БЕЛАВИНА: Стихи . . . . .	140
ЮРИЙ БОЛЬШУХИН: Звери, люди, духи . . . . .	142
ВЛ. ДУКЕЛЬСКИЙ: Стихи . . . . .	165
ГАЙТО ГАЗДАНОВ: Отрывок из романа . . . . .	167
БОРИС ПОПЛАВСКИЙ: Стихи . . . . .	174
ЕКАТЕРИНА ТАУБЕР: Последняя лошадь Аржевила . . . . .	176
ГЕОРГИЙ РАЕВСКИЙ: Стихи . . . . .	184
МИЛОВАН ДЖИЛАС: Расстрел . . . . .	186

### ЛИТЕРАТУРА — ИСКУССТВО — ПОЛИТИКА

В. ВЕЙДЛЕ: Каталог Эрмитажа . . . . .	192
ГЕОРГИЙ АДАМОВИЧ: Зинаида Гиппиус . . . . .	204
ЮРИЙ ИВАСК: Эпоха Блока и Мандельштама. «Комментарии» и «Единство» Георгия Адамовича . . . . .	209
А. ТУРГЕНЕВА: Андрей Белый и Рудольф Штейнер . . . . .	236
ВЛАДИМИР ДУКЕЛЬСКИЙ: Об одной прерванной дружбе . . . . .	252
Г. КРУГОВОЙ: Богоборческие мотивы в былинном эпосе . . . . .	280
ГЕРМАН ЕРМОЛАЕВ: Рождение социалистического реализма . . . . .	295
В. ЖАВИНСКИЙ: «Зарубка на века» . . . . .	314
Н. ОТРАДИН: Затянувшееся испытание . . . . .	333
П. БЕРЛИН: Мозес Гесс . . . . .	342



## ДОКУМЕНТЫ — ВОСПОМИНАНИЯ

ТАТЬЯНА АЛЕКСИНСКАЯ: Из записок русской социал-демократки . . . . .	352
НАТАЛЬЯ РЕЗНИКОВА: Из воспоминаний о А. М. Ремизове . . . . .	364
СЕРГЕЙ КОРВИН: Записки архитектора . . . . .	375
ГЛЕБ СТРУВЕ: Из моей переписки с писателями. Письма Г. В. Иванова, М. И. Цветаевой и М. А. Алданова . . . . .	393

**Все**м лицам, приславшим денежные пожертвования на выпуск этой книги «Мостов», выражается глубокая благодарность.

В прошлом году нами были выпущены «Мосты», как сборник статей к 50-летию революции, без номера. Поэтому последнюю книгу выпускаем под двойным номером.

Адрес редакции: G. Homjakow, 225 West 71 St., New York, N. Y. 10023, U.S.A

---

Редактор: Г. АНДРЕЕВ (Г. А. ХОМЯКОВ)

---